

Академия наук СССР
Институт славяноведения и балканистики

STUDIA SLAVICA

К 80-летию
Самуила Борисовича Бернштейна

Москва

Институт славяноведения и балканистики

STUDIA SLAVICA

**ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НАУКИ**

К 80-летию

Самуила Борисовича Бернштейна

Москва

1991

Сборник, посвященный известному слависту С. Б. Бернштейну, одному из основателей современного славянского сравнительного языкознания, советской болгаристики и палеославистики, содержит статьи сотрудников Института славяноведения и балканистики АН СССР – учеников и коллег С. Б. Бернштейна, языковедов, литературоведов и историков. В лингвистических статьях рассматриваются вопросы сравнительной лексикологии, акцентологии, фонетики, морфологии, истории болгарского литературного языка, грамматики отдельных славянских языков. В разделе литературоведения публикуются статьи, посвященные традициям славянских литератур, их месту в европейском литературном процессе, отдельным славянским писателям и их произведениям. Статьи исторической тематики рассматривают сюжеты из древней и новой истории славян, а также истории славистической науки.

Редакционная коллегия:

**Булатова Р. В., Дьяков В. А.,
Топоров В. Н., Хорев В. А.**

ISBN 5-201-00703-1

© Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1991



**Библиография трудов
проф. С. Б. Бернштейна (1970–1990) ***

1970

О предмете морфонологии. – Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје. С. 11–18.

Стойко Стойков (1912–1969). – ОЛА. М. С. 226–227 (совм. с Р. И. Аванесовым).

1971

Проблемы карпатского языкознания и ОЛА. – Тезисы докладов и сообщений по вопросам диалектологии и истории языка. М. С. 26–29 (совм. с Г. П. Клепиковой).

1972

Академическиот словарь словенского литературного языка. – Вестник МГУ. Филология. № 4. С. 82–84 (совм. с О. С. Плотниковой).
Рец. на кн.: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Кн. 1. Ljubljana, 1970.

К вопросу о научных школах и направлениях в языкознании. – Сб. в честь 60-летия Р. А. Будагова. Общее и романское языкознание. М. С. 137–143.

К истории славянского суффикса -tel'ь. – Русское и славянское языкознание. К 70-летию члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова. М. С. 36–42.

Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала. – Культура та побут населення Українських Карпат. Ужгород. С. 7–9.

Проблемы карпатского языкознания. – Карпатская диалектология и ономастика. М. С. 3–15.

[Ред.:] Аракин В. Д. Николай Константинович Дмитриев. М.: МГУ. 88 с.

[Ред.:] Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1970. М.: Наука. 342 с.

* Библиография трудов за 1935–1970 гг. опубликована в юбилейном сборнике к 60-летию С. Б. Бернштейна "Исследования по славянскому языкознанию" (М., 1971).

1973

Дмитрий Николаевич Ушаков: (Страницы воспоминаний). – Вестник МГУ. Филология. № 1. С. 78–85.

Конференция по сравнительно-исторической грамматике. – Сов. славяноведение. № 5. С. 123–126 (совм. с Р. В. Булатовой).

Очерки славянской морфонологии: (чередования согласных в именах на -а). – Славянская филология. Вып. 8. М. С. 89–96.

Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии. – Славянское языкознание: VII Междунар. съезд славистов. М. С. 25–41. *Pez. VII Międzynarodowy kongres slawistów: Streszczenia referatów i komunikatów. Warszawa. S. 136.*

Рец. на кн.: Ramovs F. Zbrano delo. Kn. 1. Ljubljana, 1971, 327 s. – Сов. славяноведение. № 1. С. 88–89.

[Ред.] Балканское языкознание. М.: Наука. 332 с.

[Ред.] Калнынь Л. Э. Опыт моделирования системы украинского диалектного языка: Фонологическая система. М.: Наука. 338 с.

[Ред.] Симпозиум по проблемам карпатского языкознания: Тезисы докл. и сообщ. М. 67 с.

[Ред.] Славянская филология. М.: МГУ. Вып. 8. 291 с.

[Ред.] Славянское языкознание: VII Междунар. съезд славистов. Докл. сов. делегации. М.: Наука. 520 с.

1974

В памет на приятеля и другаря. – В памет на професор Стойко Стойков. София. С. 15–19.

Интерференция языков карпатского ареала. М. 16 с. – III Междунар. съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы; Тезисы *Linguistique, littéraire, folklore, ethnographie, arts, droit et institutions. T. 2. Bucarest. S. 11–12.*

Национальное Возрождение славянских народов и формирование славянских литературных языков. – Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций (XVIII–XIX вв.): Тезисы докл. М. С. 25–26.

Николай Константинович Дмитриев. – Вестник МГУ. Филология. № 6. М. С. 42–51.

Очерк сравнительной грамматики славянских языков: Чередования. М.: Наука. 378 с.

Рец.: Варбот Ж. Ж. – Сов. славяноведение. 1975, № 6, с. 118–124; Eckert R. – *ZfSl*, 1975, № 5–6. S. 817–824; Veyrenc J. – *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*, t. 70, Fasc. 2, 1975, p. 306–308; Marvan. – *Russian linguistics. Dordrecht-Boston*, vol. 3. 1976, p. 163–166; Маслов Ю. С. – Изв. ОЛЯ. 1976, № 1, с. 88–90.

Реф.: Ананьева Н. Е. – Вопросы слав. языкознания и литературоведения. 1978, с. 77–86.

Семидесятилетие Ивана Лекова. – Сов. славяноведение. № 3. С. 141–142.

Рец. на кн.: Польские говоры в СССР. Ч. I. Исследования и материалы. 1967–1969. Минск, 1973. 232 с.; Ч. II. Исследования и материалы. 1969–1971. Минск, 1973. 215 с. – Сов. славяноведение. № 2. С. 89–91.

[Ред.] Общеславянский лингвистический атлас. 1971. М.: Наука. 167 с.

1975

Болгарско-русский словарь. Около 58 000 слов. Изд. 2-е, стереотип. М.: Рус. яз. 768 с.

Грамматический очерк болгарского языка. – Бернштейн С. Б. Болгарско-русский словарь. М. С. 743–768.

The Question of Scientific Schools and Trends in Linguistics. – *Linguistics*. N 157. The Hague-Paris. P. 5–12.

1976

Взаимодействие языков карпато-дунайского ареала. – Карпатский сборник. М.: Наука. С. 16–21.

Витольд Дорошевский. – Сов. славяноведение. № 6. С. 113–115. Из истории русского славяноведения: Виктор Иванович Григорович. – Изв. ОЛЯ. № 6. С. 533–538.

Интерференция языков карпатского ареала. – Балканские исследования: Проблемы истории и культуры. М.: Наука. С. 202–228.

Лингвистические аспекты карпатистики. – ОКДА. Лингвистические и этнографические аспекты. Кишинев. С. 5–10.

“Общекарпатский диалектологический атлас” и его восточнороманский аспект. – Лимба ши литература молдовеняскэ. № 2. Кишинэу. С. 49–56 (совм. с Р. Удлером).

Памяти академика Александра Белича. – Сборник радова о Александру Белићу. Београд. С. 61–65.

Памяти Кирилла Мирчева. – Вестник МГУ. Филология. № 5. С. 94–95.

Процессы языковой интерференции на Карпатах и “Общекарпатский диалектологический атлас”. – Сов. славяноведение. № 2. С. 63–69 (совм. с Г. П. Клепиковой).

Славянские языки. – БСЭ. 3-е изд. Т. 23. Стлб. 1642–1646.

Сравнительная грамматика славянских языков: (Программа курса. Комментарий к программе. Методические заметки). – Вестник МГУ. Филология. № 6. С. 45–62.

Zur bulgarischen Lexikologie und Lexikographie. 3. Акуратен у. а. – *ZfSl*. N 6. S. 789–793.

[Ред.] Общекарпатский диалектологический атлас: Лингвистический и этнографический аспекты. Кишинев: Штиинца. 198 с.

[Ред.] Общеславянский лингвистический атлас. 1974. М.: Наука. 271 с.

[Ред.] Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков. М.: Наука. 336 с. (= Славянское и балканское языкознание. Вып. 2).

1977

Введение. – Славянские языки: Очерк грамматики западнославянских и южнославянских языков. М.: МГУ. С. 5–18.

К вопросу об иерархии фонетических законов праславянского периода. – Slovensko jezikoslovje. Nahtigalov zbornik ob stoletnici rojstva. Ljubljana. S. 15–25.

Национальное Возрождение и формирование славянских литературных языков. – Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М.: Наука. С. 50–58.

Общекарпатский диалектологический атлас. – Celokarpatský dialektologický atlas. Bratislava. R. 26. S. 35–46.

Реф.: Клепикова Г. П. – Общественные науки в СССР. РЖ Языкознание. М. 1979. № 6. С. 189.

[Ред.] Античная балканистика и сравнительная грамматика. М.: Наука. 392 с. (= Славянское и балканское языкознание. Вып. 3).

[Ред.] Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М.: Наука. 380 с. (= Славянское и балканское языкознание. Вып. 4).

[Ред.] Общеславянский лингвистический атлас. 1975. М.: Наука. 295 с.

[ред.] Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М.: Знание. 333 с.

[Ред.] Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка: Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв. М.: Наука. 336 с.

1978

Б. Гавранек [Некролог]. – ВЯ. № 6. С. 173–175.

Введение в славянскую филологию: Программа курса. М.: МГУ. С. 1–5.

Итоги работы над "Общекарпатским диалектологическим атласом" и задачи VI Междунар. конференции по ОКДА-Справочно-информационные материалы по ОКДА. М. С. 3–8.

К изучению старославянизмов в русском языке. – Проблемы общего и германского языкознания. М. С. 97–102.

Культурный язык – письменный язык – литературный язык. – Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций. XVIII–XIX вв.: Материалы Междунар. науч. конф. ЮНЕСКО. М.: Наука. С. 106–111.

Общекарпатский диалектологический атлас. Принципы. Предварительные итоги. – Славянское языкознание: VIII Междунар. съезд славистов. М. С. 27–41 (совм. с Г. П. Клепиковой); Тезисы. – VIII Međunarodni slavistički kongres: Knjiga referata. Sažeci. I A-K. Zagreb. S. 73.

Палеобалканистический аспект карпато-балканской проблематики. – Античная балканистика: Симпозиум. Предварительные материалы. М. Вып. 3. С. 4–6.

Щепкин Вячеслав Николаевич. – БСЭ. 3-е изд. Т. 29. Стлб. 1590. [Пер.] Македонски јазик. – За македонскиот јазик. Скопје. С. 35–36 (пер. статьи из 37 т. БСЭ. М., 1938).

[Ред.] Методологические проблемы истории славистики. М.: Наука. 339 с.

[Ред.] Национальное Возрождение и формирование славянских литературных языков. М.: Наука. 355 с.

[Ред.] Общеславянский лингвистический атлас. 1976. М.: Наука. 336 с.

[Ред.] Славянское языкознание: VIII Междунар. съезд славистов. Доклады сов. делегации. М.: Наука. 469 с.

[Ред.] Смирнов С. В. Федор Иванович Буслаев. М.: МГУ. 96 с. [Ред.] Справочно-информационные материалы по ОКДА. М.: Наука. 132 с.

1979

Афанасий Матвеевич Селищев. – Вестник МГУ. № 6. С. 55–58. Балканская тюркология в СССР. – Балканские исследования. М.: Наука. Вып. 5. С. 222–231.

Биллярский Петр Спиридонович. – Славяноведение в дореволюционной России: Библиогр. словарь. М. С. 72–73.

Главни проблеми на историята на българския език. – Изследвания върху историята и диалектите на българския език. София. С. 46–52.

Григорович Виктор Иванович. – Славяноведение в дореволюционной России: Библиогр. словарь. М. С. 131–134.

Задачи VII Междунар. конф. по "Общекарпатскому диалектологическому атласу". – Справочно-информационные материалы по ОКДА. М. 2. С. 4–10.

Корш Федор Евгеньевич. – Славяноведение в дореволюционной России: Библиогр. словарь. М. С. 190–191.

Мисли за началния период от историята на българския литературен език. – Изследвания из историята на българския книжовен език от миналия век: Сб., посветен на 100-годишнината от Априлското въстание. – София. С. 29–34.

Реф.: Волоцкая З. М. – Общественные науки в СССР. РЖ Языкознание. – М., 1980. № 2. С. 55.

О некоторых аспектах "Общекарпатского диалектологического атласа". – Prace językoznawcze. Z. 61. Warszawa-Kraków. S. 9–17.

О некоторых вопросах изучения истории русского славяноведения. – Вестник МГУ. Филология. № 4. С. 3–18.

Прародина славян (языковая). – Русский язык. Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия. С. 323–324.

Праславянский язык. – Русский язык: Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия. С. 224–225.

Славянские языки. – Русский язык: Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия. С. 297–300.

Срезневский Измаил Иванович. – Славяноведение в дореволюционной России: Библиогр. словарь. М. С. 318–321 (совм. с М. Ю. Досталь).

Томсон Александр Иванович. – Славяноведение в дореволюционной России: Библиогр. словарь. М. С. 331.

Щепкин Вячеслав Николаевич. – Славяноведение в дореволюционной России: Библиогр. словарь. М. С. 376–377.

Рец. на кн.: Atlas językowy Kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. I–XV. Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN, 1964–1978. – Сов. славяноведение. № 4. С. 121–122.

[Ред.] Балканские исследования: Основные проблемы балканистики в СССР. М.: Наука. 283 с.

[Ред.] Рожновская М. Г. Очерки по синтаксису болгарского литературного языка. Предложения с предикативным определением. М.: Наука. 205 с.

[Ред.] Славяноведение в дореволюционной России: Библиографический словарь. М.: Наука. 428 с.

[Ред.] Славянское и балканское языкознание: История литературного языка и письменности. М.: Наука. 284 с.

[Ред.] Справочно-информационные материалы по ОКДА. 2. М.: Наука. 74 с.

1980

Из карпатского диалектического атласа: К Этимологии *grěxъ. – Philologica. Ročn. 30. Brno. S. 31–35.

К этимологии праславянского *degъtь 'pîx axungia'. – В чест на акад. Владимир Георгиев. Езиковедски проучвания. София. С. 206–212.

Основные этапы переселения болгар в Россию в XVIII–XIX вв. – Сов. славяноведение. № 1. С. 42–59.

Предисловие редактора. – Можаяева И. Е. Библиография по кирилло-мефодиевской проблематике. М.: Наука. С. 3–20.

[Ред.] Античная балканистика: Этногенез Балкан и Северного Причерноморья: Лингвистика, история и археология. Предварит. материалы: тезисы докл. М. 76 с.

[Ред.] Можаяева И. Е. Библиография по кирилло-мефодиевской проблематике. М.: Наука. 223 с.

[Ред.] Общеславянский лингвистический атлас. 1978. М.: Наука. 336 с.

1981

О некоторых аспектах проблемы этногенеза славян. – Studia z filologii polskiej. Warszawa. S. 53–58.

О происхождении славянской письменности: Отрывок из книги "Очерк сравнительной грамматики славянских языков" (М., 1961). – Супрун А. Е., Калюта А. М. Введение в славянскую филологию. Минск. С. 253–256.

Олег Николаевич Трубочев: (К пятидесятилетию со дня рождения). – Изв. ОЛЯ. № 1. С. 85–88.

[Ред.] Калнынь Л. Э., Масленникова Л. И. Сопоставительная модель фонологической системы славянских диалектов. М.: Наука. 403 с.

[Ред.] Общекарпатский диалектологический атлас: Вопросник. М.: Наука. 127 с.

[Ред.] Общеславянский лингвистический атлас. 1979. М.: Наука. 359 с.

[Ред.] Проблемы морфонологии. М.: Наука. 340 с. (=Славянское и балканское языкознание. Вып. 6).

1982

Академик П. С. Билярский и его вклад в изучение языка среднеболгарской письменности. – Язык и письменность среднеболгарского периода. М. С. 131–144.

Актуални проблеми при изучаването на историята на българския език. – Българистиката на своя първи конгрес: Информ. бюл. 2. София. С. 128.

"Библиографические листы" П. И. Кеппена. – Изв. ОЛЯ. № 1. С. 47–58.

Западнославянские (моравские) элементы в сказании "О письменах" Черноризца Храбра. – Македонски јазик. XXXII–XXXIII. С. 43–48.

Историко-культурные аспекты ареальной диалектологии (на материале "Общекарпатского диалектологического атласа"). – Славянские культуры и мировой культурный процесс: Междунар. науч. конф. Тезисы докл. и сообщ. Минск. С. 13–15 (совм. с Г. П. Клепиковой).

Туркский языковой мир и балканистика. – Балканские исследования. Вып. 7. С. 254–264.

[Ред.] Общеславянский лингвистический атлас. 1980. М.: Наука. 366 с.

1983

Актуални проблеми при изучаването на историята на българския език. – Исторически развой на българския език: I Междунар. конгрес по българистика. Доклади. София. С. 20–39.

Актуальные задачи изучения истории болгарского языка. – Вестник МГУ. Филология. № 4. С. 3–13.

К вопросу о членении болгарских диалектов. – ВЯ. № 4. С. 10–18.
"Общекарпатский диалектологический атлас" и некоторые проблемы южнославянского этногенеза. – Славянское языкознание. М.: Наука. С. 3–17 (совм. с Л. А. Гиндиным и Г. П. Клепиковой).

Cyrillo-methodiana в России. – Уч. зап. Тарт. ун-та. Вып. 649. Из истории славяноведения в России. II. Труды по рус. и слав. филологии. С. 22–29.

Le rôle des données de "L'Atlas dialectologique des Carpathes" pour l'étude des processus linguistiques et ethniques de l'aide carpatho-balkanique. – IX Междунар. съезд славистов. Резюме докл. и письм. сообщ. М. С. 8 (совм. с Л. А. Гиндиным и Г. П. Клепиковой).

[Ред.] Славянское и балканское языкознание: Проблемы языковых контактов. М.: Наука. 261 с.

1984

Еще раз о Срезневском. – Сов. славяноведение. № 2. С. 87–93.
Из портретов моих современников: Петр Саввич Кузнецов (К 15-летию со дня смерти). – Slavia. № 2. S. 164–171.

Историко-культурные аспекты лингвогеографического изучения карпато-балканской зоны. – Славянское и балканское языкознание. М.: Наука. С. 38–68 (совм. с Г. П. Клепиковой).

К изучению тюркизмов (Турцизмов) в южнославянских языках. – Славянское и балканское языкознание. М.: Наука. С. 5–10.

Константин-Философ и Мефодий: Начальные главы из истории славянской письменности. М.: МГУ. 166 с.

Рец.: Новикова А. С. Книга о Константине-Философе и Мефодии. – Вестник МГУ. Филология. 1985, № 5, с. 94–96; Иванова Т. А. – РЯШ. 1985, № 5, с. 103–106;

Pavlović J. – Kultura slova. Brno, 1985, N 7, s. 253–256; Конески Б. Македонски јазик. Год. XXXVI–XXXVII, Скопје, 1986 с. 365–366.

Место курса "Старославянский язык" в системе университетского филологического образования. – Актуальные проблемы изучения и преподавания старославянского языка: Материалы Первого научно-методического совещания-семинара преподавателей старославянского языка университетов. М.: МГУ. С. 8–14.

Некоторые вопросы методики изучения проблем этногенеза славян. – Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья: Лингвистика, история, археология. М. С. 11–17.

Проблема славянизации Балкан и вопросы диалектного членения древнеболгарского языка. – Античная балканистика: Карпато-балканский регион в диахронии: Предварительные материалы к международному симпозиуму. М.: Наука. С. 4.

Р. И. Аванесов (1902–1982). – ОЛА. 1981. М.: Наука. С. 362–364.
[Ред.] Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья: Лингвистика, история, археология. М.: Наука. 279 с.

1985

Историко-культурные аспекты ареальной диалектологии (на материале "Общекарпатского диалектологического атласа"). – Славянские культуры и мировой культурный процесс: Материалы Междунар. науч. конф. ЮНЕСКО. Минск. С. 88–91 (совм. с Г. П. Клепиковой).

К вопросу о различных видах лингвистических атласов. – Сборник за филологију и лингвистику. Нови Сад. XXVII–XXVIII. С. 65–68.

О некоторых итогах и перспективах лингвистических исследований Карпато-Дунайского региона. – Carpatobalcanica. XIV. 1–2. Bratislava. S. 79–102.

150-летие образования кафедр славянской филологии в России. – Информационный бюллетень МАИРСК. М. № 12. С. 28–32. То же на фр. и англ. яз.

K niektorým záverom a perspektívam lingvistických výskumov Karpatsko-Dunajského regiónu. – Slovenský národopis. Bratislava. N 4. S. 665–673. Рез. на рус. и нем. яз.

Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich: Alternacje. Tematy imienne. Warszawa: Państw. wyd-wo naukowe. 465 s.

[Ред.] Калнынь Л. Э., Масленникова Л. И. Опыт изучения слога в славянских диалектах. М.: Наука. 191 с.

[Ред.] Общеславянский лингвистический атлас. 1982. М.: Наука. 320 с.

1986

Афанасий Матвеевич Селищев. – Рус. речь. № 1. С. 82–88.

Болгарско-русский словарь: Около 58 000 слов. 3-е изд., стереотип. М.: Рус. яз. 768 с.

Вклад А. М. Селищева в изучение русских диалектов (К 100-летию со дня рождения). – ВЯ. № 5. С. 14–22.

Грамматический очерк болгарского языка. – Болгарско-русский словарь. М. С. 743–768.

Несколько слов о ностратической гипотезе. – ВЯ. № 3. С. 38–41.

Размышления о славянской диалектологии. – Славянское и балканское языкознание: Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М. С. 3–10.

[Ред.] Славянское и балканское языкознание: Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М.: Наука. 248 с.

1987

А. М. Селищев – славист-балканист. М.: Наука. 112 с.

Реф.: Шахмайкин А. М. – Обществ. науки в СССР: РЖ. Языкознание. 1988. № 3. С. 14–16.

Рец. на кн.: Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Исследование и текст. Т. I. София, 1968. 235 с.; Т. II. София, 1971. 382 с.; Т. III. София, 1985. 264 с. – Сов. славяноведение, № 2. С. 113–116.

1988

Изучение и преподавание южнославянских и западнославянских языков. – Славяноведение в дореволюционной России: Изучение южных и западных славян. М.: Наука. С. 155–167 (совм. с В. П. Гудковым, С. В. Смирновым).

Ку привире ла унитаря де лимбэ ромыно-молдовеняска. – Нистру. Кишинэу. № 11. С. 132–136 (совм. с Р. А. Будаговым).

Наука курсом обновления. – Сов. славяноведение. № 6. С. 3–4.

Начало изучения языков западных и южных славян. – Славяноведение в дореволюционной России: Изучение южных и западных славян. М.: Наука. С. 54–61 (совм. с В. П. Гудковым, С. В. Смирновым).

Общекарпатский диалектологический атлас: Некоторые предварительные итоги. – Прилози. XIII/1. Скопје. С. 133–141.

Портреты моих современников: Милий Герасимович Долобо. – Сборник за филологију и лингвистику. Нови Сад. Т. XXXI/1. С. 7–22.

Предисловие. – общекарпатский диалектологический атлас. Вып. 2. М.: Наука. С. 8.

Результаты научных исследований и подготовка кадров в об-

ласти славянского языкознания. – Славяноведение в дореволюционной России: Изучение южных и западных славян. М.: Наука. С. 259–284 (совм. с В. П. Гудковым, С. В. Смирновым).

Славянское языкознание. – Славяноведение в дореволюционной России: Изучение южных и западных славян. М. С. 368–372.

[Ред.] общекарпатский диалектологический атлас. Вып. 2. М.: Наука, 211 с.

[Ред.] общеславянский лингвистический атлас. 1984. М.: Наука. 320 с.

1989

Восточнороманское влияние в лексико-семантической сфере внутри и вне балканского языкового союза (БЯС). – Материалы к VI Междунар. конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы: Лингвистика. М.: Наука. С. 66–84 (совм. с Г. П. Клепиковой).

Лингвогеографическое изучение карпатской (карпато-балканской) зоны и проблема диахронической интерпретации "карпатизмов" ОЛА. 1985–1987. М.: Наука. С. 129–147 (совм. с Г. П. Клепиковой).

Предисловие. – Лексика в ОКДА. М.: Наука. С. 3–10 (совм. с Г. П. Клепиковой).

Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы XX века). – Сов. славяноведение. № 1. С. 77–82.

Южные славяне в балканской перспективе. – Сов. славяноведение. № 4. С. 64–66.

[Ред.] общеславянский лингвистический атлас. 1985–1987. М.: Наука. 287 с.

Принятые в библиографии сокращения

| | |
|----------|---|
| БАН | – Българска академия на науките |
| БСЭ | – Большая советская энциклопедия |
| ВЯ | – ж. Вопросы языкознания |
| ДСФФ | – Доклады и сообщения филологического факультета МГУ |
| Изв. ОЛЯ | – Известия АН СССР. Отделение литературы и языка |
| МАИРСК | – Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур |
| МАНУ | – Македонска академија на науките и уметностите |
| НДВШ | – Научные доклады высшей школы |
| ОКДА | – общекарпатский диалектологический атлас |
| ОЛА | – общеславянский лингвистический атлас |
| РЖ | – общественные науки. Реферативный журнал |
| РЯШ | – ж. Русский язык в школе |
| UPJS | – Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach |
| ZFSL | – Zeitschrift für Slawistik |

Литература о проф. С. Б. Бернштейне *

Зауэр Н. С. Защита докторской диссертации доц. С. Б. Бернштейном. – ДСФФ. 1947. Вып. 3. С. 102–103.

Стойков Ст. Проф. С. Б. Бернштейн в България. – Български език. 1955, № 4. С. 376–378.

Проучване на говорите в нашата околия. – Елховска дума. Елхово, 1957. 3 авг.

Бернштейн С. Б. Список трудов. – Труды ученых филологического факультета Московского университета по славянскому языкознанию (Библиографический указатель). Т. I. М.: МГУ, 1960. С. 25–35; т. 2. 1968. С. 20–32; т. 3. 1979. С. 27–34.

Над чем работают ученые [Проф. С. Б. Бернштейн]. – ВЯ. 1959. № 2. С. 161.

Bernštejn S. B. – Dicționar enciclopedic român. Vol. 1. București, 1962. P. 347.

Бернштейн С. Б. Кратка българска енциклопедия. Т. 1. София, 1963. С. 226; т. 5. 1969. С. 565.

Bernštejn S. B. Gramatică comparată a limbilor slave. București, 1965 [об авторе p. 291–292].

Над чем работают ученые МГУ. Проф. С. Б. Бернштейн. – Вестник МГУ. Филология. 1967. № 2. С. 70–71.

Бернштейн С. Б. Енциклопедия советикэ молдовеняскэ. Т. 1. Кишинэу, 1970. С. 407–408.

Бернштейн С. Б. – Летопис. 1969. Скопје, 1970. С. 99–100.

Странски член С. Б. Бернштейн. – Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на МАНУ. Скопје, 1970. С. 10.

Аванесов Р. И. Сорок лет в славистике. – Исследования по славянскому языкознанию. М.: Наука. 1971. С. 18–27.

Демина Е. И. Сорок лет в советском славяноведении. – Сов. славяноведение. 1971. № 3. С. 121–122.

Младенов М. С. Научни трудове на проф. д-р С. Б. Бернштейн по българистика. – Български език. 1971. № 2–3. С. 136–143.

Младенов М. С., Холиолчев Хр. Проф. Д-р Самуил Борисович Бернштейн на шейсет години. – Български език. 1971. № 2–3. С. 129–135.

Можаева И. Е. Библиография трудов проф. С. Б. Бернштейна (1935–1970). – Исследования по славянскому языкознанию. М. 1971. С. 5–17.

Толстой Н. И. Самуил Борисович Бернштейн: (К 60-летию со дня рождения и 40-летию научной и педагогической деятельности). – НДВШ. Филол. науки. 1971. 1/2. С. 123–126.

Удлер Р. Самуил Борисович Бернштейн. – Лимба ши литература молдовеняскэ. Кишинэу, 1971. № 1. С. 75–78. На молд. яз.

Широкова А. Г. 60-летие профессора С. Б. Бернштейна. – Вестник МГУ. Филология. 1971. № 5. С. 97–102.

Яков Я. Нови изследвания за български език в чест на проф. С. Б. Бернштейн. – Български език. 1972. № 3. С. 269–272.

Habovštiak A. Issledovanija po slavianskomu jazykoznaniju (Sbornik v čest šestidesiatiletija prof. S. B. Bernštejna). – Slavica Slovaca. Roč. 7, s. 3. Bratislava, 1972. S. 279–281.

Mihăilă G. рец. на "Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь шестидесятилетия профессора С. Б. Бернштейна". Издательство Наука, М., 1971, 500 с. – Revue roumaine de linguistique. București, 1972. N 2. P. 171–174.

Бицевска К. Рец. на кн.: Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь шестидесятилетия проф. С. Б. Бернштейна. М.: Наука, 1971. 500 с. – Македонски јазик. 1973. XXIV. С. 257–262.

Бернштейн Самуил Борисович. – Энциклопедия. София: БАН. 1974. С. 78.

Интервью с чуждестранни членове на БАН. Интервью с проф. С. Б. Бернштейн. – Списание на БАН. София, 1977. № 1. С. 102–103.

Самуил Борисович Бернштейн. – Десет години Македонска академија на науките и уметностите. Скопје, 1977. С. 125.

Novák L. Vzácná návštěva popredného sovietského slavistu na našej FF. – Spravozdaj UPJŠ. 2. č. 2–3. Košice, 1977. S. 3–4.

Бернштейн Самуил Борисович. – Энциклопедия България. Т. I. София, 1978. С. 267.

Bernštejn Samuel Borisovič. – Ilustrovaný encyklopedický slovník. I (a–i). Praha, 1980. S. 217.

Корнеев С. Г. Советские ученые – почетные члены научных организаций зарубежных стран. М., 1981. (о С. Б. Бернштейне – с. 20, 36, 56, 61, 782, 854).

Празник на науката за България. – Нар. култура. София, 1981, 5 юни. С. 1–2 [интервью с С. Б. Бернштейном]

* Дается в хронологическом порядке, начиная с 1947 года, поскольку в юбилейном сборнике 1971 г. таковая отсутствует. Сюда включены библиографические очерки и библиография работ.

Спиркоска О. Долгогодишен интерес за македонскиот јазик. – Нова Македонија. Скопје, 1981. 15 окт. С. 10 [Встреча с С. Б. Бернштейном].

Удлер Р. Я. Самуил Борисович Бернштейн. Ла шаптезечь де ань. – Лимба ши литература молдовеняскэ. Кишинэу, 1981. № 1. С. 77–80.

Mihăilă G. S. B. Bernștein și unele probleme ale lingvisticii și filologiei românești. – Mihăilă G. Studii de lingvistica și filologie. Temeșoara, 1981. P. 201–212.

Баранкова Г. С. Хроникальные заметки. – ВЯ. 1986. № 2. С. 141–142.

К. И. Научные чтения, посвященные 75-летию С. Б. Бернштейна. – Сов. славяноведение. 1986. № 5. С. 110–111.

Усикова Р. П. Македонистиката во Советскиот Сојуз (1977–1987). – Научна дискусија. Охрид 15–20 авг. 1987. Скопје, 1988 (о С. Б. Бернштейне с. 12).

Составила И. Е. Можалева

60 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ СЛАВИСТИКЕ

Я не сам ли выбрал час рождения,
Век и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещение
Совести, огня и вод.

Максимилиан Волошин

Эти слова поэта могут и могли повторить применительно к себе многие из поколений, родившихся в конце XIX в. и в первой четверти XX столетия, может, как я полагаю, сказать о себе и наш дорогой юбиляр. Шестьдесят лет в славистике, шестьдесят лет научной и педагогической деятельности – срок немалый. Но мало кто из ныне здравствующих славяноведов прошел тот же путь столь последовательно, с такой верностью своей специальности и профессии, с таким пониманием своего научного долга. Самуил Борисович Бернштейн приходит в славистику в конце 20-х годов, поступив на историко-этнологический факультет Московского университета. Его учителями становятся профессора А. М. Селищев и Г. А. Ильинский, у которых он слушал лекции по славистическим дисциплинам. Окончив университет в 1931 г., молодой ученый оказывается в аспирантуре, сначала в Москве, а затем в Ленинграде, где его руководителем становится М. Г. Долобоко. 1934 г. был годом защиты диссертации на тему "Турецкие элементы в языке дамаскинов XVII–XVIII веков" и началом руководства кафедрой болгарского языка в Одесском педагогическом институте, во главе которой Самуил Борисович оставался до 1938 г. Но 1934 г. был и годом пресловутого "дела славистов", разгрома науки о славянах и ареста профессоров А. М. Селищева, Г. А. Ильинского, Н. Н. Дурново, В. В. Виноградова и других*. В 1938 г. Самуил Борисович получает приглашение заведовать кафедрой языкознания Одесского университета, но на этом посту он остался недолго, т. к. уже через год в 1939 г. его приглашают на восстановленный под названием МИФЛИ (Московский институт истории, философии и литературы) историко-филологический факультет, который

* Эта трагическая страница в истории нашей науки описана в очерке юбиляра (1989).

в 1941 г. был слит с Московским университетом. Все трудности войны и эвакуации Самуил Борисович разделяет с родным факультетом, будучи одно время его замдекана и неизменным лектором по основным славистическим дисциплинам, по сравнительной грамматике славянских языков и старославянскому языку. В 1943 г. Самуил Борисович принимает самое деятельное участие в создании славянского отделения и кафедры славянской филологии на филологическом факультете Московского университета, становясь заместителем заведующего кафедрой (заведующим был назначен акад. Н. С. Державин), но фактически руководя ею с самого первого дня её существования. В 1947 г. Самуил Борисович стал заведующим университетской кафедрой и пробыл на этом посту до 1970 г. Защита докторской диссертации на тему "Разыскания в области болгарской исторической лексикологии" в 1946 г. почти совпала с организацией Сектора славянской филологии в созданном Институте славяноведения АН СССР (ныне Институт славяноведения и балканистики АН СССР). Сочетая педагогическую с научной работой, восстанавливая почти полностью разрушенную в середине 30-х годов славистику, Самуил Борисович создает новую поросль, новую когорту молодых славистов, теперь уже признанных и заслуженных ученых и педагогов. Учениками Самуила Борисовича были В. М. Иллич-Свитыч, В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, Р. Эккерт, Е. И. Демина, В. К. Журавлев и многие другие (в их числе и автор этих строк). Энергичность и целенаправленность Самуила Борисовича как научного мэтра, руководителя и организатора крупных научных предприятий и работ обеспечили довольно быстрый подъем славянского языкознания в нашей стране. Нужно учитывать, что первый период этого подъема происходил в далеко не простых условиях. Интерес к славянским странам, народам и их языкам все время рос и подкреплялся послевоенной политической расстановкой сил, но на нашем внутреннем "языковедческом фронте", как говорили иногда в ту пору, господствовал, становясь все агрессивнее, марризм, отрицавший "буржуазную индоевропеистику" и сравнительно-исторический метод в лингвистике. У меня нет возможности говорить о всех кампаниях, сопровождавших марризм во второй половине сороковых годов, этому периоду посвящена книга В. М. Алпатова, которая, я надеюсь, скоро выйдет в свет. Напомню только, что борьба с менделизмом-морганизмом и с другими измами по "правилам игры" той поры должна была касаться и языкознания, которое подлаживалось и "перестраивалось" в соответствии с каждой новой волной. Стойких, не подчиняющихся этим новым бурям, ветрам и веяниям было в Москве, в Московском университете немного. Вспоминается М. Н. Петерсон,

П. С. Кузнецов, неумолимый В. В. Виноградов, остроумный А. А. Реформатский, вспоминается и Самуил Борисович, который продолжал нас учить сравнительной грамматике в четком классическом стиле и вести себя на факультете и в Академии наук так, как будто бы все эти кампании, вся критика "буржуазной лингвистики" и все марксистские настроения к славянскому языковедению не имеют отношения.

Широкий круг славистических интересов Самуила Борисовича определился еще в ранний довоенный период. Он отразился в ряде небольших публикаций, энциклопедических статей и рецензий, посвященных истории болгарской орфографии и болгарским говорам на Украине, польскому и македонскому языку (первая публикация об этом языке в нашей стране, а, может быть, и во всех славянских странах), истории славистики (В. Ягич в Одессе), вопросу о диалектной основе польского литературного языка, истории болгарского литературного языка.

Нужно отметить, что авторитетная, разносторонняя и научно весьма активная, русская дореволюционная славистика уделяла мало внимания изучению болгарского языка, в особенности его современному состоянию, структуре и диалектным формам. Самуил Борисович рано оценил большие возможности изучения болгарских диалектов в нашей стране, а затем и на территории Болгарии. По его инициативе, под его руководством и под его редакцией и с его авторским участием в конце 40-х и в 50-х годах велась экспедиционная работа по изучению болгарских говоров в Бессарабии и Приазовье, возникла серия "Статьи и материалы по болгарской диалектологии" (вышло девять выпусков), вышел в свет "Атлас болгарских говоров в СССР" (М., 1958). Атлас показал возможность и полезность картографирования болгарских колониальных говоров, подготовил почву и кадры для собирания материала в метрополии для создания атласа болгарских говоров на территории Болгарии. Самуил Борисович и софийский диалектолог проф. Стойко Стойков разработали концепцию болгарского лингвистического атласа, возглавили работу экспедиционных групп, и в 1964 г. первый том "Болгарского диалектологического атласа", охватывающего территорию юго-восточной Болгарии вышел в свет. Впоследствии вышли еще три тома, демонстрирующие диалектный ландшафт остальной болгарской территории, и выполненные уже без участия русских коллег, однако первый том установил задачи и предопределил характер всего фундаментального труда в целом. Реальные результаты, теоретические предпосылки, практические методы лингвистической географии, полученные и выработанные на болгарской территории, позволили Самуилу Борисовичу пойти

далее и предложить (совместно с Р. И. Аванесовым) на IV съезде славистов проект и концепцию общеславянского лингвистического атласа, принятую большинством славянских диалектологов и положенную в основу работы комиссии ОЛА (эта комиссия оказалась самой жизнеспособной и деятельной лингвистической комиссией при Международном комитете славистов). Самуил Борисович и созданный им небольшой лингвогеографический коллектив Института славяноведения АН СССР начали разработку программ по фонетике для ОЛА, уделяя большое внимание вопросам, существенным для сравнительной грамматики славянских языков. К сожалению, отнюдь не по объективным мотивам, а по субъективному отношению к делу одного из его коллег, Самуил Борисович и некоторые его сотрудники по институту прекратили работу над программой и стали сторонними наблюдателями за работой ОЛА. Уход из Общеславянского атласа Самуила Борисовича и проф. З. Штибера оказался большой потерей для этого крупного международного научного начинания. Совсем недавно Самуил Борисович откликнулся на выход первого тома атласа, посвященного судьбе славянского ятя, и дал справедливую оценку всему предприятию в целом.

Устойчивость интереса Самуила Борисовича к лингвистической географии сказалась в том, что еще в начале 60-х годов им была предпринята новая важная инициатива по созданию Карпатского (позже Общекарпатского) диалектологического атласа, который, подобно общеславянскому, объединил международные лингвистические силы нашей страны, Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии и, наконец, Болгарии, участие которой было временным. На первом этапе этой почти тридцатилетней работы Самуил Борисович опубликовал ряд статей, определяющих концепцию Карпатского атласа и создал вместе с коллективом (В. М. Илличем-Свитычем, Г. П. Клепиковой, Т. В. Поповой и В. В. Усачевой) двухтомный "Карпатский диалектологический атлас", изданный "малой печатью". В последние годы вышло в Москве, Кишиневе и Скопье три выпуска Общекарпатского атласа и готовится к изданию еще четыре выпуска. Самуил Борисович длительное время возглавлял комиссию по языковым контактам при Международном комитете славистов, основным научным начинанием которой было лингвогеографическое изучение Карпат. На эту тему Самуил Борисович неоднократно выступал с докладами на Международных славистических съездах. Карпатский регион, находящийся в центре современной Славии, отражает живые, многовековые языковые и этнокультурные связи славян трех основных групп – западной, западно и южной между собой и со своими иноплеменными соседями восточными романцами и уграми. Карпатская про-

блема поэтому тесно связана с балканской проблемой, с балканистическими темами древнейшей эпохи и сегодняшнего дня. Самуил Борисович, как и его учитель А. М. Селищев, немало сделал в области изучения балканских языков, исследуя и характер балканского субстрата, и особенности турецкого языка на Балканах, и славянские элементы в молдавском языке, и периодизацию истории румынского языка, и возможности создания атласа балканского языкового союза.

Лингвогеографические славистические и балканистические интересы Самуила Борисовича органически связаны с основополагающей профессиональной сферой славянского языкознания – сравнительной грамматикой славянских языков, в области которой Самуил Борисович работает с первых лет своей научной и педагогической деятельности. Несколько поколений славистов и русистов слушали в Московском университете глубоко разработанные и оригинально построенные лекции Самуила Борисовича по сравнительной грамматике славянских языков. Эти лекции легли в основу широко известного "Очерка сравнительной грамматики славянских языков" (М., 1961), положительно оцененного многочисленными рецензентами, среди которых следует упомянуть А. Ваяна, В. Кипарского, Т. Милевского, Ш. Ондруша, А. Сабалаяускаса, И. Добрева, А. В. Исаченко и других. А. В. Исаченко писал: «Проф. Бернштейн не относится к тем ученым, которые стремятся (даже перед студентами) во что бы то ни стало показать свою эрудицию, засоряя свое изложение излишними экскурсами. Штудируя "Очерк" сознаешь, что автор располагает очень богатым материалом, но что не считает нужным вводить его целиком в аргументацию. Проф. Бернштейн принципиально отказывается от объективистской перестраховки: читателю сообщаются мнения других авторов, но по каждому вопросу читатель найдет точку зрения и самого автора. К исследовательскому стилю проф. Бернштейна полностью применимы слова покойного А. Мейе: "Наука живет не истинами, а доводами". На фоне многочисленных работ последних лет, построенных на схеме "с одной стороны, необходимо признать" – "с другой стороны, нельзя не отметить", труд проф. Бернштейна отличается обаятельной научной честностью и готовностью нести полную ответственность за высказываемое» (рец. на книгу – НДВШ "Филологические науки", 1962, № 3, с. 147–148).

Это утверждение справедливо. И тем более оно справедливо по отношению ко второй книге "Сравнительной грамматики славянских языков" (М., 1974), где рассматриваются разделы "Чередования" и "Именные основы", и где Самуил Борисович проявил себя новатором и своего рода "первопроходцем", т. к. до сих пор в

славистике ни в одной сравнительной грамматике морфонологические проблемы не рассматривались с такой полнотой и тщательностью.

Естественно, что два фундаментальных тома по сравнительной грамматике возникли не сразу: им предшествовала и их сопровождала большая работа по тем же и смежным темам, отраженная в ряде статей и в докладах на международных съездах и всесоюзных конференциях. Имеются в виду такие публикации, как "Очередные проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков" (1961), "Методы и задачи изучения истории значений и функции падежей в славянских языках" (1958), "Введение в славянскую морфонологию" (1968), "К истории праславянского аблаута" (1964), "К истории слога в праславянском языке" (1963), "Контракция и структура слога в славянских языках" (1968), "К проблеме именных основ в славянских языках" (1970). Трудно назвать другого слависта в нашей стране, который бы внес за последние полвека такой вклад в славянскую сравнительную грамматику, какой внес С. Б. Бернштейн.

История болгарского языка и его историческая диалектология – еще одна область, в которую юбиляр внес свой посильный и ощутимый вклад. В 1946 г. после публичного диспута, в котором оппонентами были Н. С. Державин, Л. А. Булаховский и Б. А. Ларин, на тему "Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. Язык валашских грамот XIV–XV веков" Самуилу Борисовичу было присвоено звание доктора филологических наук, а два года спустя в 1948 г. вышла в свет книга под тем же названием, получившая признание ученых-специалистов (И. Дуйчева, И. Лекова, Г. Нандриша и др.). Самуил Борисович предлагает обоснованную им периодизацию болгарского языка (1950), на которую откликается известный чешский славист К. Горалек, разрабатывает вопрос об изучении разных редакций болгарских переводов "Сокровища" Дамаскина Студита как источников для истории болгарского языка (1957), обращается к проблемам истории болгарского литературного языка, к основным принципам ее построения (1963). Несомненную ценность представляют и небольшие по объему статьи по старославянскому (о возможности реконструкции восточноболгарской редакции IX–X веков; о чехоморавизме ЧьСО) и македонскому языку (о 3-м лице ед. числа наст. времени, о газете "Вардар" К. П. Мисиркова), по русской диалектологии (о происхождении цоканья), по болгарской диалектологии (черты говоров болгар в СССР и юго-восточных говоров в Болгарии) и болгарской лексикологии и лексикографии.

Не остался Самуил Борисович безучастным к основному вопросу славянской филологии (по определению Ягича) – к кирилло-мефодиевскому вопросу. Деятельности солунских братьев он посвятил книгу "Константин-философ и Мефодий". Начальные главы "Из истории славянской письменности" (1984), в которой подводятся итог полуторавековому отечественному изучению обстоятельств и исторического значения возникновения славянской письменности и сакрального славянского языка и вновь рассматриваются источники, дающие возможность описать жизненные пути двух равноапостольных славянских просветителей и их учеников. Это историко-филологическое сочинение справедливо напоминает нам о доброй традиции тщательного и критического анализа первоисточников, о недопустимости различных домыслов и произвольных интерпретаций текста.

Самуил Борисович Бернштейн "выбрал" свой час рождения, для того чтобы в трудную для Российской филологии в России годину не прервать традиции в славяноведении и не изменить научному *credo*, которое в самом начале нашего века принесло славу этой гуманитарной науке. Он принял эстафету Фортунатова – Шахматова – Ильинского – Селищева и передал ее своим ученикам. Вот почему изучение истории славяноведения, и прежде всего истории славяноведения в России было для Самуила Борисовича не побочным или вспомогательным занятием, а делом первостепенным, существенным, необходимым. Его перу принадлежит книга о его учителе "А. М. Селищев – славист-балканист" (М., 1987) и серия научных портретов современников и предшественников – очерки, воспоминания и некрологи о А. И. Томсоне, М. Г. Долобко, П. С. Кузнецове, Б. М. Ляпунове, Н. С. Державине, Л. А. Булаховском, М. В. Сергиевском, В. М. Илличе-Свитыче, М. Фасмере, Э. Петровиче, С. Стойкове, Т. Лере-Сплавинском, А. Теодорове-Балане, И. В. Ягиче, Л. Милетиче, М. С. Дринове, и др. Самуил Борисович был членом редакции серии "Замечательные ученые Московского университета", курируя в ней славистический раздел. Он сам написал книжечку "Вячеслав Николаевич Щепкин" (М., 1955) и был ответственным редактором брошюр о Корше, Бранте и Ильинском. В отдельной работе Самуила Борисовича "Из истории изучения южных славянских языков в России и СССР" (1957) описывается последовательный путь развития исследований языкового южнославянского мира от А. Х. Востокова, К. Ф. Калайдовича, М. Т. Каченовского и Ю. И. Венелина до А. М. Селищева, Н. С. Державина и Л. А. Булаховского. Дополнением к этому очерку была статья "Вклад ученых Московского университета в изучение болгарского языка" (1957). Существенно и участие Самуила

Борисовича в создании монографии "Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян" (М., 1988). Наконец, не забыл Самуил Борисович и о сорабистике, написав очерк "Русское славяноведение о сербо-лужицких языках" (1963).

Самуил Борисович известен как крупный лексикограф, как автор самого большого и авторитетного "Болгарско-русского словаря" (последнее издание: М., 1966; около 58.000 слов). Под его руководством велась работа над однотомным словарем старославянского языка, им написан целый ряд заметок по болгарской лексикологии и лексикографии, этюдов по истории, этимологии и семантике славянских слов.

Таков чрезвычайно широкий диапазон деятельности Самуила Борисовича, деятельности языковеда-слависта, оставшегося при всех ветрах, бурях и неблагоприятных и благоприятных течениях верным своему призванию, научному методу, принятому от учителей и разрабатываемому им самостоятельно. Самуил Борисович привил своим ученикам любовь к славистике, интерес к тем проблемам, которые его волновали – к праславянскому языку, к балтославянским отношениям, к сравнительно-историческому методу, к лингвистической географии, диалектологии, к полевой лингвистической работе, к истории славянского языкознания, ко всей славянской филологии в целом. Кафедра в Московском университете и сектор в Институте славяноведения Академии наук носили название "славянской филологии". Самуил Борисович отвечал за славянскую филологию в целом и развивал ее. Именно поэтому авторы этого сборника – преимущественно филологи, начинавшие свой путь в славистике под руководством юбиляра, который и в наши дни принимает активное участие в жизни Института славяноведения и балканистики и руководит его важным научным звеном – карпатским языкознанием.

Участники сборника, ученики, друзья и сослуживцы преподносят Самуилу Борисовичу с благодарностью за его труд и науку сей скромный сборник и восклицают, согласно старой доброй традиции троекратно: "Многая лета! Многая лета! Многая лета!"

академик Н. И. Толстой

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ОБ ОДНОМ СЕРБО-ЛУЖИЦКОМ АРХАИЗМЕ

Вяч. Вс. Иванов

Как уже приходилось отмечать более 30 лет назад в статье, написанной по предложению С. Б. Бернштейна¹, в славянских языках сохранились некоторые весьма архаичные именные формы на *-r-* и на *-l-* типа **darь/ *danь*, позволяющие восстановить для праславянского гетероклитический тип имен существительных среднего рода с чередованием **-r- / *-n-* (с возможным расширителем *-t-*: **per(k)ur: *per(k)un-t* 'Бог Грозы; скала, дуб', откуда имя громовержца **Perunь*² и т. п.). Хотя работа по выявлению подобных гетероклитических имен продолжалась и позднее, тем не менее некоторые из подобных слов до сих пор не выявлены. Прежде всего это относится к диалектной праславянской лексике, сохранившейся лишь в отдельных языках и поэтому часто не полностью отражаемой в общеславянских словарях.

К числу наиболее любопытных архаизмов указанного типа принадлежат в.-луж. *spar* (Род. пад. *spara*) 'сон', диал. и стар.-в.-луж. *spar', sparja*³, *sparny* 'сонный, сонливый'. Ср. в старых текстах *spiar* (= *spar*), *spar* 'sopor'; *sparné* (= *sparny*) 'somniculosis'; *sparna komora* 'Schlafkammer', 'спальня', н.-луж. *spar',* Род. пад. *sparja* 'сон' (= в.-луж. *spar*, Род. пад. *sparja* 'сон'), прилагат. *sparny, sparna spa* 'спальня', стар. *gaž wocy stej sparny* 'когда глаза слипаются'. На основании этих лужицких форм реконструируется диалектное общеславянское имя действия **sъrарь* 'сон'. относимое к типу **darь. *pirь*⁴. Оно возводится предположительно и к индоевропейскому на основании греч. *σπας*, латин. *sopor* 'сон'⁵. Два последних слова давно уже были сближены с хет. *šupp-arija* 'спать'⁶, который, как и другие хеттские глаголы на *-arija-* (хет. *gimmant-arija-* 'зимовать' от индоевропейского названия 'зимы', *gimm-ant-* 'зима', др.-инд. *hemanta-* с тем же индоевропейским активным суффиксом **-nt-*, хет. *pang-arija-* 'увеличиваться в числе' от хет. *pangar-it* 'в большом числе, целиком – о войске'), образован от основы на *-i-*, ср. слав. **sъrār-ы/г*, либо из **ar-* < **ōr-* / *г* / *δr*, либо из **aHr-* (если

**ъра-ти* предполагает **ъраh-* с ларингальным), в последнем случае сходство с хеттским типом объясняется позднейшей конвергенцией.

Семантически хет. *suparija-* прямо соотносено с приведенными лужицкими формами и их праславянскими прототипами. Как показывают индоевропеистские работы последнего времени, вед. *svap-* < и. е. **syep-* 'спать' не имеют переходного настоящего времени⁷ и как древний глагол второй серии (соответствующей хеттскому спряжению на *-hi*) противопоставлялось активному атематическому типу вед. *saṣti* 'спит', хет. *šešzi*⁸ (хеттский глагол, в частности, в сочетании с превербом *kattan* часто употребляется в переходном сексуальном смысле 'beischlafen', 'спать с кем-либо'⁹). В индоевропейском семантическом поле глаголов, обозначающих сон, строилось на тройном противопоставлении основ **syep-* (рус. *спать*, ст.-слав. СЪПАТИ), **ses-* (хет. *šeš-*, др.-инд. *sa-*), **dr-em-* (в данном контексте изученном Бенвенистом), откуда рус. *дремать*. Первый из этих глаголов принадлежал ко второй (инактивной или субъектной) серии, что формально отразилось и в примете **-ā-*: в.-луж. *spaś* (стар. *spacz*), н.-луж. *spaś* (стар. *spasch*; *spat*, *spatzh* = *spac* 'sompus'). Это **-ā-* как древняя примета глагольной основы на ларингальный может быть непосредственно соотносена с древним типом второй серии (с ларингальными показателями в ряде лиц). Иначе говоря, в этом славянском глаголе (как и в ряде других) **-ā-* < **aH-* может быть не основообразующим гласным, а следом первоначального грамматического класса глагола. Тот же ларингальный показатель в другой модификации отразился в основе на **-iH-* > *-i-* в рус. *спит*, ст.-слав. СЪПИТЬ¹⁰. Но в этом плане крайне интересна и возможная морфологическая семантика тех инактивных именных отглагольных образований на *-r*, след которых виден в в.-луж. *spar*, греч. ὑπνος, латин. *sopor*, а также хет. *suppar-(ija)*.

Так же, как и в паре **darь*/**danь* можно предполагать соотношение праславянской основы на **-rь* (**ърарь*) с основой на **-ni/j-*: в.-луж. *spanje*, ср. р. 'сонливость, сон'; вост. диал. *spani*, *span(j)o*, ср. стар.-в.-луж. *spano* 'tempus', *tey spani*, дв. ч., *spanje*, *spani*; н.-луж. *spanje* (ср. стар. *spane* 'сон'), также в диалектах (в переходных говорах между в.-луж. и н.-луж.), тогда как в собственно нижнелужицком вместо него используется синоним *psyki*. Первоначально имя действия усматривается в родственном луж. *spanje*, польск. диал. (силезск.) *spány* 'сонливость, сонность', чеш. *spánek* 'сонливость', ср. словен. диал. *sence* (ср. р.). Судя по географическому распространению этого слова можно предположить, что оно представляет собой кальку нем. *Schläfe*, тогда как исконным лужицким словом в этом значении было *skroń*¹¹, ср. к исходному

значению **ъранj-* рус. *спанье* (ср. от основы **sonь* – **ъnje*, болг. *сънь*).

Пара гетероклитических основ **ърарь*/**ъран* – *jь-* образована от общеславянского глагола с архаическим типом основы. Хотя этот глагол и не прямо продолжает индоевропейский тип второй глагольной серии, в праславянском трансформировавшийся, все же не приходится сомневаться в том, что эти именные гетероклитические производные отражают ранний этап формирования славянских именных парадигм.

Примечания:

1. Иванов Вяч. Вс. О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков. – Вопросы славянского языкознания, вып. 2. М., 1957. Обзор дальнейших работ Х. Бирнбаума, Р. Эккерта и других славистов по обнаружению в праславянском следов индоевропейских гетероклитических парадигм см. Бирнбаум Х. Праславянский язык: Достижения и проблемы в его реконструкции. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1987, там же библиография.
2. Nagy G. Greek mythology and poetics (Myth and Poetics, a series ed. by G. Nagy). Ithaca and London. Cornell University Press, 1990, pp. 181–201 с указанием обширной литературы вопроса о предыстории имени Перуна в праславянском.
3. Sorbischer Sprachatlas, Bd. 5, Kart. 55. Bautzen, 1965.
4. См. об этом типе: Иванов Вяч. Вс. История семантического поля слов, обозначающих дар и обмен, в славянском. – Славянское и балканское языкознание. М.: Наука, 1975, с. 50–78.
5. Schuster-Šewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, 18 (*snjele-šćageŕ*). 1986, S. 1337.
6. Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М.: Наука, 1981, с. 118.
7. Jamison S. W. "Sleep" in Vedic and Indo-European. – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, 1982 (1983), Bd. 96, S. 6–16.
8. Barton Ch. R. PIE **syep-* and **ses-*: – Die Sprache, 1985, Bd. 31, H.1, S. 17–39. См. также: Mayrhofer M. Hethitisches und arisches Lexikon, Indogermanische Forschungen, 1965, Bd. 70, S. 245–257, ср. о семантических различиях особенно S. 249–251.
9. Иванов Вяч. Вс. Из истории индоевропейской лексики клинописного хеттского языка. – Переднеазиатский сборник. Вопросы хеттологии и хурритологии. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1961, с. 192–233.
10. Ср. Barton Ch. R. Op. cit., с. 33; ср. Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол, с. 128.
11. Schuster-Šewc H. Op. cit., S. 1337.

ЮЖНОСЛАВЯНСКО-ВОСТОЧНОБАЛТИЙСКИЕ СХОЖДЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ОБРЯДНОСТИ:

С.-ХОРВ. *BĀDNĪ VĚĀĀ(R)*, БОЛГ. БЪДНИ ВЕЧЕР

И ЛАТЫШ. *BLUKU VAKARS*

Р. Эккерт

С радостью и благодарностью посвящаю эту заметку своему учителю, глубокоуважаемому Самуилу Борисовичу. Чем больше времени удаляет меня от студенческих лет в Москве, тем ярче ощущаю с какой огромной суггестивной силой Самуил Борисович прививал нам, своим ученикам, вкус и любовь к историческому языкознанию, открывая перед нашими глазами тайны праславянского и близких его соседей балтийских языков. И только теперь мы осознаем всю значительность его многогранной деятельности в сохранении и развитии лучших традиций русского языковедения вопреки всем трудностям и опасностям нашего жестокого века. Нет истинного прогресса в науке без преемственности!

Связям южнославянского обряда **bъdникъ*, **bъdнjакъ* с другими индоевропейскими традициями посвящены работы В. В. Иванова и В. Н. Топорова¹, а отношениями этого ритуала внутри славянского (и отчасти балтийского) ареала занимался Н. И. Толстой². Несмотря на глубокие исследования данного обряда и его соответствий в родственных традициях до последнего времени остались незамеченными некоторые его явные связи с соответствующим обрядом у латышей и литовцев.

Начинаем наш анализ с южнославянских данных. Наиболее полный материал представлен в сербохорватском языке и его говорах. Ср. с.-хорв. *bādnjak* 'большое дубовое полено, которое в ночь Рождества Христова кладут на огонь'; 'колода, ветки, сжигаемые в сочельник'. И вырубка бадняка, и несение его в дом (иногда его тащат на волах) сопровождаются определенными ритуалами (песнями, поливанием медом, вином и посыпанием зерном). Иногда различают три бадняка: *Бадњак*, *Бадњачица*, его жена, и *Божикъ*, их сын. В других местах противопоставляют *Стари Бадњак*

и *Мали Божикъ*, олицетворения Старого и Нового года. Кроме того *бадњак* означает ещё лепешку, которую пекут в сочельник и сам сочельник³. День перед Рождеством называется *bādnī dān*, а сочельник – *bādnī vēčē* или *bādnī vēčēr*.

Болг. *бъдникъ* А. Дювернуа⁴ определяет как 1. 'канун Рождества Христова' 2. 'рождественский пирог' и 3. 'рождественское полено из очага, в котором пекли *бъдникъ*, сохраняющееся в легком тлении до Богоявления (3-й *бъдникъ*). Для *бъдни вечеръ* он дает значения: 1. 'канун Рождества Христова, сочельник' 2. 'канун Нового года' и 3. 'канун св. Богоявления'. В конце словарной статьи *бъдникъ* Дювернуа помещает ещё ссылку на слово *закладъ* 'толстое полено, которое зажигают накануне Рождества, и оно тлеет понемногу до Богоявления'⁵. В Болгарском этимологическом словаре⁶ болг. диал. *закладъ* убедительно относят к слову *кладá* 'класть; раскладывать, разжигать', ср. болг. *кладá огън*, чеш. *klast oheň*, слвц. *klást' oheň*, ст.-польск. *ogień klaśc* 'разжигать костер', а также болг. диал. *прекладá*, *прекладник* 'пень-бъдник'.

В болгарском толковом словаре Ст. Младенова⁷ наряду с *бъдник* и *бъдни вечер* приводится ещё болг. диал. *бъднѣк* 1. 'обрядовый хлеб, который изготавливают в сочельник', 2. 'лепешка или новогодний слоеный пирог с монетой' и 3. 'рождественный пень, большой чурбан на очаге под канун сочельника'.

Соответствующее македонское слово, а именно *бадняк* со значениями 'сочельник' и 'дубовые ветки, сжигаемые в сочельник' приводится в краковском праславянском словаре⁸.

Для словенского языка можно указать на диал. (Beli Kranjci) *bādnik* 'der Christabend'⁹ и *bādnjak* 'день перед Рождеством'¹⁰.

Таким образом, слова **bъdникъ*, **bъdнjакъ* распространены во всех южнославянских языках. Этимологи Ст. Младенов¹¹ и П. Скок¹² предполагают в случае с.-хорв. *bādnī vēčē(r)* и болг. *бъдни вечер* калькирование христианского термина: латин. *vigiliae* 'ночное бдение в ночь Рождества Христова', ср. французск. *veille de Noël* и итал. *vigilia del Natale*.

Этимологический словарь славянских языков (вып. 3, М., 1976, с. 114), новый Болгарский этимологический словарь и Этимологический словарь словенского языка Ф. Безлая указывают лишь на связь болг. *бъдник*, словен. *bādnik* с глаголом прасл. **bъděti*. Распространение данных слов и оборотов только в южнославянских языках [предполагает] влияние со стороны латин. *vigiliae* 'ночное бдение' и *vigilare* 'бдеть', хотя обряд носит несомненно дохристианские, языческие черты: сжигание колоды, пня, полена с некоторыми антропоморфными признаками, указывающими на то, что этот чурбан олицетворял старика и старый год; элементы ритуала,

связанные с культом плодородия (поливание бадняка медом, вином, молоком; обсыпание зерном).

В. Н. Топоров¹³ предлагает иную этимологию, исключаящую связь слов **bьdникъ* и рус. *будни* с *будить* и *бдеть* (возможно, последнее является вторичным народно-этимологическим сближением). Он убедительно доказывает этимологическую связь с.-хорв. *бадняк* (и соответствующих других южнославянских слов и переданных ими ритуалов) с др. инд. *Ahi Budhnya* 'Змея Глубин' и греч. Πύθων 'Змея, Пифон, поражаемая Аполлоном', в которых содержится и.-е. **budhn-*.

Непосредственное отношение к нашей теме имеет его наблюдение, согласно которому в сербохорватской традиции при сжигании бадняка (медленном, иногда в течение двух суток) бьют по нему, чтобы сыпались искры, а это сопровождается пожеланием, чтобы было столько волов, коней, коз, овец, свиней, ульев, счастья, сколько искр¹⁴. В. Н. Топоров считает битье бадняка одним из характернейших мотивов этого обряда и сравнивает его с следующим архаичным рождественским обрядом у северных албанцев: Юноша несет в дом кусок ствола, именуемый Буземом. В конце ритуальной трапезы старейший в доме берет две головки от сгоревшего Бузема и идет к скоту, в сад и т. д., выбивая из головней искры. При этом предполагается, что количество искр определяет приплод скота и урожай¹⁵.

В связи с этим большой интерес представляет деталь из описания разных ритуальных действий, связанных с болг. бьдником: бьдник представляет собой большой пень, пёнышек, который положили гореть в сочельник (в бьдни вечер) и за которым присматривают, чтобы он медленно тлел до Нового года (втори бьдни вечер) и до трети бьдни вечер, т. е. до праздника Богоявления. Этот бьдник сжигают и стучают (бьют), чтобы от него летели искры, за ним присматривают в течение целой ночи, чтобы он не погас, а в раскаленные угли кидают монеты¹⁶.

Южнославянскому обряду довольно точно соответствует культ, связанный с колодой, чурбаном в сочельник у латышей и литовцев. Так как до сих пор на это не обращалось достаточного внимания, привожу соответствующие данные из восточно-балтийских языков:

Из календарной обрядности латышей известен так называемый *bluku vakars*. Речь идет о вечере перед Рождеством, когда сельские жители с торжественным весельем волокут колоду и сжигают её. В латышских народных песнях встречается выражение: *ziemas svētki blukji vilka* – BW 33292 'в зимний праздник волокли колоду'¹⁷.

Латыш. *blukji vilka* точно соответствует литов. *blūka vilkti*¹⁸. Это старый рождественский обряд, состоящий в том, что молодые

мужчины ходили по дворам и пели, за что их угощали хозяева. Более подробно этот обряд описывает С. Даукантас (Довконт): Pashkui [per Kalėdų šventę] vilko bluką, per kiemus, beje, senuosius metus tabalus mušdami¹⁹ 'Во время рождественского праздника они волокли колоду по дворам как олицетворение старого года, при этом били в качающийся чурбан'. Из района Кретинги (Kretinga) известен ещё следующий пример: Tas bluko vilkimas toks tebuvo, kad mergės ir vaikai giedojo juokais "bernelius": tabalai, visi garbin tavę. Это волочение колоды происходило так, что девки и парни шутили пели о "мальчике" (т. е. о маленьком Иисусе. – Р. Э.): 'табалалай, табалалай, все тебя уважают'.

Даукантас сообщает ещё, что после того как волокли колоду по дворам, ее сжигали в знак прошедшего года (vilko bluką, per kiemus... Paskou tou bluka sodegino kaipu sunki praejusiu meta²⁰).

В следующем примере сочетание *bluką vilkti* ещё связано с этим обрядом, но намечается уже определенный семантический сдвиг, начинается превращение сочетания в фразеологизм: *bluką vilkti* – seniau kaimiečiai po Kalėdų eidavo vieni prie kitų pasikalbėti, tas pasikalbėjimas vadinasi "bluko vilkimas": Aš einu pas Šleiniene *bluką vilkti* (около г. Кретинга)²¹. Перевод: 'bluką vilkti – раньше деревенские жители после Рождества ходили друг к другу поговорить, этот разговор назывался "bluko vilkimas" (дословно: 'волочение колоды'): Я иду к Шлейниене поговорить (поболтать)'.
Наконец, сочетание *bluką nešti <vilkti>* полностью превращается в фразеологизм, когда связь с выше упомянутым обрядом теряется. В этом случае при помощи фраземы *bluką nešti* и её варианта *bluką vilkti* обозначается следующая шуточная игра: При валке сукна, перчаток и носков посылают кого-нибудь, кто не знает эту шутку, к соседям брать колоду, определенный прибор; сосед, однако, кладет тяжелый предмет в мешок (иногда мясо, сыр или другую мелочь) и велит осторожно нести. Порою это называют *parnešti bluką* (дословно: 'приносить колоду') или *tūbelį parnešti* (дословно: 'войлок приносить').

Здесь совпадают не только такие моменты южнославянского и восточно-балтийского обряда как "волочение колоды" в сочельник по домам и дворам; почтительное обращение к этому чурбану; отождествление колоды со стариком (в литовском обряде кроме молодых парней, так называемых *blukvilčiai*, дословно "таскатели колоды", принимает ещё участие старик *Juozapas*), но и такие очень важные детали как битье колоды и сожжение её.

К рассмотренным оборотам латыш. *blukji vilka*, литов. *bluką vilkti <nešti, parnešti>*. Н. И. Толстой приводит ещё литов. *atvilkti kaladę* 'притащить колоду' и литов. *atvėžti silkę* (дословно: 'привез-

ти селедку'), которые обозначают обряд исполняемый в так называемый Пепельный день, в Пепельную среду (литов. *Pelenija*, нем. *Aschermittwoch*), в первый день после Заговен в самом начале Великого поста. Здесь же он ещё цитирует описание обряда волочения колоды у латышей П. Эйнхорна с XVII в.: "... справляют бесстыдное празднество, с обжорством, пьянством, танцами, пляскою и криками, ходя от одного дома к другому с таким ужасным кликаньем, что канун Рождества у них не иначе называется, как танцевальный вечер... Тот же вечер называется также *Bluckwackar* (ср. выше приведенное латыш. *blukc vakars*. – P. Э.), т. е. колодный вечер, ибо в это время они развозят колоду с большим криком, а после сжигают, в чем находят особенную радость"²². Эта цитата свидетельствует о живучести языческого обряда с волочением колоды у латышей в XVII в.

Замечательно, что Н. И. Толстой нашёл соответствия для этого обряда южных славян (бадняк в Сербии), литовцев и латышей в восточнославянском ареале, в частности у украинцев, которые справляли обряд *волочити колодку* или *Колодий* на масленицу в канун поста²².

Можно привести ещё один пример, свидетельствующий о том, что выше описываемый обряд, по-видимому, был известен и другим восточным славянам, в частности русским, причем в данном случае обнаруживаются очень тесные литовско-русские языковые связи. Речь идет о русском фразеологизме *табалу бить*²⁴; 'шататься без дела, резвиться, шалить'²⁵. Это диалектная фразема, которую словари современного русского литературного языка не фиксируют. В. М. Мокиенко²⁶ цитирует русск. диал. (тверск.) *шаболды бить* 'бездельничать' и устанавливает структурно-семантическую модель 'бить, сбивать деревянные чурки, бабки' = 'бездельничать'.

Ещё А. Брюкнер²⁷ предполагал, правда с сомнениями, заимствование литов. *tabaloti* 'verwirren'; ст.-литов. *tabalkà* 'Landstreicher' из русск. *tabalu bit'* 'müßig sein'. Э. Френкель²⁸, не принимая этого, всё же допускает, что литов. *tabalus mušti* может быть калькой из русского *tabalu bit'*.

На самом деле обстоит как раз наоборот. Русский диалектный фразеологизм несомненно является полукалькой из литовского. Русский язык взял не только структуру литовского оборота *tābala mušti*, но и один из компонентов, а именно слово *tābalas*. Это слово на русской или славянской почве не этимологизируется, оно занимает изолированное положение и в словообразовательной системе русского языка.

Совсем по-другому обстоит дело с литов. *tābalas*, который входит в развитую деривативную систему и в состав целого ряда фразеологизмов в литовском языке. Ср. *tābalas* 1. 'качающийся предмет' 2. 'определенная игра, когда лежат на земле и ногами и руками бьют о землю' 3. 'бродяга'; *tabalūoti*, диал. *tābaluoti* 1. 'качаться, болтаться' 2. 'болтать ногами' 3. 'качать (головой)' 4. 'бродить, шататься' и т. д.²⁹.

Литовская фразема *tabalus mušti* встречается у Даукантаса при описании обряда волочения колоды: "... vilko bluką per kiemus, beje, senuosius metus tabalus mušdami. Л. Гейтлер³⁰ перевел это место при помощи 'auf die Trommeln schlagend; а Э. Френкель³¹ 'Purzelbäume schlagend'. Нам кажется, что то и другое не очень подходит по смыслу. Скорее всего первоначально *mušti tabalus* означало 'битье по качающейся колоде'. Мы исходим из того, что литов. *tābalas* является синонимом лит. *blukas u kaladė*³², причем не случайно, что эта колода отождествлялась со стариком и старым годом³³. Сравните выше упомянутое битье бадняка, чтобы искры сыпались – в Сербии и Болгарии. Некоторую трудность в нашем объяснении представляет форма множественного числа в обороте из Даукантаса. По этой причине, видимо, А. Greimas³⁴ трактует *tabalaĩ* как 'народный музыкальный инструмент, состоящий из дощечек, в которые ударяли при помощи палочек'. Такое значение действительно засвидетельствовано для литов. *tabalaĩ* (мн. ч.). Однако трудно себе представить, чтобы этот музыкальный инструмент, который предполагает тверую (неподвижную) установку этих дощечек или досок, в которые ударяют, мог играть какую-то роль в обряде волочения колоды.

Может быть форма мн. ч. в обороте *tabalus mušti* возникла под влиянием междометия *tabalaĩ*, которая встречается нередко в текстах, описывающих обряд. Ср. помимо уже упомянутого ... *tabalai, tabalai, visi garbin tavę!* ещё следующую цитату из Даукантаса: "... волокли колоду... по дворам, *tabalus mušdamis* и пели при этом песни: *tabataj, taj, taj, Judink seni kaufus, óp, óp, óp, sódauszk raikū deinàs...*" 'табалай, тай, тай, тай; вытряси, старик, твои кости, уп, уп, бей в ладони'³⁵.

Литов. фразеологизм *tābala mušti* имеет значение 1. 'играть в такую игру, при которой лёжа на спине (или на животе) руками вертят вокруг ушей, ногами болтают и бедрами качают' 2. 'при плавании или лёжа махать (бить) ногами и руками'. По всей вероятности эти значения данной фраземы развились, когда она уже не была связана с ситуацией обряда.

Данные материалы представляют, таким образом, не только большой интерес для сравнительного изучения славянской и балтийской обрядности, но и для исторической фразеологии этих языков³⁶.

Примечания:

1. Ср. Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974, с. 39 и след. Ср. кроме того специальные работы Топорова В. Н.: ПУΘΩΝ, АНИ ВУДНУА, БАДНЯК и др. – Этимология 1974. М., 1976, с. 3–15; Он же. Ещё раз об и.-е. *ВУДН- (: ВНЕУДН-); – Этимология 1976. М., 1978, с. 135–153.
2. Толстой Н. И. Три обряда: лит. kaladė, укр. колодий, серб. бадняк. – Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов Второй балто-славянской конференции. М., 1983; Он же. Балкано-славянский Бадняк в общеславянской перспективе. – Балканы в контексте Средиземноморья. Проблемы реконструкции языка и культуры. Тезисы докладов. М., 1986, с. 128–131.
3. Ср. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, dio I. U Zagrebu, 1880–1882, с. 147–148; Речник српско-хрватског књижевног и народног језика, књ. I. Београд, 1959, с. 236.
4. Словарь болгарского языка. По памятникам народной словесности и произведениям новейшей печати. Составил А. Дювернуа, вып. 1. М., 1886, с. 184–186.
5. Там же, вып. 3. М., 1887, с. 684.
6. Български етимологичен речник, св. XIII–XIV (т. II). София, 1977, с. 411–412.
7. Български тълковен речник с оглед към народните говори стъпки проф. д-р. Ст. Младенов, т. I. София, 1951, с. 235–237.
8. Słownik prastowiański, I. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1974, с. 459.
9. Pletersnik M. Slovensko-nemški slovar, I. V Ljubljani, 1894, с. 9.
10. Bezla F. Etimološki slovar slovenskega jezika, I. Ljubljana, 1977, с. 8.
11. Младенов Ст. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941, с. 52.
12. Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I. Zagreb, 1971, с. 128.
13. Этимология 1974. М., 1976, с. 12.
14. Там же, с. 10.
15. Там же, с. 15.
16. Младенов Ст. Български тълковен речник, I, с. 236.
17. Mühlénbach K. Lettisch-deutsches Wörterbuch. Redigiert, ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin. I. Riga, 1923–1925, с. 317–318.
18. Lietuvių kalbos žodynas (сокр. LKŽ), I², Vilnius, 1968, с. 949.
19. LKŽ, I¹, Vilnius, 1941, с. 774.
20. LKŽ, K (картотека LKŽ в Вильнюсе).
21. LKŽ, K.
22. Толстой Н. И. Три обряда..., с. 46–47.
23. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка под ред. проф. И. А. Бодуэна-де Куртене, IV. СПб., 1909, с. 384.
24. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук, IV. СПб., 1847, с. 558.
25. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, IV. М., 1973, с. 5–6.
26. Мокиенко В. М. Славянская фразеология, изд. 2-ое, М., 1989, с. 86.
27. Brückner A. Die slawischen Fremdwörter im Litauischen, Weimar, 1877, с. 144.
28. Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg-Göttingen, 1955 (сокр. LEW), с. 1047–1048.

29. Wörterbuch der litauischen Schriftsprache, IV. Heidelberg, 1963, с. 580–581.
30. Geitler L. Beiträge zur litauischen Dialektologie (Wiener Sitzungsberichte, phil.-hist. Klasse C VIII B). Wien, 1885, с. 401.
31. LEW, с. 1047–1048.
32. Ср. Велюс Н. Стения вяльняса в литовском фольклоре. – Балто-славянские исследования 1981. М., 1982, с. 125.
33. О сравнении пня-колоды со старым мужем в восточнославянской и латышской фольклорных традициях ср. Eckert R. Der lettische Blocksabend und seine Entsprechungen im Litauischen, Serbokroatischen und Bulgarischen (Brauchtum – Sprache – Folklorismus) – (в печати).
34. Greimas A. Tawals – deus auctor facultatum. – Baltistica, XI (2). Vilnius, 1975, с. 181–184.
35. Daukantas S. Būdas senoves lietuvių kalnenu ir žemaičių. Petersburg, 1845, с. 142.
36. Недавно Судник Т. М. указала еще на связь бадняка с белорусским словом спарыш и с с.-хорв. главъа, главъица, болг. главня, главница 'обгорелое или тлеющее полено; передняя часть, голова бадняка; Судник Т. М. К балто-балканским параллелям из области мифологии и фольклора (еще о "змеиной" теме). – Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы, София, 30. VIII – 6. IX. 1989. Проблемы культуры. М., 1989, с. 164.

"СОЛЁНЫЙ БОЛГАРИН"

Н. И. Толстой

В конце семидесятых и в самом начале восьмидесятых годов мне посчастливилось вступить в переписку с Афанасием Никитичем (он писал: "Никитовичем") Добровым, болгаринном из села Ольшанка, что в нынешней Кировоградской области [1]. А. Н. Добров выслал мне два своих небольших рукописных сборника под названием "Этнография и фольклор Ольшанских болгар". В сборнике № 2" на 6-й странице под общим заголовком "Языческие обряды" и под вторым заголовком "Солёный и "лютый" болгарин" помещено следующее описание любопытного обычая, которое приводится нами без изменения и корректив.

« В 1929–1932 годах я учился на берегу Азовского моря в педагогическом техникуме, в селе Преслав. Как-то с однокурсником Михаилом Стойчевым пошли купаться. Лежа на песке естественного пляжа, я обратил внимание на такую деталь. Тело его было в бронзовом загаре, но по телу были какие-то белые черточки. Когда я спросил, что это такое, он мне рассказал, что за обрядами (согласно обрядам. – Н. Т.) приазовских болгар, когда ребенок только родился, и еще к груди (грудь. – Н. Т.) матери не дотрагивался, бабки-повитухи стелили рядом на пол, ложили (клали. – Н. Т.) на него ребенка, ложились сами кругом него, образуя круг, (делали. – Н. Т.) несколько надразов бритвой на теле новорожденного, а потом (его. – Н. Т.) присаливали. Конечно, ребенок плакал, но его обмывали и давали матери кормить. Этого обряда сейчас нет. Отсюда и пошло – "солёный болгарин". Ольшанские болгары привезли с собой другой языческий обряд. Когда лишь только родился ребенок и еще его не кормила мать, бабка-повитуха брала красный горький перец, растирала его в ложке с водой и той прегорькой настойкой перца напывала (натирала. – Н. Т.) ребенка. Конечно, тоже был неимоверный плач ребенка, тут же его отдавали матери для кормления. С этого и пошло – "лютый болгарин"».

То, что в этом описании предлагается нам не анекдот, не легенда, не выдуманный сюжет или мотив для объяснения фразеологизма, кстати, не отмеченного болгарскими фразеологическими словарями [2], а подлинный обычай или обряд, бытовавший в среде

болгар, свидетельствует не только пояснение Михаила Стойчева, но и утверждение Христо Вакарелского, что "для болгар характерно соление ("осоляването") новорожденного", которое "происходит обыкновенно на третий день после рождения: после купания солят ребенка, покрывая толстым слоем мелкой соли все члены тела, кроме головы. В таком виде его повивают и оставляют на ночь, а затем снова его купают." Крупнейший болгарский этнограф поясняет, что постоянная мотивировка этой процедуры следующая: чтобы не было плохого запаха от пота – "да не мирише на лошо потта му" [3].

Этот пасус приводится из хорошо известной обобщающей монографии ученого "Этнография Болгарии". В ней нет сведений по географии описанного обряда. Можно лишь предположить, что он довольно широко распространен, хотя в книге Д. Маринова о народной вере и религиозных обычаях болгар этот обряд не упоминается [4]. В отдельных случаях, например, в довольно подробном описании быта и верований банатских болгар есть попутное замечание об отсутствии такого обряда ("нямат обичай да посолват бебето") [5]. Все это говорит скорее об известности, чем повсеместности обряда соления ребенка. Приведем имеющийся в нашем распоряжении материал, который, естественно, неполон.

В 1931 г., описывая говор и быт хырцоев из Разграда и Разградской округи, М. Ангелова сообщила, что хырцой после рождения солят ("осолят") младенца [6]. Этот факт для той же зоны подтвердил спустя более чем полвека С. Генчев, сообщивший в монографии "Капанци", что ребенка солит ("детето бива осолявано") бабка-повитуха на второй день во время его ритуального купания [7]. Тот же Х. Вакарелски, описывая семейные обряды в Пангюриште и его округе, свидетельствует, что "соление" новорожденного широко распространено. "В прошлом, – пишет известный болгарский этнограф, – повсеместно также практиковалось "солёно-то", "посоляването" ребенка. Это происходило на второй или третий день после его рождения. Все тело новорожденного посыпалось довольно значительным количеством мелкой соли, и в таком виде спеленутый и повитый ребенок оставался пять-шесть (Пангюриште) или даже двадцать четыре часа (Обориште). Это действие всегда и всюду объяснялось тем, что таким образом кожа младенца не станет покрываться дурно пахнущим потом. Некоторые смешивают соль с сырым яйцом" [8].

В Пиринской Македонии в с. Бобошево (Дупнишко), как сообщает И. П. Кепов, "ребенка, как только он родится, взвешивают на весах, но не смотрят, каков его вес, чтобы на него не действовала ворожба и дьявол. После этого его купают в прохладной воде и

затем посыпают ("посолват") просеянным пеплом, чтобы он не потел и не пахла плохо его кожа и его пот" [9]. В этом случае вместо соли употребляется пепел, хотя и говорится, что ребенка "посолват"; к тому же ритуал "соления" сопряжен с ритуалом взвешивания. В среде капанцев, как отмечает С. Генчев, "осоляването" происходит на второй день одновременно не только с купанием, но и с каждением. Для обряда каждения домашние готовят "питу" (булку хлеба) без украшений и еду в зависимости от времени года. При этом бабка-повитуха кадит, держа в руках печную лопатку с ладаном или только базилик и соль, а также домашнюю "питу" и то, что принесли гости. Кадит она все помещение и притом произносит благопожелания ("благославя"). К этому С. Генчев добавляет, что "общее осмысление этого соления ("осоляването") сводится к тому, что оно затем оградит ребенка от неприятного запаха пота" [7].

Именно это осмысление зафиксировано Х. Вакарелским в начале 30-х годов нашего века и у болгар, эмигрировавших из Южной Фракии после Балканской и Первой мировой войны. Фракийские болгары посыпали новорожденного солью целиком на первый или второй день после его рождения. Сутки его держали в соли, "чтобы он не потел и от него не исходило плохого запаха, как от турка" ("да не се запáрува и да не мерíше на лóшу като тóрчина"). Болгары из с. Ятрос, что на востоке Европейской Турции, "солили" новорожденного на второй день, "чтобы он не потел и не издавал плохой запах" ("да не се запáрува, да не се фун'áва"), а из с. Лезар около г. Малгара, что на юго-западе Европейской Турции, новорожденного оставляли в соли первую, вторую и третью ночь. При этом соль для соления ребенка специально толкли и затем просеивали через сито. Солили ребенка, "чтобы он не потел, когда вырастет большой", т. к. "турки не солят детей и потому плохо пахнут". Этот же довод приводили бывшие жители с. Сатынкёй (в Европейской Турции восточнее Люлебургаса). Они солили ребенка на третий день, чтобы от него потом не пахло, как от турка ("за да не мирише като турчин"). Наконец, в тот же третий день после рождения, болгары из с. Габрово, что севернее г. Ксанти (нынешняя восточная Греция) тоже на третий день от рождения высыпали в воду, в которой купали ребенка, две горсти соли [10]. Такую довольно подробную свидетельствую Х. Вакарелского о собранном им материале в среде фракийских болгар-мигрантов.

Из изложенных фактов видно, что мотивация обряда ("от пота или запаха пота") весьма устойчива, вероятно, почти повсеместна, где бытует обряд и, как показывает дополнительный

материал, едва ли первична. Но об этом после обозрения других родинных и иных ритуалов, в которых пользуются солью.

В некоторых районах Болгарии, в частности в селах Кнежа и Вутя, младенца, принесенного после крещения из церкви в дом, встречают на пороге с булкой хлеба, с солью и с вином, "чтобы было в доме изобилие и чтобы оно всю жизнь сопровождало ребенка" [4]. В с. Скрыт Петричской околии, согласно наблюдениям И. Георгиевой, на третий вечер после рождения ребенка готовят специальный хлеб ("погачу"), при этом тесто для него мешают сестренка зеленой виноградной веточкой. Помимо хлеба кладут на стол или у стола соль, мед, сладкую еду ("блага манджа"), деньги, монисто из монет, фрукты, лемех "в качестве символов плодородия" [11]. В других болгарских ритуалах соль выступает в апотропеической функции, предупреждая и отклоняя недоброе. У уже упоминавшихся капанцев и у многих болгар других этнических групп недавно родившая женщина ("лехуса") не должна ходить за водой к обществу источнику, месить хлеб и готовить еду для всей семьи, т. к. все это может испортиться из-за ее нечистоты, длящейся сорок дней. При крайней необходимости, чтобы вода в колодце не испортилась ("да не се развали"), "лехуса" должна принести из дома столовую соль и бросить ее в колодец, но лучше все-же попросить другую женщину принести воды [7]. Такое же поверие отмечено тем же С. Генчевым в Добрудже, где верят, что колодец может зачервиветь от того, что "лехуса" возьмет воду. Чтобы это не произошло, "лехуса" должна, перед тем как брать воду, вылить в колодец немного воды, принесенной из дому, посыпать соли или опустить в воду железо [12]. Нечистота, а отсюда и опасность для окружающих недавно родившей женщины ("лехусы") прекращается через сорок дней, и она становится просто кормящей матерью. Этот день также отмечается небольшим ритуалом – у катанцев матери дают хлеб и соль, "чтобы у нее было молоко" [7]. Таким образом, выявляется еще одна мотивация употребления соли, правда вкуче с хлебом, которую можно считать частным случаем мотивации изобилия. Это подтверждается и следующим примером. В с. Чоба и в некоторых других селах Пловдивского края сразу после рождения ребенка, реже на другой день, месят обрядовый хлеб – "питу", который часто называется "богородичина пита". При этом первый кусок "питы" вместе с солью дают роженице, чтобы у нее прибывало молоко ("че да и се спуща млякото"). На "питу" мать роженицы кладет одежку и повойник для ребенка с красным узором и с пришитой к нему денежкой от сглаза [13].

Обряды, связанные с приплодом скота, в частности с отелом коровы, как уже было замечено, нередко повторяют или модифи-

цируют обряды, исполняемые при рождении ребенка. В Пловдивском крае, "когда отелится корова, пастуху несут "питу", немного меду, сахара и соль, положенную сверху на "питу". Пастух отламывает от "питы" кусок, дает его корове, а половину булки возвращает хозяйке, чтобы та, разломав ее на кусочки, раздала их первым встречным" [13].

Едва ли следует напоминать, что обычай встречать с хлебом-солью связан не только с рождением или крещением ребенка. У болгар и у других славян он присутствует и ярко выделяется и в свадебном обряде, и при встрече почетного гостя, и при уборке урожая, и во многих других случаях. Так что приведенные выше примеры встречи и угощения ребенка и молодой матери относятся в большой ряд подобных ритуалов семейных и других обычаев. Добавим к этому ряду несколько любопытных случаев, зафиксированных у болгар. Так, по свидетельству И. Георгиевой, в некоторых селах Болгарии с появлением молодого месяца ("нов месяц") месят и пекут пресный хлеб, посыпают его солью и раздают вместе с брынзой ближним и дальним соседям [11]. В Добрудже на Юрьев день режут ягненка в качестве ритуальной жертвы ("курбан"). Перед закланием хозяин дает ягненку освященной соли ("очетена сол"), хлеба или отрубей, крестит ему лоб и кадит его кадильницей. Там же в тот же день к общинной сельской трапезе приносят поджаренного на вертеле ягненка, хлеба, свежей брынзы и молодого чеснока. При этом в селах Обориште и Церква каждый получающий свою долю еды кладет в посудину немного соли и с солью возвращает посудину своей хозяйке. Это делается для того, чтобы скот был здоров [12]. Таким образом, фиксируется еще одна мотивация – для здоровья.

Типично апотропеические действия с солью производятся в ритуалах, направленных против чумы. Так, по свидетельству Д. Маринова, у болгар распространено представление, что чума ходит со своим ребенком ("чуминче"). Чтобы смирить ее во время эпидемии, почти в каждом доме готовились корыто, гребень, губка и ставился вечером рядом с корытом котел с теплой водой, чтобы чума, если бы она пришла ночью, могла умыться и вымыть ребенка. Кроме того для нее выставлялся трапезный столик с медовой "питой" (медовым пряником), с вином и солью, – чтобы она могла поесть [4]. В этом случае защита производится путем угощения, умилостивления, при помощи ритуального приема, хорошо известного у славян при отражении градовых туч, болезней и других напастей, производимых антропоморфными духами или существами. Отгон без гостеприимных действий применяется по отношению к вампиру. Согласно болгарским повериям, вампир боится соли и

железа (ср. действия "лехусы" у источника или колодца), а также чеснока и дегтя. Поэтому иногда достаточно сказать вампиру "дайте мне соленого железа" ("дайте ми солното железо") или "я толку соль" ("сол кълцам"), и он тотчас исчезнет. Чтобы отогнать вампира, на дверях рисуют дегтем крест или держат деготь у очага [11]. В этих случаях соль оказывается в одном ряду с железом, чесноком и дегтем. Все они используются как средства от сглаза и все они бывают компонентами талисманов. Эти предметы (или продукты) употребляются и для отгона нечистой силы, которая, по представлению болгар и других славян, особенно активна и опасна для ребенка и для роженицы в первые дни после родов.

Наконец, соль не только охраняет от нечистой силы, но и способствует проникновению в сферу мистического и сверхестественного. Поэтому она используется при гадании. В некоторых случаях она является притом единственным стимулирующим или обеспечивающим нужный результат средством. Так, например, если есть желание определить пол будущего ребенка, следует незаметно насыпать соли беременной женщине на голову и потом посмотреть, за какое место на лице она ухватится раньше. Если за нос, будет мальчик, а если за рот – девочка. Так гадают в двух концах Болгарии – в Добрудже и в Бобоштице, что недалеко от Кюстендила, но, вероятно, и во многих других местах. Сколь бы юмористичен ни был этот способ гадания, важно, что он относится к рождению ребенка и не может быть исполнен без соли.

Можно было бы привести весьма значительное число примеров на интересующую нас тему из других славянских этнических зон. Это бы заняло много места и не изменило бы складывающейся на приведенном болгарском материале картины. Все же несколько примеров из соседней сербскохорватской зоны мы решаемся привести, чтобы еще больше оттенить некоторые вышеизложенные примеры. Сербь на Косовом Поле (село Гнилане) в третью ночь после рождения ребенка оставляют не повитой, а свободной правую руку новорожденного и кладут ему в руку соль, хлеб и старинную серебряную денежку, а вокруг него разбрасывают как можно больше монет (денег). Считается, что если не сделать такой третью ночь, ребенок будет несчастным и приносить несчастье ("баксуз") всю свою жизнь [14]. Добавим от себя, что по сербскому и болгарскому поверью, в третью ночь как раз приходят "суџенице", "орисници", три женщины-невидимки, определяющие судьбу ребенка. Правая ручка младенца остается свободной для борьбы с нечистыми духами. В Боснии у хорватов-католиков мать, спустя сорок дней после родов, начинает выносить ребенка из дому на люди, при этом стараясь одеть его как можно лучше и чище. Под одежду же

она прячет несколько комочков освященной соли ("благословлене соли"), зашитых в ладанку, чтобы младенца не сглазили и с ним не стряслась беда ("каква худа ствар") [15]. А в Западной Хорватии в Буковице у православных делается такой амулет. Берется кусочек причастия, крупица соли и пшеничное зернышко. Все это закатывается в кусочек воска от свечи, горевшей перед образом Богоматери, и этот комочек подкладывается тайком под Евангелие, которое читает поп во время обедни. Этот талисман ("свету маштарју") следует всегда носить с собой, и тогда можно ничего не бояться [16].

В последних трех примерах соль защищает от происков нечистой силы, от сглаза, от всяких жизненных бед и страха. Соль при этом оказывается в одном ряду с хлебом (что наблюдается во многих случаях), серебряной денежкой, деньгами (означающими богатство) или в ряду с причастием (хлебом – телом Христовым), хлебным (пшеничным) зерном и воском. Немалый интерес представляют и приведенные выше ритуальные ряды в болгарских обрядах, где ряд либо ограничивается ритуальной троичностью (хлеб, соль, вино или освященная вода, соль, железо), либо цепочкой с большим числом звеньев: соль, хлеб, мед, сахар или соль, мед, деньги, монисто, фрукты, лемех и т. п. Функционально в описанных ритуалах соль используется: для здоровья скота, чтобы было изобилие в жизни ребенка, в семье, чтобы был счастливым новый месяц, чтобы предотвратить загнивание воды, чтобы предотвратить болезни, чтобы обезвредить чуму, вампира, чтобы обезвредить ворожбу, против сглаза, нечистой силы и т. п.

Прагматическое или практическое объяснение соления ребенка "от неприятного запаха пота", широко распространенное у болгар, безусловно, вторичное. Первичным следует считать защитное от нечистой силы, сглаза и других бед употребление соли вкупе с верованием, что соль, как и железо, приносит здоровье, благополучие и, подобно хлебу и серебру (деньгам), – изобилие и богатство. Таков глубинный смысл символики соли. Он, как и в других примерах семантики символа, синкретичен. Впрочем эта синкретичность в какой-то мере условна, символический смысл не столько разнообразен или различен, сколько разнообразен, разнонаправлен. Ведь защита от болезней, от чумы есть в то же время обеспечение здоровья и жизни, защита от падежа и болезней скота есть здоровье и сохранение скота, а скот есть наибольшее богатство и земледельца, и, особенно, скотовода.

Для определенных выводов о географии обряда на болгарской этнической территории имеющегося в нашем распоряжении материала едва ли достаточно. Материал из других славянских этни-

ческих зон нам не известен. Материал обнаруживается на крайнем юге, во Фракии, на северо-востоке в зоне Разграда, на западе средней Болгарии в зоне Панагюришта, на западе в Шопской зоне в Бобшево. Но тот же обряд давно и довольно широко зафиксирован на Ближнем и Среднем Востоке, на Кавказе и в Средней Азии. Еще в конце прошлого века отмечены случаи соления младенца у грузин, армян, кавказских татар (азербайджанцев), курдов. Там, по свидетельству А. Редько и ряда других авторов, "все тело родившегося ребенка осыпают мелкой толченой солью, не пропуская складок и закрытых частей тела: подмышки, промежность, позади ушей и их наружную часть, веки глаз и т. д. Соление ребенка было известно в Персии, в Азиатской Турции, у греков и древних арабов" [17]. Любопытно, что, видимо, у европейских турок, соседствующих с фракийскими и адрианопольскими болгарями, этого обряда не было, иначе бы не было представлений о том, что от турок плохо пахнет из-за того, что их не "солили" в детстве.

Но, вероятно, самым примечательным и самым древним свидетельством являются слова пророка Иезекииля, обращенные к Иерусалиму в начале 16-й главы его Книги: "И было ко мне слово Господне: Сын человеческий! выскажи Иерусалиму мерзости его. И скажи: так говорит Господь Бог дщери Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Аморрей, а мать твоя – Хеттеянка. При рождении твоём – в день, когда ты родилась – пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения и солью не была осолена и пеленами не повита" [18].

Таким образом, обряд соления ребенка знали также ветхозаветные евреи и придерживались его. Древность обряда – библейская. На Ближнем Востоке, судя по всему, и следует искать его корни.

Что же касается зафиксированного А. Н. Добревым примера, то он – редкий и уникальный среди болгарского этнографического материала. Нам неизвестны свидетельства о надрезании кожи младенцев у славян. Едва ли это делалось также "во избежание плохого запаха пота", – корни ритуала лежат, как видно из всего изложенного, гораздо глубже. Возможно, этот случай следует сопоставить с редкими свидетельствами бытования татуировки у славян. Но это уже особая тема, которую сейчас трудно затрагивать.

Примечания:

1. Село Ольшанка основано в 1774 г. болгарями, выходцами после русско-турецкой войны из села Флатар (позже Алфатар), находившегося близ г. Силистрии. Село Ольшанка принадлежало в XIX в. Елисаветградскому уезду Херсонской губер-

нии. В настоящее время это районный центр Кировоградской области УССР. А. Н. Добров – уроженец Ольшанки. Он получил образование до Второй мировой войны в болгарском педтехникуме в Преславе (Приазовье), где был на курсе, следующим за тем курсом, на котором учился Д. Ф. Марков, приазовский болгарин, ставший известным славистом и болгаристом, академиком. Дополнительными биографическими сведениями о А. Н. Доброве я не располагаю, но собираюсь заняться их разысканием.

2. Фразеологичен речник на българския език. София, 1974–1975. Т. I–II.

3. Вакарелски Х. Етнография на България. София, 1974, с. 560.

4. Маринов Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи. – СбНУ кн. XXVIII, София, 1914, с. 140, 193.

5. Телбизов К., Векова-Телбизова М. Традиционен бит и култура на банатските българи. – СбНУ, LI. София, 1963, с. 214.

6. Ангелова М. Хърците в Разград и Разградско и техният говор. – Известия на семинара по славянската филология. Кн. VII. София, 1931, с. 132.

7. Каланиц. Бит и култура на старото българско население в Северозточна България. Етнографски и езикови проучвания. София, 1985, с. 173, 174.

8. Вакарелски Х. Принос към проучване на семейните обичаи на Панагюрско в миналото. – Панагюрище и Панагюрският край в миналото. Сб. II. София, 1961, с. 57.

9. Келов И. П. Народнописни, живописни и езикови материали от с. Бобошево, Дупнишко. – СбНУ, кн. XLII. София, 1936, с. 55.

10. Вакарелски Х. Бит и език на тракийските и малоазийските българи. Ч. I. Бит. София, 1935, с. 312.

11. Георгиева И. Българска народна митология. София, 1983. с. 139, 159, 166, 167.

12. Добруджа. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1974, с. 268, 332, 334, 266.

13. Пловдивски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1986, с. 195.

14. Vukašević T. Srbi na Kosovu. Vranje, 1986. Knj. 2. S. 223.

15. Vucanjić. Život i običaji Hrvata katoličke vjere u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 1908, s. 64.

16. Arđalić V. Bukovica u Dalmaciji. – Zbornik za narodni život i običaji Južnih Slavena. Zagreb, 1902. Knj. 7, sv 1–2, s. 294.

17. Редько А. Нечистая сила в судьбах женщины-матери. – Этнографическое обозрение. Год 11-й, кн. XL–XLI. М., 1899, № 1–2, с. 94–95.

18. Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания. Изд. преемников А. П. Лопухина. Кн. 2, т. VI. СПб, 1908–1910, 1913, с. 309–310. Комментарий приведенного нами библейского отрывка поясняет: "Израиль в начале своего существования подобен был подкидышу, выброшенному, как он вышел из чрева матери, лишенному самых необходимых для сохранения жизни забот. Ребенок, у которого "не отрезали" или плохо отрезали "пуп", может погибнуть, когда начнется разложение последа". Относительно слов "соляно не была осолена" комментаторы напоминают, что об этом обряде писал также Блаженный Иероним: "Нежные тела детей, пока они сохраняют еще теплоту матерного чрева и первым плачем отзываются на начало многотрудной жизни, обыкновенно солятся акушерками, чтобы сделать суше и жать" и добавляют: "Этот обычай, упоминаемый Галеем, и теперь в употреблении на Востоке: феллахи думают, что дитя через это укрепляется. Кроме диетического, он мог иметь и символическое значение, служа выражением пожелания здоровой бодрости новорожденному или указывая на вступление его в завет с Богом, который Ветхим Заветом называется иногда "заветом соли" (Левит II, 13, Числа XVIII, 19, Вторая кн. Паралипоменон XIII, 5)".

ЕЩЁ РАЗ О НАЗВАНИИ ВОЛГА

В. Н. Топоров

К этому названию, с помощью которого в русском языке обозначается самая большая река Восточно-Европейской равнины и которое усвоено другими языками (исключение составляют в основном языки, распространенные в бассейне Волги – татарский, чувашский, марийский, мордовский и некоторые другие – и сохраняющие "свои" наименования Волги), не раз обращались и специалисты-лингвисты, и историки, и этнографы, для которых гидронимия, разумеется, не является "их" специальностью, хотя и представляет несомненный интерес, и просто дилетанты¹. Общий итог исследований, относящихся к происхождению названия *Волга*, пока подведен быть не может. Речь должна идти в лучшем случае о двух-трех наиболее типичных и распространенных объяснениях, каждое из которых едва ли может претендовать на окончательность. Фасмер, авторитет как в области этимологии, так и гидронимии (в частности, восточнославянского ареала), исходя из чеш. *Vlha* в бассейне Лабы или польск. *Wilga* в бассейне Вислы², считает возможным и русск. *Волга* выводить из праслав. **Vьlga* (ср. русск. *вѳлглый*, польск. *wilgoć* 'влажность'; другая ступень чередования в русск. *волѳга*³, ст.-слав. *влага* и т. п.), продолжая тем самым линию ряда исследователей, объясняющих название Волги из собственно славянских истоков. В основе *Поволжье* из 1-й Новгородской летописи, по Фасмеру, лежит **Повьльжье* или **Повьльжье*⁴; ср. также от *Клазмы* к *Воложьскимъ воротомъ* (Лавр. летоп. 518).

Другое направление поисков связано с обращением к предполагаемым финноугорским источникам типа финск. *valkea* 'белый', эст. *valge* и т. п.⁵, на которое указывает ряд ученых – и раньше⁶ и вплоть до настоящего времени⁷, несмотря на замечание Фасмера о фонетической невозможности объяснения названия Волги из приведенных финноязычных форм, впрочем, кажется, не имеющее абсолютного значения.

Третье направление в поиске разгадки имени Волги связано с Микколой. Его исходный пункт – фонетическая близость реконструируемого названия этой реки др.-марийск. **Jylγ*, **Julγ* с той формой, которая рассматривается как правдоподобный источник

названия *Волга* (предполагается *jь > *вь)⁸. Можно добавить и географический аргумент: древнерусское население впервые познакомилось с Волгой в ее верхнем течении, к которому только и могло относиться первоначально название *Волга* (**Vьlga* < **Jьlga*?); следующий же за ним участок течения реки обозначается как *Jâl*, *Jul* (из **Jylŷ*, **Julŷ*)⁹, т. е. формой, весьма близкой к русскому названию реки и внушающей идею тождества этих обозначений. Если учесть, что значительную часть этого верхнего участка течения Волги ко времени прихода сюда русских занимала финноязычная меря, то нельзя исключать, что и она могла использовать для обозначения реки сходный элемент типа **Jylŷ*, **Julŷ*. Суть предложения Микколы, собственно, и состоит в том, что *Волга* является преобразованием этого элемента, взятого в его принадлежности к марийскому языку на его более ранней стадии¹⁰. Указывается, однако, что сам этот элемент объясняется из тюркских языков, что, впрочем, в данном случае едва ли может считаться серьезным аргументом против точки зрения Микколы: более того, татар. *jylŷa* как обозначение реки могло бы дать повод для гипотезы о распространении этого элемента в гидронимическом и/или апеллятивном употреблении еще далее вниз по течению Волги вплоть до Казани и Симбирска. Как бы то ни было, предложение Микколы представляется весьма перспективным в ареально-языковом плане, далеко не исчерпанным в возможностях дальнейшего развития и поэтому нуждающимся в дальнейшей проверке и экспликации применительно к новому пониманию этнолингвистической ситуации с середины I тысячелетия нашей эры до появления здесь русского элемента. И уж во всяком случае остаются неизвестными попытки опровержения гипотезы Микколы о происхождении названия *Волга*¹¹. Все это позволяет расценивать ее по меньшей мере как важный резерв в решении всей проблемы.

Но есть еще одно весьма важное объяснение названия *Волга*, которое было предложено без малого шестьдесят лет тому назад и судьба которого не может не вызывать удивления. Речь идет о балтийской идее этого названия, выдвинутой Н. С. Трубецким еще в 1934 г. Соответствующая статья никогда не была напечатана, хотя автор работал над ней. Строго говоря, неизвестно, была ли она написана окончательно и если была, то какой оказалась ее судьба. Во всяком случае, насколько известно, текст этой статьи считается утраченным, зато идея ее была хорошо изложена в публикации писем Н. С. Трубецкого Р. О. Якобсону сорок лет спустя¹². "Для статьи об этимологии именно Волга, – пишет Трубецкой 2 ноября 1934 года, – мне очень нужен был бы Егоров (чуваш), которого Вы мне как то раз уже ссужали. Очень был бы Вам благодарен,

если бы Вы могли мне его прислать. Кроме того, для той же цели мне нужно было бы просмотреть одну статью Поппе, на которую я читал только ссылку [...]"¹³. В комментарии к этому месту сообщается, что Трубецкой считал название *Волга* балтийским (ср. лит. *ilgas* 'долгий'), начальное *il* в восточнославянском должно было измениться в *ŷl* с протетическим *w*. Здесь же разъяснено, что статья предназначалась для 14-го тома (1937) фасмеровского журнала, где, однако, оказалась напечатанной другая заметка – о балтийском происхождении названия *Упа*. Этимология *Волга*, предложенная Трубецким, вызвала неодобрение Фасмера и поэтому не была напечатана¹⁴.

Автору этих строк довелось услышать об этой этимологии названия Волги непосредственно от Р. О. Якобсона в 1958 году, что совпало с началом занятий автора балтийской гидронимией России. Отношение к этимологии, предложенной Трубецким, с самого начала определялось двумя впечатлениями – "легкостью", естественностью, фонетической безукоризненностью этой гипотезы, с одной стороны, и, с другой, ее неожиданностью при обращении к реальным условиям, в которых такое название могло произойти. Эта "неожиданность" была связана с балтийскостью названия прежде всего, но также и с проблемой выбора данной семантической мотивировки этого гидронима и с некоторыми общими представлениями, относящимися к типологии наименований рек такого масштаба, как Волга, или хотя бы сопоставимых с нею. Каким бы странным это ни показалось, но "долгими" (во всяком случае в балто-славянском ареале) не называют не только реки сколь угодно значительной абсолютной протяженности, но и – обычно относительно длинные реки в противопоставлении с соотнесенными с ними короткими реками, обозначаемыми по признаку "короткости". Разумеется, последнее заключение само по себе относительно, и здесь достаточно констатировать, что пары типа *Долгая* (*Длинная*) & *А*: *Короткая* & *А* в пределах единого гидронимического фрагмента принадлежат к несколько иной категории случаев, нежели пары *Большая* & *А*: *Малая* & *А* или *Белая* & *А*: *Черная* & *А*, хотя, конечно, при достаточном обилии материала в пределах относительно небольших и замкнутых ареальных фрагментов всегда можно подобрать некие более или менее сходные пары противопоставлений¹⁵.

Что же касается неожиданности балтийской трактовки имени *Волга*, то она целиком объяснялась господствующими до начала 60-х годов представлениями о границах ареала балтийской гидронимии в России, основанными прежде всего на работах Буги и самого Фасмера. Согласно им, северо-восточный предел распро-

странения балтийской гидронимии довольно значительно не доходил до истоков Волги, если не считать одного исключения, правильно объясненного самим Фасмером как балтизм, – Жукопа, правый приток Волги в ее верхнем течении (вообще же в пределах Тверской области балтийские гидронимы, судя по Фасмеру, были весьма спорадичными и сугубо периферийными).

В настоящее время эффект неожиданности прекратил свое существование, и сейчас едва ли кто осмелится оспорить присутствие балтийского этноязыкового элемента в верховьях Волги и на смежных территориях по крайней мере с середины II тысячелетия до нашей эры. Восточнославянские племена, прежде всего, видимо, кривичи, а потом и словене появились здесь на две тысячи лет позже, вряд ли ранее середины I тысячелетия нашей эры. Если в принципе можно строить разные гипотезы о хронологии и характере балто-финноязычных связей в этом ареале, то хронологическое соотношение балтийского и славянского элемента слишком рельефно, чтобы сомневаться, что балты появились здесь намного ранее славян, оставили по себе довольно значительное количество следов в гидронимии, и появившиеся здесь славянские племена нашли уже соответствующую номенклатуру для всех сколько-нибудь заметных рек, которую оставалось только усвоить. Почти несомненно это усвоение происходило в условиях совместного существования в этом ареале славян и балтов, где "обучающей" стороной должны считаться последние, хотя в ряде случаев и особенно в более поздние периоды, когда балтийский элемент постепенно исчезал, роль передатчика гидронимических балтизмов могли сыграть финноязычные племена этих мест, в свою очередь усвоившие от балтов часть их гидронимической номенклатуры. При неясности отдельных деталей главное ясно: ни одна большая река этой зоны и смежных с нею ареалов не объясняется из славянского материала; тем более этот принцип должен быть подтвержден и в случае такой реки, как Волга или Днепр и Западная Двина, истоки которых находятся поблизости от истока Волги.

На это можно, хотя бы частично, возразить, что и Днепр не является балтийским названием. Подобное возражение можно довольно легко отвести, подчеркнув, что в этих случаях решающую роль играет определение той части течения реки, к которой привязывается данное первоименование. Днепр, как и другие старые названия этой реки, непосредственно связаны с нижним течением Днепра и существовавшей там или по соседству этноязыковой ситуацией. Балты, очень густо сидевшие по верхнему, а отчасти и среднему Днепру, разумеется, не могли не иметь своего, балтийского названия реки, которое, к сожалению, остается неизвест-

ным, хотя задачи гипотетической и "вероятностной" реконструкции этого названия все-таки, видимо, не относятся к числу совершенно безнадежных задач. Если бы восточнославянские племена начали свое знакомство с Днепром на территории Смоленской, Могилевской или Гомельской областей во второй половине I тысячелетия нашей эры, они, очевидно, усвоили бы балтийское название реки (которое, впрочем, периферийно они могли знать). Но знакомство началось с той части, где доминировал Киев, открытый влияниям более ранних и мощных цивилизаций, и поэтому было усвоено "чужое", имевшее уже за собой длительную традицию имя, воспринятое как *Дънѣпръ*¹⁶. Название Западной Двины не русского происхождения, и более или менее ясно, откуда оно было усвоено, но эта река имеет и свое независимое балтийское название, отсылающее к идее величины-множества, ср. лтш. *Daugava*, лит. *Dauguvà* (ср. лит. *daug* 'много')¹⁷ и выглядящая почти как калька Великая в непосредственном соседстве с бассейном Западной Двины. Наконец, если верить Трубецкому, и *Волга* – название балтийского происхождения, реконструируемое на его балтийской стадии как **Ilga*, букв. – 'долгая', 'длинная' (некоторое уточнение относительно формы см. ниже). Таким образом, все три великие реки Восточной Европы – Волга, Днепр и Западная Двина, – берущие начало на Валдайской возвышенности, в непосредственном соседстве друг от друга, не только имеют свои истоки в старом, хотя и периферийном, балтийском ареале¹⁸, но и в двух случаях из трех сохраняют свои балтийские названия, а в третьем название не сохранено, но практически несомненно существовало, тогда как все три названия этих рек в русском языке заимствованы, хотя название Волги основательно перестроено, отчасти переосмыслено и глубоко пережито языком.

Чтобы название *Волга* не выглядело балтийским раритетом, уместно вкратце, с минимумом примеров обозначить балтийский гидронимический контекст верховьев Волги (в пределах северо-восточного участка границы распространения соответствующей гидронимии), приводя лишь часть примеров:

Персянка, ручей, являющийся первым притоком Волги (у дер. Вороновой) – ср. лтш. *Pērse* (река), *Pērsēja* (луг), *Pērsājs* (рыбалка на Даугаве), лит. *Peĩsas* (озеро), прусск. *Perses* (лес), *Persink* (поселение), *Persante*, к зап. от Вислы; *Пересна*, *Пересонка*, *Перстна* (< **Персна*) в басс. Днепра; *Пресня* в басс. Москвы и т. п.

Меслинка, л. п. в самом верховье Волги – лтш. *Mēslis* (луг), *Mēšli*, *Mēslu-pļava*; *Męsli* (: *męsls*, *męsls*, *męslains* 'грязный' и т. п.) и др.

Руна, п. п. Волги, в самых ее верховьях – нельзя исключать связь с названием соседних гор – *Ревеницкие горы* (ср. также

топонимы *Руница*, *Рунский* вблизи границы с Новгородской обл.); несмотря на предлагавшиеся объяснения из финских и славянских источников, существуют и балтийские аргументы – прусск. *Rune*, *Runa*, *Runow*; лтш. *Ruņas upe*, *Rūņas pl.*; лит. *Runeikiai*, *Rūnikiai* и др.; ср. к зап. от Вислы *Rune*, *Runowe* и др.; окск. *Руново* и др.

Кудь, п. п. Волги, в самом ее верховье – ср. прусск. *Kudyn*, *Kodyen* и др.; лтш. *Kudinava*; лит. *Kudinaĩ*; *Кудель*, приток Великой (< **Kud-up*) и др.

Орленка, л. п. в самом верховье Волги – ср. прусск. *Arle*; жем. *Орля*; лтш. *Arlaņi*, *Arlaks*; днепр. *Арля*, *Орля*, *М. Орленка*.

Щебереха, в самом верховье Волги – ср. балт. *skebr-*: *skabr-* (лит. *skebrùs* 'проворный', 'живой' и т. п., *skabrùs*); жем. *Скабары*; прусск. *Scobors*, *Scobris*, *Schobirs*, *Schobrys*, *Schobern*, *Skobern* и т. п.; ср. *Щеперня*, приток Дриссы, басс. Западной Двины.

Большая и Малая Исня, в самом верховье Волги – ср. лтш. *Iesn-upe* (: *iesna* 'насморк'); лит. *Ješnālis* – река, озеро (ср. *Jiesià*); *Иснышка*, п. п. Вори, басс. Клязьмы; *Иснушка*, басс. Дубны и др.

Жукопа, п. п. Волги, в ее верховьях – ср. балт. **Žuk-ap-* 'рыбная река' (ср. Фасмер); прусск. *Sukyn*, *Sukeyn*, *Suken* (: *suckis* 'рыба') и др.

Бутень, л. п. Волги, в ее верховьях – ср. прусск. *Butyn* и др.; *Buten*, *Butine*, к зап. от Вислы; жем. *Бутупис*; лтш. *Butani*, *Butenieki* и др.; днепр. *Бутень*; окск. *Бутенка*, *Бутынь*, *Бутынка* и др.

Воржинка, л. п. Волги, в ее верховьях – ср. лит. *Varžė*, *Varžinėlis* и др.; лтш. *Varžu-ęzers*, *Varž-upe* и др.

Мутенка, л. п. Волги, в ее верховьях – ср. лтш. *Mitenes plava*, *Mitins*; лит. *Mit-upis*, *Mituvà*, *Mitėniškiai* и т. п.

Меленка, п. п. Волги, в ее верховьях – возможно, к балт. **mel-*: **meln-* 'черный' и т. п.; ср. прусск. *Melnikin*; лит. *Mėlinis*, *Mėlynė*, *Mėlynis* (: *Mėl-upis*); лтш. *Mėlnā-upīte*, *Mėln-upe* и др. или *Melines*, луг. и т. п.; ср. *Меленка* в басс. Днепра и Оки.

Спировка, л. п. Волги, в ее верховьях – ср. прусск. *Spirawen*, *Spyrenen*; лит. *Spyriai*; *Спирка* в басс. Березины.

Ворча, п. п. Волги, в ее верховьях – ср. *Ворченка* в басс. Оки, *Верчанка* в басс. Днепра; м. б., к прусск. *Worike*, *Worken*, *Warkitten*, *Werczio*; лит. *Veĩknė* (: *veĩkti*), *Veĩkiai* и др.

Вазуза, п. п. Волги, в ее верховьях – к балт. **Važ-* (**Vaz-*) суфф. *-už-* (-uz-), ср. лит. *Važ-upỹs*, *Vož-upis* (< **Vāž-upis*), *Vāžis* (: лит. *vāžiūoti*, лтш. *vazāt*); *Вазыно* – озеро в басс. Оки и др.

Дрогоча, л. п. Волги – видимо, к балт. **Drag-* или **Darg-* с суфф. *-at-* или *-ut-*; ср. прусск. *Dargen*, *Dargels*, *Dargow*, *Dargowayn*; лит. *Dargė*, *Darg-upė* и т. п., особенно название дер. *Dragočiai*, ср. *Dragaitis*, *Dragutės kalnas*; лтш. *Dardzėni* или *Dragi*, *Dradži* и др.; днепр.

Драготунь (: жем. *Драгутшики*), *Дражня* и др. или *Дорогань*, *Дороговля*, *Дороговша*, *Дорогонка* и др.

Держа, п. п. Волги – возможно, к прусск. *Dirsowe*; лит. *Diržiai*, *Diržiai* и др.; ср. днепр. *Дережна*, *Деражня* и др. (: лит. *Derėžnyčia*), лит. *Dėrgionių ęzeras*, *Dėrgionys*, *деревня*; лтш. *Derdžanuęzers* и др.

Орша, л. п. Волги – ср. блр. *Орша*, днепр. *Орша*, *Оршица*; учитываемые старые формы *Ръша*, *Ршь*, напрашивается сопоставление с прусск. *Russa*, *Russe*, *Russin*; лит. *Rūsnė* (: *rusnōti*, *rusėti* 'медленно течь') и др.; особо – окск. *Орса*, *Орс*, но и *Арос*, *Ароса* и даже, м. б., *Арсенка* и т. п.

Кревка, л. п. Волги – ср. лит. *Krėvė*, *Kriovėlis* (< **Krevelis*); лтш. *Kreve*, *Krevi* (: *kreve*, *krevelis* 'текущая кровь') и др.

Большая и Малая Ула, л. п. Волги – ср. *Улла* в басс. Западной Двины; днепр. *Улица*, висло. *Ulica*, м. б., *Ола* в басс. Березины.

Некоторые гидронимы в верховьях Волги допускают двоякое толкование – как балтийское, так и славянское. К ним относится озеро *Стерж*, через которое протекает Волга. Форма *Стерж* может трактоваться в ряду русск. диал. *стерж*, *стержь*, *стержа*, *стержень*, но и *стрежень*, отсылающих к идее середины, далее глубокого места, открытой воды, быстрого течения, но и в связи с балтийскими фактами типа лит. *Strigūotinė*, *Strygà*, *Strigėlis*; лтш. *Strig-upīte* и т. п. В этом же микроареале известен и ряд других подобных примеров, которые – в сочетании с некоторыми иными аргументами – склоняют к предположению, что в первый период после прихода сюда раннеславянского населения на этой территории скорее всего существовал своего рода "балто-славянский" культурно-языковой симбиоз, приобретающий особую окраску в свете проблемы (здесь, правда, не рассматриваемой) о балтийском происхождении кривичей или во всяком случае об их сильной "балтизации" на их пути с запада на северо-восток¹⁹. Другая важная характеристика этого микроареала состоит в том, что он не является изолированным, но органически вписывается в несравненно более широкий контекст балтийской гидронимической зоны: по мере движения от верховьев Волги на юго-восток, юг, юго-запад и запад количество гидронимических балтизмов постепенно возрастает²⁰. И, наконец, третья существенная черта, характеризующая этот верхневолжский (в узком смысле слова) ареал, заключается в решительном преобладании балтийской и славянской гидронимии над финноязычной, которая, разумеется, тут тоже присутствует, но в меньшем количестве, чем на смежных территориях к востоку, северо-востоку, северу и северо-западу.

В этих условиях предположение Н. С. Трубецкого о балтийском происхождении названия Волги не должно вызывать внутреннего

сопротивления и должно, напротив, считаться относящимся к кругу естественных умозаключений.

Однако эта "естественность" не избавляет исследователя от необходимости выяснения (хотя бы в виде гипотетических вариантов) того, что же именно обозначалось первоначально корнем *Волг-*. Указание на верховья Волги в целом малоинформативно, поскольку, если это название балтийское, то балты только и могли применить его к волжским верховьям, поскольку другие участки течения реки оставались им неизвестными. Из-за того, что текст статьи Трубецкого неизвестен, остается неясным, каково было его мнение на этот счет, и нельзя исключать, что сказанное далее не совпадает в каких-то деталях с тем, что уже было высказано Трубецким.

В середине прошлого века один большой знаток Волги писал о ней: "Волга описана, переописана и все-таки не дописана"²¹. С тех пор о Волге было написано еще больше и при том именно то, что должно быть признано главным. И тем не менее эта "недописанность" Волги и сейчас самым серьезным образом затрудняет решение проблемы первоначальной объектной отнесенности названия *Волга*. Прежде всего остается по сути дела целый ряд точек зрения, и представленный в них разброс конкретных пунктов достаточно велик²², чтобы считать, что он не влияет на выяснение поставленной здесь задачи.

Если выделить главные точки зрения по этому поводу, то придется прежде всего остановиться на двух из них. Одна апеллирует к научным основаниям, другая – к народной культурной традиции. Согласно первой из них²³, началом Волги нужно считать ее "правый приток" (по стандартному определению) Руну (см. схему 1), которая в наибольшей степени соответствует формулируемым научной условиям (по сути дела, аксиоматическим) определения истока реки. Согласно второй точке зрения, исток Волги, отмеченный часовенкой на болоте, находится около дер. Волговерховье или Волгино Верховье (см. схему 1) и дает начало Волговерховскому ручью, первое расширение которого образует озерцо не более 50–60 сажень ширины под названием *Малый Верхит*, а второе, несколько верст спустя, озеро *Большой Верхит*. Как *Волговерховье*, *Волговерховский ручей*, так и оба *Верхита*, подчеркивают идею верховья, верха реки, и с этой традицией нельзя не считаться, хотя сама она привязана к определенному времени, во-первых, и не гарантирует истинность топо- и гидронимической номенклатуры, во-вторых. Традиция по понятным причинам не может учитывать те очень существенные и в этом ареале довольно быстро происходящие изменения ландшафта и прежде всего структуры водных объектов. Уместно напомнить о высказывавшихся ранее двух важных соображениях.

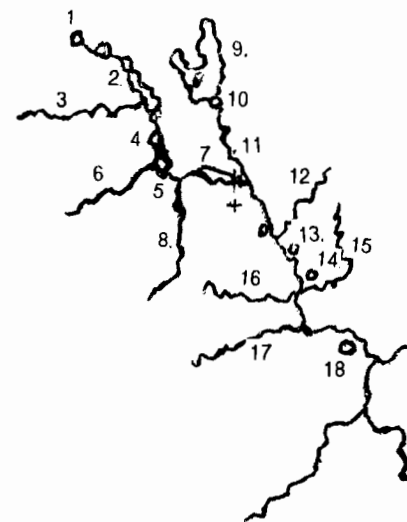


Схема 1. Верховья Волги

Легенда.

- | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| 1. Дер. Долговерховье | 7. Оз. Волго | 13. Рог |
| 2. Оз. Стерж | 8. Жукопа | 14. Сычково |
| 3. Руна | 9. Оз. Селигер | 15. Итомля |
| 4. Оз. Овселуг | 10. Осташков | 16. М. Тудь |
| 5. Оз. Пено | 11. Селижаровка | 17. Сишка |
| 6. Кудь | 12. Коша | 18. Ржев |
| | | + бейшлот |

Первое относится к историческому прошлому этого фрагмента водной системы, так или иначе оставившему свои следы и в современном состоянии. Оказывается, что древность Малого Верхита значительно превосходит древность Верхневолжского ручья. Последний возник позже, когда "масса воды, сплошь покрывавшая Осташковский уезд, сбыла настолько, что обнаружившаяся разность горизонтов обусловила течение в направлении к теперешнему Верхиту"²⁴. Иначе говоря, с очевидностью предполагается такая стадия в развитии этого фрагмента водной системы, когда

Верхит был сам по себе, а Волговерховский ручей сам по себе. Их объединение в общий узел результат относительно позднего развития, и след прошлого состояния можно видеть в том, что, еще не дойдя до Малого Верхита, Волговерховский ручей сильно сужается, становится почти незаметным, растворяясь в окружающем болоте и почти сходя на нет. В "гидроисторическом" плане, кажется, нет оснований утверждать тождество Волговерховского ручья, впадающего теперь в Малый Верхит, и того потока, который вытекает из озера в его южной части. Иначе говоря, "о протекании через (М. Верхит. – В. Т.) нечего и говорить"²⁵. Та же ситуация отмечается и в связи с Большим Верхитом. Второе соображение относится к ономастическому прошлому этого фрагмента водной системы. В. Рагозин писал в своей книге: "Позволяем себе ... высказать следующую догадку: нам кажется, что речка, впадающая в северный конец Стержа, получила название Волги гораздо позднее обрусения или вытеснения финских племен, населявших область теперешней Тверской губернии, а именно во время возникновения Волговерховского монастыря, когда основатели его, люди более или менее просвещенные, провозгласили свою речку настоящим началом Волги, так как продолжение водной артерии ниже Стержа ... называлось уже Волгой сыздавна..."²⁶

Оба эти соображения задают новую ориентацию всей проблемы "первоначального" отнесения названия *Волга*. Чтобы эта ориентация стала более очевидной, стоит напомнить гидроструктуру теперешней Волги на протяжении примерно первых ста верст ее течения. Вытекая узким ручейком (Волговерховский) из сруба, она встречается на своем пути целый ряд озер, все более учащающихся и возрастающих в своей величине, прежде всего – в длине. Сначала на пути Волги встречаются два относительно небольших озера – Малый Верхит и Большой Верхит; примерно через пять верст Волга достигает озера Стерж длиной в 12 верст, а через две версты – двух соединенных друг с другом нешироким проливом озер Вселуг и Пено, общая длина которых более 20 верст (при ширине в две – четыре версты); после Пено Волга круто поворачивает на восток и через 41 версту достигает озера Волго, длина которого велика (от 7 верст и более), хотя и сильно разнится в зависимости от источников²⁷. При закрытом бейшлоте²⁸, находящемся сразу же за озером Волго, двуединое озеро Вселуг – Пено и озеро Волго сливаются вместе, образуя одно обширное озеро протяженностью не менее 60 верст (существуют и несколько иные варианты определения длины). Если присоединить к этой цепи озеро Стерж и даже Большой и Малый Верхиты, то протяженность этого, в определенную часть года почти непрерываемого, озера составляет немногим

меньше ста верст. Самое любопытное состоит в том, что позднее по времени строительства и вполне искусственное техническое гидросооружение, по сути дела, в общих чертах на время восстанавливает ту ситуацию, которая характеризовала постоянную гидроструктуру этого микроареала в относительно отдаленном прошлом, когда как следствие таяния ледника уровень вод здесь был несравненно выше. В этом контексте обращает на себя внимание не только явно позднее и даже и теперь не до конца проведенное расчленение озер, но и то, каковы названия этих озер с точки зрения их хронологии и этноязыковой принадлежности. Название *Вселуг*, несомненно, славянское. Как указывалось выше, название Стерж равным образом могло бы пониматься и как славянское, и как балтийское, но в данном случае существен именно славянский его срез, поскольку он, очевидно, осознается на уровне семантической мотивировки названия, имеющей отношение к практической характеристике возможностей озера для судоходства. Не исключено, что название озера *Пено* (*Пёно*) в своей семантической мотивировке в известной степени противопоставлено "положительному" названию Стерж. Все описатели Пено и прилегающих к нему участков реки согласно отмечают удивительную ситуацию, делающую плавание здесь чрезвычайно трудным и опасным. "Характерной чертой здесь являются *карши* или *корчевье*, т. е. затонувшие стволы деревьев, пни и коряги. Плавание в лодке по этим местам, даже среди дня, крайне небезопасно, потому что чуть не на каждой сажени торчат из воды темные, намокшие, коряжистые сучья и целые стволы, многие сотни и тысячи которых, виднеясь вдали, загораживают для взора все свободные промежутки на поверхности озера и кажутся иногда непроницаемой чащею, особенно ближе к берегам"²⁹. Каково бы ни было происхождение названия этого озера (в частности, указывают и его балтийские соответствия, ср. прусск. *Pene*, *Penen*, *Penithen*, латышские и литовские параллели и т. п.), актуальное языковое сознание тех, кто по собственному опыту знаком с этим озером, склоняет в сторону понимания внутренней формы озера в контексте "пневой" ("пенной") идеи; на этой же позиции оказываются и некоторые специалисты, связывающие *Пено*: *Пёно* с *пень*, *пёнышек* (*ꙗрьль*). Название *Верхит* (есть вариант *Верхот*, в надежности которого нет полной уверенности) также любопытно, с одной стороны, своим славянским корнем (во всяком случае), а с другой, своим суффиксом, который более характерен для балтийской гидронимии³⁰, нежели для славянской, хотя и ей он известен. Как бы то ни было, учитывая абсолютно точные балтийские параллели (лтш. *Viršīte*, лит. *Viršytis* при лит. *Virš-upis*, *Virš-upis*, прусск. *Wirsi-*

sthen и т. п.) и большую древность балтийского элемента в этом месте, нужно одновременно иметь в виду и правдоподобность балтийского источника этого названия и органичность трансплантации его в славянский языковой срез, где оно как бы с самого начала стало своим³¹.

Учитывая всё до сих пор сказанное о гидроструктуре верховьев Волги (говоря в общем, очень длинное, даже и в позднее время относительно слабо расчлененное озеро или цепь почти "склеенных" друг с другом озер) и то, что цепь этих озер завершается озером *Волго*, естественно напрашивается предположение, что именно это озеро и было тем гидрообъектом, к которому первоначально было приложено название с корнем *Волг-*. Строго говоря, только после озера Волго и впадения Селижаровки, вытекающей из озера Селигер, река с полным основанием должна называться Волгой³². Таким же образом как Волго было фактическим началом Волги, и название *Волга* оказывается по существу производным от названия *Волго* (на берегу этого озера, кстати, есть и селение *Волго*), что в балтийском коде с учетом возможной формы среднего рода для слова, обозначающего озеро (ср. прусск. *assa-gan* : слав. **jezero*, **ozero*), выглядело бы как соотношение **Ilga* (река) : **Ilgan* (озеро), соотв. **Ilga* & **ape/upe* : **Ilgan* & **ezeran*.

Распространение названия *Волга* и на предшествующую озеру Волго часть реки скорее всего, действительно, произошло существенно позже в порядке некоторой гидронимической номенклатурной "ректификации", своего рода вторичного восполнения и расширения первоначального локуса этого названия. Вполне вероятно, что этой экспансии названия Волги в ее верховья предшествовало апеллятивное или даже имеющее статус имени собственного обозначение этой части течения как *Верх Волги* ("Долгой"), *Вершина Волги*, *Верховье Волги*, *Волговерховье*, *Волговерховский ручей* и т. п. по аналогии с уже упоминавшимися названиями типа *Долгая Вершина*, *отвершки Долгие* и т. п.³³ Правда, нужно признать весьма вероятным, что название *Волго* первоначально относилось не только к теперешнему отдельному озеру, но к тому "праозеру", которое лежало в основе всей цепи озер, по крайней мере, от Стержа до Волго. При таком предположении это "пра-Волго" непосредственный предшественник "пред-Волги", т. е. верховьев Волги. Более того, это предположение объяснило бы, почему отнюдь не самое длинное озеро (оно короче и Стержа, и Вселуга, и Пено) называется *Волго*, т. е. 'долгое'³⁴, и почему Стерж, Вселуг и даже Пено оказались более усвоенными русским языком и ему понятными, чем название *Волго* (: *Волга*). Начавшееся позже расчленение единого "долгого" озера привело к дифференциации

его частей и новому их обозначению. Прежний объем названия *Волго* сузился до теперешнего озера, что еще раз подтверждает преимущественную связь реки именно с этой частью некогда единого озера.

Два замечания в связи с формой *Волго* и соотношением названий озера и реки, обозначаемых одним и тем же языковым элементом. Название *Волго* по своему морфологическому типу принадлежит к числу тех, которые особенно распространены на русском Северо-Западе, в местах, где балтийский элемент контактировал с финноязычным и где на этот смешанный субстрат наслаивался славянский этноязыковой элемент. Речь идет не о мотивированных обозначениях озер типа *Кругло*, *Черно*, *Каменно* и т. п., но о преимущественно немотивированных и для русского языкового сознания не воспринимаемых как прилагательные среднего рода или даже вовсе таковыми не являющихся. Ср. помимо *Волго*, *Пено* в том же ареале *Плюсо*, *Учо*, *Струго*, *Щадро*, *Бедро* и т. п., но и *Глино*. Другое замечание относится к частой в этом же ареале (но, разумеется, и не только в нем) соотносительности озерного и речного названия, ср. *Двино* (*Двинец*) – *Двина*; *Двинье-Велинское* (17 верст длины) – *Двинка*, *Каспля* – *Каспля*, *Добрешо* – *Добреусовка* / *Дебреусовка*, *Дисно* – *Дисна*, *Шевено* – *Шевенка* и т. д. (в басс. Западной Двины) и т. п.

Возвращаясь конкретно к названию *Волго*, нужно отметить, что "долгие" (*Долгое* и т. п.) озера составляют распространенный тип как на собственно славянских территориях, так и в балтийском ареале – как старом, позже славинизированном, так и продолжающем оставаться балтийским. Ср. прусск. *Ilgayn*, *Ilgeyn*, *Ilgene* – озеро, позже – *Ilgen See*, *Ilgen*; *Ilgoue* – озеро; *Ilgolwen*, озеро (ср. *Ilgenpelke*, позже – *Der lange Bruch*); лит. *Ilga*, *Ilgai*, *Ilgaitis*, *Ilgajis*, *Ilgas*, *Ilgasai*, *Ilgasiaj*, *Ilgasis*, *Ilgė*, *Ilgė*, *Ilgėlė*, *Ilgėlis*, *Ilgės*, *Ilgiai*, *Ilginis*, *Ilginys*, *Ilgis*, *Ilgis*, *Ilgys*, *Ilgūtis* и т. п., но и *Ilgežeris*, *Ilgažeris* и др.; лтш. *līdzis*, *līdra-ēzērs*, *līdžu-ēzērs*, *līdzes-ēzērs*, *līdziša-ēzērs*, *līdzere* (?); висл. *Ilga*, *Ilgi* и "поясняющий" вариант – *Długie Elgi* (подобно *долга Волга*) и др. – всё об озерах. Балтийскую форму сохраняют и некоторые озерные названия на Северо-Западе России и в северных частях Белоруссии, ср. озеро *Ильжо*, *Илжо*, *Ильжонское*; *Ильжа* – река при дер. *Ильжо* и др.³⁵ Соотношение *Ильжо* : *Ильжа* в точности отвечает паре *Волго* : *Волга*.

На этом "густом" балтийском фоне мысль Н. С. Трубецкого о происхождении названия Волга получает многочисленные подкрепления и приобретает статус, пожалуй, наиболее правдоподобного объяснения этого названия³⁶, что, впрочем, не исключает появления новых аспектов проблемы при введении ее в более

широкий контекст. И последнее – другие "Волги" (см. выше) или представляют собой результат перенесения названия известнейшей русской реки в местные условия (*Волга, Волгуша* и т. п. в басс. Оки и др.), или же должны иметь (и имеют) другое объяснение и должны быть отделены от русск. *Волга*. Соотношение и весомость языковых, этнокультурных и исторических фактов слишком различны, чтобы идею Н. С. Трубецкого подвергать сомнению, ставя ее в зависимость от частных, с которыми она скорее всего не имеет ничего общего.

Примечания:

1. Собственно говоря, внимание уделялось и иным названиям этой реки, начиная с птолемеевского $\rho\alpha\lambda\alpha$, которое, как и морд.-эрзя *Rav, Ravo* и морд.-мокша *Rava*, обычно объясняется из индо-иранского источника, о котором можно судить по авест. *Raηhā*, др.-инд. *Rasā* и под., и продолжая татар. *Idyl* 'Итиль', чуваш. *Atāl, Adyl*, калм. *Idži* и др. (ср. татар. *Kara Idyl* 'Волга', т. е. черный Итиль, при *Ak Idyl* 'Кама', т. е. белый Итиль, ср. Белая, крупнейший приток Камы) или марийск. *Jel*, вост.-марийск. *Jul* (< др.-марийск. **Jylγ*), из тюркского названия ручья, реки (ср. татар., башк. *Jylγa*, казах., ногайск. *ǰylγa*). См. сводку материалов и предлагаемых объяснений, впрочем, отчасти устаревшую, Фасмер I, 336–337.

2. И чеш. *Vlha* и даже польск. *Wilga* расположены достаточно далеко к югу от балтийских территорий, чтобы подозревать их в "балтийскости" и чтобы не доверять их принадлежности к ядру Славии (таков, видимо, контекст аргументации Фасмера, остающийся, правда, как бы за кадром). В бассейне Вислы *Wilga* отмечена дважды – в верховьях и ниже Пилицы (вар. – *Wilka*), см. *Hydronimia Wisły. Cz. I. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. Pod red. P. Zwolińskiego. Wrocław – Warszawa – Kraków, 1965, N 37, s. 350.*

3. Ср. *воложка* и *воложка*, рукав или проток на Волге, Каме (ср. Это Волга, а это воложка; < в весенний разлив Волга отделяет от себя много рукавов, которые [...] прибрежными своими протоками образуют рукава. Рукава эти называются "воложками" >, ср. *воложка*). СРНГ, вып. 5. Л., 1970, с. 48; Фасмер I, с. 341, с пояснением – "По второму полногласию – из *Вължъка 'маленькая Волга'. Производность *воложка* от *Волга* не только словообразовательная, но и, так сказать, "логико-семантическая".

4. Ср. формы *Волъга, по Волъзѣ, на Волъгу* (Лавр. летоп. 3, 175, 461) при решительно преобладающей форме *Волга*.

5. Нередко таким образом *Волга* рассматривается в одном ряду с названием города *Вологда* (ср. вепс. *vāuged* или марийск. $\beta\alpha\lambda\gamma\epsilon\delta\alpha, \beta o\lambda\gamma\epsilon\delta\alpha$, из **valkeða*, против чего решительно возражает Фасмер (с. 340).

6. См. Погодин А. Л. – ИОРЯС, 10, № 3, 1905, с. 9; Rozwadowski J. – RSI, 6, 1913, с. 49; Idem. *Studia nad nazwami wód słowiańskich*. Kraków, 1948, с. 227–230 и др.

7. Ср. *Bednarczuk L. Wokół etnogenezy Białorusinów*. – Acta B.-Slav. 1984, 16, с. 34–36 и др.

8. К переходу *ǰь > вь* ср. эст. *Ета-ǰõgi*, в старорусской передаче – *Омов(ъ)жа*.

9. Ср. и далее вниз по течению присутствие этого же элемента – морд. *jalga* и др.

10. *Mikkola J. J. Der Name Volga*. – FUF 1929, 20, с. 125–128.

11. Других толкований имени Волги можно здесь не касаться или ввиду их крайней сомнительности (ср. предложение Махека 1953 г.: *Волга, Wilga, Vlha: йволга, vlha* и т. п.), или потому, что они рассматриваются в ином, существенно более

общем, так сказать, "панорамном" аспекте, ср.: Schramm G. *Nordpontische Ströme. Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des europäischen Ostens*. Göttingen, 1953 и др.

12. Если быть более точным, то первое, как бы неофициальное сообщение об этой идее было сделано в кн.: *Gimbutas M. The Balts*. London, 1963 (ср. теперь ее перевод: *Gimbutienė M. Baltai priešistoriniais laikais*. Vilnius, 1985, с. 22–23), со ссылкой на информацию Р. О. Якобсона и указание на то, что эту идею Трубецкой любил развивать в своих лекциях.

13. *N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes*. Prepared for publication by R. Jakobson. The Hague-Paris, 1975, с. 311.

14. Ср. также Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987, с. 500 (Послесловие).

15. Ср. несколько примеров, относящихся к бассейну Оки в верхнем правом Псоучье между Зушей и Упой: *Долгой* (12 раз) – *Короткой* (4 раза) и т. п. – Смолицкая Г. П. *Гидронимия бассейна Оки* (список рек и озер). М., 1976, с. 50–66.

16. Впрочем, усвоение этого названия (так сказать, "культурное"), вероятно, произошло еще до того, как славяне достигли днепровских берегов. Значение этой реки для всего этого обширного ареала было слишком велико, и имя Днепра не могло остаться неизвестным славянам и в той части Славии, которая не включала в себя эту реку.

17. Эта же идея применительно к обозначению реки присутствует в русск. *Многа, Великая, Большая* и т. п.

18. *Gimbutienė M. Baltai*., 18: карта распространения балтийских гидронимов, где северо-восточный участок границы составляет дугу, несколько выгнутую к северу и соединяющую исток Волги с течением Волги несколько ниже Калязина.

19. *Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982* и некоторые другие работы этого автора.

20. Агеева Р. А. *Гидронимия Русского Севера–Запада как источник культурно-исторической информации*. М., 1989, с. 185 и сл. и некоторые наблюдения других авторов.

21. Толстой Н. С. *Заволжская часть Макарьевского уезда Нижегородской губернии*, т. I, М., 1857, с. 118.

22. Можно напомнить раннее определение истоков Волги, данное в летописи: *... рѣка Днѣпръ бо потече из Оковьскаго лѣ[са] ... а Двина ис тогоже лѣса потече ... ис того же лѣса потече Волга на востокъ* (Лавр. летоп. 7). – Перечисление и анализ предлагаемых истоков Волги см.: Рагозин В. Волга, т. I. СПб., 1880, с. 310–321.

23. Эти научные основания определения истоков рек восходят преимущественно к Риттеру. "Верховье какой-нибудь большой реки должно искать на наиболее возвышенной водораздельной области. Из двух или более сливающихся в этой области водных жил главная та, которая представляет большее протяжение, имеет больший бассейн, и ее исток есть исток той большой реки, которая продолжается далее. Из двух равных по величине рек надо признать за источниковую ту, у которой источник расположен на более высоком пункте, или, согласно Риттеру, обе реки будут начальными-составляющими. Из двух же главных водных нитей, имеющих истоки на различной высоте, но представляющих значительную разницу в величине, главную должна быть признана та, которая больше; тем более, что разница в высоте истоков очень маленькой водной нити (напр. ручья) и реки, разве только, в весьма редком, исключительном случае может оказаться не в пользу последней" (Рагозин В. Волга, т. I, с. 313).

24. Рагозин В. Указ. соч., т. I, с. 12.

25. Там же, т. I, с. 12; ср. с. 13: о Большом Верхите.

26. Там же, т. I, с. 315–316.

27. Статья *Волга* в Энциклопедическом словаре Брокгауза–Ефрона, т. VII. СПб., 1892, с. 9 и сл., а также и другие гидрографические работы о Волге.

28. Верхневолжский бейшлот (голл. *bijslot*) – плотина, с помощью которой в верховьях реки образуется своего рода водохранилище, имеющее целью поддержание высокого уровня воды, делающего возможным судоходство во второй половине навигации.

29. Рагозин В. Указ. соч., т. I, с. 34–37. Здесь же (36) изображение водной поверхности на пути от Пено, производящее впечатление чего-то фантастического.

30. Ср. о гидронимах на -ита в кн.: Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962, с. 131–132.

31. В контексте лит. *ilg-* & *aukštupys*, лтш. *ilg-* & *augštece* и лит. *ilg-* & *is-taka*, лтш. *ilg-* & *iztece* обретают свое место (при принятии Волга как 'длинная', 'долгая': *ilg-*) и апеллятивные обозначения типа верх (верховье) Волги, исток Волги (ср.: князь же с Новогороди быша верху Волги и. Лавр. летоп. 492), и гидро- и топонимические элементы типа Волговерховский, Волговерховье (собств. – 'долго-верх-'), и такие названия в Поочье, как Долгая Вершина, Долгого Верха, отвершки Долгие и т. п. и даже Верх Большой (: Большой Верхит).

32. Кстати, уже Риттер полагал начало Волги в одноименном озере, но значение этого предложения было отчасти скомпрометировано рядом очевидных ошибок, которые, однако, никак не влияют на обоснованность самой идеи, но способствовали "по смежности" предубеждению и по отношению к этой главной идее.

33. Кстати, в языковой образности продолжает удерживаться идея соотносительности названия реки с ее "долгостью", чему способствует и рифма. Помимо речений, принадлежащих народной словесности, ср.: "– Ну что ты мне, елова голова, балясы точишь! ... Что я, не ярославский, что ли? У нас на Волге – гривенник такие (яблоки. – В. Т.). – С нашей-то Волги версты долги. Я сам из-под Кинешмы" (И. Шмелев – "Лето Господне", глава "Яблочный Спас") или у Мандельштама – "... Мы успокоимся надолго, / И станет полноводней Волга.." ("Зверинец").

34. Вообще есть некоторые основания считать "долгие" озера особым родом гидрообъектов. Два признака в высокой степени им свойственны – существенное превышение длины над шириной (обычно не менее чем в три–четыре раза и более) и статистически высокий процент "проточности" (при том, что втекающая и вытекающая реки обычно оказываются разными участками одной и той же реки). В этих условиях само "долгое" озеро нередко выступает как своего рода расширение реки. Ср., кстати, загадку о реке: Долгая долгушка, куда ты пошла? (Садовников). (СРНГ 8, 1972, с. 109).

35. Агеева Р. А. Указ. соч., с. 191.

36. Поэтому остающиеся не до конца ясными детали едва ли могут сколько-нибудь существенно затруднить принятие этой идеи. Впрочем, многое из деталей также находит себе объяснение. Так, "деликатный" вопрос о протезе *j* : *y*, помимо того, что он может быть продвинут и на собственно балтийском материале, имеет за собой и славянские дублеты на старой балтийской территории, ср. мазур. *Wielgie Błoto* при *Jelgie Błoto* и т. п. (Leyding G. Słownik nazw miejscowych okręgu Mazurski-ego. Cz. II. Poznań, 1959, с. 299).

О НЕКОТОРЫХ "АВТОРСКИХ" НОВООБРАЗОВАНИЯХ В БОЛГАРСКОЙ ЛЕКСИКЕ

Г. К. Венедиктов

В октябре 1955 г. С. Б. Бернштейн встретился с известным болгарским филологом академиком А. Теодоровым-Баланом на его даче в живописном горном курорте Боровце (Болгария). В их беседе, продолжавшейся почти целый день, был затронут и вопрос о созданных А. Теодоровым-Баланом новых словах и их судьбе. Тогда болгарский ученый посетовал, что многие из предложенных им слов не вошли в употребление, в том числе и слово *тишак* 'тихое, безветренное место', казавшееся ему очень выразительным по форме и значению. Эпизод этот, известный автору настоящей статьи со слов С. Б. Бернштейна, показателен в двух отношениях: один ученый – А. Теодоров-Балан – за несколько лет до своей кончины (он умер в возрасте 99 лет. – Г. В.) еще помнил об одном из своих многочисленных словарных творений и сожалел о его неудачливой судьбе; другой ученый – С. Б. Бернштейн, занимающийся в числе многих областей лингвистической болгаристики также и лексикографией, – хорошо запомнил тогда, как помнит об этом и теперь, по прошествии 35 лет, что болгарский филолог говорил именно о слове *тишак* в указанном значении. Приведенный эпизод иллюстрирует один из аспектов изучения новой, возникающей на той или иной стадии развития языка лексики: создание слова или словосочетания конкретным (определенным) лицом и осознание его этим лицом как собственного лексического новообразования, с одной стороны, и восприятие данного слова или словосочетания исследователями как творения именно этого лица, с другой.

А. Теодоров-Балан известен как активный пурист и создатель множества новых слов¹. Не все созданные им самим или почерпнутые им из других источников (народная речь, другие языки, в частности чешский²) и вводимые им в язык его сочинений слова и отдельные словосочетания закрепились в болгарском языке. Многие из них подвергались осмеянию современниками и решительно ими отвергались. Но некоторое число слов и словосочета-

ний, которые А. Теодоров-Балан считал собственными новообразованиями, вошли в литературный язык, стали общеупотребительными, и это давало ученому все основания гордиться своим вкладом в лексику родного языка. Сам А. Теодоров-Балан в июне 1954 г. в предисловии к своей книге "Български залиси", как бы подводя итоги многолетних усилий обогатить язык новыми словами, писал, что болгарский литературный язык в настоящее время пользуется несколькими десятками слов и словосочетаний, его "рукою сотворенных и пущенных в обращение" ("от моя ръка изкарани и пуснати на пазар"). К ним он относит слова *верски, възглед, дейност, заплаха, излет, излетник, изтъкна, летовище, общувам, предимство, предходни, поява, становище, съответни, съвпадеж, творба, украса, усет, хижа*, словосочетаний *въз основа на, влияние върху, съгласно със, тъй че* и др.³ Этот список авторских новообразований, составленный самим А. Теодоровым-Баланом, позднее полностью, частично или с некоторыми добавлениями приводится многими учеными, касающимися словотворческой деятельности А. Теодорова-Балана⁴, и авторами популярных работ⁵. Естественно, что, отмечая приведенные выше авторские новообразования маститого филолога-пуриста, авторы этих трудов опирались прежде всего на мнение самого А. Теодорова-Балана – прямо или опосредованно, и принадлежность их к его авторским новообразованиям, очевидно, не подвергалась никакому сомнению. Между тем отнюдь не все слова, которые сам А. Теодоров-Балан считал собственными новообразованиями, в действительности таковыми являются, поскольку целый ряд слов из его списка встречается уже в текстах, изданных еще до выхода в свет первых его сочинений. Об одном из таких слов (*почивало* 'могила'), не вошедшем, правда, в литературный язык, говорится в одной из наших статей⁶. Здесь же мы рассмотрим два словосочетания – *влияние върху* и *съгласно със*. О ряде других слов, ошибочно относимых к числу авторских новообразований А. Теодорова-Балана речь пойдет в отдельной статье.

Словосочетания *влияние върху* и *съгласно със* сам А. Теодоров-Балан, как это видно из приведенного выше списка, уверенно считал своими собственными образованиями. Вслед за ним это столь же уверенно утверждают и многие исследователи, при этом некоторые из них приводят их в отдельном списке словосочетаний, созданных А. Теодоровым-Баланом. Так, Л. Андрейчин писал: "Введены А. Теодоровым-Баланом и некоторые построенные им словосочетания, например *въз основа на...*, *влияние върху...*, *съгласно със...*, *тъй че...*"⁷. Так же поступает и Хр. Пантелеева: "Построен-

ны и введены им (А. Теодоровым-Баланом. – Г. В.) и некоторые словосочетания, такие как *въз основа на, влияние върху, съгласно с, тъй че*"⁸. Обращает, однако, на себя внимание тот факт, что некоторые исследователи вместо словосочетания *влияние върху* в качестве авторского новообразования А. Теодорова-Балана, вопреки его совершенно определенному указанию, приводят лишь слово *влияние* (без предлога *върху*)⁹ или *влие върху*¹⁰. Такая небрежность в цитировании примера, о которой приходится сожалеть¹¹, не только искажает точку зрения самого А. Теодорова-Балана, но и ведет к иному представлению об истории слова *влияние* вообще или же только в сочетании с предлогом *върху*.

Ниже следуют примеры употребления указанных словосочетаний в болгарских текстах, изданных до начала 80-х годов прошлого столетия, когда были опубликованы первые труды А. Теодорова-Балана, родившегося в 1859 г. Коллекция этих примеров составила не в результате специального собирания, а попутно при чтении возрожденческих текстов с разной целью. Некоторые примеры почерпнуты нами из картотеки словаря болгарского литературного языка эпохи Возрождения, хранящейся в Институте болгарского языка Болгарской академии наук (София)¹². Это, таким образом, случайно собранные примеры: 42 примера на употребление словосочетания *влияние върху* и 11 примеров – на *съгласно със* (с разными вариантами написания предлогов *върху* и *със*). Примеры передаются средствами современной графики и в орфографии, приближенной к современным нормам.

Влияние върху: Деянията на много народи не са имали почти никакво *влияние върху* развитието на цялото човечество (Груев 1858, с. II); Обезбеждението загубва силата си и когато умлъчение-то, излъгванието или различието не са имали наистина *влияние върху* повредата или *върху* пропадванието на обезбежденото нешто (Гранитский 1858, с. 148); Много пъте е нужно за ясността на повествованието за да покаже лицата, что имат голямо *влияние върху* ишществията (Попов 1860, с. 17); Тя [науката] ... все напредваше и придобиваше постепенно по-силно *влияние върху* духовети ("Читалище", 1870, кн. 2, с. 49); В старина Родос е имал отлична школа за живопис, която е имала *влияние върху* художествата на ново време (Бобчев 1873, с. 90); срв. также заглавия статей в одном номере газеты: *Влиянието на климата върху* човеческото устройство; *Влиянието на пътуванията върху* човека и болестите му; *Влиянието на климата върху* умственните развития на човека ("Македония", год II, № 25, 18. V. 1868).

Съгласно със. Это словосочетание в имеющихся примерах выступает в двух значениях – а) 'согласно с, соответственно' и б) 'вместе с, совместно'. В работах, в которых это словосочетание признается авторским новообразованием А. Теодорова-Балана, значение его не указывается, но, вероятно, во всех случаях их авторы имеют в виду скорее первое из этих значений.

а) В значении 'согласно с, соответственно': ... Фамилията на Мустаковите твърде добре и ревностно послужи на Габровското училище, *съгласно с* желанието и наставленията на одеските директори (Славейков 1866, с. 11); А все това доказва, че са много лъжат онии, които и днес иоще мислят и учат как требало *языкат* ни да ся пише всякога съвсем *согласно с* произношението на простият народ ("Читалище", 1870, кн. 4, с. 101); А за да изпълни това, еснафът иде да Ви увери, че от своя страна ще приложи всичкити сили, за да извърши, колкото е възможно по-добре възложеното на него дело *съгласно с* Вашето начрътание (Письмо 1870, с. 20); Но той [болгарский народ] толко повече, като са освободи ще умее сам да са управлява, *согласно с* своя народен бит ("Нова България", 1876, с. 218 – АВР).

б) В значении 'вместе с, совместно': В средата под бял шатър угриженный русский воин намира растущка; помежду тая хубост често той, *съгласно с* другарите си, разнася тих, но тъжен глас по тая малка градинка (Блъсков 1867, с. 42 – АВР).

Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться в том, что ставить А. Теодорову-Балану в заслугу создание и введение в литературный язык словосочетаний *влияние върху* и *съгласно със* нет никаких оснований. Эти словосочетания употреблялись в болгарском языке довольно широко и до выхода в свет его трудов.

Что касается словосочетания *влияние върху*, то ошибка самого А. Теодорова-Балана и тех, кто его мнение разделяет, должна была стать очевидной еще из статьи Хр. Пантелеевой "О некоторых употреблениях предлога *въз* в болгарском литературном языке", опубликованной в 1973 г. В этой статье приведено 5 примеров на употребление данного словосочетания в текстах 50–70-х годов XIX в.¹³ Сама Хр. Пантелева, правда, эти примеры с существующим мнением о создании словосочетания *влияние върху* А. Теодоровым-Баланом не связывает (задача ее статьи была другая), и поэтому, может быть, ее ценные наблюдения над употреблением этого словосочетания остались не замеченными теми учеными, которые и после выхода данной статьи в свет продолжали и продолжают связывать его возникновение с именем болгарского академика. Любопытно, однако, что и сама Хр. Пантелеева, видимо, упустила из поля зрения собственные наблюдения, когда ровно

через десять лет, в 1983 г., в другой статье в числе словосочетаний, "построенных и введенных" А. Теодорова-Баланом, привела и *влияние върху*¹⁴.

Относительно самого слова *влияние* надо сказать, что появление его, как и ряда других слов в болгарском языке, учеными связывается с разными книжниками и относится к разному времени. Так, Р. Русев считает, что первым это слово стал употреблять Ив. Богоров в переведенной им повести "Янычары" ("Еничерете", 1849 г.). "В качестве абстрактных существительных, – пишет Р. Русев, – Богоров начинает употреблять русские или вообще славянские (болгарские) слова", в том числе и *влияние*, "примечательно отсутствующее" у Н. Герова¹⁵. Поскольку речь здесь у Р. Русева идет об употребленных И. Богоровым существительных, представляющих собой "вклад в формирование абстрактного словаря", ясно, что слово *влияние* включается им в состав этого "вклада" Ив. Богорова. К. Бабов относит слово *влияние* к "русизмам, проникшим в болгарский язык с первыми в эпоху Возрождения переводами с русского языка", и в подтверждение этого приводит его толкование, данное в переведенной А. Кипиловским книге "Краткое начертание всеобщей истории" (1836 г.), и примеры его употребления в более поздних текстах¹⁶. Что касается более точного времени появления этого слова в болгарском языке и кому именно принадлежит заслуга его первого употребления, сказать пока не представляется возможным ввиду слабой изученности новой лексики болгарского языка XVIII–XIX вв. Р. Русинов, отметивший (несколько ранее К. Бабова) употребление слова *влияние* в том же переводе А. Кипиловского¹⁷, оценивает вклад А. Кипиловского в обогащение лексики болгарского литературного языка как значительный¹⁸, и утверждает, что "пока не будет издан полный словарь лексики языка XIX в., трудно с категоричностью определить, какие слова он вводит в литературное употребление впервые"¹⁹. Такая осторожность в определении конкретного вклада этого книжника (как, впрочем, и любого другого) в лексику болгарского литературного языка вполне оправдана. Сам Р. Русинов, правда, допускает, что "с известной уверенностью все же можно утверждать, что около трети книжной лексики, встречающейся в его переводах, используется впервые Кипиловским"²⁰.

Из сказанного совершенно ясно, что А. Теодоров-Балан, вопреки его собственному убеждению и мнению многих исследователей, не является создателем ни словосочетания *влияние върху*, ни тем более слова *влияние*. Ясно также и то, что А. Теодорову-Балану не принадлежит и заслуга первого употребления словосочетания *влияние върху* в литературном языке. Заслугу его, очевидно,

можно видеть лишь в том, что он, как и другие болгарские языковеды (Б. Цонев, Л. Андрейчин и др.), настаивал на замене этим болгаризированным словосочетанием широко употреблявшегося русизма *влиание на*²¹.

Примечания:

1. В качестве примера влияния чешского языка на болгарский С. Б. Бернштейн приводит как раз тот факт, что Теодоров-Балан А. "ввел ряд чешских слов в болгарский литературный язык, где они живут до сих пор". (Бернштейн С. Б. Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. – Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977, с. 58).

2. Словотворчество Теодорова-Балана А. отмечается во многих трудах, посвященных его-ученой деятельности, и в трудах по истории болгарского литературного языка и болгарской лексикологии. Из специальных работ последнего времени, освещающих его словотворческие занятия, см.: Москов М. За чист български език. София, 1976, с. 32–34; Пантелеева Хр. За словотворчеството на акад. Александър Теодоров-Балан. – Български език, 1985, № 5, с. 460–466; Вълчев Б. Особеният стил на Александър Теодоров-Балан. – Български език, 1985, № 5, с. 454–460.

3. Теодоров-Балан А. Български записи. София, 1956, с. 4.

4. Стойков Ст. Академик Александър Теодоров-Балан и българският език. – Сборник в чест на академик Александър Теодоров-Балан. По случай деветдесет и петата му годишнина. София, 1955, с. 17; Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1977, с. 145; Брезински Ст. Академик А. Т.-Балан – изтъкнат български филолог. – Език и литература, 1978, № 5, с. 5; Първев Хр. Хилядолетен български език. – Българският език – език на 13-вековна държава. София, 1981, с. 151; Русинов Р. Речниковото богатство на новобългарския книжовен език. София, 1980, с. 99; Динеков П. Александър Теодоров-Балан – първият ректор на Софийския университет. – Съпоставително езикознание, 1981, № 1, с. 70–71; Попов К. Научното дело на видни български езиковеди. София, 1982, с. 25–26; Пантелеева Хр. Делото на Александър Т.-Балан. – Съвременният български книжовен език. София, 1983, с. 147; Главоболие с чуждите думи. Съст. В. Станков и Вл. Мурдаров. София, 1983, с. 5; Георгиева Е. Акад. Александър Теодоров-Балан, български език и литература, 1984, № 5, с. 59; Русинов Р. История на новобългарския книжовен език. 2-ро изд. София, 1984, с. 304; Викторов К. Александър Теодоров-Балан и езиковата култура. – Български език, 1985, № 5, с. 427–428; Попова В. Александър Теодоров-Балан. – А. Теодоров-Балан. Избрани произведения. Съст. В. Попова, Б. Вълчев. София, 1987, с. 25; Пашов П. Филологът академик Александър Теодоров-Балан – първият ректор на Софийския университет "Климент Охридски". – Език и литература, 1988, № 5, с. 31; История на новобългарския книжовен език. София, 1989, с. 459 и др.

5. См., напр.: Н. Хайтов. Вълшебното огледало. София, 1981, с. 31–32.

6. Венедиктов Г. К. За истинските и мнимите авторски новообразования в историята на лексиката на съвременния български книжовен език. – Втори Международен конгрес по българистика. Доклади. 2. История на българския език. София, 1987, с. 298–299. – Мнение А. Теодорова-Балана об образовани им слова почивало 'могила', кроме упомянутого здесь М. Виденова разделяет также и другие ученые; см., например: Москов М. За чист български език. София, 1976, с. 33; Русинов Р. История на новобългарския книжовен език, с. 304–305. – Писател Л. Стоянов, отрицательно относившийся к борьбе А. Теодорова-Балана за чистоту болгарского языка, считал почивало и некоторые другие созданные ученым слова "языковым гротеском" (Москов М. Борбата против чуждите думи в българския книжовен език. София, 1958, с. 75).

7. Андрейчин Л. На езиков пост, с. 134.

8. Пантелеева Хр. Делото на Александър Т.-Балан, с. 147.

9. См., например: Брезински Ст. Указ. соч., с. 5; Попова В. Указ. соч., с. 25.

10. Стойков Ст. Александър Теодоров-Балан (1859–1958). – Строители и ревители на родния език. Пантеон. Съст. Л. Андрейчин и В. Попова. София, 1982, с. 268. – Приведенное здесь словосочетание влече върху вместо влиание върху, возможно, небрежность не автора статьи, умершего в 1969 г., а тех, кто готовил статью Ст. Стойкова к печати. В указанной выше статье (сноска 4) Ст. Стойков приводит словосочетание влиание върху.

11. Разного рода искажения слов, принимаемых обычно за авторские новообразования конкретных лиц, в существующей литературе, к сожалению, не единичны. Некоторые из них указаны в статье: Венедиктов Г. К. Указ. соч., с. 300.

12. За предоставленную возможность пользоваться материалами картотеки словаря литературного языка эпохи Возрождения приношу искреннюю благодарность руководству Института болгарского языка Болгарской академии наук и сектора лексикографии этого Института.

13. Пантелеева Хр. За някои нови употреби на предлога въз в българския книжовен език. – Славистичен сборник. София, 1973, с. 152–156.

14. Пантелеева Хр. Делото на Александър Т.-Балан, с. 147.

15. Русев Р. Езикът на Богоровия превод на "Еничерете". – Български език, 1969, № 1, с. 51.

16. Бабов К. Лексикални калки в българския книжовен език, възприети от руския език. – Съпоставително езикознание, 1978, № 5, с. 27.

17. Русинов Р. Преводаческото дело на А. С. Кипиловски и българският книжовен език. – Трудове на Великотърновския университет "Кирил и Методий", Филологически факултет, т. XI, кн. 1. София, 1973–1974, с. 558.

18. Там же, с. 567.

19. Там же.

20. Там же.

21. Бабов К. Указ. соч., с. 27.

Съкращения

АВР – Картотека словаря болгарского литературного языка эпохи Возрождения (Институт болгарского языка Болгарской академии наук, София). **Бльсков 1867** – Р. Бльсков. Изгубена Станка. Изд. 2. Русчюк, 1867. **Бобчев 1873** – Пътуване около света. Преведе от френски С. С. Бобчев. Цариград, 1873. **Гранитский 1858** – Тръговско ръководство за търгуване, промишленост, мореплаване и за търговски делания. Превод А. П. Гранитского. Цариград, 1858. **Груев 1858** – Кратка всеобща история от Смарагдова. Преведена от Й. Груева. Цариград – Галата, 1858. **Письмо 1870** – Письмо пловдивских ремесленников П. Берону от 18/31 марта 1870, опубликованное в кн.: Из архивата на Н. Геров. Т. 2. София, 1911. **Попов 1860** – Сборник от разни съчинения. Изчерпени из французката литература и преведени... от Д. В. Попова [Д. Войникова]. Цариград – Галата, 1860. **Славейков 1866** – П. Славейков. Габровско-то училище и неговите първи попечители. Цариград, 1866.

О ДИАЛЕКТНЫХ ИСТОКАХ БОЛГАРСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Э. И. Зеленина

Выход в свет истории новоболгарского литературного языка, изданной Болгарской академией наук¹, побудил автора данной статьи вновь обратиться к вопросу о формировании болгарской текстильной терминологии². Дело в том, что в разделе лексики вышедшего труда полностью отсутствует ремесленная терминология.

Автор статьи ставит перед собой задачу рассмотреть вопрос о возможном влиянии народной балканской терминологии ткачества на формирование литературной, опираясь на мнение исследователей о том, что в становлении современного болгарского литературного языка важную роль в свое время сыграли балканские говоры. Основой для этого послужило активное экономическое, общественно-политическое и культурное развитие районов, прилегающих к Балканским горам³.

Города Сливен и Котел с близлежащими селами, издавна славились производством высококачественных шерстяных и шелковых тканей⁴. В первой половине прошлого века эта отрасль домашнего хозяйства достигла такого расцвета, что постепенно переросла в промышленное производство. Именно в Сливене, одном из значительных центров текстильного производства, в 1836 году была открыта первая в Болгарии и вообще в балканских владениях Османской империи крупная для того времени текстильная фабрика, просуществовавшая до конца XIX в.⁵ На первых порах промышленное производство базировалось на технологии домашнего ткачества⁶. Надо полагать, что и народная терминология ткачества стала применяться в промышленном производстве.

Сопоставление балканской народной терминологии ткачества с литературной дает ответ на поставленный вопрос.

Первую известную автору фиксацию болгарской ткаческой терминологии находим в книге Г. Раковского⁷. Однако эту терминологию нельзя считать литературной, так как книга была напечатана в 1859 г., т. е. задолго до окончательного установления

норм болгарского литературного языка (последние два десятилетия XIX в.)⁸. Народная терминология, приводимая Г. Раковским, в основе своей балканская⁹ и представляет собой ценный материал по балканским говорам XIX в.

Даваемая в тематическом русско-болгарском словаре¹⁰ болгарская текстильная терминология насчитывает всего 160 терминов. Среди них есть термины, не имеющие прямого отношения к ткачеству. В то же время отсутствуют такие важные термины, как названия основных ткаческих техник, их комбинаций, видов тканей, терминов, связанных с окраской тканей. Более полную фиксацию болгарской текстильной терминологии (около 200 терминов) находим в "Болгарско-русском политехническом словаре"¹¹. Однако в нем преобладают термины, связанные с технологией современного текстильного производства, названия видов тканей, являющиеся в большинстве случаев сравнительно поздними заимствованиями преимущественно из русского и французского, а также из других языков. Та часть болгарской текстильной терминологии, которая как, можно предположить, вошла в нее из народных говоров, т. е. лексика, связанная с домашним ткачеством, включает в себя 45 слов. Более полно и компактно она представлена все же в тематическом словаре. Из словарей литературного языка в первую очередь анализируется материал из "Български тълковен речник" (БТР), так как он переиздавался (третье издание, 1973), в отличие от других словарей, изданных 30 лет тому назад. Многотомный "Речник на българския език" (РБЕ), издание которого начато БАН в 1977 г., пока не завершен.

В текстильной терминологии, приводимой в тематическом словаре, содержится около 60 терминов, вошедших в нее, как можно предположить, из народных говоров. Это слова, связанные с текстильным сырьем: **памук, памучен, лен, ленен, коноп, конопен, вълна**¹², **вълнен, коприна, копринен**; с обработкой шерсти: **запарвам, прана, непрана, разчепкам, разчесвам, разчесване или чесане, дарак**¹³; с прядением: **преда, изпреда, предене, прежда, изтънявам, суча или усуквам, сучене или усукване, пресуквам, пресукване, пресукана, вретено, прешлен, хурка, дреб**¹⁴, **мотовилка, намотавам, навивам, чекрък или родан**; с ткачеством: **тъка, изтъка, тъкан или плат, тъкане, тъкачен стан, кросно, совалка, ватъл, бърдо, гребен**¹⁵, **основа, вътък, нишка или жичка или прежда, валяне или тепане, валям или тепам**.

Все перечисленные термины, за исключением двух **родан** и **тепам**, находим в изучаемых нами балканских говорах: 1) **паму́к** Кор. Тв. I, Ж¹⁶, **паму́чен** Ж., **лен** Кор. Тв. I, Ж., **ле́нен** Тв. II, **Кирс.**, **куно́п** Кир. Тв. II, **Кирс.**, **куно́п'ан** Кир. Тв. II, **куно́пен** Кирс., **вълна**

Кор. Тв. I, *въл'на* Ж., *въл'ан* Кор. Тв. I, *въл'нен* Ж., *куприна* Кор., Тв. I, Ж., *куприн'ан* Кор. Тв. I, *купринен* Ж.; 2) *пър'а* Тв. I, *пупарвам* Ж., *пупар'а* Кор., *пер'а* Кор. Тв. I, *перъ* Ж., *чепкам* Кор. Тв. I, Ж., *исчепкам* Кор., *чеша*, *вчеша* Тв. II, *дарак* Кор. Тв. I, Ж., 3) *пр'ада* Кор., *пред'а* Тв. I, *предъ* Ж., *испред'а* Тв. I, *предени* с. Кор., *упредину* Кор., *прежда* Кор. Тв. I, Ж., *тън'а* Кир. Тв. II, *тън'б* Кирс., *суча* Кор. Тв. I, Кирс., *усуча* Тв. I, *усуквам* Кир. Тв. II, *пресукана* Кор. Ж., *вретену* Кор. Тв. I, *вретену* Ж., *прешлен* Кор. Ж., *уурка* Кор., Тв. I, *фурка* Ж., *дреп* Кор. Тв. II, Кирс., *мутувилка* Кор. Тв. I, Ж., *мутайа* Кор. Тв. I, Ж., *навивам* Кир. Тв. II, Кирс., *чекрък* Кор. Тв. I, Ж.; 4) *так'а* Кор., Тв. I, *тък'а* Ж., *такан*, -а, -у прич. Кор., *тъкан* Тв. I, *тъкан* Ж., *такане* с. Кор., *истък'а* Тв. I, *истакану* Кор., *затък'а* Тв. I, *затък'а* Ж., *тъкан* ж. Кор., *плат* Кор. Тв. I, Ж., *стан* Кор. Тв. I, Ж., *крусно* Кор. Тв. I, Ж., *суфалка* Кор., *сууалка* Тв. I, *сувалка* Ж., *ватали* Кор. Тв. I, Ж., *бърду* Кор. Тв. I, *бръду* Ж., *греб'ан* Тв. I, *уснова* Кор. Тв. I, Ж., *вътък* Кор. Тв. I, Ж., *жичка* Кор., Тв. I, *нишка* Ж., *вал'ам* Кор. Тв. I, Ж.

Слово **родан** дается в тематическом словаре как второй вариант названия мотального колеса после **чекрък**. В других словарях оно дается с пометой *обл.* (БТР, 795) и *диал.* (М. Филипова-Байрова. Гръцки заемки в съвременния български език, 149–Хасково, Родопы) и толкуется при помощи слова **чекрък**. М. Младенов относит его также к числу диалектизмов¹⁷. Таким образом, оно не является литературным. Тем более, что в политехническом словаре находим только **чекрък**.

Слово **тепам** в тематическом словаре также дается как второй вариант термина со значением 'валять (ткань)' после слова **валям**. В БТР (с. 907) оно дается наряду с **валям** (с. 68) без особых помет. Важно заметить, что слово **тепавица** 'валяльня', производное от **тепам**, дано в БТР и РСБКЕ как литературное, а слово **валявица**, производное от **валям**, дается с пометой *обл.* в БТР и *диал.* в РСБКЕ и толкуется при помощи слова **тепавица**. Оно, по сведениям Хр. Вакарелского, распространено в западной Болгарии¹⁸. **Тепам** распространено, как можно судить по имеющимся у нас данным, также в западной Болгарии¹⁹. Хотя в указанной книге М. Велевой и В. Венедиковой находим "*тепане* или *валяне*" (с. 79), что указывает на его известность и в районах Сливена, Котела и Ямбола. Слово **тепавица** употребляется в изучаемых нами говорах как новое (ср. *тепавица* Кор.)²⁰, а старым является слово *долап* (ср. *дулап* Кор.), от которого образовано и слово *долапчия* (ср. *дулапчия* Кор.) 'валяльщик'. У М. Велевой находим "*тепавици* или *долапи*" (Там же, с. 79). В политехническом словаре находим только один из вариантов – глагол **тепам** и образованные от него существительные: **тепавица** (произв. **тепавичар**) и **тепане**.

Недостающие в тематическом словаре ткаческие термины находим в "Български тълковен речник" (БТР): **гръсти** мн. 'конопля'; **паздер** м. 'кострика'; **кълчища** мн. 'конопляное волокно'; **козина** ж. 'козья шерсть'; **къделя** ж. 'кудель'; **повесмо** и **повясмо** ср. 'количество чесаной шерсти и др., необходимое для однократного привязывания к прялке'²¹; **влача** гл. нсв. 4. 'чесать шерсть на гребне или на машине'; **мъна** гл. нсв. 'отделять волокно льна или конопли от кострики'; **мъналка** ж. 'орудие для мятья' (ср. **мелица** ж. нар. то же); **кълбо** ср. 'клубок пряжи, ниток'; **гранка** ж. 'моток пряжи, шнура, и др.'; **пасмо** ср. 'моток пряжи'; **чиле** ср. [тур.] 'длинный моток пряжи или ниток'; **снова** гл. нсв. 'подготавливать основу для тканья'; **сновалка** ж. 'орудие для снования'; **нищелки** мн. (**нищелка** ж.) спец. 'прибор ткацкого станка, который дергает вверх и вниз нити основы и заплетает уток'; **цеп** м. 'плоская палочка, вставляемая между нитями основы в процессе тканья'; **разбой** м. 'ткацкий станок'; **лит.** прил. 1. 'о ткани; неплотный, тонкий и редкий'²²; **четворен** прил. 'о полотне, тканом на четырех нитях при двойной основе'; **платно**, ср. 1. 'тонкая ткань из хлопка, льна, конопли, шелка, обычно домашнего изготовления'; **чаршаф** м. [пер.-тур.] 'полотно, служащее постилкой на кровать, стол'; **аба** ж. [ар.-тур.] 1. 'грубая домашняя шерстяная ткань'; **бало**; **шаяк**²³; **шаяк** м. [тур.] 'грубая шерстяная ткань; тонкая **аба**'; **черга** ж. [от лат.] 1. 'грубая дмотканая материя, служащая покрывалом или постилкой'; **кебе** ср. [пер.-тур.] 1. 'толстая шерстяная ткань, служащая одеялом или постилкой'; **килим** м. [пер.-тур.] 'толстая цветная ткань обычно ручной работы, которую стелят на пол, вешают на стену и др.'; **губер** м. 'килим'²⁴; **китен** прил. 'кудрявый'²⁵; **козяк** м. 'черга из козьяй шерсти'; **боядисвам** гл. нсв. 'придавать другой цвет, окраску'; **вапсвам** гл. нсв. [от гр.] 'боядисвам'; **писан** прил. 2. 'пестрый, красочный'; **тъстър** прил. 1. 'в мелкий, но четко очерченный цветной рисунок, писан'; **разнишвам се** гл. возвр. 'распускаться'; **разкълчищавям** гл. нсв. 'растрепываться (о ткани)'; **поръбвам** и **поръбям** гл. нсв. 'обшивать или обвязывать край ткани, чтобы не распускалась'; **близна** ж. 1. 'место пропуска или обрыва нити в основе'; **кенар** м. [пер.-тур.] 'кайма'; **лице** 'лицо ткани'; **опако** и **опаки** 'изнанка'; **макара** ж. [ар.-тур.] 'катушка для ниток'; **аршин** м. [пер.-тур.] 'турецкая мера длины, равная 68,75 см'. Един аршин плат.; **лакът** м. 'мера длины – 1 аршин'. Изтъках трийсет лакти платно; **педа** ж. 'мера длины, равная расстоянию между большим пальцем и мизинцем'²⁶.

Все перечисленные термины (45), за исключением трех **кебе**, **разбой** и **чиле** употребляются в изучаемых балканских говорах, ср. *кал'чюшта* мн. Кир. Тв. II, Кирс., *кал'чюш'ан* прил. Кор., *коз'ана* ж.

Кор. Тв. I, *кадѣлка* ж., Кор. Тв. I, *кадѣл'а* Ж., *ўла́ча* гл. нсв. Кор., *вля́ча* Тв. I, Ж., *вля́чан* прич. Тв. I, *мъна* гл. нсв. Тв. II, Кирс., *маня́лка* ж. Кир. Тв. II, *мъна́лка* Кирс. *калбо́* с. Кир. Тв. II, Кирс., *гра́нка* ж. Кор.²⁷, *пасмо́* с. Тв. I, Ж., *снуба́* гл. нсв. Кор., Тв. I, *снубъ* Ж., *снубавани* с. Кор., *снубани* с. Ж., *снубя́лка* ж. Тв. I, *нйштелки* мн. Кор. Ж., *нйшт'алки* Тв. I, *ц'ап* м. Кор. Тв. I, Ж., *литу́* с. Кор., *лит* прил. Кир., *четорну́* с. Тв. I, *читор'ан* прил. Тв. II, *платно́* с. Кор. Ж., *платну́* Тв. II, *чарша́ф* м. Кор. Тв. I, Ж., *абы́* Ж., *ша́йак* м. Ж., *чѣрга* ж. Кор. Тв. I, Ж., *килим́* м. Ж., *килимчи́* с. Кор., *губѣр* м. Ж., *китен* прил. Ж., *коз'ак* м. Кор. Тв. I, Ж., *бойадисвам* гл. нсв. Ж., *вапцувам* гл. нсв. Кор., *писан* прил. Кор., Тв. I, *тѣстър* прил. Ж., *разнѣтвам са́* гл. нсв. Кор., *разнѣшт'а са́* гл. св. Ж., *раскалчишт'увам са́* гл. нсв. Тв. I, *пурѣвам* гл. нсв. Кор. Тв. I, Ж., *бл'азна* ж. Кор. Тв. I, *близнѣ* Ж., *кенар' м.* Ж., *лици́* с. Кор., *лицѣ́* Тв. I, *бпаки* с. Кор., Кир. Тв. I, Тв. II, *опаку́* и *бпаки́* Кирс., *ма́кара* ж. Кор. Тв. I, Ж., *арши́н* м. Кор. Ж., *лакът* м. Кор. Кирс., *лакят* Тв. II., *пѣд'а* ж. Кор. Тв. I, Ж.

Термины *грѣсти*²⁸ и *повесмо́* не зафиксированы нами в изучаемых говорах, но их находим в указанной книге М. Велевой и В. Венедиковой ср. "стъблата се скубят с рѣце на снопчета, наричани *грѣсти*" (с. 13), "снопчета влакна *повесма́*" (там же).

Слово *паздер* м. 'кострика' также не зафиксировано нами, но оно дается в книге Г. Раковского, служащей источником по лексике балканских говоров середины XIX в. (район Котела), ср. "Падающии клечки се зъвать *пъздеръ*" (с. 83).

Термин *кебе́* в БТР дается без особых помет, а в РСБКЕ и в словаре редких, устаревших и диалектных слов²⁹ он имеет помету *диал.*, что дает нам основание не считать его литературным словом.

Название ткацкого станка *разбой* дается в БТР без особых помет, как бы наравне с названием *стан*. Однако исследователи считают *стан* литературным, а *разбой* – одни – его стилистическим вариантом³⁰, другие – диалектным словом³¹.

Слово *чилѣ́* дано в БТР без специальных помет. В РСБКЕ (т. III) оно снабжено пометой *разг.* Геров его приводит только в значении: 'определенная мера смотанных хлопчатобумажных и шелковых ниток'. Политехнический словарь дает значение 'моток'. Из диалектных источников слово *чилѣ́* встретилось в словаре говора Самокова (БДПМ, III, 288) и в словаре с. Тръстеник, Плевенско (БДПМ, VI, 239), т. е. в западноболгарских говорах. В балканских говорах, как уже отмечалось, оно не зафиксировано.

В политехническом словаре находим три термина, которых как текстильных нет ни в одном из использованных словарей: 1. *рѣша́* 'чесать' (наряду с *расчѣсвам* и *вля́ча*); в изучаемых говорах не употребляется; из диалектологических источников встретился в словаре говора Самокова, ср. *рѣшим* (БДПМ, III, 271), в Разлоге и Видинско³², т. е. в западноболгарских говорах; 2. *изваряване́*

'бучение'; в одном из изучаемых говоров употребляется глагол, ср. *извар'абам* нсв., *извар'а́* св. Кир. 'кипятить домотканное шелковое полотно в дождевой воде с мылом и керосином'; 3. *очу́квам* 'мять, трепать (лен, коноплю)', ср. *чу́кам* (на *мъна́лка*) Кир. 'мять коноплю (на мялке)'.³³

Термин *избѣлвам* 'отбеливать' дается в РСБКЕ и в политехническом словаре. В говорах Жеравны и Кирсова употребляется *бѣл'а́* гл. нсв. 'отбеливать (хлопчатобумажное полотно путем стирки)'. Памучену платно́ да гу бѣлим. Ж.

В БТР некоторые текстильные термины даются с пометами: *нар.* и *обл.*, хотя в РСБКЕ и в политехническом словаре некоторые из них этих помет не имеют: 1. *фьндѣ́к* м. [тур.] *нар.* 'кочок шерсти, ваты'; 2. *кѣжел* м. обл. 1. 'верхняя часть прялки', 2. 'кудель грубого конопляного или льняного волокна'³³, 3. *масу́р* м. [ар.-тур.] *нар.* 'цевка для основы или утка'³⁴; 4. *уста́* ж. мн. 5. *нар.* 'отверстие между нитями основы, через которое проходит челнок'³⁵; 5. *укрепалка́* ж. обл. 'длинная палка, служащая для закрепления заднего навоя'³⁶; 6. *димия́* ж. [тур.] обл. 'домашний шерстяной материал...'. Они также употребляются в изучаемых нами говорах. Ср. *фандя́к* м. Кор. Кир. Кирс., *фандя́чи* с. Тв. I, Тв. II, *кѣжал* м. Кор. Тв. I, *кѣжел* Ж., *масу́р* м. Кор. Тв. I, Ж., *уста́* ж. Кор. Тв. I, *уста́* мн. Ж., *укрипалка́* Ж. Тв. I, Кир. Тв. II, *укрипал'ка́* Кирс., *димийа́* ж. Кор., *димийи́* мн. Тв. I, Слово *кит* м. 'кисти длинноворсного ковра' дано с пометой *нар.* в РСБКЕ, ср. *кит* м. Ж.

Итак, проведенное сопоставление показало, что та часть литературной текстильной терминологии, которая, как можно предположить, вошла в нее из народных говоров (113 терминов), почти полностью совпадает с народной балканской терминологией ткачества. Исключение составляют лишь три термина: *тепам* (произв. *тепавица*), *рѣша* и *чилѣ́*. Языковые данные подтверждают высказанное предположение о том, что формирование болгарской литературной текстильной терминологии происходило под сильным влиянием балканской, а именно сливенско-котелской народной терминологии ткачества.

Сделанный вывод не следует считать окончательным. Дальнейшее исследование болгарской текстильной терминологии может внести в него свои коррективы.

Примечания:

1. История на новобългарския книжовен език. София, БАН, 1989.

2. Данная статья представляет собой вновь отредактированный и дополненный вариант статьи, опубликованной ранее – "Терминология ткачества в балканских говорах болгарского языка в ее соотношении с литературной" – Сов. славяноведение, 1978, № 4, с. 57–63.

3. О сказанном см. Л. Андрейчин. Някои въпроси около възникването и изграждането на българския книжовен език във връзка с историческите условия на на-

шето възраждане. – Български език, 1955, кн. 4, с. 313; Он же. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1977, с. 24–25; Ст. Стойков. Българска диалектология. София, 1968, с. 40–41; Г. К. Венедиктов. Диалектна основа българского литературного языка и болгарское книгопечатание в эпоху возрождения. – Вопросы языкознания, 1971, № 4, с. 73–89; М. Сл. Младенов. За отношенията между книжовната и диалектната лексика на българския език (предварительные замечания). – Prace językoznawcze, z. 41. Warszawa – Kraków, 1974, s. 7; История на новобългарския книжовен език, с. 307.

4. М. Велева, В. Венедикова. Тъкани и тъкачни техники от югоизточна и северозападна България. София, 1967, с. 7–9. В этой книге находим ценный материал по терминологии ткачества в балканских говорах (районы Сливена, Котела и Ямбола).

5. Об этом и подробно о развитии текстильного производства в Болгарии в XIX в. см. Н. Тодоров. Балканский град XV–XIX в. София, 1972, с. 197–210, 267–295. Н. Тодоров указывает и два других значительных центра текстильного производства – Пловдив и Самоков. Менее значительными текстильными центрами были Котел и Жеравна. В 1848 г. в окрестностях Пловдива была открыта вторая фабрика, но это было небольшое частное предприятие, просуществовавшее лишь до освобождения Болгарии от турецкого ига.

6. Н. Тодоров. Сведения за технологията на сливенските текстилни изделия от 30-те години на XIX в. – СБНУ, кн. 50, 1963, с. 405–409.

7. Г. Раковски. Показалец или ръководство как да се изискват и издирят най-стари черти нашего бытия... Одесса, 1859, с. 82–87.

8. Л. Андрейчин. Специфични моменти и особености при формирането на съвременния български книжовен език. – Български език, 1969, кн. 1, с. 17.

9. Г. Раковский (1821–1867) родился в г. Котеле, и в своей книге он описывает обычаи и быт родного края.

10. К. Бабов, А. Въргулев. Тематичен руско-български речник. София, 1961, с. 349–353.

11. Болгарско-русский политехнический словарь. М., 1968. См. также Руско-български политехнически речник. София, 1976.

12. **Вълна** 'шерсть (любая)', а в изучаемых говорах – только 'овечья шерсть'.

13. **Дарак** 'чесальная машина', а в говорах – 1. 'гребень для чесания шерсти'; 2. 'чесальная машина'.

14. **Дреб** 'кудель', а в изучаемых говорах – 'кудель из шерсти второго сорта', что ближе к значениям, которые даются в БТР: 1. 'отходы от шерсти, льна, конопля', 2. 'низкосортная шерсть'; в политехническом словаре: 'очес', ~ **кълчищен** 'пакля', ~ **очукан** 'кудель'.

15. **Гребен** 'гребенка' – часть ткацкого станка, а в политехническом словаре – 'гребень; мыканица' – орудие для чесания льна и пеньки, как и в изучаемых говорах. В РСБКЕ (Речник на съвременния български книжовен език, т. I–II. София, 1955–1959.) дается диалектное значение 'бердо'. Ср. также **гребен** 'бердо' (Родопский словарь БДПМ – Българска диалектология. Прочувания и материали, II, 147). Как название орудия для чесания оно встречается и в западнобългарских говорах, ср. **гребен** м. 'орудие с зубьями для расчесывания конопляного волокна' (северо-западные говоры – Български етимологичен речник, т. I, с. 277); **гребенец** м. 'станок для чесания, механический и ручной' (самоковский говор – БДПМ, III, 209); **гребенци** мн. 'орудие для домашнего чесания шерсти и конопля' (кюстендилский говор – Трудове по българска диалектология, т. I, с. 219).

16. В данной статье мы опираемся в основном на материал балканских говоров Болгарии (Кортен сокращенно Кор., Твърдица – Тв. I, Жеравна – Ж. Сливенского округа), собранный в 1972 и 1978 гг. и опубликованный в Linguistique balkanique, XXII (1979), 4, с. 41–49. Материал говоров переселенцев из указанных пунктов (Кирутия – Кир., Твардица – Тв. II, Кирсово – Кирс. МССР), собранный в 1967–1969, 1972 гг.

и опубликованный в БДПМ, X, с. 118–129, приводится лишь в тех случаях, когда отсутствует материал из Болгарии. Учитываются также печатные материалы по языку городов Сливена и Котела и прилегающих к ним сел.

17. М. Сл. Младенов. За отношенията... с. 11.

18. См. Хр. Вакарелски. Етнография на България. София, 1974, с. 400. Ср. также БДПМ, I, 244 (софийский говор), IV, 140 (Кюстендилско).

19. См. БДПМ, III, 280 (Самоков), 181 (Ихтиманско).

20. В указанной книге (1859) Г. Раковского встречаются в языке автора **тъпавицы** (с. 86), но глагол употребляется только **валям**, ср., "да им ги увалят" (там же).

21. В РСБКЕ слово **повя́смо** (и **повесмо́**) ср. нар. дается с двумя значениями: 1. 'кудель льна или конопля'; 2. 'пряжа в количестве 16 глав, намотанная на мотовило'. В тематическом и политехническом словарях этот термин отсутствует.

22. Видимо, толкование неточное. Ср. **лит** 'о ткани, которая ткется на двух нитах и двух подножках' (РСБКЕ). В изучаемых говорах **лит** прил. Кир. 'о материале, выполненном на двух нитах и двух подножках'.

23. Указание на **шяк** дано ошибочно, так как **шяк** ткется на четырех нитах и четырех подножках (ср. Добруджа. София, 1974, с. 186), а **аба** на двух нитах и двух подножках (ср. Д. Константинов. Жеравна в миналото и до днешно време. Жеравна, 1948, с. 434).

24. Толкование неточное, так как **губер** 'ковер с ворсом', а **килим** 'ковер без ворса'. Об этом см. Д. Константинов. Там же, с. 434, а также Д. Велев. Български килими. София, 1960, с. 14.

25. В РСБКЕ дается значение 'с длинными мохнатыми кистями, вотканными между нитями основы и утка', что соответствует значению в изучаемых говорах.

26. В изучаемых говорах: 'расстояние между большим и указательным пальцами'.

27. В говоре Кирутии МССР, где живут переселенцы из Кортена, в значении 'моток пряжи' употребляется слово **мутувилка**. Это слово рассматривается нами как исконное для Кортена, хотя сейчас в говоре единственным названием для 'мотка пряжи' служит слово **гранка**. По имеющимся у нас данным, и **гранка** и **мотувилка** относятся к числу вариантов названия 'мотка пряжи', распространенных на территории Болгарии. Ср. Геров, V, словарная статья **шестак** 1. 'смотанные 16 глав пряжи'; пасмо; повесмо; мотовилка; гранка. гран; мендул; русский перевод – мот, моток, пятинка, талка. Названия с корнем **гран** известны и другим балканским говорам, ср. **гранчи** ср. 'пряжа, намотанная на мотовилку' Севлиево (БДПМ, V, 15), Троянско (БДПМ, IV, 196) наряду с **гран'ък** м.

28. Слово **гръсти** в РСБКЕ дается с пометой нар. В тематическом словаре его нет, Политехнический словарь дает его с пометой с.-хорв. в значении 'треста'.

29. Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век. Съставители: Стефан Илчев, Ана Иванова, Ангелина Димова и Мария Павлова. Под редакцията на Стефан Илчев. София, 1974, с. 199.

30. Ст. Стойков. Названията на тъкачния стан в български език. – Известия на етнографския институт и музей, кн. VI. София, 1963, с. 311–318.

31. М. Сл. Младенов. За отношенията... с. 10.

32. В. Falińska. Polskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim, т. II. Zróżnicowanie geograficzne obróbka włókna, cz. 2. Мара 21а, п. 88, 100.

33. В изучаемых говорах: 1. 'верхняя часть прялки'. Кор. Тв. I, Ж. 2. 'конопляная кудель'. Тв. II. В РСБКЕ дается без пометы обл.

34. В обследованных говорах: 'цевка для утка'. В РСБКЕ и в политехническом словаре дается без пометы нар.

35. Слово **уста** имеет в изучаемых говорах еще и второе значение 'часть основы между нитями и тканью'. В политехническом словаре дается без пометы нар.

36. В изучаемых говорах – 'небольшая узкая планка с дырочками' (Кир., Тв. II, Кирс.) или небольшая палочка, заостренная снизу (Тв. I, Ж.), служащая для закрепления переднего наволя.

**ЮЖНОСЛАВЯНСКИЙ КОМПОНЕНТ
В "ОБЩЕКАРПАТСКОМ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМ АТЛАСЕ"
(=ОКДА)**

Г. П. Клепикова

Близится к завершению работа над ОКДА, задачей которого является изучение результатов длительного взаимодействия и интерференции славянских и неславянских диалектов в зоне Карпат и сопредельных регионов¹. Эта задача, как известно, была сформулирована С. Б. Бернштейном на основании осмысления опыта создания "Карпатского диалектологического атласа" (М., 1967 – далее КДА); последний же был задуман в качестве практической реализации (и верификации) идеи В. М. Иллич-Свитыча о роли миграции древних славян через Карпаты на Балканский п-в (VI в. н. э. – так наз. "карпатская миграция славян") в истории южнославянских языков, – что выразилось, в частности, в существенных изменениях в сфере семантики². Оценивая значение указанного атласа, С. Б. Бернштейн писал: "...КДА показал, что мы ... затронули лишь один из аспектов глубокой языковой интерференции в зоне Карпат, интерференции, которая в той или иной степени охватила карпатские говоры украинского, польского, словацкого, чешского, молдавского, румынского и венгерского языков... Стало очевидным, что многие специфические элементы в языках карпатского ареала имеют глубокую основу, что они разнообразнее, чем это считалось ранее, а их интерпретация должна учитывать в ряде случаев данные западно- и восточнославянских языков, порой далеко отстоящих от карпатского региона"³.

Активизация лингвистического изучения зоны Карпат в 60–70-е годы, в том числе создание ОКДА, способствовало становлению и развитию карпатского языкознания – нового направления лингвистической науки⁴.

Карпатская зона – центр исследовательских интересов составителей ОКДА. Однако несомненно: проблемы карпатистики не могут быть решены в полной мере без обращения к более широкому лингвистическому контексту – как путем вовлечения данных славянских и неславянских диалектов ареала, так и в результате

всемерного учета диалектных материалов балканских языков, прежде всего балканославянских⁵. Действительно, многие явления, характеризующиеся как "карпатизмы", в ходе "карпатской миграции славян" (=КСМ) распространились к югу от Дуная и, выступая в качестве элементов словаря диалектов балканской зоны, образуют общий карпато-балканский лексический фонд. С другой стороны, несомненно, что позднее, в средние века, вследствие этно-лингвистических миграционных процессов, отмечается продвижение с Юга в зону Карпат многих лексических элементов – так наз. "балканизмов"⁶; многие из них – южнославянизмы, которые вошли в диалекты карпатского ареала опосредованно, через восточнороманские и венгерский языки. Возникшие в ходе миграции населения на Север "вторичные" связи между балканской и карпатской зонами подтверждаются значительным числом лексико-семантических схождений; заметная часть среди них – параллели между центрально-восточной частью южнославянского континуума – восточносербские, македонские, болгарские диалекты – и зоной Карпат⁷.

Методологически существенным для изучения специфики карпатской зоны является принцип (сформулированный применительно к КМС В. М. Иллич-Свитычем⁸), который состоит в том, что мера специфичности может определяться в результате сопоставления изоглосс различной конфигурации, то есть лингвогеографически, что позволит установить и границы самой зоны, и ее структуру ("ядро", "зоны вибрации" и под.)⁹.

Таким образом, южнославянский компонент ОКДА позволяет, с одной стороны, вычленив в карпато-балканской макроне карпатский ареал, а, с другой, – показать его органическую связь, по определенным параметрам, с указанной макроне. Это позволяет приступить и к изучению типологии языковых общностей (генетически гомогенных и гетерогенных; общностей на лексико-семантическом уровне и на уровне грамматики/синтаксиса [= "языковые союзы"] и под. Примеры различной дифференциации карпато-балканского лингвистического пространства по данным лексики освещены в ряде публикаций, меньше уделялось внимания изучению в этом плане семантике¹⁰. Ниже рассматривается более сложное явление – специфические черты, присущие карпатской зоне в сфере принципов номинации, и в том числе – примерам сходства "внутренней формы" (=мотивационных признаков) в названиях, принадлежащих к некоторым лексико-семантическим группам. И здесь учет южнославянских фактов позволяет углубить анализ севернославянской (=карпатской) ситуации, увидеть более глубокие причины возникновения схождений.

1. В карпатской и балканославянской зонах зафиксированы в ОКДА названия внутренних органов (человека, животного) – печени, легких, – представляющие собой синтагмы: Adjectiva (противопоставленные по цвету: 'черный', 'белый', или по иному признаку) + Substantiva ("родовое" понятие – 'внутренности'). Как следует из картосхемы 1, наименования, образованные в соответствии с указанным принципом (при различиях в конкретной, "лексемной", реализации) отмечаются широко в карпато-украинских говорах, в некоторых словацких, также в молдавских, румынских (север, Банат), и далее – представлены в македонских и сербохорватских диалектах; по данным диалектологических описаний, известны болгарским говорам (специально указанный параллелизм, "бинарность" названий отмечен для ряда говоров: џигер [Самоков – БД III, 215, Казанлык – БД V, 116]; жигер [Гюмюрджина – БД VI, 29]; друп [Карлово – БД VIII, 118, Банат-Стойков 40, 71]; дреп [Родопы – БД II, 154] и под.). Ниже приводятся примеры варьирования обоих членов синтагмы:

| | | |
|-------------|--|---|
| укр. диал. | 'č'orna pe'č'inka (печень) ('č'orni peč'in'k'e) 'č'ornyj 'potrux | 'bifa pe'č'inka (легкие) ('b'ili peč'in'k'e) 'b'ityj 'potrux |
| молд. диал. | pl'a'myj 'negru 'maira š'ej 'njagry 'majury 'njagry ž'i'g'ir 'negru | pl'a'myj 'atbi pl'a'myn' (afg) 'majury 'atbi ž'i'g'ir 'afg'i |
| рум. диал. | plămâni negre maiu plămâni negre | plamâni albe maierele albe jigarite |
| с.-хорв. | с\`na: ž'igèrica с\`na ut'robica č'ig ž'iger | bijela: ž'igèrica bijela ut'robica bel ž'iger |
| макед. | сərn drop | bel drop |
| ср.: слвц. | 't'aškie 'plu:ca | 'plu:ca |
| укр. | 't'aška pe'čunka 't'aški pe'čunky | 'lehki pe'čun'ky 'lehki pe'čunky |
| польск. | 'čyusk'ę (животного) | 'p'lyca (животного) |

и т. д.

Drop < слав. *drobъ (ЭССЯ 5, 120); ž'iger – < тур. çiger (MNYTESz 3, 1218); mai – < в. máj (там же 2, 818); peč'en – < слав. *pekti (Machek, 359); plu:ca < нем. Plautze (< слав. pl'ut'a – там же, 375); potrux <

potrox = (там же, 387; Фасмер III, 346: plămân – ср. лат. pulmo, -onem – Parahagi 824); utrob – < слав. *q'troba (Фасмер IV, 177; Machek, 551).

Рассмотренный выше тип номинации может быть интерпретирован как специфически карпато-балканское (или vice versa): явление; его генезис требует специального изучения.

2. Микрозоны, для которых устанавливается общность "внутренней формы" в разнолексемных наименованиях той или иной реалии, зафиксированы и на карте ОКДА № 35[106] 'названия (деревянной) крышки (на сосуде)'. Речь идет прежде всего о таком мотивационном признаке, как 'дно'. На основе семантического сдвига, имеющего универсальный характер ("низ" → "верх") в ряде славянских и неславянских диалектов карпатского ареала происходило переосмысление: 'дно (сосуда)' → 'крышка (сосуда)'; ср. польск. de'ę ko, du'ę ko, морав. de:ę ko, слвц. 'dię:nko, d'ience, укр. deńce (Вост. Словакия), denko (бойк.) ~ молд. fund, fundi 'şor, рум. fund, funduréli (Олт., Мунтен., ю.-зап. Трансильв.) (ср. лат. fundus – ML № 3585). Упомянем здесь и использование иного мотивационного признака – '(по)крытый', ср. польск. pżykrytka, слвц. 'pokriuka, 'pokriuka, укр. 'prekryuka (Вост. Словакия), nakry'valo, 'pokryška (также молд., рум. 'krişy, pocriş) ~ рум. coperiş, coperimînt (юг Трансильвании, сев. Мунтении и Олтении) (ср. в.-роман. а asoperi: лат. соорёгге – ML № 2205; однокоренные лексемы, используемые в румынском для обозначения 'крыши постройки' – coperişu, coperimînt – ALR II, 232), венг. fedél, диал. 'fedel, 'fedel 'крышка (на сосуде)' (< fe 'покрывать' – MNYTESz I, 858), ср. фр. couvercle: couvrir.

3. Карты ОКДА № 10 (и 9) дают материал для изучения "внутренних форм", служащих основой номинации 'дощечек, которыми покрывают крышу (крестьянского дома)'. Среди них – названия, образованные в результате сужения семантического объема (вернее – "терминологизации"): 'доска (дощечка)'... → 'специальная ~'; ср. польск. deska, descka и др., слвц. deska, doska, daska и др., укр. deska (сев.-бойк., гуцул., север МССР), далее с.-хорв. (Босния и Герцеговина) daska, daska, макед. štica, štice и под. ~ рум. (сев.-зап., банат.) scmdură, scmduri. При том, что более частотными являются: морав. 'otkorek, слвц. 'šindra, 'okrajka, укр. 'dranka, dra'nyc'a, 'syngla, с.-хорв., макед. 'šindra и под., ср. и молд. şup'dily, şynd'rily, рум. draniță (сев. Молдова, Марамуреш), ştă, şndrîlă, и под. (см.: ALR II, 231).

Подобные явления могут интерпретироваться как обычные заимствования – или путем постепенного, "линейного" движения той или иной семантической единицы, или как одновременная ирра-

диация из одного источника. В этом случае стоит задача определения языка-источника указанного сдвига, что весьма непросто, если иметь в виду характерную черту карпатской языковой ситуации — наличие многократных и перекрестных заимствований¹¹. Допустима, на наш взгляд, и иная интерпретация: в условиях формирования языковой общности конвергентного типа в карпато-балканском пространстве может возникнуть семантическая модель (=модель номинации) как совокупность мотивационных признаков, общих для большей или меньшей суммы генетически гетерогенных диалектов. Постепенно на эту модель начинают ориентироваться системы номинаций всё большего числа диалектов, в результате чего происходит смена первоначальных мотивационных признаков в системах номинации диалектов различных языков и формирование наименований соответствующих реалий (и понятий) на базе "внутренней формы", содержащейся в модели.

* * *

Тема "южнославянские языки и ОКДА" существенна не только для карпатистики, но и для самих этих языков, их эволюции. Период пребывания предков южных славян в Карпатах рассматривается исследователями в качестве важного этапа их этнической и языковой истории. Допускается, в частности, что современные севернославянские (=карпатославянские) диалекты содержат ценную информацию, которая может быть использована в историко-семасиологических студиях, посвященных южному славянству — с целью восстановления более древних, утраченных (или незафиксированных) на юге стадий семантического развития¹². При этом особого внимания, по-видимому, заслуживают показания восточнороманских, а также венгерских диалектов, в которых обнаруживаются определенные заимствования из древних славянских диалектов южнославянского типа ("дакославянских", "паннонславянских") эпохи, датируемой "карпатской миграцией славян" и которые образуют связующее звено между севернославянским и южнославянским лингвистическим континуумом. В то же время, несомненно, существуют многочисленные примеры семантического развития лексики славянского происхождения, осуществлявшегося после оставления предками южных славян северных районов Карпат¹³, и, разумеется, уже после заселения Балканского п-ва.

Представляет, на наш взгляд, интерес изучение репрезентантов слав. **prьtь* (← слав. **prьti* 'топтать, идти' — Фасмер III, 246; Mashek 396 и др.). В свете новых данных, в том числе материалов ОКДА (вопрос № 757) представляется убедительной трактовка **prьtь*, предложенная В. М. Иллич-Свитычем как специфически карпатского ландшафтного термина, возникшего в Карпатах и имевшего первоначальное значение 'тропинка, протоптанная людьми (или

скотом), в горах', т. е. в духе КМС¹⁴. Этот термин фиксируется в польских говорах (Подгале) — *pyrcь, perć* 'тропинка в горах (для овец, коров)', также 'горная дорога' и под., морав. *pyrt', p'irt'* '(широкая) тропа для овец' (ср.: 'лесная тропа' — Bartoš 343), зап.-слвц. *prt'* 'горная тропа (протоптанная животными)', укр. закарп. *pyrt'* 'то же'¹⁵, зап.-рум. *prîșe* 'то же' (ALR sn II, 408). На южнославянской территории типичным, в соответствии и с мнением В. М. Иллич-Свитыча, является значение 'тропинка протоптанная в снегу', которое может рассматриваться и как сужение отмеченного выше, но и как пересмысление (= "транссемантизация"): ср. с.-хорв. *pr̂tina*, *pr̂tina* макед. *part, prt*, болг. диал. *пртина, п̂ртина* и под. (р-н Софии, Видина, Ботевграда, Ихтимана, Тетевена, Казанлык, Попова, Плевны, Шумена — БД II, 101, III, 150, VI, 217, V, 136, 253; Млад. 272, Стойков 197; БДР), словен. *pr̂t, pr̂tina* 'дорога в снегу' (Plet. II, 357); типично данное значение и для румынских диалектов (юг, восток, Марамуреш — ALR sn III, 802) и молдавских: *pyrti, pyrtiji* и др. (ОКДА). ОКДА позволяет также фиксировать начальные стадии указанного семантического сдвига, — по-видимому, он осуществлялся в зоне Карпат, хронологически — в период, предшествовавший уходу славян к югу, за Дунай. Ср. укр. *pyrt'* 'тропинка, протоптанная в снегу (человеком, животным)' (Вост. Закарпатье; там же — 'снег, наметенный ветром'), слвц. *prt'* 'то же' (ОКДА). Вместе с тем и на Юге ОКДА фиксирует более старое, по нашему мнению (см. выше) значение '(горная) дорога, тропинка' и под., ср. ю.-вост.-серб. *pr̂tina* 'дорога (в горах), по которой скот идет на пастбище'.

Несомненно, завершение работы над ОКДА и продолжение интенсивных разысканий в области карпатского языкознания, югославистики и балканистики будут способствовать углублению наших знаний о формировании карпатской языковой общности и ее функционировании, о соотношении и взаимодействии различных диалектных (микро)зон в масштабах генетически гетерогенного карпато-балканского лингвистического пространства.

Примечания:

1. Общкарпатский диалектологический атлас. Вступительный выпуск. Скопје, 1987, с. 9 (далее — ОКДА. ВВ).
2. Подробнее об этом: Иллич-Свитыч В. М. Лексический комментарий к карпатской миграции славян. — Изв. ОЛЯ АН СССР, XIX, 1960, с. 222.
3. Славянское языкознание. VIII Межд. съезд славистов. М., 1978, с. 28.
4. Бернштейн С. Б. Общкарпатский диалектологический атлас. — МАНУ. Прилози, XXIII/1. Скопје, 1988, с. 133.
5. Бернштейн С. Б. Предисловие. — КДА, с. 15–16; Младенов М. За мястото на южнославянските езици в Общкарпатския лингвистичен атлас. — Zbornik FFUK, XXVI. Bratislava, 1977, s. 47. О необходимости учета материалов иных зон Славии см.: Бернштейн С. Б. Предисловие, с. 18. Разумеется, южнославянские данные в ОКДА собраны по редкой сетке, поэтому их значение — скорее символическое, указание на существование явлений; болгарские материалы отсутствуют, поскольку бол-

гарский коллектив в 1986 г. прекратил участие в работе над ОКДА (ОКДА. ВВ, с. 2). В карпатолингвистических и иных исследованиях используются эксерпции из диалектологических трудов.

6. О понимании терминов "карпатизмы", "балканизмы" на современном этапе развития карпатского языкознания см.: Бернштейн С. Б. Некоторые итоги и перспективы работы над ОКДА. – *Limba și literatura moldovenească*, 1990, № 6. Chișinău.

7. Бернштейн С. Б. Карпатский диалектологический атлас. – ВЯ, 1961, № 4, с. 81.

8. Иллич-Свитыч В. М. Указ. соч., с. 222.

9. О терминах см.: Бородина М. А. Проблемы лингвистической географии. М.-Л., 1966, с. 192–193.

10. См., напр.: Клепикова Г. П. К проблеме взаимоотношения языков центральной и периферийной зон балкано-карпатского ареала. – ОЛА. 1982. М., 1985, с. 74 и сл.; Она же. – ВЯ, 1989, № 3, с. 100; Она же. – Лексика в ОКДА. М., 1989, с. 134 и др.

11. Трубочев О. Н. Лингвистическая география и этимологические исследования. – ВЯ, 1959, № 1, с. 19.

12. КДА, с. 21–22.

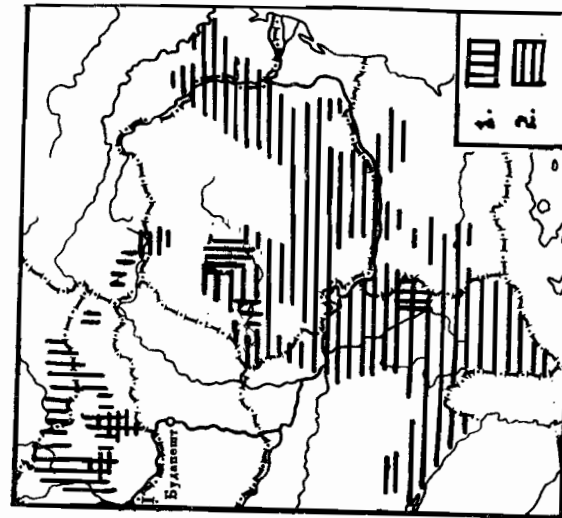
13. Примером может служить интерпретация данных лингвогеографически репрезентантов лексемы *rojata (< слав. *rojata) (Славянское языкознание. IX Межд. съезд славистов. М., 1983, с. 13–14; ОКДА, вып. I, № 22; Клепикова Г. П. Карпатская лексика в ее отношении к лексике иных зон славянского мира. 4. – ОЛА. 1978. М., 1980, с. 136 и сл.; Она же. О репрезентантах *kiselica и *prvati – ОЛА. 1983. М., 1988, с. 103; ОЛА. 1985–1987. М., 1989, с. 128).

14. Иллич-Свитыч В. М. Указ. соч., с. 230. Наличие рус. перть 'тропинка в горах' (Фасмер, III, 246) вызывает большие сомнения (ср. отсутствие его в словаре В. И. Даля). Иное объяснение продолжениям слав. *ryřty (и подобных элементов) предложено З. Голомбом, который видит в них южнославянизмы, прошедшие восточно-романское посредство и распространившиеся затем в Карпатах (МЈ, X, Скопје, 1959, с. 27); так же: Machek; RS, XVI, 93.

15. Важно подчеркнуть, что в карпатоукраинских говорах лексема зафиксирована в качестве сельскохозяйственного термина: pârк 'место, где разбросано сено из копны' (р-н Косово), пирт 'место над рекой, где скошена трава' (р-н Берегово) (КДА, в. 25, архив), ср. рыгт 'плохая трава' (Вост. Закарпатье – ОКДА). Вероятно, можно допустить параллельное развитие семантики – в направлении оронимического и аграрного термина, при том, что, на наш взгляд, последний должен квалифицироваться как сравнительно поздний локализм.

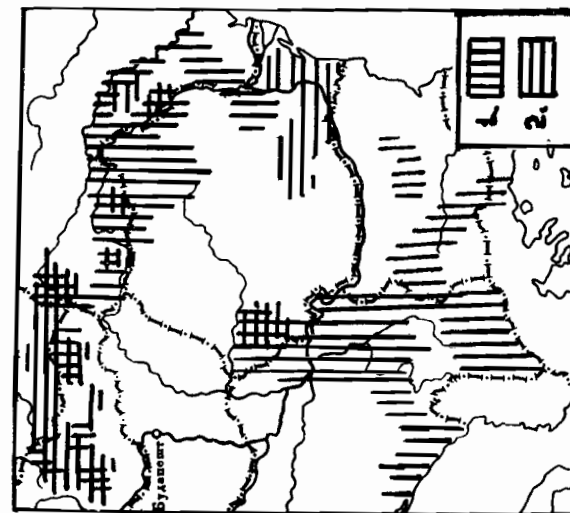
Сокращения

БД – Българска диалектология, I. София, 1962; ОЛА – Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М.; Стойков – Стойков С. Лексиката на банатския говор. София, 1969; Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, I–IV. М., 1964–1973; ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. I. М., 1974; ALR II – Petrović E. Atlasul lingvistic român, I. Cluj, 1938; ALR sn – Petrović E. Atlasul lingvistic român, I. București, 1956 –; Machek – Mashek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957; MNyTESz – A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I–III. Budapest, 1967–1976; Papahagi – Papahagi T. Dicționarul dialectului aromân. București, 1963; Plet. – Pleteršnik M. Slovensko-nemški slovar, I–II. Ljubljana, 1894–1895; RS – Romanoslavica. București; Zborník FFUK – Zborník Filozofickej fakulty J. A. Komenského.



Карта 2. Семантика репрезентантов слав. *ryřty

1. Тропа, дорога в горах.
2. Тропа, протоптанная в снегу и под.



Карта 1. Распространение названий для 'печени' и для 'деревянной' крышки сосуда

1. Синтагма « Adjectiva ('черный' и др.) + Substantiva ('внутренности') », обозначающая 'печень' и 'легкие'.
2. Названия 'крышки сосуда' по « внутренней форме » 'дно'.

К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ПРОНИКНОВЕНИЯ ТЮРКИЗМОВ В НЕКОТОРЫЕ ЗАПАДНОУКРАИНСКИЕ ГОВОРЫ. II.

(Восточно-романское посредство

в распространении тюркизмов в карпато-балканской зоне)

Т. Ф. Семёнова

Настоящая работа является продолжением начатой серии публикаций о путях проникновения тюркизмов в некоторые западноукраинские говоры¹. Как уже было отмечено, восточно-романское языковое влияние охватывает в основном юго-запад карпатско-украинской территории. Рассмотрим механизм опосредованного проникновения тюркизмов на примере лексемы +vatah(f).

В украинском рассматриваемая лексема известна, в основном, как пастушеский термин и в некоторых специальных значениях в восточной и центральной частях Закарпатья и в Прикарпатье, на Гуцульщине, в соседних с нею районах Черновицкой области, на Бойковщине, а также на Буковине: ср. *vatag* м. тот, кто на пастушеской стоянке перерабатывает молоко и дает хозяевам овец творог' (р-н Калуш, Ивано-Франковская обл. — Karas' 93); 'руководитель хозяйства на пастушеской стоянке, участвующий в выработке творога', 'тот, кто доит овец и делает творог', 'человек, который (по очереди) берет творог на пастушеской стоянке' (*vatah* — Бойковщина — AGB 6—27, № 204); 'мастер-брынзодел' (Бойковщина, Гуцульщина; р-н Хуст, Межгорье, Рахов, Буковина — КДА 206, № 147; Zel. I, 57; *vatah*, *vatab* — КДА 206, № 147); 'старший пастух овец' (Бойковщина, р-н Ст. Самбор, Львовская обл. — Karas, 93); 'старший пастух' (Zel. I, 57; СУМ I, 296); 'старший над пастухами' (*vatag* — Грин. I, 128); 'дружка на свадьбе, товарищ молодого' (Буковина — МСБГ I, 53; ЕСУМ I, 339); 'предводитель разбойников' (Грин. I, 128; Zel. 57; ЕСУМ I, 339); 'тот, кто руководит ватагой, ватажок' (*vatag* — СУМ I, 296).

В румынском лексема *vatai* в качестве пастушеского термина и с некоторыми иными значениями распространена в различных фонетических вариантах по всей территории: ср. 1) *vataf* м. 'главный пастух на пастушеской стоянке, сыродел' (с.-зап. и ю.-вост. Ол-

тения — ALROLt. 'старший по возрасту и наиболее опытный пастух, возглавляющий стоянку, который мог быть и хозяином овец' (вост. Олтения); 'начальник пастухов, который отвечает за овец, особенно зимой в поле' (Южные Карпаты — Vuia 180); 'главный на пастушеской стоянке' (р-н Хадег — Conea. Clopotiva 73, также *vataiu* Банат — Costin. Graul banatean 25, цит. по: Клепикова 1980, 123); 'руководитель пастухов' (Трансильвания, Олтения, — Tiktin, 1718); 'пастух, охраняющий пастбище' (Sain. DUn 690); 'пастух во главе стада овец' (р-н Рымникул Вылча — Lex. Reg. I, 88); 'пастух, который идет впереди стада и ведет его' (*v. de cirđ*, также *v. di cirđ* р-н Вранча — GS, IV, 271, 278; р-н Рымникул Сэрат — GS IV, 64); 'пастух, который ведет стадо овец' (ю.-вост. от Сфынту Георге — ALRsn II, № 394 комм.); 'пастух' (р-н Телчу — JIRS, XVI, 213, цит. по: Клепикова 1980, 123); 'предводитель цыган' (Scriban 690, так же *vataf*, *vatafu*, *vatafu* — юг Трансильвании, Олтения, Мунтения, юг Молдовы, *vatau* р-н Топлтца — ALRsn III, № 831); 'надзиратель или начальник' (Арджеш — Folc. Olt. Munt. II, 695); 'смотритель двора господаря или боярского поместья'; 'руководитель при подготовке торжеств на деревенской свадьбе'; устар. 'капитан 500 солдат'; 'субпрефект волости' (Scriban 690, ср. Tiktin III, 1718 с указанием: в старой литературе XVI—XVII вв. — *vatah*, в Молдове — *vatau*); 'предводитель калушар' (*v. de calușari* — Tiktin); *vataf* 'предводитель молодых парней, участвующих в пасхальных празднествах' (р-н Сибиу — JYRS VIII, 85, цит. по: Клепикова 1980, 124); *vataf* 'старший пастух, сыродел' (также *vatau* — Марамуреш, повсеместно — ALRMar II, № 382); 'мастер-брынзодел' (*vatab*, *vatah* — вост.-ром. говоры Закарпатья в р-не Ракова — КДА 206, № 147); 'главный пастух' (р-н Сибиу — GS VI, III; также *vatau* р-н Карансебеш — ALRsn II, № 894 комм.; *vatau* р-н Бая-Маре — ibid. II, № 400 комм.; также *vataf* — обл. Вранча — Folc. Trans. IV, 929); 'хозяин овец, старший над пастухами' (Олтения — Folc. Olt. Munt. III, 198); '*v. di cirđ* — 'кто ведет овец' (Folc. Trans. IV, 271, 278); *v. mare* 'сельский судья'; *vatau* — 'судья обычного (валашского) права' (р-н Сучава — Sezitoare. Suceava I, 295; цит. по: Клепикова 1980, 123); 'должностное лицо' (Марамуреш — ALRMar II, № 421); *vatah* 'военный начальник' (Южная Буковина — GS III, 46 II, № 421); *vataș* 'начальник, надзиратель над батраками в боярском поместье' (Олтения — Folc. Olt. Munt. V, 735); 'главный над рыбаками' (рум. говоры Сербии — Giuglea G., Valsan G. Dela Romanii din Serbia. Buc., 1913, 399, цит. по: Клепикова 1980, 124).

В молдавском рассматриваемое слово известно в качестве пастушеского термина и фиксируется в говорах, примыкающих к Украине (Буковина, Черновицкая область); в других значениях является архаизмом; ср.: *vataf* (также *vatab*) м. устар. 'приказчик, над-

смотрщик (в помещицьем имени)'; ист. *вэтаф* 'начальник охраны при дворе господаря'; устар. 'глава, главарь, вожак'; 'глава рыболовецкой артели' (ДМР 128); 'старший чабан; мастер-брынзодел' (ОДА, 156).

В перечисленных языках значения слов с основой + *vatah(f)* распределяются по нескольким группам. 1) Основная группа значений так или иначе выражает идею "руководитель, предводитель", ср.: молд. 'глава, главарь, вожак'; 'глава рыболовецкой артели'; 'предводитель цыган', 'капитан военной группы'. 2) Специфические пастушеские термины: рум., молд., укр. 'главный пастух'; рум., укр. 'руководитель хозяйства на пастушеской стоянке'; рум., укр. 'мастер-брынзодел' (как главный на пастушеской стоянке); рум. 'пастух, идущий во главе стада'. 3) Производные от основного значения "руководитель, предводитель": а) судебно-административные термины, ср. рум., молд. 'судебно-административный чиновник'; рум., молд. 'управитель в имении'. 4) Обрядовые термины: рум. 'дружка на свадьбе', 'воевода калушаров', 'главный над группой колядующих'.

По поводу происхождения рассматриваемых лексем самой распространенной точкой зрения является мнение об общности проникновения их из какого-либо тюркского источника. В связи с этим существуют различные представления.

I. Эти лексемы восходят или могут восходить к мнимому татарскому *wataha* (подобного слова в современном татарском не существует) 'толпа, товарищество рыбаков' (Miki. Ewb. 376; Brückner 504; Cioganescu 886, № 9180).

II. Украинское, румынское и болгарские слова с корнем + *vatah* сближаются с тур. *otağ* 'шатер, палатка, челядь' (Младенов. ЕПР, 58).

III. Румынское *vătăf* происходит из тур. *vattaş* 'старший пастух, руководитель, управляющий, эkonom' (XVIII в.) – общесом. *vattaş* < араб. (Младенов. ЕПР, 583, 'пастух', ЕСУМ I, 339). Следует отметить, что в современных турецких и староосманских словарях это слово отсутствует, нет его и в современных арабских словарях. Этого же мнения придерживается и Х. Венд². К. Г. Менгес проводит заимствованную из тюркского арабскую форму, бытовавшую в Египте *watāq*, (разговорное – *watāc*)³.

Однако, рум. *vătaş* 'главный над рыбаками', 'начальник, надзиратель над батраками в боярском поместье', укр. *ватась* 'то же, что *ватаг*' восходят, по всей вероятности, к булг. **vataš*, ср. современное чуваш. *вут ашша* 'отец огня', 'название божества в молельне' (Ашмарин V, 278); *вуташ*, *воташ* 'название водяного духа', 'название злого духа' (Ашмарин V, 28, 284); 'божество' (злое, о воде), 'дух огня' (Ашмарин V, 285). По мнению М. Р. Федотова, "первоначально

этот мифический термин, общий для чуваш. и марийск. языков, обозначал дух огня, затем стал обозначением злых духов вообще⁴.

Фонетическая форма румынского и молдавского слов – рум. *vătăf* молд. *вэтаф(е)* – в силу особенностей этих языков, по всей вероятности, отражает фонетику болгарского источника: др.-булг. **vātah(γ)* (ср. чуваш. *вэл 'он' < *бл*)⁵; в др.-тюрк. глухой увулярный согласный после широких гласных реализовали в *h* в словах с твердоярными гласными, что связано с процессом спирантизации конечного *K₂*, ср. чуваш. *ух < *ак 'теки'* (повелительная форма)⁶. Таким образом, др.-булг. слово в форме *vātah* было заимствовано некоторыми языками карпато-балканской зоны.

Как известно, прот-болгары во главе с ханом Аспарухом появились на границах Византии в 70-х годах VII в. и заняли современную Добруджу. Северная граница образовавшегося затем Первого Болгарского царства проходила по задунайским землям⁷. В языки этносов, сложившихся позднее по обе стороны Дуная, рассматриваемое слово вошло из языка постепенно продвигавшихся по причерноморским степям древних болгар. В румынской литературе XVI–XVII вв. находим форму *vătăh*, что соответствует исходной болгарской форме *vātah*.

Дальнейшие изменения конечного *h* в восточно-романском слове, во-первых, могут быть связаны с последующим куманским влиянием, во-вторых, с собственными фонетическими и морфологическими процессами. Куманы, половцы, появились на территории современных Румынии и Молдовы во второй половине XI в.⁸ Многие из них постепенно оседали в этих местах. В 1227 г. на территории, расположенной восточнее и южнее Ю. Карпат, был основан, по инициативе венгров, куманский епископат⁹, из чего видно, что влияние куманского на восточно-романской территории было значительным. Для этого языка был характерен переход конечного *g > v*. ср., например, куман. *qadaq* 'гвоздь', *bitiv*, *bitiiv* 'буквы, письмо'. Кроме того, появлению конечного *-v* могла способствовать последующая кыпчакская волна на рассматриваемой восточно-романской территории. Во 2-й половине XVI в. на юге Пруто-Днестровского междуречья были поселены ногайцы, в XVII в. мигрировавшие в глубь территории современной Молдовы. В 1672 г. северная граница расселения ногайцев на этой территории проходила по линии Халил-Паши, по пересечению Верхнего Троянова вала с р. Ботной. В 60–70 годах XVIII в. турецкие реаи и ногайцы занимали в междуречье 55,7 % территории или 27,2 % всего молдавского феодального государства¹⁰ Ср. ног. *отав* 'маленькая юрта, которую берут с собой на летовку' (Северян, 485).

Формы с конечным -v находим на территории Молдовы и Марамуреша: с одной стороны, это можно считать кыпчакским влиянием (половцы, ногайцы), с другой – восточно-романским фонетическим процессом. Переход *v > f* известен в некоторых говорах Буковины, северо-западной Молдовы и, реже, центральной ее части¹¹. Появление *f* на месте *h* – явление регулярное для восточно-романских языков, особенно в заимствованиях, поскольку звук *h* является неустойчивым в фонетической системе восточно-романских диалектов, ср., например, слав. *прах* – рум. *prăf*, болг. *върх* – рум. *vîrf*. Более древние формы с конечным *h* сохраняются в говорах Закарпатья и Северной Буковины¹², ср.; молд. *прах* < слав. *прах*. Таким образом, укр. *ватаг* заимствован из вост.-ром. диалектов, сохранивших более древние черты.

Румынские формы типа *vătaiu*, *vătau*, где *iu*, *au* < *f* под влиянием палатализации во мн. числе, а также формы типа *vătafi*, *vătau*, где конечный согласный с призвучием определяется влиянием постартикля, являются результатом воздействия морфологических факторов.

Примечания:

1. Семёнова Т. Ф. К вопросу о путях проникновения тюркизмов в некоторые западноукраинские говоры. I. – Славянское и балканское языкознание. М., 1983, с. 164–174.
2. Wendt H. Die türkische Elemente im Rumänischen. – Berliner byzantinische Arbeiten. Bd. 12. 1960. S. 66.
3. Менгес Г. П. Восточные элементы в "Слове о полку Игореве". Л., 1979, с. 189.
4. Федотов М. Ф. О некоторых тюркских заимствованиях в марийском языке. – Советская тюркология, 1985, № 4, с. 21.
5. Щербак А. Ф. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, с. 151.
6. Щербак А. Ф. Указ. соч., с. 175.
7. История Византии. I. М., 1967, карта на с. 375; История южных и западных славян. М., 1964, с. 14–15.
8. Diaconu P. Les Coumans: au Bas-Danube aux XI et XII siècles. Bucureşti. *1978, s. 9–14, 59–62.
9. Giurescu C. C. Istoria Romanilor I. Bucureşti, 1940, s. 341.
10. Дрон И. В. Гагаузские этнонимы и этногидронимы ногайского происхождения. – Советская тюркология, 1985, № 3, с. 9.
11. Удлер Р. Я. Диалектное членение молдавского языка. ч. II. Кишинев, 1970, с. 19–20.
12. Удлер Р. Я. Указ. соч., с. 20.

Сокращения

Ашмарин – Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. I–II. Казань, 1928–1929; вып. III–XIII. Чебоксары, 1929–1950. **Грин.** – Гринченко Б. Д. Словник української мови. I–IV. Київ, 1907–1909. **ДМР** – Дикціонар молдовенеск-русеск. Кишинев, 1961. **ЕСУМ** – Етимологічний словник української мови. 1–2. Київ, 1982–1985. **КДА** –

Бернштейн С. Б., Иллич-Свитыч В. М., Клепикова Г. П., Попова Т. В. Усачева В. В. Карпатский диалектологический атлас. I–II. М., 1967. **Клепикова 1980** – Клепикова Г. П. Карпатская лексика и ее отношение к лексике иных зон славянского мира. 2–4. – Славянское и балканское языкознание. М., 1980. **МСБГ** – Материали до словника буковинських говірок. 1–6. Чернівці, 1971. **Младенов ЕПР** – Младенов С. Етимологічески и правописан речник на българския книжовен език. София, 1941. **ОДА** – Общекарпатский диалектологический атлас. Кишинев, 1976. **Севортян** – Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. I–IV. М., 1974–1989. **СУМ** – Словник української мови. I–IX. Київ, 1970–1980. **AGB** – Atlas gwar bojkowskich. I–VI. Warszawa – Wrocław – Kraków – Gdańsk, 1980–1986. **ALROLT** – Nouvel atlas linguistique romain. Oltenia. I–IV. Bucureşti, 1967–1980. **ALRMAR** – Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramures. I–III. Bucureşti, 1969–1973. **ALRS. n.** – Atlasul lingvistic român. Seria nouă. I–VII. Bucureşti, 1956–1972. **Brückner** – Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1957. **Cioranescu** – Cioranescu A. Diccionario etimológico Ruman. Tenerife – Madrid, 1958–1961. **Folc. Ol. Munt.** – Folclor din Oltenia și Muntenia. I–VIII. Bucureşti, 1967–79. **Filc. Trans.** – Folclor din Transilvania. I–VI. Bucureşti, 1962–1980. **GS** – Grafi și suflet, dir. O. Densușanu. Bucureşti. I–VII, 1923–1937. **Lex. Reg.** – Lexic regional. I–II. Bucureşti. 1961–1967. **Karás** – Karás M. Studia nad dialectologia ukrainska i polska. Kraków, 1975. **Mikl. Ewb.** – Miklosich F. Etimologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886. **Scriban** – Scriban D. Dictionar limbii românilor. Iași, 1939. **Șăin. Dun.** – Șăineanu L. Dictionar universal. Bucureşti, 1908. **Tiktin H.** – Tiktin H. Dictionar român-german. I–III. Bucureşti, 1903–1924. **Vuia** – Vuia R. Tipuri de păstorit la români. Bucureşti, 1964. **Żel.** – Żelechowski E. Rutenisch-deutsch Wörterbuch. I–IV. Lvov-Lemberg, 1886.

ЭТНОБОТАНИЧЕСКИЙ ЭТЮД: БАЗИЛИК *OSIMUM BASILICUM* L.

В. В. Усачева

Базилик — растение с сильным пряным запахом, родом из южной Азии, в Европе известно с XVI в. (привезено из Индии и Ирана), культивируется как садовое и комнатное. Базилик играет большую роль в обрядах, магии, медицине славян; на юге Славии пользуется особым уважением и почитанием: его считают святым, приписывают ему исключительную мистическую силу, особенно защитную, а иногда и плодородную (Кул. 21). Воспет в славянской народной песне, являя собой символ святости, любви, красоты, чистоты.

Названия в славянских языках (рус. *базилу́к*, польск. *bazylią*, *bazylik*, *bazylika*, *wasilek*, чеш. *bazalka*, *bazalička*, *bazalenka*, ст.-чеш. *bazilika*, словц. *bazalka*, *bazalička*, болг. *босилек*, *босилък*, макед. *босилек*, с.-хорв. *босиль*, *босильак*, *босу(ј)ок*, словен. *bazilika*, *bažiljka*, *bosilje*, *bosiljek*) восходят к греч. βασιλικόν < βασιλεύς 'царь' или к лат. *basilicum*, которое также из греческого (ср. еще рум. *busuiok*, венг. *bisziok*, алб. *bazelok* с тем же значением), фиксируются в памятниках письменности и словарях, начиная с XVI в. (RJA, S1Stp). В древнерусских памятниках XVII в. базилик упоминается как составная часть мира* и как кропило (СРЯ 1 : 66; 2 : 23), а в "Травнике" 1534 г. (по списку XVII в.) базилик называется среди лекарственных растений ("василки... базиликонь") — от него сростаются кости.

На юго-западе Югославии это растение называют *велсаген*, *веслижан*, *мисложин* (Чайк. 41), *fesligen*, *vesligen*, *velsägenj*, *vaslëden*, *mesliden* от тур. *fesleken* < греч. βασιλικόν (Skok)¹.

В украинском литературном языке и диалектах зафиксированы названия: *базилік*, *васильок* (мн. *васильки*) (СУМ)², *бусуйок* (заимствовано из молдавских говоров), *васильчик*, *василько*, *васильник*,

василечок (Мак. 244). По мнению составителей Этимологического словаря украинского языка не все они соотносятся с греческим этимологом — часть из них связана с именем Василь (ЕСУМ)³. Название *василек* для *Osimum basilicum* отмечено и в русском. Так у В. И. Даля читаем: "Базилік — раст. душистый василек, васильки пахучие..."⁴ В русских говорах лексема *василек* используется для обозначения двадцати с лишним видов растений, в том числе и для базилика (с пометой: *курск.* — СРНГ 4 : 64–65)⁵.

С базиликом связано много легенд, преданий, поверий. Южно-славянская легенда повествует о том, что базилик вырос на могиле Христа, его пытались уничтожить евреи, но он вновь и вновь появлялся (Стойков 90), по другой легенде базилик вырос на Голгофе, на месте, где распяли Христа (Чайк. 49)⁶. Русские и западные поверья рассказывают о базилике как о цветке, выросшем из крови Спасителя (Вес. 240)⁷.

По представлениям сербов базилик — любимый цветок Богородицы, он открывает ворота в рай, где растут розы и базилик. Архангел извлекает из тела души праведников в момент смерти с помощью этого растения (ср. выражение "душа му на босильак мирише"). В украинской легенде рассказывается о том, что в Троицын день русалка заманила юношу в поле, зашекетала до смерти и превратила в цветок, и цветок назвали именем Василия (Манд. 58). Другое предание гласит: цветок этот вырос на могиле юноши по имени Василь (Костом. 35). И в песенном фольклоре нашли отражение предания о его происхождении. В одной из песен, записанных в северо-восточной Болгарии, говорится о том, что базилик вырос из слез девушки (ПСИБ 2, № 502), а в сербских — из крови растерзанной девушки и убитого царя Уроша (Чайк. 49). В болгарской песне злая мачеха — виновница смерти двух влюбленных, срубает и сжигает розу и виноград, выросшие на их могилах, а из пепла, рассеянного ею, вырастает душистый базилик — символ любви и верности, и юноши прикалывают его к фескам, девушки носят на груди, а малые дети в ручонках (Sob. 241). Подобный мотив прослеживается в украинской купальской песне: Ивана разрубили на куски и бросили в трех садочках, и выросли "три зильечка": барвинок, василек и любисток (Костом. 34).

В украинских, болгарских, сербских песнях с базиликом часто сравниваются девушка и юноша, девушка сеет любимый цветок, ухаживает за ним и следит, чтобы никто его не потоптал — вытоптанный базилик означает утрату целомудрия⁸. Если любовь безнадежна, то девушка сама вырывает его (Sob. 240).

Базилик участвует в народных обрядах славян карпато-балканского региона, сопровождающих человека от рождения до

* Мир — искусственно приготовленное маслянистое душистое вещество, употребляемое в христианских церковных обрядах. В его состав входят различные душистые травы.

смерти, о чем поется в болгарской песне: "... похвалил се босилек, че без него не кръщават, не венчават и не опяват" (ПСИБ 2, № 1464).

В цикле семейных обрядов базилик наиболее активно выступает в свадьбе, начиная со сватанья и кончая обрядом венчания. Сваты идут к невесте с букетом базилика (*са китом од босилка*), который она возвращает им, если согласна (*Sob.* 233). Болгарская девушка, желая выразить свою любовь избраннику, посылает ему с кем-нибудь из родни букет цветов и китку базилика, перевязанные шелковой ниткой (с. Петково, Ахл-Челебийско — Кокст. 39). В Пиринском крае во время помолвки невеста и жених обмениваются букетиками базилика (ПК 326).

Одежда невесты и жениха (полс, головной убор, рубаха) украшается букетиками базилика. Если венчание происходит дома, вяют два венца из базилика и других цветов (самшит, роза, ноготки, амарант) — во время обряда жених и невеста обмениваются ими (Бяла Слатина, с. Гинци. Софийско — Рашов 169). В Оряховско эти венцы забирают свахи и сеют семена базилика в своих садах, чтобы и к их дочерям скорее пришли сваты (Мар. ИП 2 : 470).

В венках, которые прикрепляют на головные уборы всех свадебных чинов женского и мужского пола, должен быть обязательно базилик, наряду с другими растениями (Разградско — Капанци 159–160). Маленькие букетики из базилика получают все гости, присутствующие на свадьбе (укр., слов., болгар., макед., серб.).

Базиликом украшаются ритуальные предметы, употребляемые в свадебном обряде, или специально изготавливаемые для этого. Свадебные хлебы опоясывают базиликом или втыкают веточку в середину (Кул. 21, Покутье — Kolb. 29 : 229). В с. Гинци *венчалска кы́тка* из базилика и других цветов, изготовленная для невесты свекром и свекровью, в день свадьбы ставится на *логачу*, лежащую в центре стола, а потом прикрепляется на грудь невесты слева (Рашов 169). Свадебное деревце украинцы Покутья украшают ягодами калины, колосьями, пахучими травами, в том числе базиликом (Kolb. 29 : 279)⁹. У южных славян к свадебному знамени прикрепляют букет и венки из цветов и базилика, который должен оградить молодоженов от всего злого.

В Гомолье зафиксирован обряд приношения базилика колодцу в день венчания. Маленькая девочка, одетая невестой, в венке из базилика на голове, совершает это действие, после чего набирает воду и несет ее на коромысле, украшенном базиликовыми венками. В этой же зоне во время свадьбы бросают базилик в реку (СЕЗБ 19 : 179). Перед завершением свадьбы в некоторых районах Сербии окуривают всех участников базиликом. По мнению В. Чайка-

новича, этот обряд отражает древнее уважительное отношение к предкам, которые, по народным представлениям, все три дня присутствовали среди живых и незримо принимали участие во всех ритуалах и совместной трапезе (Чайк. ГЕМ 5--6).

В Призрене, Косове, Темниче во время свадьбы невеста смотрит через ветку базилика или через венки из него на жениха, что иногда объясняется как любовная магия, или как стремление обеспечить прибавление потомства (Кул. 21–22).

В родильной обрядности проявляется охранительная функция базилика, отгоняющего от роженицы и новорожденного все злое: растение кладут рядом с роженицей; воду, в которую опускают освященный базилик, она пьет или умывается ею; такой же водой в первый раз купают ребенка. В Болеваце и Гомолье в течение сорока дней после родов купают в воде с базиликом, собранным в девяти садах, и роженицу, и младенца (Чайк. 43). Чтобы ребенок хорошо спал, базилик кладут вокруг его головы, а для отгона болезней чертят на лбу знак креста обгоревшей веткой базилика (Чайк. 42); завязывают несколько стебельков растения в один из углов свивальника (Мар. ИП 2 : 496).

У украинцев Покутья бабка-повитуха, приняв младенца, купает его в теплой воде, в которую кладут мед, мяту и базилик — если это девочка, чтобы была сладкая, приятно пахла и людям мила (Kolb. 31 : 175). Словаки Комлоша (Венгрия) при тяжелых родах окуривали роженицу травами, в том числе и базиликом. Это было направлено против демона, который задерживал роды (Hogv. 119). И у болгар Свиштова повитуха окуривает роженицу и весь дом базиликом, чтобы обезвредить злые силы (Чол. 48).

В погребальных и поминальных обрядах базилику отводится весьма значительное место: его, часто вместе с другими ароматными травами, употребляют для окуривания или окропления умершего; кладут в воду при обмывании тела. Его кладут с обеих сторон лица (Покутье — Kolb. 29 : 215), вставляют в правую руку веточку базилика (Лесковацкая Моравя — Ђорџ. 490), обкладывают все тело покойного (укр., болгар., серб.), набивают подушку, которую кладут в гроб, сухим базиликом (Гевгелия — Чайк. ГЕМ 7; укр. — Васильев 319). У геров Баната подушка наполнена базиликом, пео-нами, розами и другими ароматными цветами (БХ 247). Болгары на голову умершего, независимо от пола и возраста, возлагают венки из базилика, самшита, плюща и барвинка (Разградско — Капанци 160); на Волины же венки делают только для умерших девушек, а при похоронах женщин базилик кладут им под голову или зашивают в подушку (Беньк. 13). В Славонии в доме при покойнике все члены семьи держат в руках базилик — *da ji ne obmami duva od mrtvaca*

(ZNZO 21/1, 1916 : 152); все пришедшие проститься с умершим приносят с собой это растение (ср. болг. диал. фразеологизм: *босилек да ти занесат* – 'чтоб ты умер'). В дни поминовения усопших базилик сажают на могилах¹⁰, втыкают в землю, украшают могильные кресты (гуцул. – *Kaĩndi 106, СбНУ 3 : 78, Кул. 22*), бросают его в реку как дар умершим (Кул. 22). Во время поминальной трапезы базиликом украшают софру, посуду, обрядовые хлебы (Лесковацкая Морава – Ћорѓ. 375).

В календарной обрядности участие базилика также обязательно: он присутствует в цикле зимних праздников от рождественского сочельника до Крещения (Богоявления). Его вплетают в корону предводителя колядников, им украшают полазника, иконы, бадняк, рождественскую чесницу, кувшины с водой, домашних животных. На крещение шли к источнику и прежде, чем набрать воды, бросали в него базилик; принеся воду домой, кропили ею при помощи базилика людей, постройки, скот, умывались, опустив его в воду, пили такую воду, чтобы быть здоровыми; пускали веточку любимого растения по реке (Закарпатье – Пот. 353; Лесковацкая Морава – Ћорѓ. 356; Алексинацкое Поморавье – Ант. 179; северо-восточная Болгария, Родопы – КОО 278; Дебарца – Цел. 94). В сходных формах использовался базилик и в другие праздники: на Пасху, на Юрьев и Енев день и др. У сербов два дня в году было посвящено этому растению – день Маковья и Крестовоздвижение. Освящение базилика в церкви происходило также у болгар, македонцев и украинцев. Освященное растение хранилось в течение года за иконами или в другом укромном месте для обрядов, магических и лекарственных целей.

Участвовал базилик и в обрядах, связанных с работой в поле – с пахотой, севом, жатвой: его подмешивали в семенное зерно, им украшали пахаря и волов, букетик базилика, перевязанный красной ниткой, клали в первую борозду, его вплетали в дожиночный венок из жита в день окончания жатвы (укр. – Манд. 248; Пирин – ПК 74; Славония – *Franić 36–37*).

Базилик широко использовался в любовной магии, в гаданиях, в лечебной практике. В качестве "приворотного зелья" его применяли в Словакии: девушки зашивали его в подол платья, что должно было притягивать к ним парней. Об этом пелось и в песне: "*Neviete vy, chlarcí, prečo k nam chodíte. Mám ja bazaličku zašitú v rubáčku*" (Holuby 233). Желая кого-нибудь из парней приворожить, девушка приговаривала: "*Ružú kvitnem, bazaličku voňám, všetkých mládenčov za sebu volám*" (Holuby 214).

В карпатской зоне и у южных славян на Богоявление девушки бежали к реке, втыкали две-три веточки базилика в землю, давая

каждой из них мужское имя, на следующее утро определяли избранника по той ветке, которая больше других была покрыта инеем.

Любовная символика базилика нашла отражение и в песенном фольклоре: девушка дает избраннику базилик в знак любви; сажает его у себя в саду, ухаживает за ним; его рвут для свадебных венков.

В медицинской практике раскрывается отгонная семантика базилика: во время эпидемии чумы сербы держат это растение на столе в каждом доме; кропят или окуривают им "нечистое место", на котором человека настигла болезнь (по южнославянским повериям это места, где обитают вилы, самодивы и другие демоны, вызывающие болезни); болезнь изгоняют, прикладывая траву на большое место; обряд заговаривания совершается с веткой базилика в руках.

Приведенный материал иллюстрирует еще одну карпато-балканскую параллель из области славянской духовной культуры: растение, довольно поздно переселившееся в Европу, прочно заняло место в семейных и календарных обрядах славян, живущих в этой зоне, видимо, потеснив какое-то другое растение, выполнявшего эти функции до него (может быть барвинок?).

Примечания:

1. В собрании песен В. Караджича приведены два варианта песни, в одном из них употреблено слово *босилъе*, в другом *феслиген*: "Ој девојко душо моја! Чим миришу њедра твоја? | Или дуњом ил неранчом | Или смиљем ил босиљем?" Во втором варианте последняя строка звучит так: "Ољ горскијем феслигеном?" (Караџић В. С. Српске народне пјесме. Беч, 1841, књ. 1, с. 407).

2. Мотив использования этого растения в народных обрядах словарь иллюстрирует стихами Т. Г. Шевченко: "... без васильків и без рути | Спочівайте, діти" и М. Кропивницкого: "В долину, ... в долину | По червону калину, | По хрещатий барвінок, | По зелений васильок". В первом речь идет об использовании базилика в похоронном обряде, во втором – о приготовлении к свадьбе. Ср. украинскую народную песню, записанную в Винницком повете на границе Подольской, Волынской и Киевской губерний: "W dofynu bojary, w dofynu, | Po czerwonuju kafynu, | A po chryszczatuj barwipok, | A po zapasznyj wasylók" (P opowski P. Pieśni i obrzędy weselne ludu ruskiego w Załewiańszczyźnie. – ZWAK, t. V. Kraków, 1882, s. 34).

3. Ср. укр. песни, в которых подчеркивается связь между цветком и именем любимого: "Посію я василечки, буду поливати; | Ходи, ходи, Василечку, буду привітати!" (Костом. 35); "De ty Maľanko buwaľa | ... | W horodeczku sediľa, | dwa winoczki uwyľa. | Wasylíkowi z wasylku, | ja Maľanci z berwinku" (Обертин, Покутье -Kolb. 29 : 122).

4. Кроме того, В. И. Даль упоминает еще ряд растений, которые называются васильками: *Centaurea*, *Calamintha*, *Erythrae* и пр. Заметим кстати, что Е. В. Аничков в книге "Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян" (СПб., 1903, с. 201), переводит серб. *босилъак* 'василек'.

5. М. Фасмер в "Этимологическом словаре русского языка" дает лишь одно значение – *Centaurea*, т. е. растение василек (укр. волошка), значение, которое в СРНГ не указывается в силу специфики словаря дифференцированного типа.

6. Ср. древнегреческую легенду, в которой рассказывается о том, что на месте, где евреи умышленно закопали крест Спасителя, выросла трава, врачующая и пахучая, врачи зовут ее okimop, а народ basilikon (Мочульский В. Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. Варшава, 1887, с. 169). О целебных свойствах базилика говорят старые лечебники и травники, например, см.: Serp J. Knieha lékarská kteráž slove herbář aneb zelinář. Norimberk, 1517; Falimierz S. O ziołach y o moczy yich. Kraków, 1534.

Этиус Амдониус из Амиды в своей книге впервые в 550 г. употребил название basilikos для этого растения. Базилик как священное растение использовался уже в древнем Египте, о чем свидетельствуют остатки венков, найденные в пирамидах. Возможно во времена Александра Македонского был завезен в Грецию, откуда со временем попал в страны южной, а затем центральной Европы. (Nowiński M. Dzieje upraw i roślin leczniczych. Warszawa, 1980, s. 151).

Древнегреческая легенда, упомянутая выше, нашла свое продолжение в болгарской песне об обретении честного креста: "Камо найдешь три стрька босилек, | Там найдешь ваши честны керсты" – говорит царица св. Елене (Вес. 240).

7. Подобная легенда известна и о происхождении зверобоя Hypericum perforatum L. (Манд. 316); ср. укр. названия цветка, говорящие об этом: божа кривця, кров Исуса Христа, Христова кровця, кров панська (Мак. 185, 186).

8. Как отмечал Д. Маринов, если девушка отвергнет любовь парня и оскорбит его, он может отомстить ей, вырвав базилик и другие цветы в ее садике (Мар. ИП 2 : 390). Ср. серб. свадебную песню: "Бре, не дај, не дај, девојко, | Јелен ти у дворушета. | Бел ти босиљак погази" (Алексинацкое Поморавье – Ант. 226).

9. При изготовлении свадебного деревца поют: "А в naszym domu | lfcе wjut'. | Z wysokocho derewa, z jałynu, | A z czerwonoi kałynu, | Z zapasznioho wasylka, | A z chreszczastoho barwinka" (Popowski B. Op. cit., s. 34).

10. Обычай был известен уже древним грекам: афиняне клали под голову умершему душицу (origanon) (Чайк. 45).

11. Хр. Вакарелски считает, что этот обряд возник под влиянием легенды о том, что базилик нашли на могиле Христа. Этим же болгарский ученый мотивирует обряд бросания именно этого цветка в воду "за умряло" (Вакарелски Хр. Принос към проучване на семейните обичаи на Панагюрско в миналото. Панагюрище и Панагюрският край в миналото. София, 1961, с. 85).

12. Об использовании базилика в зимней, весенней, летней календарной обрядности других народов Балканского полуострова см.: Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. М., 1973 (с. 285, 324); М., 1977 (с. 304, 306); М., 1978 (с. 270, 272, 277, 278). Молдаване также употребляют базилик в качестве обрядового растения (см.: Попович Ю. Молдавские новогодние праздники. Кишинев, 1974, с. 65, 67–68).

Сокращения

Ант. – Антониевић Д. Алексиначко Поморавље. – СЕЗб књ. 83. Београд, 1971.
БХ – Банатске Хере. Нови Сад, 1958. **Беньк.** – Беньковский И. Народные обычаи и обряды, приуроченные к "Спасу". – Киевская Старина, 1895, т. 50, № 7. **Васильев** – Васильев М. К. Малорусские похоронные обряды и поверья. – Киевская Старина, 1890, т. 30, № 8. **Вес.** – Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. – Сб ОРЯС, 1883, т. 32. – **Ђорђе.** – Ђорђевић Т. Р. Живот и обичаји народни у Лесковацкој Морави. – СЕЗб књ. 70. Београд, 1958. **ЕСУМ** – Етимологічний словник української мови, т. I. Київ, 1982. **Капанци** – Капанци. София, 1985. **Конст.** – Константинов Хр. От Ахъ-Челебийско. Свадбарски обичаи и песни. – СБНУ т. IX, 1893. **КОО** – Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Зимние праздники. М.,

1973. **Костом.** – Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии. Харьков, 1843. **Кул.** – Кулишић Ш. Из старе српске религије (новогодишњи обичаји). Београд, 1970. **Манд.** – Мандельштам И. Опыт объяснения обычаев (индоевропейских народов), созданных под влиянием мифа. Ч. 1. СПб., 1882. **Мар. ИП** – Маринов Д. Избрани произведения, т. 2: Етнографско (фолклорно) изучаване на Западна България. София, 1984. **НСИБ** – Народни песни от Североисточна България, т. 2. София, 1962. **ПК** – Пирински край: Етнографски, фолклорни и езикови проучавания. София, 1980. **Пот.** – Ф. П. Вода, земля и воздух (в народном веровану). – Зоря, роч. 2. Ужгород, 1942. **Рашов** – Рашов Г. Сватбеният накит в село Гинци, Софийско. – Народната култура в София и Софийско. София, 1984. **Стойков** – Стойков Д. Тълкувания на природни явления, разни народни вярвания и прокобвания. От Софийско. – СБНУ, кн. IV. 1892. **СУМ** – Словник української мови. Київ, 1970, т. I. **Цел.** – Целакоски Н. Дебарца: Обреди, магии и обредни песни. Скопје, 1984. **Чайк.** – Чайкановић В. Речник српских народних веровања о бильках. Београд, 1985. **Чайк. ГЕМ** – Чайкановић В. Босиљак. – Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 10. Београд, 1935. **Чол.** – Чолаков В. Българският народен сборник, ч. 1. Болград, 1872. **Срп.** – Српловић Ј. О SlovenSKU a Slovákoch. Tatran, 1975. **Franić** – Franić I. T. Narodni običaji i obredi uz prvo oranje i sijanje u srežu Slavonsko-požeškom. – Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 10. Београд, 1935. **Holuby** – Holuby J. L'. Národopisné práce. Bratislava, 1958. **Horv.** – Horváthová E. Zvyky při narození dieťat'a v Slovenskom Komlóši v Mad'arsku. – Slavistika. Národopis: Príspevky slovenského národopisu k VI MZS. Bratislava, 1970. **Kaindl** – Kaindl R. F. Die Huzulen: Jhr Leben, ihre Sitten und ihre Volküberlieferung. Wien, 1894. **Kolb.** – Kolberg O. Dzieła wszystkie, t. 29, 31. Pokućie. Wrocław – Poznań, 1962, 1963. **Мак.** – Makowiecki S. Słownik botaniczny łacińsko-maforuski. Kraków, 1936. **Соб.** – Sobotka P. Rostlinstvo a jeho význam v národních písniach, pověstech, bájích, obřadech a pověrách slovanských: Příspěvek k slovanské symbolice. Praha, 1897.

О ГРЕЧЕСКОМ ОБРЯДЕ КЛИДОН
И
ЕГО СЕМАНТИЧЕСКИХ МОТИВИРОВКАХ

Т. В. Цивьян

Клидон – греческая версия широко распространенного гадательного обряда, женского по преимуществу. Он разворачивается следующим образом: участницы гадания кладут в сосуд с водой разные принадлежащие им предметы (кольца, пуговицы, бусы, монеты и т. п.). Затем, в соответствии с достаточно сложным ритуалом эти предметы вынимаются из сосуда по одному, под пение или произнесение определенных текстов (песни, загадки, у греков еще и дистихи); по ним толкуется судьба владелицы – обычно речь идет о замужестве. Обряд приурочен ко дню Ивана-Купалы, но не только к нему. Хорошо известный в русской традиции, этот обряд (подблюдное гадание) "попал" в 5-ю главу "Евгения Онегина":

Из блюда, полного водою,
Выходят кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
Там мужички-то все богаты, (...)
..... Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей кошурка сердцу дев.

– с авторским примечанием:
"Зовет кот кошурку
В печурку спать.

Предвещание свадьбы; первая песня предрекает смерть".

Подробный анализ этого обряда на Балканах (прежде всего у славян и греков, отчасти у арумын и турок) принадлежит М. Арнауудову: "Напяване на пръстените (Еньова буля)"¹. "Балканская" схема обряда, по Арнауудову, включает следующие элементы: сосуд наполняют "молчащей" водой (т. е. водой, которую набирают, соблюдая ритуальное молчание) и помещают в него "знаки"; сосуд закрывают (накрывают платком) и оставляют на ночь "под звезд-

дами"; во время самого гадания "знаки" вынимает из сосуда ребенок, у которого завязаны глаза. Как в разных балканских традициях, так и внутри одной, этот обряд носит разные названия; у греков это в частности κληδώνας, κουκούμας, καληνύτσα. В данном случае будет рассматриваться только *клидон*, и причина этого выбора – как раз его название в аспекте этимологической магии². Носители выводят его от κλειδώνω 'закрывать, запирасть': гадание раскрывает то тайное, что раньше было закрыто, замкнуто. Это особенно ярко отражено в *клидоне*, практикуемом в греческой Македонии³: здесь связь слова и ритуального действия однозначна, более того, специально подчеркнута. Если проводить аналогии с театральной постановкой, можно сказать, что "режиссер обряда" стремился к точному и буквальному воплощению текста на сцене: идея *закрывания/открывания*, выраженная на языковом уровне, изображается соответствующими действиями и атрибутами. Можно предложить и "обратную" трактовку, как если бы драматургу было предложено описать некое действо, и он выбрал слова (термины), с наибольшей точностью его описывающие.

Итак, *клидон* в своей словесной и несловесной ипостаси построен по оппозиции *закрытый/открытый* (*запертый/отпертый*). Продолжая театральное сравнение, можно представить его как спектакль, состоящий из двух актов: 1) подготовка к самому гаданию, т. е. открытию жребия, – τὸ ξεκλείδωμα 'запирание'; 2) само гадание – τὸ ξεκλείδωμα 'отпирание' (ср. литературно-драматическую терминологию *завязка* и *развязка* действия). Запирание представляет собой подготовку сосуда к гаданию: собирают "знаки", привязывают к ним растения из мифологического гербария (отмеченное место занимает базилик); к этому добавляются и растения и плоды, которые тоже помещают в сосуд уже отдельно от "знаков"; приготовленный таким образом сосуд несут к источнику, чтобы наполнить его водой, как уже было сказано, *молчащей* (*немой*). Это значит, что идущая с сосудом за водой девушка не должна проронить ни слова и не отвечать, если ее окликнут (т. е. не говорить и не слышать). "Для надежности" ее самое *запирают*: закрывают ей рот красным платком и завязывают лентой или шнурком, на концы которых вешают замок (реализация метафоры "рот на замке"). Ритуальная тишина – немота и глухота – одна из манифестаций закрытости обряда. Примечательно, что в тех местах, где ритуальное молчание не соблюдается, условие закрытости выполняется, так сказать, словесно: набирание воды сопровождается хоровой песней: "Все приходите, все собирайтесь, | Чтобы запереть *клидон*" (Γὰρ νᾶ κλειδῶσομε τοὺν κλειδουνα);

клюдом называется таким образом сам сосуд, олицетворяющий закрытость. После этого сосуд закрывают, а иногда и запирают⁴ и ставят "под звезды", т. е. оставляют *снаружи* (обычно под деревом или под розовым кустом), *вне дома* на всю ночь, как бы отдавая его в ведение макрокосмоса, который и "заряжает" его пророческим знанием. Ранним утром сосуд возвращают в дом, внутрь, в пространство человека, микрокосмос. Здесь начинается II акт действия отпирание τὸ ξεκλείδωμα, т. е. передача человеку приобретенного "от звезд" знания. Отпирание сопровождается той же песней, но с обратным знаком: "Все приходите, все собирайтесь, | Чтобы отпереть *клюдон*" (Γιά νά ξεκλείδωσομε τοὺν κλείδωνα).

Затем начинается вынимание "знаков". Это делает маленький мальчик "вслепую" (ἴς τὰ τυφλά) – глаза ему завязывают платком. Если обратиться к антропоцентрическому ракурсу, лежащему в основе архетипической модели мира (ММ), то *закрытость* на уровне человека может быть сформулирована известным клише: *не вижу, не слышу, не говорю*, т. е. "полностью устраняюсь". Отпирание *клюдона* инсценируется тем, что мальчик опускает в него правую руку, чтобы вынуть "знак", под следующий текст: "Мы открываем *клюдон*, чтобы счастье вышло наружу!" (Ἀνοίγουμε τὸν κλείδωνα, νά βῆ τὸ καλорρί(κο): ἄθροισμα ἔξω εἰς τὸν κόσμον... "знаком" (Πινους σημάδι κη ἄν εἰβῆ ...)).

Таким образом в греческом *клюдоне* в полной гармонии слиты словесный и несловесный (ритуальные действия и атрибуты) фрагменты: они поддерживают и "объясняют" друг друга: *слово* толкует (формулирует) *действие*, *действие* инсценирует то, что сформулировано *словом*. Примечательно, что там, где обряд носит другое название или где это название механически заимствовано, такого рода тесное взаимодействие "слова и дела" отсутствует, и центр тяжести перемещается на другие элементы обряда. Вообще же оппозиция *закрытый/открытый* служит идеальной семантической мотивировкой механизма гадания как перехода от тайного, скрытого к явному ("раскрытие тайны").

На этом можно было бы остановиться, если бы не то обстоятельство, что вся эта режиссура и соответственно вся гармония "слова и дела" построена на народной и притом достаточно поздней этимологии. Название обряда восходит к др.-греч. κλειδών 'предсказание, прорицание, весть, молва, слава, зов, призыв, имя' < κλέος 'bruit qui court', 'слава' и др. (Шантрен). Иными словами, существовавшее уже в античности гадание-прорицание *клюдон* имело иную семантическую мотивировку и соответственно иное ритуальное воплощение. Κλειδῶνες – один из видов Stimmen-Orakel, столь характерных для античного мира: судьба узнается по

шелесту листьев, журчанию воды, жужжанию пчел, чиханию и т. п., не говоря уже о громе небесном – волеизъявлении Зевса, ср. Од, 120–121:

ἼΩς ἄρ' ἔφη χαῖρεν δέ κλειδῶνι δῖος Ὀδυσσεύς
Ζηνὸς τε βροντῆ φάτο γάρ τίσασθαι ἀλείτας

«Так говорила рабыня, был рад Одиссеей прорицанью
Грома и слова, и в сердце его утвердилась надежда».

Перед нами иной *клюдон* – громко звучащий, откликающийся сразу, без долгой предваряющей процедуры, и эта его ипостась отнюдь не случайна. Так, по мнению Вернана, манифестируется принципиально устный характер древнегреческой культуры⁵. Вот основные мысли Вернана по этому поводу: греки, говорит он, ставили устное гадание (divination orale) выше других способов определения судьбы, таких примеров, как толкование примет (знаков) или бросание костей. Они предпочитали такой dialogue oraculaire, когда слово бога являлось непосредственным и незамедлительным ответом на заданный ему вопрос. Ориентация на звук, на произнесенное слово определила для греков способ истолкования знаков: в основу был положен *язык*, или лингвистический код ММ, сначала в устной, а затем в письменной форме. Изобретение графического знака и его становление в качестве интеллектуального орудия (instrument intellectuel) было связано с мощным развитием "гадательного мышления" (pensée divinatoire), которое стало функционировать как подлинная семиотика, т. е. общая теория знаковых систем. Суть гадания в том, что оно расшифровывает вселенную как текст, содержание которого – устройство мира, как табличку, на которой боги начертали судьбу.

Таким образом античное "семиотическое мышление" развилось на основе гадания-разгадывания божественного слова, слова произнесенного в ответ на (произнесенный же) вопрос. Такое преимущество речи как способа общения с иными мирами согласовывалось с глубинно устным характером цивилизации, где письменность была не только недавним (по сравнению с Ближним Востоком и Китаем) явлением, но где в силу своего целиком фонетического характера она стала органическим продолжением разговорного языка.

Что же произошло с *клюдон* на диахронической оси? Народная этимология, т. е. изменение сигнификата, не затронула ни его функций (гадание как открытие судьбы), ни способа их реализации (звук, слово). Изменилась техника гадания, мизансцена (и сценография) обряда – за счет введения оппозиции *закрытый/открытый*

(тишина/звук, молчание/слово и их визуальные выражения, вроде рта, запертого на замок). Прежний "открытый" диалог, участники которого (по крайней мере один из них – бог) видели друг друга, стал прикровенным и растянулся во времени. Ответы посылают ночное небо и звезды, делая это в таинственном молчании и передавая свое знание воде и чудесным растениям (а уже через них – "знакам", символизирующим конкретного человека). Ответ возможен только после длительной процедуры; он столь же косвен, анонимен, как и вопрос.

В противоположность открытости др.-греч. гадания, теперь получение прорицания предельно затруднено. Перед нами – уклонение, уход от диалога как от непосредственного общения адресата и адресанта, сгущение таинственности, неопределенности, т. е. закрытость по преимуществу. Принцип "подблюдности" особо повышает степень внешней случайности: вынимающий "знак" не знает, кому он принадлежит; ответы извлекаются как бы из единого текста, произносимого в установленной (или неустановленной) последовательности – поэтому "попадание" в определенную точку текста непредсказуемо. Парадоксальным образом эта полная и гарантированная случайность укрепляет достоверность сообщения, полученного столь сложным, "бриколажным" путем: оно независимо от воли человека, а потому надежно и безусловно. И здесь ответ получен от бога, но получен иным, контрастным к прежнему способом.

Это изменение дает основания говорить о своего рода переориентации греческой традиции (от древне- к новогреческой) в сторону той амбивалентности, мистериальности, которая постулируется для балканской модели мира (БММ) и балканского менталитета⁶. Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о переориентации, а не о приобретении новых, чуждых прежнему состоянию традиции свойств. Эти свойства бы ли заложены, если не изначально, то на раннем этапе, но до поры до времени не были актуализированы – в частности в "гадательном мышлении". Наступил момент, когда о себе заявила эта, иная сторона, что и было закреплено в языке меной сигнификата, т. е. прикреплением к слову новой этимологии. Поскольку нам известно более раннее состояние, постольку эта этимология объявляется народной, т. е. заведомо неверной. Однако современный взгляд на классификацию разных этимологических вариантов и в свете этого новый подход к достоверности (или законности прав на существование) народной этимологии⁷ делает возможной и другую

трактовку *клидона* и его этимологий: в них можно видеть не чередование, а аккумуляцию значений, не "забывчивость", провозирующую замену, а "соборность", позволяющую понять этот феномен духовной культуры во всей его сложности и как бы одновременно.

Примечания:

1. Арнаудов М. Студии върху българските обреди и легенди, т. 1. София, 1971. Гл. V.
2. Толстой Н. И., Толстая С. М. Народная этимология и структура славянского ритуального текста. – X Международный съезд славистов. Славянское языкознание. М., 1988.
3. Abbot G. F. Macedonian folklore. Chicago, 1969, p. 53–57.
4. Арнаудов М. Указ. соч., с. 315.
5. Vernant J.-P. Parole et signes muets. – Vernant J.-P. e. a. Divination et rationalité. Paris, 1974, p. 9–25.
6. Топоров В. Н. Балканский макроконтент и древнебалканская неолитическая цивилизация (общий взгляд). – Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы. Лингвистика. М., 1989.
7. Толстой Н. И., Толстая С. М. Указ. соч.

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ МОРФОНОЛОГИЗОВАННЫХ АКЦЕНТНЫХ СИСТЕМ

В. А. Дыбо

По типам ударения языки принято делить на языки со свободным и фиксированным ударением. К последним относятся языки, в которых место акцента связано с фонетической структурой слова.

Способы фиксации ударения довольно разнообразны, однако все они являются модификациями одного основного способа – счета слогов. В элементарном случае ударение падает на какой-либо по счету слог от конца или от начала слова. Все остальные способы фиксации, по-видимому, возникают в результате деформации основного посредством введения в правило фиксации дополнительного фактора: структуры, количества или качества слога (в последнем случае может выступать как сегментное, так и суперсегментное качество слога – тон).

Таким образом, по способу фиксации и характеру правил определения места ударения в языках с фиксированным ударением могут быть выделены следующие типы. 1) Языки, в которых место ударного элемента (слога) определяется в терминах порядка (счета) слогов (*слогосчитающие языки*), например, польский язык, где ударение падает на предпоследний слог, или чешский, в котором ударение падает на первый слог от начала слова. 2) Языки, учитывающие количество слога при счете порядка слогов (*моросчитающие языки*), например, латынь, где ударение на втором слоге от конца при двуморовости этого слога и на третьем от конца при одноморовости предконечного слога. 3) Языки, учитывающие структуру слога при счете слогов, например, ударение ставится на конечном слоге, если он закрытый, и на втором слоге от конца, если последний слог открытый: предполагаемое (Chr. Saganw) прасемитское состояние, отраженное, правда, с определенными отклонениями в староиспанской грамматике арабского Pedro de Alcalá¹; принципиально, но с усложнениями правила, по-видимому, сохраняется в магрибских арабских диалектах. 4) Языки, учитывающие качество гласных при счете слогов, например, мокшанский мордовский; подобные же системы, по-видимому,

лежат в основе марийских и пермских морфонологизованных систем ударения. 5) Языки, учитывающие просодическую характеристику слога при счете слогов, например, восточно-сахарские: в тубу, канури (во всяком случае, в его диалекте бадави), канембу ударение ставится на первый высокотональный слог. То же правило в хауса, йоруба и бамбара². Более сложное правило отмечают в усаруфа (Новая Гвинея): ударение ставится в конце слова, если оно состоит исключительно из низкотональных слогов, но в начале платформы высоких тонов (соответственно, на одиночном высокотональном слоге), если слово состоит из высокотональных слогов или включает в себя высокотональные слоги. Однако если слово, начинаясь платформой высокотональных слогов, заканчивается низким тоном, ударение ставится на последнем высокотональном слоге³.

Во всех случаях, когда предыстория систем свободного ударения, или морфонологизованных акцентных систем, известна, или когда относительно их генезиса могут быть построены достаточно убедительные сравнительно-исторические гипотезы, обнаруживается, что такого рода системы возникают из систем фиксированного ударения с деформирующим правилом фиксации фактором (т. е. из типов 2, 3, 4, 5), когда фонологическое противопоставление, на котором построена специфика способа фиксации ударения, нейтрализуется и вместо него появляется противопоставление по месту фиксации ударения (т. е. в условиях потери фонологических противопоставлений, создававших фактор, деформировавший основное правило; иначе говоря, дистинктивные функции, которые несли ранее сегментные или суперсегментные компоненты слога, принимает на себя акцентный контур словоформы). Так, разноместное ударение ряда романских языков является результатом совпадения количеств и, следовательно, утраты контурного правила, основанного на счете мор. Сохраняющиеся акцентные различия теряют свою моровую мотивацию и фонологизируются. Аналогично разноместное ударение коми-язьвинского диалекта является результатом фонологизации акцентных контуров, ранее мотивированных различиями в качестве гласных (см. работы В. И. Лыткина).

Разноместное ударение в балто-славянском и абхазо-убыкском следует объяснять фонологизацией акцентных контуров, явившейся следствием падения тонов, с которыми эти контуры были связаны⁴. Специфика акцентных систем в этих языках объясняется первоначальными различиями в правилах фиксации акцента: в балто-славянском ударение ставилось на первом высокотональном слоге или просто начальном слоге фонетического слова при отсутствии высокотональных слогов, в абхазско-убыкском уда-

рение стояло на последнем слоге первой последовательности высокотонных слогов или просто на последнем слоге при отсутствии в фонетическом слове высокотонных слогов.

В зависимости от отношения факторов, определяющих стабилизацию акцента, к морфологическим границам слова (словоформы) наблюдаются два крайних типа морфонологизованных акцентных систем: 1) если морфонологизация приводит к лексическому распределению акцентных типов (тогда, когда фактор, стабилизирующий место акцента, был преимущественно связан с корневой морфемой), возникает так называемый "парадигматический акцент", 2) если морфонологизация приводит к распределению акцентных типов по морфологическим формам и категориям, мы говорим о "категориальном акценте". Ко второму результату непосредственно приводит морфонологизация фиксированного акцента латинского типа. Причины этого очевидны: акцентный контур принимает на себя дистинктивные функции количества второго гласного от конца словоформы, который часто является гласным суффикса или флексии. Дальнейшие фонетические процессы могут упростить картину (как во французском, где редукция безударных конечных гласных разрушала дистинктивный характер акцента) или, напротив, несколько усложнить ее, создав конечную позицию ударения, наряду с позициями на 2-м и 3-м слоге и т. д.

В этом случае обычно существует наиболее частотный акцентный тип, по которому акцентуется подавляющее число словоформ языка, — это, так сказать, "немаркированный" акцентный тип, тривиальный, — и акцентные типы, характерные для определенных суффиксальных образований, определенных категорий и словоформ. Конечно, такое распределение не вполне строгое, т. к. в число непроизводных (с синхронической точки зрения) лексем входит также определенное количество слов, акцентующихся по нетривиальным типам. Описание в этом случае делается обычно следующим образом: устанавливаются акцентные типы, определяется тривиальный (немаркированный) тип и выявляется связь нетривиальных типов с теми или иными категориями слов и словоформ, исключения из распределения даются списком. В порождающей морфонологии, как правило, восстанавливается на так называемом глубинном уровне в определенном приближении (упрощении или усложнении) первоначальное правило стабилизации акцента и вводятся определенные маркировки, восстанавливающие позиции его применения, а затем даются правила, переводящие "глубинные" структуры на поверхностный уровень (вся эта система правил является "синхронизацией" диахронных процессов, приведших древнюю систему языка к современному его

состоянию). Наличие в языке, в его синхронном состоянии, соответствующего механизма, является особой проблемой, которая требует изучения, и ее решение может быть различным по отношению к разным типам порождающих моделей.

Более сложные системы возникают в результате морфонологизации пятого типа фиксированного акцента (т. е. морфонологизации акцента, связанного с просодическими, тоновыми, характеристиками слогов). По-видимому, характер таких систем в значительной степени определен характером тоновой системы, которую они "отображают". Среди тоновых систем обнаруживаются системы с сильнейшим развитием так называемого грамматического тона (например, хауса). Естественно ожидать, что при морфонологизации ударения, связанного с такими тоновыми системами, возникают языки с категориальным акцентом.

При морфонологизации акцента, связанного с тональными системами с преимущественным развитием "лексического" тона, возникают, по-видимому, системы "парадигматического" акцента, часто с довольно сложными акцентными типами (акцентными парадигмами). Примером могут служить славянские (русская, сербская, словенская и под.), балтийские (литовская), западнокавказские (абхазская, абазинская, убыхская) акцентные системы.

Обычный способ их описания состоит в установлении количества акцентных типов в каждом из лексико-морфологических классов слов и частных подразделений этих классов, описание поведения акцента в слове в каждом из этих акцентных типов ("акцентной кривой"). Если это возможно, устанавливается распределение (дополнительное) акцентных кривых в зависимости от морфологического подразделения. В этом случае ряд акцентных кривых может быть объединен по определенным их характеристикам в класс дополнительно распределенных акцентных кривых. Такой класс (или единицу, характеризуемую этим классом) принято называть акцентной парадигмой. Иногда акцентную парадигму и акцентную кривую отождествляют, не обращая внимания на то, что в разных категориях слов одна и та же акцентная парадигма может выражаться разными акцентными кривыми. Затем устанавливается наполнение каждого акцентного типа, т. е. перечисляются все лексемы, которые акцентуются в соответствии с данной акцентной схемой, и выбор акцентного типа производными, который может быть связан с акцентовкой производящих и морфонологическим типом аффикса, или же может зависеть исключительно от характера аффикса. Наконец, определяются те части системы, в которых обнаруживаются отклонения от парадигматического принципа распределения акцентных типов и развитие категориального

акцента. А также устанавливается наличие различного рода трансформаций акцентных кривых в синтаксическом единстве (перенос ударения на энклитики, проклитики и т. п.).

Опыт последних десятилетий показал, что такие системы часто поддаются довольно экономному описанию методами генеративной (порождающей) морфонологии, при том, что такое описание помогает открывать многие неясные с "поверхностной" точки зрения отношения. Примером такого описания, построенного, в сущности, по способу моей внутренней реконструкции балтославянской системы акцентуационных валентностей, может служить описание литовской акцентуационной системы в новой Грамматике литовского языка⁵. Достаточно полное описание акцентной системы русского языка представлено в работах А. А. Зализняка⁶. "Порождающее" описание абхазской акцентной системы, исходящее из тех же принципов, предложено в моей работе⁷.

В языках "парадигматического акцента" во многих случаях обнаруживается тенденция перехода к "категориальному акценту" посредством генерализации в определенных категориях лексики и особенно в словообразовательных типах той или иной акцентной парадигмы. Примерами разной степени продвинутой в этом направлении могут служить русская акцентная система, литовская и акцентная система пушту.

По-видимому, представленные здесь результаты создают основу для разделения языков с морфонологизованными акцентными системами и языков с тоновыми контурами слова и тоновыми парадигмами (схемами), являющимися, возможно, результатом непосредственного развития, а не "отображения" систем с "классическими" тонами. Примером последних могут служить тоновая система канури, японские "акцентные" системы и, по-видимому, ряд дагестанских тоновых систем (исключая аварскую акцентную систему).

Примечания:

1. Специально об акцентровке в грамматике Pedro de Alcala см. Saraw Chr. *Über Akzent und Silbenbildung in den älteren semitischen Sprachen*. København, 1939. S. 36 и след.

2. О восточносахарских акцентных и тоновых системах см. Дыбо В. А. Просодическая система тубу (группа теда-канури) – начало трансформации тональной системы в систему парадигматического акцента? – Африканское историческое языкознание. М., 1987, с. 458–557; об ударении в йоруба и бамбара см. Herms I. *Ton und Intensität im Yoruba*. – *Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung*, Bd. 35, Hf. 2, s. 150–156 (1982); Brauner S. *Zur grammatischen Funktion prosodischer Merkmale im Bambara* – *ibid.*, s. 144–149.

3. См. *Studies in New Guinea linguistics*, Sidney, 1962, с. 114; там же материал, с. 115–127.

4. Дыбо В. А. Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента (тезисы). – Кузнецовские чтения. 1973. М., 1973, с. 8–10; Он же. Западнокавказская акцентная система и проблема ее происхождения – Конференция "Ностратические языки и ностратическое языкознание". (Тезисы докладов). М., 1977, с. 41–45; Он же. Типологическая гипотеза генезиса индоевропейских акцентных систем – Конференция "Проблемы реконструкции", 23–25 октября 1978 г. (Тезисы докладов). М., 1978, с. 56–61; Он же. Типология и реконструкция парадигматических акцентных систем. – Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989, с. 7–45. Dybo V., Nikolaev S., Starostin S. *A tonological hypothesis on the origin of paradigmatic accent systems*. – *Estonian papers in phonetics*. Tallinn, 1978, p. 16–20; Николаев С. Л. Балто-славянская акцентная система и ее индоевропейские истоки (АКД). М., 1986; Он же. Балто-славянская акцентуационная система и ее индоевропейские истоки. – Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989, с. 46–109.

5. Грамматика литовского языка. Вильнюс, 1985, с. 61–68 (автор раздела – А. Гирденис).

6. Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1967; Он же. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

7. Дыбо В. А. Типология и реконструкция парадигматических акцентных систем. – Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989, с. 7–45.

ПОПЫТКА ФОНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕОШТОКАВСКОГО АКЦЕНТНОГО СДВИГА

Т. М. Николаева

I

Как известно, в современном литературном сербско-хорватском языке различаются четыре "тоновых" акцента с нормативно различным их воспроизведением. Изучение их фонетической сути занимает исследователей уже около двух веков, однако, после бурных и ярких дискуссий, а также после выхода в свет фундаментальных исследований И. Лехисте и П. Ивича (см. особенно Lehiste, Ivić, 1986), фонетическое описание четырехакцентной сербско-хорватской системы оказалось – не без некоторого компромисса – в принципе возможным.

Существуют акценты нисходящие: долгий [ː] и краткий [˘]. Они возможны только на первом слоге слова. Существуют также акценты восходящие: долгий [ˑ] и краткий [˗]. Эти акценты не могут располагаться на первом слоге. Таким образом конец сербскохорватского слова как бы "очищен" от возможного акцента. Восходящие акценты возникли в результате неоштокавского передвижения на слог вперед к началу слова. Фонетические характеристики акцентов определяются по отношению к трем ведущим акустическим параметрам следующим образом. Интенсивность слога под нисходящим акцентом значительно выше слога, идущего за ударным. При восходящих акцентах этот разрыв значительно меньше. Длительность слога под ː может быть выше, чем длительность слога под ˑ (но в зависимости от разных обстоятельств это может меняться); длительность слога под ˗ несколько выше, чем у слога под ˘ (но и здесь возможны колебания).

Первоочередным релевантным признаком различения акцентов И. Лехисте и П. Ивич считают отношение уровней основного тона [F₀] между слогами, образующими дисиллабическую акцентную структуру (Lehiste, Ivić, p. 170). В слогах под восходящим акцентом тон поднимается от начала слога до пика F₀, который иногда осу-

ществляется и в постакцентной силлабеме. Интенсивность второго слога также бывает часто равна интенсивности ударного. В слогах под нисходящим акцентом F₀ пик близок к началу слога, и после этого пика осуществляется резкое падение (запись сделана в апреле 1990 г.). Фонетически эти выводы вполне соответствуют знаменитой идее Л. Мазинга 1876 г., предположившего двусложность строения для восходящих акцентов (Masing, 1876). Более того, он предположил также, что речь идет вообще об одной фигуре: подъем-падение, передвигающейся по слову – в структуре с нисходящими акцентами возможность для осуществления первой части нулевая, в структуре же с восходящими акцентами вторая часть реализуется в постударном слоге.

Споры о двусложности-односложности сербскохорватских акцентов все еще остаются актуальными (см. Gošić, 1984; Keijsper, 1987; Gvozdanović, 1987 etc). Более того, проблемным является не только вопрос описания (например, считать ли двусложными нисходящие акценты или нет), но и вопрос перцептивного статуса акцентной реализации. Так, слушатели с Запада воспринимали в основном пик F₀ ударного слога, слушатели с Северо-Востока – переход между слогами в дисиллабической структуре (Lehiste, Ivić, p. 170). Таким образом, оказывалось, что они в принципе слышали разные акценты. Наконец, многие диалекты сербско-хорватской зоны (об этом ниже) не осуществили перехода (сдвига) на слог к началу слова, и реализация акцентов в этих говорах может в принципе осуществляться в пределах одного ударного слога.

II

Старая штокавская акцентуация знала два акцента: долгий и краткий. К XV в. два старых акцента не в начале слова: ː и ˘ перешли на слог к началу слова и создали / и ˘.

Почему это произошло? "Зашто је удовица, селò, пìсати, девојка, неправда, рѹком, планина и сл. дало: удòвица, сèло, пìсати, дèвојка, нèправда, рѹкòм, планина?" (Белић, 1960, с. 160). Как считает А. Белич: "Одговор је врло прост". Тон на ударных ː и ˘ не в начале опадал, понижалась и частота, и интенсивность. П. Ивич дает фонетическую трактовку акцентного сдвига: противопоставление ударений по качеству, которое возникло на первом слоге, явилось лишь компенсацией за потерянную возможность акцентировки последнего слога (Ивич, 1958, с. 19). В более поздней статье И. Лехисте и П. Ивич (Lehiste, Ivić, 1982) показывают сложность и многоэтапность штокавского акцентного сдвига. В частности, неоштокавский сдвиг, по их описанию, на первом этапе развивал

более высокую F_0 и большую интенсивность на первом предупредительном слоге. Повышение этих двух важных для ударения характеристик привлекло к предупредительному (становящемуся ударным!) две другие необходимые характеристики ударения: темпоральное prolongation и переход к полному, а не редуцированному воплощению гласного. В дальнейшем необходимость различать "старые" инициальные акценты и акценты, сдвинутые к началу, привела к перестройке в суперсегментной системе языка: арена акцентной реализации сместилась с односложной на двусложную структуру (Lehiste, Ivić, 1982, p. 200). Их исследование части чакавских и кайкавских акцентов демонстрирует как бы состояние штокавских диалектов перед сдвигом, диалекты Славонии осуществляют множество переходных этапов.

III

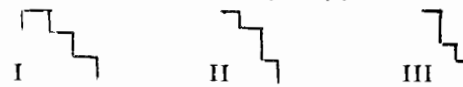
В настоящей статье со всеми возможными оговорками и оглядками дается попытка ответить (или хотя бы попытаться ответить) на вопрос о том, почему собственно произошел нештокавский сдвиг, что было его фонетической и социоисторической предпосылкой.

Опорными данными для нашей гипотезы являются: 1) сведения о просодических системах сербско-хорватских диалектов (Fopološki opisi, 1981); 2) собственные экспериментальные данные, полученные в результате исследования просодии слова в славянских языках и неславянских языках БЯС; 3) введение в просодическую сферу знания новой для акцентологии и фонетики структуры – просодической схемы слова (Николаева, 1977; Nikolajeva, 1983); 4) перемещение внимания с частотных изменений (разумеется, не пренебрегая ими) на показатели длительности, темпоральные характеристики.

Просодическая схема слова не дана в непосредственном восприятии графической акцентологии, имеющей дело с графическими знаками – обычно показателями ударения (и это перцептивно объяснимо и неизбежно, как будет показано далее). Просодическая схема не дана в непосредственном виде и в экспериментальных результатах, поскольку всякое изолированное слово неизбежно воспроизводится в упаковке фразовой интонации. Но она может быть довольно легко выведена путем внутренне реконструктивных построений и существует с такой же объективностью, как аналогичные конструкторы физики.

Поясним сказанное. Например, если слово структуры *tátata* в языке X имеет акцентные показатели в условных единицах:

15–10–5, слово *tatáta* – показатели 12–11–5, а слово *tatata* – 12–10–7, то можно предположить, что слово в данном языке обладает сильным по пику интенсивности началом и понижающейся акцентной кривой, которая модифицируется под ударением:

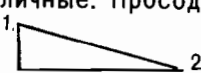


Наконец, если эти показатели сохраняются во фразовом потоке, мы можем говорить о слабом воздействии фразовой интонации на словесную в данном языке, если не сохраняются – о сильном. Далее, сама тенденция выражать ударение в данном языке может быть сильной и слабой. Так, например в другом языке *tatata* может иметь показатели: 20–10–5, *tatata* – 12–13–5, *tátata* – 12–10–10 (ударение сильнее, чем в языке X). Сказанное относится и к выражению ударения через длительность: (в мсек) *tátata* – 100–40–80; *tatáta* – 70–80–80; *tatata* – 70–80–120. Тогда можем говорить о t-параметре просодической схемы слова как стремящейся к конечному увеличению.

Помимо этого, каждый язык ориентируется в своем выборе на тот или иной акустический параметр для выражения словесного ударения: таким образом существуют f-преферентные, i-преферентные и t-преферентные языки.

Итак, помимо просодической схемы слова необходимо считаться еще со следующими факторами:

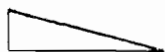
1. Какой параметр для выражения словесного ударения: длительность, интенсивность или частоту предпочитает данный язык.
2. Сильна или слаба в данном языке тенденция выражать словесное ударение.
3. Сильно или слабо в данном языке фразовая просодия подавляет словесную.

В связи со сказанным необходимо прояснить идею соотношения в излагаемой теории просодической схемы слова и ударения. В принципе – это феномены параллельные и различные. Просодия слова в излагавшемся варианте выглядит как  где 1-тах интенсивности, а 2-тах длительности. Ударение же как бы налагается на эту схему (фиксированное ли оно или разноместное – это особая тема).

Выведение по разным основаниям феноменов ударения и просодической схемы, как представляется, дает возможность для более широких интерпретаций диахронического характера. Прежде, чем переходить к ним, необходимо завершить изложение теории положением о статусе ударения, который нами в первую очередь связывается с перцепцией и тем самым – с фонологиза-

цией, по Н. С. Трубецкому и Р. О. Якобсону. Ударение есть то, что слышно всем и всеми может быть в таком качестве идентифицировано. Это — факт интроспективного языкового метасознания (возможно, эволюционно неранний). Сильные же точки просодической схемы не осознаются как ударные, но расположенные на них сегментные цепи (слоги) слышатся (воспринимаются) лучше других. Если их максимумы еще усиливать, то эта увеличенная "слышность" пройдет через тот порог перцепции, после которого слог уже воспринимается как ударный. Таким образом, эти сильные точки схемы акцентогенны. Такой возможный стык двух разных феноменов снимает во многом частые для диахронии дискуссии о том, было или не было в данном языке ударение на первом слоге (для латинского языка см. об этом Николаева, 1989), потому что в начале располагались корневые морфемы, потому что фонетика начала (или конца) слова иная. Здесь речь может идти не об ударении, а о сильных точках начала и конца слова. Если ударение в другом месте (см. работы В. А. Дыбо) исчезает, то эти сильные акцентогенные точки могут компенсаторно усиливаться и начать восприниматься как ударные. Но говорить о "переносе" ударения в таком случае некорректно.

VI



Приведенная выше схема как будто бы считалась (в сформулированном виде она излагается именно в указанных работах автора, но соответствующие данные известны давно) одной из просодических универсалий (см. Lehiste, 1970 — об английском, Rigault, 1970 — о чешском и французском, Скупас, 1966 — о литовском и др.). Однако данные тюркских языков как будто бы свидетельствуют о повышении акцентной кривой к концу слова (примеры до 1977 г. см. в работе: Николаева, 1977, с. 63 и далее). Так, например, А. Орусбаев (Орусбаев, 1971, с. 8) пишет: "Если для русского языка типично увеличение интенсивности в направлении к началу слова, то для киргизского, напротив, характерно повышение интенсивности к концу слова. Подобное явление наблюдается и в другом тюркском языке — в азербайджанском". В целом это для тюркских языков подтверждают Д. А. Павлов, Т. С. Есенова (Павлов, Есенова, 1986), именно считая, что тюркские языки и отличаются от индоевропейских повышением интенсивности к концу слова. Очень важно их замечание о том, что трудно сказать, является ли это повышение интенсивности признаком именно ударности. Оказывается (Указ. соч., с. 150), что слово с начальным ударением может также иметь восходящую акцентную кривую, а ударность

выражать другими средствами. См. также примыкающую к нашим взглядам позицию А. Джунисбекова (Джунисбеков, 1988) о том, что ударение есть факт не фонетики, но фонологии. Сложности в иногда противоречивых по этому поводу показаниях тюркских языков Р. Бирюкович (Бирюкович, 1986, с. 112) объясняет гипотезой о том, что тюркоязычный акцентный тип с ударением на последнем слоге накладывался на субстратный акцентный тип, где ударным был гласный первого слога.

Существенно, что в тюркских языках отмечено повышение интенсивности к концу слова, т. е. иная просодическая схема слова. Существенно и то, что такой феномен может оказывать влияние на контактные языки. Так, например, в славянском языке БЯС, болгарском, Д. Тилков (Тилков, 1983) отмечает и такие предсказуемые случаи как *расист* (25–10); *дъдрѝ* (32–25); *плчѝф* (35–20), но и такие как *пѝпа* (18–20); *пѝша* (18–22); *пеперѝда* (10–35–20–25), где явно имеет место восхождение акцентной кривой к концу.

Максимальность конца слова по длительности так подробно не рассматривалась. Конкретные наши исследования по теме "Просодия БЯС" показали, что в румынском языке длительность более всего увеличена в структуре — —, затем в конечноударном слоге и менее всего — в начальнoударном. Т. е. схема *т* предсказуема. Но уже система новогреческого слова предстает необычной: *т* и *і* очень близки в ней по показателям как в начале: — — (где $t/i = 47,2/50\%$). — — ($t/i = 47,2/52,7\%$) так и в конце: — — ($t/i = 35/35\%$): $\acute{\alpha}\mu\eta$ (D_1): $i = 4,5 : 5,5$; $t = 200 : 190$; $\acute{\alpha}\mu\eta$: $i = 3,5 : 4,5$; $t = 200 : 160$; $\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha$: $i = 5 : 3,5$; $t = 140 : 140$; $\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha$: $i = 2,5 : 3,5$; $t = 180 : 160$. Таким образом обнаруживается стремление к почти равному по длительности балансу начала и конца слова.

Разница между левоориентированностью и правоориентированностью *t*-параметра хорошо демонстрируется на примере двуслогов албанского и болгарского языков. Пары различаются местом ударения (приводятся данные в мсек). Албанский: *áртѝ* ($D_1 - 240$; $D_2 - 220$), *áртѝ* ($D_1 - 210$, $D_2 - 150$), *áтѝ* ($D_1 - 190$, $D_2 - 240$), *áтѝ* ($D_1 - 180$, $D_2 - 170$). Болгарский: *áрка* ($D_1 - 180$, $D_2 - 160$), *áрка* ($D_1 - 220$, $D_2 - 180$); *бѝча* ($D_1 - 120$, $D_2 - 140$), *бѝча* ($D_1 - 200$, $D_2 - 180$).

Существенны таким образом два вывода:

- 1) в просодической схеме слова акцентная кривая и распределение длительности не являются связанными, но свободными феноменами; их комбинации могут варьироваться;
- 2) феномены просодической схемы слова могут влиять на контактные языки и видоизменять их схему.

В. Вермеер в статье, посвященной так называемому "прогрессивному сдвигу" резьянского диалекта (нисходящего акцента) наметил шесть этапов этого перехода (Vermeer, 1987), который, строго говоря, представляет собой движение, обратное нештокавскому сдвигу, т. е. движение от начала слова. Существенно то, что он включает в это движение не только словенские, но и чакавские, штокавские и кайкавские говоры сербско-хорватского языка. Эти этапы следующие:

- 1) переход ударения со слабых еров на открытые конечные слоги (*syŕŏ*),
- 2) со слабых еров на последующие слоги вообще (*sy bŏgomь*),
- 3) с гласных полного образования в многосложных словах (*sirŏtg*),
- 4) с гласных полного образования в двуслогах с закрытым вторым слогом, не содержащих слабого ера между первым и вторым слогом (*oblâkь*),
- 5) с гласных полного образования в двуслогах с конечным закрытым слогом, содержащих слабый ер между первым и вторым слогом (*nabьrâŕь*),
- 6) с гласных полного образования в двуслогах на открытый второй слог (*očŕ*) (Vermeer, 1987, p. 296).

Иными словами, в словенско-сербско-хорватском ареале происходило, по нашей терминологии, усиление конечной зоны слова. Но, как указывает В. Вермеер, в чакавском и штокавском процесс этот прервался после этапа (1), в кайкавском и резьянских говорах – после этапа (2).

К сожалению, неясно, когда же именно с.-хорв. говоры прекратили это движение вправо.

Богатый материал по *t*-параметру просодической схемы слова дает описание современных сербско-хорватских, словенских и македонских говоров по системе ОЛА (Fonološki opisi, 1981).

Какие возможны, например, варианты среди чакавских говоров:

1. (Žminj; Sali)
Безударная долгота возможна только в слоге перед ударным; акцент может быть в любом месте слова; тоны различаются только в долгих; в слове может быть два долгих: ударный и претоник.
2. (Kres)
Долгие возможны только под ударением; тон фонологически нерелевантен;

акцент может быть в любом месте слова; долгий в открытом конечном слоге может укорачиваться до квантитета краткого.

См. также для этого же региона описание системы Орлец (Houtzagers, 1985), где нет фонологических долгот и только ударные могут быть долгими/краткими, и лишь долгие различают тон. В более ранней работе П. Хоутзагера отмечает для этого же ареала (Houtzagers, 1982) поразительное для слуха многообразие долгих акцентов, не доходящее до того, чтобы все же смешиваться с краткими. В работе о екавских диалектах Креса и Лошинь (Houtzagers, 1984–5) он окончательно приходит к выводу об отсутствии там фонологических безударных долгот. К этой же системе примыкают Трогир, Чемба.

3. (Dobrinj)

Все гласные могут быть долгими и краткими; фонологически релевантного тона нет; дистрибуция ударения и квантитета в слове свободная – вплоть до последнего слога; важно, что может быть несколько долгих подряд.

4. (Komiža)

Слоги могут быть долгими (полудолгими) и краткими; акцент может быть на любом слоге; если есть акцент, то не может быть безударной долготы.

5. (Lastovo)

Все слоги могут быть долгими и краткими; восходящий тон не может быть на последнем слоге; долгими могут быть три слога подряд: ударный, претоник и посттоник.

6. (Štinjaki)

Долгие безударные могут выступать только перед слогом с кратким ударным и перед слогом с нисходящим акцентом; в последнем слоге возможна только нисходящая интонация.

7. (Pajngri)

Долгота может быть только после ударного.

Такова пестрота долготной системы чакавских говоров, демонстрируемая хотя бы только вышеприведенными примерами. В кайкавских говорах все же заметно некоторое изменение *t* параметра слова.

1. (Močila; Domagović)

Ударный может быть долгим и кратким; безударный всегда краток; краткий ударный не бывает на конце многосложного слова.

2. (Domaslovec; Začretje)

Долгие и краткие гласные могут быть ударными и безударными;

долгий безударный располагается непосредственно перед ударным;

в акцентной единице может быть только одна долгая.

3. (Cubinec)

Краткие гласные могут быть ударными и безударными;

долгие могут быть только ударными;

на последнем слоге может быть только долгий.

И т. д.

Таким образом выявляется для чакавских и кайкавских диалектов разнообразие t- систем, основывающееся на следующих корреляциях квантитета и ударения:

I. Квантитет

1. Ударный – всегда долгий и наоборот.

2. Ударный может быть и кратким, и долгим; безударные всегда краткие.

3. Ударный всегда долгий, а безударные могут быть любыми.

4. Безударный может быть долгим перед ударным, если ударный краток.

5. Безударный может быть долгим перед ударным в любом случае.

6. Безударный может быть долгим только после ударного.

7. Безударный может быть долгим и перед ударным, и после него; в слове возможен продленный трехсложный кортеж.

II. Место ударения

1. Может быть любым.

2. Не может быть конечным.

3. Зависит от типа акцента.

Более подробное исследование должно показать, являются ли комбинации всех указанных возможностей свободными или имплицитивносвязанными.

Еще более сложно-разнообразными представляются долготно-ударные структуры штокавских наречий.

1. (Trnovac; Otok)

Все гласные могут быть долгими и краткими;

в словах без восходящего тона ударение автоматически падает на первый слог;

восходящий тон может быть и на конечном слоге, и в односложных словах;

долгие безударные могут идти только после ударения.

2. (Mala Peratovica; Valpovo; Guber; Drvetine; Dobretiči; Tramošnica)

Восходящий тон может быть на любом слоге, кроме последнего и в односложных словах;

долгие могут быть под ударением или быть посттоником.

3. (Kruš)

Все акценты могут стоять на любом слоге;

долгие могут быть ударными, быть предударными, быть постударными.

4. (Vijaka)

Все слоги могут быть долгими и краткими;

ударные могут быть долгими и краткими;

восходящий тон не может быть на последнем слоге и в однословах;

долгие безударные могут быть и претониками и посттониками.

В одном слове могут быть ударными два контактных слога, таким образом, что первый – носитель восходящей, а второй – нисходящей интонации: *zèlǎ; vù:kù; pé:tǎk*.

5. Все синлабемы могут быть долгими и краткими, акцентированными и неакцентированными;

в просодической единице может быть два долгих слога.

Однако долгий безударный может быть перед ударным только в предшествующем слоге (*ka:zǎli; pi:tǎli*), тогда как после акцента он может реализоваться на любом слоге (*kazí:vo; pòra:la; sùncokre:t*)

Не перебирая все возможности до конца, можно убедиться, что сербско-хорватские говоры демонстрируют тенденцию к долготному усилению словесного анлаута. Только в чакавских и кайкавских говорах это выразилось в усиленной долготе предударного слога, а в штокавских – в постударной долготе. Примечательно, что и в русском языке, сохранившем исконное место ударения, хорошо известен факт активного продления предударного в словах типа *водá*.

Трудно, хотя и соблазнительно говорить о том, случайно ли нештокавское перемещение к началу совпало с увеличением контакта с тюркским, хотя неслучайно демонстрировалась выше особенность просодической схемы слова в тюркских языках. Впечатление, что сложным движением долготы в просодической схеме слова была охвачена вся зона Балкан. Однако дать точные топохронологические датировки слишком сложно.

Фонетически же в этом регионе широко осуществлялось долготное равновесие двух контактных слогов. В одном случае пер-

вый из них так и оставался первым предупредительным. В другом – его долгота перешагивала порог перцепции, необходимый для фонологизированного ударения, т. е. восприятия сильной просодической точки именно как ударения, и этот слог становился "ударным", а второй в этом долготном кортеже – долгим посттоником. Это движение, безусловно ориентированное к началу слова, и было той причиной, которая приостановила для с.-хорв. говоров движение регрессивного, т. е. правоориентированного сдвига, о котором писал В. Вермеер и который полностью осуществил словенский язык.

Таким образом мы считаем основой акцентного сдвига долготное дисбалансирование t-параметра просодической схемы слова. Прояснение долготы до перцептивного порога ударности и сделало этот слог "ударным" и в свою очередь "прояснило" движение тона на нем, не выделив в слове этот новый ударный настолько, чтобы он оторвался от своего контактного соседа-посттоника. В результате этого образовалась, как писал еще Л. Мазинг, двусложная структура восходящих акцентов.

Сокращения

Белић, 1960 – Белић А. Основи историје српскохрватског језика. I. Фонетика. Београд, 1960. **Бирюкович, 1986** – Бирюкович Р. М. Типологическая характеристика чувлымско-тюркской акцентуации. – Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986. **Джунисбеков, 1988** – Джунисбеков А. Проблемы тюркской словесной просодии и сингармонизм казахского слова. АДД. Алма-Ата, 1988. **Ивич, 1958** – Ивич П. Основные пути развития сербохорватского вокализма. – ВЯ, 1958, № 1. **Николаева, 1977** – Николаева Т. М. Фразовая интонация славянских языков. М., 1977. **Николаева, 1989** – Николаева Т. М. Фонетическая природа греческого и латинского ударения: преемственность, эволюция, скачок? – Палеобалканистика и античность. М., 1989. **Орусбаев, 1971** – Орусбаев А. Киргизская акцентология. Опыт экспериментально-фонетического исследования ударения в слове и во фразе. АДК. М., 1971. **Павлов, Есенова, 1986** – Павлов Д. А., Есенова Т. С. Фонетическая характеристика и фонологический статус гласных калмыцкого и монгольского языков. – Фонетика народов Сибири. **Скупас, 1966** – Скупас А. И. О роли длительности в физической природе ударения современного французского языка. – Материалы коллоквиума лаборатории экспериментальной фонетики и психологии речи. II. Вильнюс, 1966. **Тилков, 1983** – Тилков Д. Някои наблюдения върху промените на интензитета при ударените и неударените гласни. – Тилков Д. Изследвания върху българския език. София, 1983. **Fonološki opisi, 1981** – Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedoskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo, 1981. **Gošić, 1984** – Gošić N. O takozvanom dvostrukom akcentu u srpskohrvatskim govorima. – Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti. Radovi sa naučnog skupa 12–13 maja 1983, Titograd, 1984. **Gvozdanović, 1987** – Gvozdanović J. Remarks on production and perception of standard Serbo-Croatian tonal accents. – Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics, Amsterdam, 1987. **Houtzagers, 1982** – Houtzagers H. P. Accentuation in a few dialects of the island of Cres. – South Slavic and Balkan linguistics. Amsterdam, 1982. **Houtzagers, 1984-5** – Houtzagers H. P. Vowel systems of the ekavian dialects spoken on Cres and Lošinj. – Zbornik Matice Srpske za filologiju i ling-

vistiku, XXVII–XXVIII, Novi Sad, 1984–1985. **Houtzagers, 1985** – Houtzagers H. P. The čakavian dialect of Orlec on the island of Cres, Amsterdam, 1985. **Keijsper, 1987** – Keijsper C. E. Studying Neoštokavian Serbo-Croatian prosody. – Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics, Amsterdam, 1987; Keijsper C. E. Remarks on production and perception of standard Serbo-Croatian tonal accents: a reply. – Ibidem. **Lehiste, 1970** – Lehiste I. Suprasegmentals. Cambr. – Mass. – L., 1970. **Lehiste, Ivić, 1982** – Lehiste I., Ivić P. The phonetic nature of the Neo-Štokavian accent shift in Serbo-Croatian. – Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science, IV. Amsterdam, 1982. **Lehiste, Ivić, 1986** – Lehiste I., Ivić P. Word and sentence prosody in Serbo-Croatian. Cambr. – Mass. – L., 1986. **Masing, 1876** – Masing L. Die Hauptformen des serbisch-chorwatischen Accents (= Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg, VII série, T. XXIII, № 5). St. Pétersbourg, 1876. **Nikolayeva, 1983** – Nikolayeva T. M. Slavic word stress and its acoustic realization. Preprint of 10-th International Congress of phonetic sciences. M., 1983. **Rigault, 1970** – Rigault A. L'accent dans deux langues à accent fixe: le français et le tchèque. – Prosodic feature analysis. Montréal – Paris – Brussel, 1970. **Vermeer, 1987** – Vermeer W. The treatment of the Proto-Slavic falling tone in the Resian dialects of Slovene. – Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics. Amsterdam, 1987.

**АКЦЕНТНАЯ СИСТЕМА
КОСОВСКО-МЕХОТИЙСКОГО АРЕАЛА КОНЦА XIV В.
(Венская рукопись № 34)**

Р. В. Булатова

Акцентологические исследования последних лет, базирующиеся на материалах славянских акцентованных письменных памятников XIV–XVIII вв., показали, что историческая акцентология располагает компактной суммой фактов, по которым можно судить о диалектных различиях позднепраславянского периода¹. Акцентная характеристика диалектных зон складывается из комплексного анализа акцентной системы в целом. Однако разные морфологические классы основ обладают неодинаковыми диалектно-различительными свойствами. Одним из самых диалектно-различительных пластов являются глагольные категории, а внутри их – глаголы с основой на *-i-*.

Разработки конкретных староштокавских, старочакавских, среднеболгарских систем, сделанные исследователями Московской акцентологической школы, выявили на средневековом южнославянском ареале несколько зон с набором характерных акцентологических особенностей. Так выделились зоны²: (1) восточноболгарская (с группой памятников тырновского ареала и "нетырновского"); (2) западноболгарская; (3) диалектная зона, которую В. А. Дыбо условно назвал "предположительно македонская" (представленная акцентной системой, приписываемой Константину Костенчскому); (4) староштокавская (представленная рукописями: Ев. XV в., Сб. 1509 г., Сб. № 22 XV в. и др.); (5) старохорватская система Крижанича XVII в. В названных основных крупных диалектных членениях нередко выделяются подзоны.

При обилии акцентованных среднеболгарских памятников (особенно восточноболгарского ареала) очень немного в арсенале исторической акцентологии памятников с сербскими акцентными системами: нередко рукописи с сербским правописанием имеют болгарскую систему ударения.

Для исторической акцентологии интересны такие письменные источники, в которых последовательно и четко зафиксирована

некая акцентная система, наименее подвергнувшаяся поздним инновациям, с одной стороны, и с другой – "чистая", несмешанная. Для разраб́эток по штокавской исторической акцентологии на первых порах отбирались тексты, свободные от новоштокавской ретракции (проходившей, очевидно, в XIV–XV вв.), или отражающие начальный этап этой передвижки. Такие тексты XV–XVI вв. введены в научный оборот³.

Однако известно значительное число старосербских рукописей, начиная с несистематически акцентованных XIII в., в которых отражена выровненная акцентная система (или системы): в ней отсутствует акцентный тип с окситонезой и акцентный тип с подвижностью, т. е. все лексемы имеют постоянное накоренное ударение. А priori можно предположить, что в таких текстах зафиксирована акцентная система говоров, переживших ранний фонетический перенос ударения типа *жѣна*, *слѹга*, предшествовавший штокавской ретракции. На современной диалектной карте эти говоры занимают южные области: Косова и Мехотии [Елезовић], Черногрии – среднекатунские и лешанские [Пешикан] и Зеты [Ђулић] ⁴.

Открытие венским исследователем Йоханнесом Райнхартом хорошо акцентованной рукописи конца XIV в. – сербский перевод полемических трактатов "Иоанна Кантакузина против мухамеджан и евреев" (Венская библиотека № 34), имеющей целый набор черт (фонетических, морфологических, лексических и синтаксических), которые обнаруживают ее косовско-метохийское происхождение⁵, дает возможность предполагать в ней акцентную систему того же региона.

И, действительно, акцентологический анализ имен существительных показал, что в данном памятнике (кстати, необремененном по причине жанровой редкости списками) отражена выровненная акцентная система, где почти все лексемы имеют постоянное накоренное ударение (следы старой окситонезы сохраняют единичные лексемы *a*-основ жен. рода и *o*-основ сред. рода)⁶.

Акцентная система *i*-глаголов Венской рукописи при очевидной тенденции нивелировки акцентных типов в результате утверждения во всех формах накоренного ударения сохраняет однако следы подвижности. Рассмотрим характер и объем этого рудимента в акцентной системе *i*-глаголов и сопоставим эту систему с известными средневековыми южнославянскими системами для определения ее диалектных особенностей. Материал по *i*-глаголам из Венской рукописи был расписан полностью.

В презенте акцентная система рукописи характеризуется исключительно баритонированными формами от глаголов, восходящих к а. п. *a* и *b*, что находит параллель в текстах Константина

Костенчского (см. табл. 3) и в вост.-болг. текстах. В то время как в ст.-штокав. памятниках глаголы а. п. *b* в 1 л. ед. ч. имеют окончание ударение или приставочное.

А. п. *a*: 1 ед.: оставлю 8,84а, 219, 232, 251, прославлѹ 82а, 302; 2 ед.: не оставиши 58а, 232, славиши 274а, прославиши 106, 189а; 3 ед.: вѣрѣти 239, удалитсе 296а, помысли 284, понѣди 259, наплѣнить 137а, славити 280, и славитсе 156, оставити 95а, 201а, поставити 27 прѣставити 324, очисти 233а, 294; 1 мн.: и славимъ 95а, да остави 30, 240, 289; 2 мн.: славите 54а₂, оставите 49,69, 297; 3 мн.: славетъ 86, прославетъ 123а, 153а (се).

А. п. *b*: 1 ед.: (долгосл.) – ; (краткосл.) молю же те 29, выпрошу же те 57а, 230а, 307; 2 ед.: (долгосл.) възлюбиши 63а, 64, 102, хвалиши 212; (краткосл.) молиши 245а, мниши ли 297; 3 ед.: (долгосл.) възвратитсе 145а, възразити 165а, любити 68а, 131, постидетсе 271а, да суди 14, 57, хъли 45; (краткосл.) възвратитсе 59, 308, ѿгони 160а, вводи 315, наводи бо 265, 298, възложити 196, приложи 239, молише 143, просити 53а, 78а, приходити 224а; 1 мн.: (долгосл.) да възвратимъ же 57а, 69, 123а, 243, 280 (се), 283, хвалимсе 55; (краткосл.) поклонимсе 286, уклонимъ 275; 2 мн. – ; 3 мн.: (долгосл.) възвратетсе 31, 149, 320, любѣ 63, 153, стидетсе 55а, постидетсе 271а, 320, хвалетсе 295; (краткосл.) поклонетсе 233а, 269, 279, 251, обличетсе 133а, 249а, приложетсе 320а, не приходѣ 322.

У глаголов, восходящих к исконной а. п. *c* через тенденцию установления во всех формах накоренного ударения проступает старое послекорневое ударение – регулярное во 2 л. ед. ч. (-иши) и нерегулярное в 1 л. ед. ч. (поклонюсе), в 3 л. ед. ч., во 2 и 3 лл. мн. ч., а также в дв. ч.

А. п. *c*: 1 ед.: (долгосл.) избавлю те 189а, ѿвращу 225, и удивлю се 215а, покушоу се 234а, поражу 297а, храню 134; (краткосл.) поклонюсе емъ 288, положоу 219, 234, 236, 238, разорѹ 200, възложоу 60; 2 ед.: (долгосл.) ѿвалишисе 220, съкрушиши 298а, почюдишисе 210/ почюдишисе 224; (краткосл.) растлиши 298 а, възъмниши 241, но родиши 202, прѣкло ниши 213а; 3 ед.: (долгосл.) възбранѣ 275, възгласити 141а, да извѣститсе 204, възразити 136а, 165а, случитсе 230а, посрамитсе 218а; (краткосл.) растлитсе 66, 206, 323 и роди 265а, 258, 267, 273а, уклонитсе 129а, се укротити 130, възложит ме 145, прѣкослови 129, оустроити 294а, пошеди 247; 1 мн.: (долгосл.) – ; (краткосл.) положи 100а, простимъ 221; 2 мн.: (долгосл.) съкрушитесе 74а, чюдитесе 215; (краткосл.) – ; 3 мн.: (долгосл.) заградетсе 59, съкрушетсе 128а₂, и да укрѣпетсе 233, посраметсе 320, ѿстѣпетъ 320а; (краткосл.) възвеселетсе 198а, 322а, поклонетсе 17, възложет 60а; дв.: (долгосл.) помрачитесе 320.

Венская рукопись XIV в.

| а. п. а | а. п. б долгосл. краткосл. | а. п. с долгосл. краткосл. | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| П Р Е З Е Н С | | | |
| Ед. ч. | | | |
| 1. оставлю | – възпрошу же те | дивлюсе | положоу/поклонюсе |
| 2. не оставиши | възлюбиши молиши | ѿвалиши | растлиши/родиши |
| 3. оставити | възвратитсе въдвѣритсе | възгласити | растлитсе |
| Мн. ч. | | | |
| 1. да остави ^М | възвратимъ же поклонимъ | – | положи ^М |
| 2. оставите | – | съкрушитесе | – |
| 3. прославетъ | възвратетсе поклонетсе | заградетсе | възвеселетсе |
| Дв. ч. | – | – | – |
| – | – | помрачитесе | – |
| А О Р И С Т | | | |
| Ед. ч. | | | |
| 1. остави ^Х | – възложѣ | заградѣ | роди ^Х |
| 2-3. постави | възлюби изложи | възвѣсти | роди, укроти |
| Мн. ч. | | | |
| 1. прѣстави ^М / смѣрихомъ | приступихомъ възложи- хомъ | въъмни ^М хъ | – |
| 2. – | учинисте | – | съхранисте |
| 3. прѣставише/ умножише | раздѣлише пригвоздише /въпросише | укрѣпише | устроише |
| Дв. ч. | – | – | – |
| срѣгостасе | – | – | – |
| ИНФИНИТИВ. ПРИЧАСТИЕ НА -иѣ | | | |
| славити/мѣчѣти | възвратитесе | въселити/ (въ)просити | погрѣзѣтесе |
| оставиль/недо- мыслилсе | – | молиль/ просиль | устроити |
| | | тѣпѣстѣль | потопиль |

Старошгокавская система (Ев. XV в., Сб. 1509 г.)⁷

| а. п. а | | а. п. б | | а. п. с | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | долгосл. | краткосл. | долгосл. | краткосл. |
| П Р Е З Е Н С | | | | | |
| Ед. ч | | | | | |
| 1. славлю, прославлю | люблю, възлюблю | молю, прѣсе-лю | ѡпоуѡу/ веселю, възвесе-лю | ѡпоуѡу/ веселю, възвесе-лю | ѡпоуѡу/ веселю, възвесе-лю |
| 2. мѣслиши | любиши | дѣждиши | дивиши(се) родиши | дивиши(се) родиши | дивиши(се) родиши |
| 3. прославить | любить | дѣждать | врѣдитъ лѣститъ | врѣдитъ лѣститъ | врѣдитъ лѣститъ |
| Мн. ч | | | | | |
| 1. оударимъ | съблѣзимъ | постим'се | възвѣстимъ | възвеселим'се | възвѣстимъ |
| 2. мѣслите | любите | поститесе | поустите | въселите | въселите |
| 3. мѣчет'се | любеть | постет'се | врѣдетъ | веселеть | веселеть |
| А О Р И С Т | | | | | |
| Ед. ч | | | | | |
| 1. прославихъ | възлюбихъ | въдвори'хъ се | оудивихъ се | оунокои'хъ се | оудивихъ се |
| 2-3. прослави | възлюби | въселесе | прильписе. | прѣльсти/прѣддивисе | прильписе. |
| Мн. ч | | | | | |
| 1. исправихъ ^М се | троудихъ ^М се | постихъ ^М се | възбранихомъ | съдроби'хъ ^М | възбранихомъ |
| 2. остависте | троудисте | крстистесе | възбранисте | прѣльстистесе | възбранисте |
| 3. оувѣрише | възлюбише | крстишесе | раздѣлише | съдробише | раздѣлише |
| ИНФИНИТИВ. ПРИЧАСТІЕ НА -лѣ | | | | | |
| славити, на-сѣтитесе | любити, по-служити | поститесе, въдворити | дивитесе, въз-въстити | прѣльстити | дивитесе, въз-въстити |
| раниль, исправила | любиль, оумѣдрила | въселил се, въселила | удивил'се | раздробила | удивил'се |

Система Константина Костеньчского (Кн. царств 1418 г.)

| а. п. а | | а. п. б | | а. п. с | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | долгосл. | краткосл. | долгосл. | краткосл. |
| П Р Е З Е Н С | | | | | |
| Ед. ч | | | | | |
| 1. ѡчицоу се | за цицоу | ѡзлюблю | пѡражоу | прѣльцоу, и' прѣльцоу | пѡражоу |
| 2. ѡчистиши | съхраниши | оумрътви-ши се | поразиши | прѣмльчиши | поразиши |
| 3. ѡчистит'се | хранить | въселит'се | оукрѣпит'се | ѡблѣгчить | оукрѣпит'се |
| Мн. ч | | | | | |
| 1. приближим'се | потрѣбимъ | оумрътвимъ | оукрѣпим'се | - | оукрѣпим'се |
| 2. оуѡзвѣтите | послоужите | - | крѣпитесе | - | послоужите |
| 3. оумножьть | хранеть | оуцѣдреть | оукрѣпѣт'се | възвеселѣт'се | оукрѣпѣт'се |
| А О Р И С Т | | | | | |
| Ед. ч | | | | | |
| 1. побѣдихъ | съхранихъ | въселихъ се | прѣстоуи'хъ | оутврьдихъ | съхранихъ |
| 2-3. приближисе | оупрѣмоу-дрисе | и' въсели | възвѣсти, и' посади, оукрѣписе | прѣльсти, и' прѣльсти, поклонисе | оупрѣмоу-дрисе |
| Мн. ч | | | | | |
| 1. ѡстави'хъ ^М се | запѣлихомъ | - | - | - | запѣлихомъ |
| 2. приближисте | - | сѣтвористе | - | - | - |
| 3. приближише се | въкоусише | прѣселишесе | оукрѣпишесе | прѣльстише | въкоусише |
| ИНФИНИТИВ. ПРИЧАСТІЕ НА -лѣ | | | | | |
| ѡчистити | съхранити | ѡплѣчитесе | възвѣстити | оутврьдити | ѡчистити |
| прославиль | съхраниль | прѣселил се | възвѣстиль, прѣльстиль | оукрѣпилисе | прославиль |
| | | оумрътвили | оукрѣпилисе | родила | |

Заметим, что ситуация в основах исконной а. п. с здесь несколько напоминает старосебскую, где послекорневое ударение на *-i-* характеризует исключительно краткосложные основы (ср. табл. 1). В Венской рукописи такое ударение тоже встретилось только у краткосложных основ, кроме 2 л. ед. ч., где формы на *-iши* охватывают все основы.

Акцентная система аориста в Венской рукописи отличается от всех известных южнославянских средневековых систем. В ед. ч. действие все той же тенденции нивелировки акцентных типов привело почти к полному утверждению баритонированных форм во всех а. п. Единичные отступления наблюдаются у долгосложных глаголов исконной а. п. с (с ударением на *-i-*): один пример в 1 ед. *възвъстѣ* и два примера в 3 ед.: *сьлѹчи бо се* и *наѹчи се* (что напоминает восточноболгарскую ситуацию, ср. ниже). Во мн. ч. баритонированным формам глаголов а. п. а (с двумя отступлениями в 3 мн.) противопоставлены глаголы а. п. b и с, имеющие, как правило, ударение на тематическом *-i-* (характерное для старосербских текстов, см. табл. 1). Примеры с глаголами а. п. а *смѣрихомь*, *умножише*, *исплънише*, очевидно, свидетельствуют о процессе выравнивания акцентных типов.

А. п. а : 1 ед.: *умножи* 64а, *ѡстави* 242; 2–3 ед.: *възбраи* 95а, *ѹготовисе* 263, *умножисе* 39а, *прослависе* 150а, *остаи* 63а, 250, *постави* 150а, *очиствисе* 43а, 288а, 300а; 1 мн.: *прѣставихо* 253а, но *смѣрихомь* 213; 2 мн. — ; 3 мн.: *прославише* 159, *ѡставише* 69а, *съставише* 119, *прѣставише* 310а, но *исплънише* 67, *умножише* 51а.

А. п. b : 1 ед.: (долгосл.) — ; (краткосл.) *вьложи* 299, *положи* 299а; 2–3 ед.: (долгосл.) *възвратисе* 26, 145а, 297, 301, *ѹдависе* 299, *вълюби* 296а, *трѹдисе* 144а; (краткосл.) *поклони* 180а, *приклони* 225, *ѹложи* 130а, не *плѹди* 205, *въпроси* 49а, 233; 1 мн.: (долгосл.) *пристѹ|пихомь* 266; (краткосл.) *въложихомь* 209а; 2 мн. — ; 3 мн.: (долгосл.) *възвратише* 51, 119а, 148а, *ѹ|дивишесе* 154, *раздѣлише* 49а, 68а, 299а, *въсхвалише* 307; (краткосл.) *пригвоздише* 282а, *поклонише* 41, 246а, но *положише* 143, 306а, *въпросише* е 13, *родише* 138.

А. п. с : 1 ед.: (долгосл.) *заградѣ* 231, но *възвъстѣ* 188; (краткосл.) *родѣ* 17; 2–3 ед. (долгосл.) *възвъсти* 307, *ськрѹши* 231, *ѡрази* 150, 201, *въ ѡбрази* 275а, *ѹстрашисе* б5а, б6а2, 323, но *сьлѹчибосе* 288, и *наѹчи се* б; (краткосл.) *приклони* 263, *ѹкрати* 129, *прѣложи* 224а, *разбрисе* 199а2, *ѹтвердисе* 163а, 276, *роди* 78а, 157, 205, 270а (се),

279а; 1 мн.: (долгосл.) *дѣвихомь* 224а, *въмѣнихо* 55, 306а, *побѣдихомь* 71з; (краткосл.) — ; 2 мн.: (долгосл.) *наѹчисте* 187, *сьхранисте* 107, *ѹчинисте* 282; (краткосл.) *ѹстроиште* 318; 3 мн.: (долгосл.) *ѹудивише|се* 123, *ѹвише* 81, *ѹкрѹпише|се* 123, *ськрѹшише* 74а, и *смѹтише* 49а, *посрамише* 271а, *пристѹпише* 302, *поѹчише* 51, 298, *почюдише* 174; (краткосл.) *поклонише* 66, 71а, 83, 90а, 100, 190а, *прѣклонише* 71а, *прѣльстише* 32а, *ѹстрымише** 288.

Для акцентной системы инфинитива и причастия на *-ль*, сопоставимой с рассмотренным распределением в аористе, характерно выравнивание форм по типу с ударением на *-i-*, которое затронуло даже основы а. п. а.

А. п. а: (инфинитив) *славити* 177а, *очиствити* 43а, но *мѹчитисе* 75, *приблизити* 140а, 181, 207, *исплънитисе* 269а; (прич. на *-ль*) *избавиль* 246а, *ѹставиль* 260а, *исплънили* 102, но *недомыслил'се* 279а.

А. п. b: (инфинитив) (долгосл.) *възвратитисе* 170а, 171, *ѡдѣлитисе* 207а, *сѹдитисе* 96, 243, 255 (без *се*), *трѹдитисе* 249а; (краткосл.) *поклонитисе* 141, *ѡб|льгчити* 196–197, (*обль|кчити*) 299, *обноситисе* 210а, *ѹстрити* 184а, *крѹтитисе* 32, *въселити* 264, но *просити* 258а, *въпросити* 247; (прич. на *-ль*) (долгосл.) — ; (краткосл.) *блгволил* 264, *ѹволил* 329, *ѹволили* 249а / *ѹволили* 297, *молил'бих'се* 212, но *просиль* 230а, *въпросиль* б.

А. п. с: (инфинитив) (долгосл.) *погрѹзитисе* 281а, 311а, *дѣвитисе* 272, *въмѣнитисе* 278а, *ѹ|мѣнитисе* 309а, *ѹпразнитисе* 202а / *ѹпразнити* 278а, *раздѣшити* 279а, *насладитисе* 286а, *слѣдити* 187а, *ѹтайти* 311, *наоучити же* 291, *хранитисе* 99, *чюдити ми се* 202; (краткосл.) *покоритисе прѣльститисе* 222, *разоритисе* 20, 308 (без *се*), *родитисе* 152, 165, 238..., *ѹстрои* 309; (прич. на *-ль*) (долгосл.) *побѣдило* 3а, *сьврѣшил* еси 292а, *ѡпоустиль* 304, *раздѣшил* еси 308а, *ѹтайль* 181, (усеченные формы) *посрамль* 237, *ѹдивльсе* 248а, возможно, поэтому и *ѹдивил'се* 163а; (краткосл.) *потопиль* 328.

Для более наглядного сопоставления описанной акцентной системы с известными средневековыми южнославянскими системами представим их в таблицах. (См. табл. 1, 2, 3 на с. 127–129).

Особенности западно- и восточноболгарских (среднеболгарского периода XIV–XV вв.) акцентных систем *i-*глаголов (по исследованиям В. А. Дыбо)².

Зап.-болг. (поучения Исаака Сирина, 1381 г. ГБЛ, ф. 304, № 172). Презенс: а. п. b 2 л. ед. ч. *любиши*, *просиши/прѹсиши* при остальных формах — с накоренным ударением (*любить*, *ѡлѹчить*, *прѹсить*; 1 ед. *вълюблѣ*, *ѡлѹчѣ*).

Аорист: а. п. b 3 л. ед. ч. краткосл. — с накоренным ударением

* Заметим, что формы с ударением на *-i-* в Венской рукописи как правило имеют возвратную частицу *се* (ср., напр., *ѹпразнитисе|ѹпразнити*).

(всьєли сѧ), долгосл. — с конечным ударением (вьгнѣздѣсѧ); а. п. с 3 л. ед. ч. — с ударением на приставке полоучи и как дублетные формы полоучи.

Инфинитив: а. п. *b* и *c* — неразличимы: с ударением на *-u-* (любѣти, нахѣтити).

Причастие на *-lъ*: а. п. *a* и *b* — с накоренным ударением (ѡсѣавиль, ѡсѣдиль), а. п. *c* — с ударением на *-и-* (погѣбиль).

Вост.-болг. (Сборник XIV в. Зографского Афонского монарх № 103 (171)). Глаголы а. п. *c* сохраняют ударение на *-u-* в прошедших временах.

Презенс: а. п. *b* ѡсѣдрити, 1 ед. сѣхранѧ ~ а. п. *c* презриши, 1 ед. ѡблажѣ.

Аорист: а. п. с 3 ед. нахѣчи / растли жѣ поклонисѧ.

Инфинитив: а. п. *b* творити ~ а. п. *c* родити.

Характерно: императивы на *-а-* во всех а. п. — с накоренным ударением: рѣшати, вьлагати, ѡслаждатисѧ.

Итак, сопоставление Венской рукописи с другими южнославянскими, представляющими известные диалектно-географические зоны, показывает, что в ней отражена своеобразная акцентная система, не имеющая полного совпадения ни с одной из известных южнославянских средневековых систем (совпадение фрагментов отмечалось). Нельзя сказать, что это ст.-штокав. система, переживающая фонетическую передвижку типа жѣна слѣга, хотя бы потому, что в презенсе долгие сложные глаголы а. п. *c* имеют ударение на *-u-*, которого в ст.-штокав. не было (см. табл. 2).

Венская система не содержит характерных черт зап.-болг. системы (презенс 2 ед. а. п. *b* любѣши; аорист 3 ед. а. п. *b* вьсѣли сѧ ~ вьгнѣздѣсѧ) и вост.-болг. системы (презенс 1 ед. а. п. *c* ѡблажѣ; аорист 3 ед. а. п. *c* нахѣчи / растлижѣ, покони сѧ). Система Венской рукописи в презенсе ближе всего стоит к македонской (ср. табл. 1 и 3), кроме 1 ед. а. п. *c*, где в венской системе отсутствуют формы с ударением на приставке.

В аористе, инфинитиве и причастиях на *-lъ* — в прошедших временах — венская система обладает особенностями, которым нет аналогов: формы с ударением на *-u-* получили распространение во всех а. п., в том числе в исконно баритонированной а. п. *a*.

Естественно искать отражение описываемой системы в современных косовско-метохийских говорах. Что касается презенса, то особенности акцентной системы Венской рукописи в полной мере представлены в говорах, описанных Элезовичем [Элезовић]: глаголы а. п. *c* имеют ударение на *-u-*: ед. ч. 2 л. *чинѣш* II: 447, 559, *да ловѣш* II: 551, но есть и *градѣш* I: 108, II: 558; 3 л. *учѣ* II: 399, *чинѣ* II: 447, но есть и *срѣми се* II: 260, *омлѣти* II: 28; во мн. ч.: 1 л. *чинѣмо*

II: 447, *нохѣмо* II: 548, *врѣшѣмо* II 548; 2 л. *чинѣте* II: 447 и т. д. Ударение на *-u-* отсутствует в косовско-метохийских говорах у глаголов исконных а. п. *b* и *a*, как и в Венской рукописи: ед. ч.: 2 л. *фѣлѣш* II: 575, 3 л. *лѣуби* II: 571, 578, *да улѣви* II: 580, *ноѣси* II: 582, *се вѣзи* II: 561; мн. ч. 1 л. *дѣлимо* II: 573, *подѣлимо* II: 552, 2 л. *навѣлите* I: 429 и т. д. (а. п.); (х)*рѣниш* II: 567, *напрѣвимо* II: 556 и т. д. (а. п. *a*).

В то же время в аористе косовско-метохийским формам 3 ед. с ударением на приставке (в а. п. *c* и *a*) и с конечным ударением (в а. п. *b*) не находится аналогов в Венской рукописи. [Элезовић II]: а. п. *a*: *оѣстави* 551, *не мѣчи* 555, *превѣри* 576 / *превѣри* 552 и *сѣстави* 587; а. п. *b*: *врѣти* с 554, *запрѣси* 553, но *се навѣли* 429, *топѣ разбѣ* 550; а. п. *c*: *удави* 556, *ударѣ* 587, *ѡмлати* 28 и т. д. Ударение во мн. ч. аориста у Элезовича и в Венской рукописи совпадает. [Элезовић II]: а. п. *b* *навѣлѣсмо* 429, *наложѣше* 554; а. п. *c* *омлѣтѣсмо* 28, *удѣвише* 555, 556.

Так же согласуется акцентуация инфинитива (усеченная форма в косовско-метохийском) и причастия на *-lъ* [Элезовић II]: а. п. *a*: *оѣстит* 552, *поздрѣвит се* 538; *прѣтиѣ* 548 и *наместѣли* 548; а. п. *b*: *ольѣтит* 26, *нацрѣнит* 451, *омокрѣт* 28; *осѣшила* 41, *нацрѣнила* 451, *сломѣли* 550; а. п. *c* *научѣти* 581, *чинѣт* 447, *огрѣдѣт* 12, *повторѣт* 537, *огрѣдѣт* 12; *чинѣло* 447, *нарѣдѣѣ* 549, *родѣѣ* 550, *покосѣѣ* 550.

Таким образом описанная акцентная система *i*-глаголов Венской рукописи XIV в. может служить диалектноразличительным признаком при локализации южнославянских средневековых текстов, а именно для определения рукописей косовско-метохийского ареала⁸.

Примечания:

1. См. Булатова Р. В., Дыбо В. А., Николаев С. Л. Проблема акцентологических диалектизмов в праславянском. — Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М., 1988, с. 31–66.

2. См. о выделении этих зон в ранних работах В. А. Дыбо. Среднеболгарские тексты как источник для реконструкции праславянского ударения (Praesens). — Сов. славяноведение, 1969, № 3, с. 82–101; Он же. Фрагмент праславянской акцентной системы. Формы-епсліпотепѣ в аористе *i*-глаголов. — Сов. славяноведение, 1968, № 6, с. 66–77; и в последней монографии — Основы славянской акцентологии (М., 1990).

3. См. работы автора статьи и В. А. Дыбо, названные в обзоре: Булатова Р. В. Работы советских исследователей по славянской исторической акцентологии на материале древних памятников письменности. — Сборник за филологију и лингвистику XXII/1. Нови Сад, 1979, с. 81–83.

4. Элезовић Гл. Речник косовско-метохийског дијалекта, св. I, II. Београд, 1932–1935; Пешикан М. Староцрногорски, средњокатунски и љешански говори. — Српски дијалектолошки зборник, XV. Београд, 1965; Ђупић Д. Неке акцентске и

друге карактеристике зетских говора и настава језика на овом подручју. – Билтен завода на унапређивање школства НР Црне Горе. № 2, год. III. Титоград, 1963; Он же. Преглед главних особина говора Зете. – Јужнословенски филолог, књ. XXXIII, Београд, 1977.

5. См. Rejnhart Johannes. Српскословенски превод полемиких трактата Јована VI Кантакузина против Мухамеданаца и Јевреја (Бечки словенски рукопис бр. 34). – Научни скуп "Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа". Трећа Међународна Хиландарска конференција у Београду, 1990.

6. См. Булатова Р. В. Фиксација старих акцентних система в средњовекових рукописях. – Сборник за филологију и лингвистику за 1991. Нови Сад (в печати).

7. О средњовекових јужнословенских диалектних системах і-глаголов см. Булатова Р. В. К диалектној карактеристици рукописи 1418 г. "Книги царств" на основе акцентологического анализа. – Научни скуп "Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа"..., у Београду, 1990.

8. Так можно предполагать косовско-метохийское происхождение акцентных систем в ряде письменных памятников, имеющих аналогичную просодическую характеристику: Триодъ Цветная 1408 г., 373 л. Найдена в ските Лаккос на Афоне. ГБЛ, Г. I, № 583; Псалтырь с воследованием. Старопечатная книга. Цетинье, 1495; Сборник из монастыря Доволя, 2-я четверть XV в. ГПБ, Гильф. 52; возможно, Апостол Лесновского монастыря 1515. ГПБ Г I, 488, № 134 и др.

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ МЯГКИХ СОГЛАСНЫХ В КЛАССИФИКАЦИИ СЛАВЯНСКИХ ДИАЛЕКТОВ

Л. Э. Калнынь

Одним из факторов отнесения славянских языков (диалектов) к консонантическому или вокалическому типу является наличие / отсутствие в языке корреляции твердых-мягких согласных¹. Присутствие этой корреляции резко увеличивает консонантный инвентарь в языке и формирует приоритетную, в сравнении с вокализмом, роль консонантизма в звуковом строе языка. Именно количество согласных от 31 до 37 является, по классификации Исаченко, основанием для объединения в "радикально консонантический" тип восточнославянских, серболужицких, польского и болгарского языков². Между этими языками, несомненно, существует сходство развития – все они пережили превращение позиционной полумягкости согласных в мягкость позиционно независимую. Однако синхронное сопоставление показывает, что при инвентарном тождестве коррелятивных по твердости-мягкости пар языки (диалекты) могут существенно различаться в зависимости от того какую роль выполняют мягкие согласные в фонетической программе слова. С учетом этого фактора дихотомия "вокалический – консонантический" типы не покрывает тех реальных типологических различий, которые могут быть констатированы в славянских языках (диалектах). Покажем это на сопоставлении трех говоров – гуцульского (с. Яблуница, Путиловского р-на Черновицкой обл.), болгарского (с. Кириутня Чадыр-Лунгского р-на в Молдове), южнорусского (с. Дьячи Моршанского р-на Тамбовской обл.). Эти диалекты в консонантизме имеют корреляцию твердости-мягкости и, по классификации Исаченко, репрезентуют консонантический тип.

Палатализованность согласных имеет в своей основе приспособление артикуляции согласного последующему гласному переднего ряда. Если принять за точку отсчета артикуляцию твердых согласных, то смягчение губных достигается поднятием средней части языка, а зубных и заднеязычных – перемещением места образования к средней части твердого неба. Для зубных согласных, с одной стороны, и заднеязычных, с другой, это означает перемеще-

ние центра артикуляции в противоположном направлении – назад для зубных, вперед для задненебных³. Интенсивное перемещение в зону среднего неба может привести к радикальному изменению локального ряда согласного, переводя его в разряд палатальных. Акустическим эффектом смягчения является повышение собственного тона согласного.

Возникнув в результате регрессивной аккомодации в последовательности CV, мягкие согласные в дальнейшем стали влиять на рекурсию предшествующего и экскурсию последующего гласного – артикуляция гласного в соседстве с мягким согласным сдвигается вперед и вверх. Палатализованность становится как бы суперсегментным качеством, распространяясь на последовательности VC', C'V, VC'V и преобразуя их в [V'C'], [C'V], [V'C'V]. Аккомодация гласных мягкому согласному является, по-видимому, общим свойством языков, имеющих корреляцию твердости-мягкости.

По-иному обстоит дело с воздействием мягких согласных на консонантное окружение.

В языках, относимых к консонантическому типу, сочетания согласных демонстрируют результаты ассимиляции по участию голоса, месту и способу образования. Ассимиляция имеет преимущественно регрессивную направленность. Прогрессивное уподобление реализуется значительно реже. В качестве таких примеров можно назвать оглушение губного спиранта после глухого шумного в польском и болгарском, оглушение вибранта после глухих смычных в нижнелужицком, аффрикатизация зубных смычных после зубных и передненебных спирантов в севернорусских (*шчаны́, йёшче*, но *дайт'е; с''ч''ел'н'а* и *т'олка, шес''ч''оро* и *шестой*) и гуцульских говорах (*д'ідо* и *з'дз'ідом, жду* и *зж'дж'іт, т'істо* и *с'ц'істом*) и др.

Регрессивное и прогрессивное изменения в консонантных группах ассоциируются в звуковой цепи с пространством разного типа.

Регрессивное изменение задается как компонент произносительной программы в рамках фонетического слова. Если понимать слова как фонетический процесс, протяженный во времени, то регрессивное изменение дистактно, поскольку первый звук меняет свою артикуляцию в предвидении (антиципации⁴) еще не произнесенного второго звука – импульс к изменению заложен в фонетической программе слова. Именно это подтверждается сохранением результатов регрессивного позиционного изменения при устранении позиции, вызвавшей его. Ср. прерванное произношение, когда первый звук демонстрирует качество, ориентированное

на следующий ожидаемый, но не произнесенный звук – *с'-п'ісат'*, сев.-рус. *ом-ман*; этим же объясняется сохранение мягкого согласного при преобразовании типа *кос'т', жис'н' → кос', жис'*. Дистактной сущностью регрессивного уподобления обусловлено и сохранение мягких согласных после утраты слабого *ь – программный импульс оказался более значимым, чем конкретное содержание звуковой цепи.

Прогрессивно направленное уподобление звуков, напротив, всегда контактно – артикуляция второго звука непосредственно вытекает из произнесенного первого звука. Поэтому можно считать, что прогрессивная ассимиляция реализуется в сегменте не длине консонантного сочетания. При прогрессивном уподоблении распространение первой артикуляции на вторую может быть настолько интенсивно, что первая артикуляция как бы переходит через вторую, становясь ее завершающей фазой. Именно это показывают приведенные выше примеры изменения *шт → шч, с''т' → с''ч'', з'д' → з'дз'*. При регрессивном уподоблении артикуляция, стимулирующая изменение, никогда не переходит в начало изменяющегося сегмента (т. е. *тч → чч*, но никогда *чтч, штч*). Подтверждением того, что пространством реализации прогрессивной ассимиляции является сегмент равный сочетанию согласных, является устранение результатов этого уподобления, как только прерывается непосредственная связь между согласными – ср. в сев.-рус. говоре при слогоделении *йёшче, рожджён'йо* и *йеш – т'е, рож – д'ен' – йо*.

Ассимиляция по мягкости (высокому тону) в группах согласных чаще имеет регрессивный характер, реже – прогрессивный.

Для определения роли мягких согласных в фонетической программе слова существенно регрессивное уподобление по мягкости. Если сопоставить регрессивно направленное ассимилирующее воздействие мягких согласных с таким же воздействием других артикуляций, то выделяются два вида комбинаций: 1) при развитой ассимиляции по месту и способу образования согласных слабо представлена ассимиляция по мягкости, независимая от уподобления по месту и способу образования – последнее обычно сопровождается унификацией консонантного сочетания относительно высокого тона; 2) при более ограниченной ассимиляции по месту и способу образования широко представлена независимая от этого уподобления ассимиляция по мягкости.

Пример первой комбинации дают гуцульский говор с. Яблуница и болгарский говор с. Кирютня.

В говоре с. Яблуница фиксируется изменение:
сш → шш (нэшшиёу), жж → жж (жжета), сч → шч (шчэх'іу, ш'ч'ім),

щц → сц (запорі́щем), щч' → с'ц' (на *hrúс'ц'і*), шс → сс (зв́ассе) жз → зз (*м'із з́анними*), чц' → ц'ц' (*у сорб́ц'ц'і*) тш → чш (солóчшей), тч → чч (*хачч́ена, л'óччик*), тц → цц (*в́ицц́ем*), тц' → ц'ц' (*к'і́ц'ц'і*), бм → мм (*ом'м'ін'́ети*), дн, дн' → нн, н'н' (*з́анне, не hón'н'і*), дл, дл' → лл, л'л' (*с'і́ллó, п'і́л'л'і́зе*), лн → нн (*п'р́анник, м́енник*).

Снижение контраста между рядом стоящими согласными в говоре с. Яблуница репрезентует и изменение *тл, тл' → кл, кл'* (*м'і́клá, св'і́клó, укл'і́лосе*), хотя внешне это выглядит как диссимилиация по месту образования. Переключение зубного смычного в латеральный сонант осуществляется путем некоторого перемещения язычного сближения с зубами или нёбом спереди назад, т. е. навстречу движению воздушной струи, образуя шуму. Изменение *т → к* (а иногда и в звук как бы средний между *т* и *к*) означает перемещение подхода к латеральному сонанту из передней части ротовой полости в ее заднюю часть. Это ведет к тому, что консонантная артикуляция движется в соответствии с естественным направлением шумопрохождения, а не навстречу ему.

Регрессивная ассимиляция по мягкости в сочетаниях согласных в говоре с. Яблуница представлена весьма ограниченно. Ни в одной из позиций смягчение не представлено последовательно. Чаще всего оно фиксируется у: 1) губных перед *й* (*зав'й́езу́ют, тра́ф'йу, п'й́екно́, сп'й́у́х, л'уб'й́у́, зароб'й́ейу́т*); 2) зубных спирантов перед заднепалатальным *к'*, развившимся на месте *т'* (*hic'к', шерс'к', во́хк'і́с'к', ус'к'і́к и уст́екли́й*); реже фиксируется смягчение зубных спирантов перед другими согласными (*с'в'і́ч'к'у, с'м'і́к'е, к'у́з'н'у, к'і́з'л'е́, с'ц'і́лоho*).

Особенностью этого говора является то, что ассимиляция по мягкости может не происходить даже в сочетании одинаковых согласных, например, *в́і́дд'і́л'́ети, ес с'і́на*. Кроме того говор демонстрирует и унификацию рядом стоящих согласных по низкому тону — это проявляется в произношении *л* вместо ожидаемого *л'* перед твердыми зубными и передненёбными шумными (*начáлник, доброві́лно, пайáлна, бу́лдóзер, палтó, култ́урна*).

В болгарском говоре с. Кирютня также на фоне многочисленных уподоблений по месту и способу образования в группах согласных весьма ограниченно представлена ассимиляция по мягкости. Здесь происходят изменения: *сш' → ш'ш' (аш'ш'і́х', ш'ш'е́пка), жж' → ж'ж' (а ж'й́w'áх < ж'ж'), ш'с → сс → с (т'у́ у́ч'уса), тц → цц, ц'ц' (у́ццáрска́та, кур'і́ц'ц'у́), тс → цс, ц'с' (ра́сац са с'ей́ът, с'і́р'ац' с'і́р'ен'у), тч' → ч'ч' (к'р'ивáч'ч'у), тш' → ч'ш' (п'еч' ш'ес'), дн → нн, н'н' (пáнна́ла, плáн'н'е́), дн → мн (утк'рámнул), бн → мн (ср'ёмнал), вн → мн (аз р'́ёмна, вазг'лámну́ца, пл'ёмн'ук), нп → мн (в'імпл'унт), нк → цк (с'и́цкáмьк, Стáцка).*

Не все из этих изменений проводятся последовательно — но в данном случае важна сама возможность такой ассимиляции.

В говоре с. Кирютня представлено изменение *сц → хц, шч' → хч', сч' → хч'* (через стадию *шч' → сах ц'ар, Танáхца, л'і́хч'у, хч'і́п'иш, вахч'арв'́ену, св'і́хч'і́ца, с'áках ч'у (< ш # ч')*). Это явление можно интерпретировать как артикуляционное упрощение такого же типа, какой в говоре с. Яблуница репрезентует меня *тл → кл*, если рассмотреть его с точки зрения общей звукообразующей установки, характерной для переключения спиранта в аффрикату того же ряда. Это переключение сопровождается перемещением сближения артикулирующих органов навстречу движению шумообразующей струи. В сочетании с напряженностью глухих согласных в этом говоре переключение спиранта в аффрикату является достаточно сложным артикуляционным движением. Замена *с → х, ш → х* в этом случае приводит к тому, что развитие шума движется по каналу звучания от более задней артикуляции (фрикативной) к более передней (аффрикативной), т. е. в соответствии с естественным направлением шумопрохождения.

Ассимиляция по мягкости в говоре с. Кирютня, как и в гуцульском говоре, представлена ограниченно и в несколько ином распределении.

Так, перед *й* никакие согласные не смягчаются, включая губные — исключение *ф'й́ул'у, нае'і́х' йа*. Из шумных согласных позиционную мягкость могут получать не только спиранты, но и смычные — *с'ит'н'áрка, с'ет'н'а, к'ус'м'і́к', Хр'і́с'т'у, нач'ис'л'і́уа*. Не исключено, что в этих случаях унификации согласных по мягкости способствует воздействие передней артикуляции предшествующего согласного, т. е. регрессивная ассимиляция комбинируется с прогрессивной.

Как и в гуцульском говоре, здесь наиболее подвержен ассимилятивному смягчению сонант *н*, а кроме того еще и *л* — *ба́ц'к'у, с'ун'ц'і́, с'иц' г'орг'у, т'ен'ц'áра, пал'т'ен'ц'у, у б'ан'д'ер, д'ив'ун'д'ис'ей́, мун'ч'ету́; жёл'т'у, Н'икул'д'ен' и Н'икул', с'емб'ил'д'ек', вёл'ц'у, пал'сет, кул'н'е́, п'л'н'у, мал'ч'у́, д'ёл'г'и́а, каш'ол'к'у*.

Склонность к смягчению сонантов *н, л* можно объяснить тем, что они, будучи по уровню сонорности близки к гласным, испытывают со стороны мягкого согласного такое же воздействие, как и гласные, т. е. повышают свой тон.

В говоре с. Кирютня сочетания одинаковых согласных имеют тенденцию сокращаться до одного, и при этом в последовательности *СС'* остается второй согласный. Если же сочетание сохраняется, хотя по своей длительности оно все равно короче двух со-

гласных, то уподобления по мягкости в этом сочетании может не происходить – *каМм'ён'е*, *уТ'т'áf*, *уд'д'ел'úла*, *б'иЗз'úма*, *плáНн'е*.

По совершенно иным правилам строится фонетическая программа слова в южнорусском говоре с. Дьячи. Здесь уподобление по месту и способу образования в группах согласных играет меньшую роль, чем в гуцульском и болгарском диалекте. Оно проявляется в изменениях *шш* → *шш* (*шшóлс'и*), *жж* → *жж* (*жжанóй*), *сч* → *ш'ч'* (*ш'ч'ужóва*), *тс* → *цс*, *ц'с'* (*ацсúдва*, *ац'с'íстр'е*), *тц* → *ци* (*ац-цáрв'яла*), *тш* → *чш* (*млáчша*) *тч* → *ч'ч'* (*л'ím'íч'ч'ик*). Все другие виды уподобления по месту и способу образования в группах согласных, отмеченные в гуцульском и болгарском говорах, в южнорусском отсутствуют.

Но зато здесь центральным моментом фонетической программы слова является антиципация мягкого согласного, сопровождающаяся унификацией многочисленных сочетаний согласных по мягкости. В некоторых позициях ассимиляция по мягкости приобретает ранг синтагматического запрета на употребление твердых согласных перед мягкими. Так, твердые согласные любого ряда (исключая *ш, ж, ц*) запрещены перед *й* и заменяются в этой позиции мягкими; сочетания одинаковых согласных всегда однородны по высоте тона; *т, д* → *т', д'* перед мягкими губными, согласными, *т', д', з', н'*; *с, з* → *с', з'* перед мягкими губными, зубными, перед мягкими задненёбными в начале слова (*с'к'ем*, *з'у'ír'ьй*, *с'х'ím'íьй*, но *крáск'и*, *б'íсх'íтр'с'т'и*); *н, р* → *н', р'* перед мягкими любого ряда.

Как было сказано, во всех трех рассмотренных говорах согласные образуют корреляцию по твердости-мягкости. В говоре с. Яблунца таких коррелятивных пар 17 – /п/ – /п'/, /б/ – /б'/, /в/ – /в'/, /ф/ – /ф'/, /м/ – /м'/ (оппозиция губных осуществляется благодаря отсутствию мягкости перед *й* из *о, т. е. *б'ík-б'íлий*), /т/ – /т'/, /д/ – /д'/, /с/ – /с'/, /з/ – /з'/, /ц/ – /ц'/ (*тр'иц'е-в'иконце*), /н/ – /н'/, /л/ – /л'/, /ш/ – /ш'/ (*душ'е-ше'ти*), /ж/ – /ж'/ (*ж'е'пка-же'й*), /р/ – /р'/, /к/ – /к'/, /г/ – /г'/; противопоставление задненёбных реализуется при замене *т', д' → к', з'* (*з'у'гл'у-пойг'у'т*, *к'уз'н'у-св'ик'у'т*). В говоре с. Кирютня 16 пар – /п/ – /п'/, /б/ – /б'/, /в/ – /в'/, /ф/ – /ф'/, /м/ – /м'/, /т/ – /т'/, /д/ – /д'/, /с/ – /с'/, /з/ – /з'/, /ц/ – /ц'/, /с/ – /с'/, /л/ – /л'/, /р/ – /р'/, /к/ – /к'/, /г/ – /г'/, /н/ – /н'/, /л/ – /л'/, /р/ – /р'/, /к/ – /к'/, /г/ – /г'/.

При таком структурном сходстве говоры обнаруживают разную склонность к ассимиляции по мягкости в группах согласных. При

чем это не связывается с инвентарем коррелятивных пар – в с. Дьячи таких пар меньше всего, а уподобление по мягкости самое интенсивное.

Неодинаковая склонность к ассимиляции по мягкости в группах согласных эксплицирует различие той роли, которую выполняют в этих говорах мягкие согласные в фонетической программе слова. Представлены два варианта в зависимости от характера сегмента, в котором проявляется синтагматическая активность мягкого согласного.

В гуцульском и болгарском говоре – это сегмент типа [CVCV], т. е. последовательность, в которой первоначально сформировалась артикуляция мягкости. Мягкие согласные аккомодируют предшествующий и последующий гласный, т. е. [VC'V] как, например, [y'k''é]ла, но *рос[т'е]на'ла* в с. Яблунца. Антиципация мягкости при выборе согласного в фонетической программе слова присутствует в слабой степени, хотя по другим консонантным артикуляционным параметрам, антиципация проявляется весьма интенсивно.

В южнорусском говоре, напротив, антиципация мягкого согласного в фонетической программе слова становится решающим фактором при артикулировании не только предшествующего гласного, но и согласного. Здесь синтагматическая активность согласного выходит за пределы того сегмента, в котором первоначально сформировалась артикуляция мягкости. Мягкий согласный организует не только сегмент типа [VCV], но и более сложную последовательность, содержащую интервокальное сочетание согласных. Последовательность унифицируется в отношении высокого тона, т. е. [VCC'V] – [V'C'C'V]. Мягкий согласный становится синтагматическим центром фонетического слова в целом или значительной его части, например, [с'е'с'т'], *вл[á'с'т'й'у]*.

Гуцульский и болгарский говоры демонстрируют более архаическое синтагматическое поведение мягких согласных, а южнорусский говор – более новое. В этой связи можно предположить, что ассимиляция согласных по месту и способу образования является более старой чертой, чем ее отсутствие. Не исключено, что стремление избежать таких ассимиляций (или – отсутствие таких ассимиляций) поддержало морфонологическую аналогию, выразившуюся в замене форм типа *сорочц'б* → *сорочке*. Неунифицированное по месту образования сочетание *чц* труднопроизносимо, а замена *ч* на *к* дает возможность преобразовать его в легкое сочетание *чк*.

Рассмотренные факты дают основание считать, что роли мягких согласных в фонетической программе слова может быть придано значение типологической характеристики при классификации славянских диалектов. Характеристика эта эксплицируется в наличии/отсутствии антиципации мягкого согласного в фонетической программе слова.

Классификация по этому признаку покажет, действительно ли однотипными являются языки и диалекты, относимые к числу "радикально-консонантических" на том основании, что они имеют коррелятивные по твердости-мягкости пары согласных фонем.

Примечания:

1. Исаченко А. Опыт типологического анализа славянских языков. – Новое в лингвистике. М., 1963, вып. III. С. 113–114.
2. Там же. С. 115.
3. Брок О. Очерк физиологии славянской речи. СПб., 1910, с. 151.
4. Термин О. Брока. – Указ. соч. С. 166.

К ВОПРОСУ О РЕДУКЦИИ ГЛАСНЫХ В СОВРЕМЕННЫХ БОЛГАРСКИХ ДИАЛЕКТАХ

Т. В. Попова

В современном болгарском языке, характеризующемся динамическим ударением, изменение позиции гласного в пределах одной морфемы по отношению к акценту обуславливает те или иные артикуляционно-акустические различия между гласными ударных и безударных слогов, что приводит к определенным тембровым расхождениям в характеристиках ударных и безударных гласных.

В болгаристике несовпадение артикуляционно-акустических признаков гласных в безударных слогах по сравнению с соответствующими гласными ударных слогов в рамках одной морфемы называется "качественной редукцией". Известно несколько типов такой редукции, которые характеризуют вокальные системы разных болгарских диалектов и литературного болгарского языка.

Наиболее распространен и подробно описан тип редукции, свойственный литературному языку и подавляющему большинству восточноболгарских диалектов. В их вокальных системах, которые в позиции под ударением различают шесть гласных [и́ е́ ъ́ а́ у́ о́], а в безударной позиции – только три гласных [иъ у], ударные гласные неверхнего подъема [е́ а́ о́], оказавшись в безударной позиции, повышают свой подъем, не изменяя ни рядности, ни лабиализованности-нелабиализованности, и становятся гласными нижнего подъема [иъ у]. Данный тип редукции носит в этих говорах в синхронном плане чисто фонетический характер, так как охватывает все случаи без исключения и имеет поэтому значение фонетической закономерности. Графически этот тип редукции можно изобразить при помощи стрелок, идущих вверх (назовем его условно "вертикальным" типом редукции). См. табл. 1.

Однако большинству современных юго-восточных болгарских диалектов, различающих в позиции под ударением также шесть гласных [и́ е́ ъ́ а́ у́ о́], известен и другой тип редукции, в определенной степени противоположный по характеру своего проявления только что описанному "вертикальному" типу редукции. Он, в

отличие от "вертикального" типа, более ограничен как по составу гласных, вовлеченных в редукцию, так и позиционно. Так, данный тип редукции охватывает только те ударные нелабиализованные гласные, которые локализируются в границах двух рядов – переднего и среднего и находятся в позиции после мягких согласных, т. е. [í' é' á]. Суть данной редукции заключается в том, что указанные ударные гласные, попав в безударную позицию, реализуются как нелабиализованные гласные неверхнего подъема и среднего ряда, т. е. [í] → [e], [é] → [e], [á] → [e], [ъ] → [e]¹. Следовательно, при этом типе редукции (назовем его условно "горизонтальным") для гласных переднего ряда отмечается передвижка в средний ряд и понижение подъема, а для гласного нижнего подъема – повышение подъема при сохранении рядности (см. табл. 2).

Таблица 1

| | | |
|-------|-------|-------|
| í → и | | ý → у |
| é | ъ → ь | ó |
| | á | |

Таблица 2

| | | |
|---|-------|--|
| í | | |
| é | ъ → е | |
| | á | |

Следует отметить, что по характеру своего проявления два типа редукции существенно отличаются друг от друга. Так, если "вертикальный" тип редукции в большинстве болгарских вокальных систем носит универсальный и безысключительный характер (т. е. всегда [í' é' á' ú' ó] → [и' ь' у]), то "горизонтальный" тип редукции имеет значительно более ограниченную сферу действия: он обычно существует в рамках той или иной вокальной системы с "вертикальным" типом редукции, в силу чего в одном и том же диалекте возможны следующие соответствия между ударными и безударными гласными: [í] → [и, е], [é] → [и, е], [á] → [e], [ъ] → [e], [ó] → [у], [ý] → [у] (следовательно, [í' é' á' ú' ó] → [и' е' ь' у]), а вокальные системы таких диалектов характеризуются более сложной организацией по сравнению с вокальными системами других диалектов.

Современным болгарским юго-восточным диалектам, характеризующимся одинаковым инвентарем гласных в ударных и безударных слогах, известно несколько разновидностей данного "горизонтального" типа редукции², что обусловливается различиями в дистрибуции безударных гласных и характером сосуществования "вертикального" и "горизонтального" типов редукции в каждой отдельно взятой диалектной системе. В связи с этим возникает

вполне закономерный вопрос: можно ли отнести "горизонтальный" тип редукции, подобно "вертикальному" типу, к числу фонетических явлений?³ Чтобы внести ясность в данный вопрос, необходимо провести тщательный анализ всех позиционных чередований гласных, характеризующих вокальные системы этих диалектов.

Одну из разновидностей болгарской диалектной редукции, своеобразно сочетающей как "вертикальный", так и "горизонтальный" ее типы, мы находим в системе вокализма юго-восточного кортенского говора⁴. Исследование позиционных чередований гласных в этом говоре, учитывающее, по возможности, все случаи их функционирования, представляет в свете сказанного определенный интерес.

Диалектная специфичность системы вокализма кортенского говора по сравнению с другими юго-восточными диалектами, различающимися в позиции под ударением шесть гласных [í' é' á' ú' ó] и в безударной позиции – четыре гласных [и' е' ь' у], проявляется в характере позиционного фонетического чередования гласных ударных и безударных слогов, которое устанавливается путем сопоставления разных позиционных наборов гласных звуков в пределах одной морфемы⁵. Наличие разных позиционных наборов гласных в кортенском говоре обуславливают такие фонетические факторы, как: 1) место, или контур, ударения в рамках фонетического слова, 2) твердость-мягкость предшествующего согласного, 3) отношение гласного к паузе. В результате для кортенского вокализма может быть выделено 12 позиций (сегментов), определивших 12 конкретных фонетических позиционных наборов (см. табл. 3).

Таблица 3

| Сегмент | I. Позиция под ударением | II. Предударная позиция | III. Заударная позиция |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1) CVC ^(*) | и' е' ь' а' у' о' | и' е' у' | и' е' у' |
| 2) CVC ^(*) | ъ' а' у' о' | ъ' у' | ъ' у' |
| 3) C'V# | и' е' ь' а' у' о' | | и' е' у' |
| 4) CV# | ъ' а' у' о' | | ъ' у' |
| 5) #VC ^(*) | и' е' ь' а' у' о' | и' ь' у' | |

Для выявления позиционного чередования гласных берутся одни и те же сегменты в корневых или аффиксальных морфемах⁶,

в которых гласные занимают устойчивое, неизменное положение относительно второго и третьего позиционных признаков (т. е. твердости-мягкости предшествующего согласного и паузы), а относительно первого признака (места ударения) – неустойчивое, переменное положение.

Следует подчеркнуть, что именно в изучении механизма фонетического чередования гласных, принадлежащих одной морфеме и являющихся членами разных позиционных наборов, и следует искать ключ к раскрытию как специфики самого типа редукции, так и особенностей взаимоотношений между подсистемами ударного и безударного вокализма.

Интересно отметить, что позиционные чередования гласных осуществляются последовательно в кортенском говоре, как правило, только в позициях с первыми четырьмя сегментами (т. е. $C'VC^{(o)}$, $CVC^{(o)}$, $C'V\#$ и $CV\#$) и очень ограниченно в позициях с пятым сегментом (т. е. $\#VC^{(o)}$). Позиционное чередование гласных в позициях с третьим и четвертым сегментами (т. е. $C'V\#$ и $CV\#$) отмечено лишь в рамках аффиксальных морфем.

Рассмотрим сначала те позиционные чередования гласных, которые основаны на "горизонтальном" типе редукции, т. е. чередования $[a \sim e]$, $[b \sim e]$, $[e \sim e]$, $[i \sim e]$.

I. Чередование $[a \sim e]$.

1) Сегменты $C'VC^{(o)} \sim C'VC^{(o)}$ в рамках корневых (основных) морфем, например: $цв'ат \sim цв'ету'в'е$; $ч'ер'аслу \sim ч'ер'есла$; $ч'ас \sim ид'ин ч'ес$ и др.

2) Сегменты $C'VC^{(o)} \sim C'VC^{(o)}$ в рамках имперфектной и аористой связочных морфем, например: $п'ьс'аф, умр'аф \sim м'ес'еф, м'ьмр'ех$ и др.; в корневой морфеме в словоформах $х'ил'ад \sim х'ил'ед'и$.

3) Сегменты $C'V\# \sim C'V\#$ в рамках следующих аффиксальных морфем: а) в глагольной флексии 1 л. ед. наст., например: $к'ул'а, к'ьд'а, суш'а \sim к'ьп'е, п'ьд'е, п'иш'е$ и др; б) во флексии существительных ж. р. ед. ч., например: $св'ин'а, м'ья, д'ьшт'ер'а \sim руск'ин'е, с'ьр'ьл'ийе, з'ьстр'е$ и др.

II. Чередование $[b \sim e]$.

1) Сегменты $C'VC \sim C'VC$ в рамках глагольной флексии 3 л. мн. наст., например: $кус'ьт, гл'уб'ьт, п'ий'ьт \sim м'ес'ет, з'ьг'уб'ет, л'ай'ет$ и др.

2) Сегменты $C'V\# \sim C'V\#$ в рамках членной морфемы м. р. ед. ч., например: $м'ьж'ь, д'ин'ь \sim кон'е, з'ьт'е, из'ик'е$ и др.

III. Чередование $[e \sim e]$.

1) Сегменты $C'VC^{(o)} \sim C'VC^{(o)}$ в рамках корневых (основных) морфем, например: $грудуб'ер, вр'ит'ену, с'елу, ч'елу, фч'ер', ж'елт \sim б'ера, вр'ит'ена, с'ела, ч'ела, фч'ер'ать, ж'елтаву$ и др.

2) Сегменты $C'VC^{(o)} \sim C'VC^{(o)}$ в рамках следующих аффиксальных морфем: а) в именном суффиксе $[ен] \sim [ен]$, например: $ду'в'ен, уц'ип'ин'ен, уйдр'ен \sim згот'ен, уж'ен'ен, зьт'ор'ен$ и др.; б) в морфологическом сегменте $[ет] \sim [ет]$, расширяющем основу существительных ср. р. мн. ч. (определенных и неопределенных), например: $к'уфт'еть, с'ьрц'еть, струкч'еть \sim кот'еть, з'ьр'ьнц'еть, алч'еть; пул'етьфть, ч'евр'етьхть \sim кул'етьфть, йар'ехть$ и др. ;

3) Сегменты $C'V\# \sim C'V\#$ в рамках флексии наречий, например: $дубр'е, к'ьд'е \sim утр'е, с'ьт'е$ и др.

IV. Чередование $[i \sim e]$.

1) Сегменты $C'VC^{(o)} \sim C'VC^{(o)}$ в рамках корневых морфем (очень ограниченно): $б'ил \sim б'ела, б'ело, б'ел'е; ид'ин \sim ид'енайс'и, ино' к'илу \sim тр'и к'ела$.

2) Сегменты $C'VC^{(o)} \sim C'VC^{(o)}$ в рамках следующих аффиксальных морфем: а) в субстантивном суффиксе $[ин] \sim [ен]$, например: $гуспуд'ин, думьк'ин \sim з'ьргат'ен, ц'иг'ьн'ен, гуйдар'ен, гьгьуз'ен$ и др.; б) в суффиксе притяжательных прилагательных $[ен]$, например, $мам'ен, баш'т'ен, кумш'ийен, майк'ен$ и др. Отметим, что позиция гласного под ударением в этом суффиксе устанавливается только путем эксперимента – при делении данных словоформ на слоги (например: $баб'ен \rightarrow ба-б'ин, бул'ч'ен \rightarrow бу-л-ч'ин, как'ен \rightarrow ка-к'ин$); в) в аористой связочной морфеме $[и] \sim [е]$, например: $издуб'их, ньдруб'их \sim згот'ьх, зграб'ьх$ и др.

Позиционные чередования гласных, основанные на "вертикальном" типе редукции, охватывают в кортенском говоре большее количество и позиций, и морфем. Это чередования: $[и \sim и], [е \sim и], [b \sim b], [a \sim b], [y \sim y], [o \sim y]$.

I. Чередование $[и \sim и]$.

1) Сегменты $C'VC^{(o)} \sim C'VC^{(o)}$ в рамках многих корневых (основных) морфем, например: $св'ин'и \sim св'ин'а, б'ик \sim б'икб, кур'ити \sim кур'ита$.

2) Сегменты $C'VC^{(o)} \sim C'VC^{(o)}$ в рамках следующих аффиксальных морфем: а) во флексиях мн. ч. существительных и прилагательных ж. р. перед членной морфемой $[ти]$, например: $турб'ит'и, душ'ит'и \sim баб'ит'и, г'уш'ит'и; дубр'ит'и \sim мокр'ит'и$ и др.; б) в суффиксе $[ик] \sim [ик]$ существительных м. р., например: $вр'ьсн'ик, гуд'ен'ик \sim пл'емн'ик, курн'ик$ и др.; в) в суффиксе $[иц] \sim [иц]$ существительных ж. р., например: $ж'ел'т'иц, м'ьгьр'иц \sim св'еш'т'иц, г'угур'иц$ и др.; г) в суффиксе $[ичк] \sim [ичк]$ существительных ж. р., например: $л'ьж'ичк, кул'ичк \sim л'ел'ичк, мас'ичк$ и др.; д) в суффиксе $[ишт'/ихч'] \sim [ишт'/ихч']$ существительных ср. р., например: $у'гн'ишт'и/у'гн'ихч'и, л'ит'ишт'и \sim уч'ил'ишт'и/уч'ил'ихч'и, паз'в'ишт'и/пазв'ихч'и$ и др.; е) в морфологическом сегменте $[ишт'] \sim$

[иш'т], расширяющем основу в существительных м. р. мн. ч., например: *грѣд'иш'тъ, къл'ч'иш'тъ* ~ *дѣбр'иш'тъ, г'ул'иш'тъ, кѣр'иш'тъ* и др.

3) Сегменты $C'V\# \sim \text{--}C'V\#$ в рамках флексии мн. ч. существительных и прилагательных ж. р., например: *гльв'и, кус'и* ~ *крав'и, мас'и* и др., *дубр'и* ~ *мокр'и* и др.

4) Сегменты $\#VC^{(2)} \sim \text{--}\#VC^{(2)}$ в рамках префикса [из/ис] ~ [из/ис], например: *изгр'ѣф, избур, исхудь* ~ *измамь, изб'ѣра, изльж'ѣ* и др.

II. Чередование [ѣ ~ и].

1) Сегменты $C'VC^{(2)} \sim C'VC^{(2)}$ в рамках корневых (основных) морфем, например: *п'ѣт* ~ *п'ид'ис'ѣ, м'ѣт* ~ *м'идь, с'ѣм'и* ~ *с'им'ѣна, в'ѣту* ~ *ув'ит'алу, б'ихц'ѣннь* ~ *и'ина, н'ѣсѣф* ~ *н'ис'ѣ* и др.

2) Сегменты $C'VC^{(2)} \sim \text{--}C'VC^{(2)}$ в рамках следующих аффиксальных морфем: а) во флексии существительных ср. р. ед. ч. перед членной морфемой [ту], например: *н'уб'ѣту, мьз'ѣту* ~ *б'ѣб'иту, лоз'иту* и др.; б) во флексии существительных м. р. мн. ч. перед членной морфемой [т'и], например: *кун'ѣт'и, плудув'ѣт'и* ~ *сноп'ит'и, мьж'ит'и, стулов'ит'и* и др.; в) в суффиксе [ѣц] ~ [иц] существительных м. р., например: *льж'ѣц, льст'ѣц* ~ *турльч'ан'иц, пал'иц* и др.; г) в суффиксе прилагательных [ѣш'к'] ~ [иш'к'], например: *ч'ув'ѣш'к'и* ~ *пат'иш'к'и* и др.

3) Сегменты $C'V\# \sim \text{--}C'V\#$ в рамках следующих аффиксальных морфем: а) во флексии мн. ч. существительных м. р., например: *плудув'ѣ* ~ *стулов'и* и др.; б) во флексии ед. ч. существительных м. р., например: *мьз'ѣ, ч'уйр'ѣ* ~ *лоз'и, йѣр'и* и др.; в) в глагольной флексии 3 л. ед. наст., например: *дѣд'ѣ, къл'н'ѣ, п'ѣр'ѣ* ~ *дѣд'и, уж'ѣн'и, дѣсѣш'ѣр'и* и др.; г) во флексии числительных, например: *п'ид'ис'ѣ* ~ *тр'ийс'и* и др.

4) Сегменты $\#VC^{(2)} \sim \text{--}\#VC^{(2)}$ только в словоформах *ѣс'ѣн* ~ *ис'ѣнтѣ*.

III. Чередование [ѣ ~ ѣ].

1) Сегменты $CVC^{(2)} \sim CVC^{(2)}$ в рамках корневых (основных) морфем и реже – в рамках аффиксальных морфем, например: *дѣхч'ѣн* ~ *дѣска, зѣрну* ~ *зѣрна, зѣм'и* ~ *зѣм'а, ид'ицѣф* ~ *цѣфть, мѣх* ~ *мѣхѣт, сѣт* ~ *сѣдѣ* и др.; *нѣбудѣт* ~ *идѣт* и др.

2) Сегменты $C'VC^{(2)} \sim \text{--}CVC^{(2)}$ в словоформах *дубѣр* ~ *мокрѣ, х'итѣр*.

3) Сегменты $CV\# \sim \text{--}CV\#$ в рамках следующих аффиксальных морфем: а) в членной морфеме существительных м. р. ед. ч., например: *плѣтъ, кръгѣ* ~ *крѣсть, плугѣ* и др.; б) в членной морфеме существительных ж. р. ед. ч., например: *прул'ѣтъ* ~ *ж'инатѣ* и др.

IV. Чередование [а ~ ѣ].

1) Сегменты $CVC^{(2)} \sim CVC^{(2)}$ в границах корневых (основных)

| Сегмент | II (предударный слог) | I (ударный слог) | III (заударный слог) |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1) $C'VC^{(2)}$ | и, ѣ, а | и, ѣ, б, о, а | и, у, ѣ |
| 2) $CVC^{(2)}$ | – | у, б, о, а | –, у, б, а |
| 3) $C'V\#$ | и, ѣ, а | и, у, б, о, а | и, у, ѣ |
| 4) $CV\#$ | – | – | –, у, б, а |
| 5) $\#VC^{(2)}$ | и, ѣ, а | и, у, ѣ, б, о, а | – |

Условные обозначения:

- а) \longleftrightarrow – позиционное чередование
 б) \dashrightarrow – позиционное чередование с ограниченной сферой действия;
 в) \square – гласный, являющийся членом позиционного чередования

морфем, например: *мáс* ~ *мъстѣ*, *кáл* ~ *кълтѣ*, *пáк* ~ *прѣгѣ*, *лáкът* ~ *лъхтѣ*, *пáсьх* ~ *пъсье* и др.

2) Сегменты $CVC^{(1)} \sim CVC^{(2)}$ в рамках именной флексии ж. р. ед. ч. перед членной морфемой [ть], например: *ж'инáть*, *мумáть* ~ *руд'инѣть*, *йáмъть* и др.; *душ'лáть* ~ *с'еннѣлъть* и др.; *дубрáть* ~ *мокрѣть* и др.

3) Сегменты $CV\# \sim CVC\#$ в рамках следующих аффиксальных морфем: а) в глагольной флексии 1 л. ед. наст., например: *нѣбудá* ~ *идѣ* и др.; б) в именной флексии ж. р. ед. ч., например: *гльвá* ~ *зълвѣ* и др.; *св'итá* ~ *изм'утѣ*, *злá* ~ *к'ис'ель* и др.; *ут'иш'лá* ~ *убл'áкль* и др.

V. Чередование [y ~ y].

1) Сегменты $C'VC^{(1)} \sim C'VC^{(2)}$ в словоформах *л'ут* ~ *л'ут'уф*, *кл'укъ* ~ *пукл'укосѣ*, *кл'укáч'къ*.

2) Сегменты $CVC^{(1)} \sim CVC^{(2)}$ в рамках корневых (основных) морфем, например: *с'уч'е* ~ *суч'и*, *к'ум* ~ *кумѣ*, *т'урч'ен* ~ *турк'ин'е*, *м'ухъл* ~ *мухл'асѣ* и др.

3) Сегменты $\#VC^{(1)} \sim \#VC^{(2)}$ в словоформах *уч'е* ~ *уч'и*, *ум*, *ум'ен* ~ *умѣ*, *урнь* ~ *урнь'уйкъ*.

VI. Чередование [o ~ y].

1) Сегменты $C'VC^{(1)} \sim C'VC^{(2)}$ а) в рамках корневых морфем в следующих словоформах: *ш'оп* ~ *ш'убов'и*, *ч'ол'ес* ~ *ч'ул'естѣ*; б) в морфонологическом сегменте [ов'] ~ [ув'], расширяющем основу существительных м. р. в формах мн. ч., например: *куш'б'е'и*, *нуж'б'е'и*, *кл'уч'ув'и*, *ш'иш'ув'и*.

2) Сегменты $CVC^{(1)} \sim CVC^{(2)}$ в рамках корневых морфем, например: *п'от* ~ *путь*, *б'одѣх* ~ *будѣт*, *л'ой* ~ *луйтѣ* и др.

3) Сегменты $CVC^{(1)} \sim CVC^{(2)}$ в рамках именной флексии ср. р. ед. ч. перед членной морфемой [ту], например: *гн'ездоту* ~ *д'адуту*, *кр'илоту* ~ *с'елуту*; *р'иклоту* ~ *нп'исълуту* и др.

4) Сегменты $CV\# \sim CVC\#$ в рамках именной флексии ср. р. ед. ч., например: *п'исмо* ~ *раму* и др.; *душ'ло* ~ *искъпълу* и др.; *дубро* ~ *скълу* и др.

5) Сегменты $\#VC^{(1)} \sim \#VC^{(2)}$ в словоформах: *ог'ен* ~ *угн'иш'т'и*, *охч'у* ~ *уфца/фца* (чаще), *ос'ем* ~ *ус'емнайс'и*.

Перечисленные нами позиционные чередования между ударными и безударными гласными в кортенском говоре можно представить схематически следующим образом (см. табл. 4).

Приведенные факты, безусловно, по-новому освещают проблему редукции гласных. Выявив все позиционные вокальные чередования в кортенском говоре и распределив их не только по фонетическим позициям (сегментам), но и по морфемам, мы можем

внести определенные коррективы в традиционное представление о редукции гласных в болгарском языке в синхронном плане как о чисто фонетическом явлении. К выводу о том, что на современном синхронном срезе существующая в юго-восточных говорах редукция гласных не обусловлена уже одними лишь фонетическими причинами, подводит факт наличия позиционных чередований, основанных на "вертикальном" и "горизонтальном" типах редукции, в пределах одной вокальной системы и строгое разграничение между ними сферы действия, а также прикрепленность членов позиционного чередования к вполне определенным лексическим (корневым) и аффиксальным морфемам.

Важно при этом подчеркнуть, что в тех болгарских диалектах, вокальные системы которых на первый взгляд совпадают с вокальной системой кортенского говора, так как все они обладают одинаковым инвентарем звуковых единиц и характеризуются сосуществованием "вертикального" и "горизонтального" типов редукции, — отмечается иное, чем в кортенском говоре, распределение членов позиционного чередования по морфемам (например, в кортенском говоре: *д'ен* ~ *д'инѣ*, *цв'ет* ~ *цв'ит'а*, *мъз'е* ~ *лоз'и*, *турб'и* ~ *баб'и*, *хрѣбр'ец* ~ *пáл'иц*, *гуд'ен'иц* ~ *пун'д'ел'н'иц*, *пул'етѣ* ~ *кут'л'етѣ*, *фч'ер'* ~ *фч'ер'á*, *с'елу* ~ *с'елá*, *дубр'е* ~ *утр'е* и т. д.; в сливенском говоре, по данным Ив. Кочева: *шурáп'ъ*, *врáтн'ък*, *шрѣшн'ък*, *ръздрунд'ъл* и др.⁸), и именно этот факт в значительной степени обуславливает индивидуальность и специфичность системы вокализма в каждом отдельно взятом диалекте.

Наличие подобных разновидностей в реализации позиционных чередований гласных в отдельных юго-восточных болгарских диалектах также свидетельствует о том, что в данных диалектах, по-видимому, ни тот, ни другой типы редукции в синхронном плане уже нельзя отнести без оговорок в разряд чисто фонетических явлений, имеющих всеобщий характер и действующих с безысключительной закономерностью. Эту же мысль справедливо подчеркивает и Ив. Кочев, который, анализируя словоформы с наличием "горизонтальной" редукции, также отмечает ее "суффиксальный" характер и не включает в число фонетических явлений⁹.

Примечания:

1. См., например, описание отдельных разновидностей данного типа редукции в следующих работах: Попова Т. В. К характеристике взаимодействия между системами вокализма и консонантизма. — Сов. славяноведение, 1966, № 5. Кочев Ив. Фонологичната система на сливенския о-говор. — Въпроси на структурата на съвременния български език. София, 1975.

2. Попова Т. В. Указ. соч.

3. Кочев Ив. Темброва характеристика на източнобългарската редукция.- Български език, год. XXXIII (1983), кн. 4.

4. Этот говор обследован по программе БДА в 1958 г. (картотека № 3147); его фонетическая система описана в коллективной монографии: Калнынь Л. Э., Кочев И. Ю., Попова Т. В. Опыт сопоставительного описания исконного и переселенческого болгарских диалектов. Фонологический уровень (рукопись подготовлена к печати).

5. Отметим при этом, что исследование позиционных фонетических чередований гласных требует привлечения данных как фонетического уровня (синтагматика гласных), так и грамматического (учет морфемной членности текста и процедура отождествления морфем).

6. Позиционные чередования между ударными и безударными гласными, входящими в состав не корневых, а однозначных аффиксальных морфем, можно установить путем сопоставления ударных и безударных гласных, находящихся в одном и том же фонетическом сегменте (например, в сегменте *CV#*) и реализующих одну и ту же аффиксальную морфему (например, членную морфему м. р. ед. ч.). Ср. словоформы *с'инь* и *ув'ень*, в которых гласные [ѣ] и [ь] представляют членную морфему существительных м. р. ед. ч. в словоформах с разными контурами ударения.

7. См. подробнее в статье: Попова Т. В. О некоторых особенностях образования членных форм мн. числа существительных ср. рода типа пале, момче в болгарских диалектах (в печати).

8. Кочев Ив. Темброва характеристика..., с. 297-299.

9. Кочев Ив. Темброва характеристика..., с. 299.

МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЛУЦѢ – ЛУЧИНЬ И ЛУКѢ – ЛУКИНЬ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

А. А. Зализняк

В книге С. Б. Бернштейна "Очерк сравнительной грамматики славянских языков (Чередования, именные основы)" (Бернштейн 1974) в числе прочих подробно проанализированы типы чередований в а-склонении, представленные в каждом из славянских языков (§ 16), и чередования, наблюдаемые при образовании притяжательных прилагательных (§ 19). Это дает нам возможность, опираясь в первую очередь непосредственно на эту книгу (и в ряде случаев даже прямо заимствуя из нее примеры), сравнить морфонологическую ситуацию в указанных двух звеньях морфологической системы внутри каждого из славянских языков. Из притяжательных прилагательных здесь будут рассматриваться только прилагательные с суффиксом *-in-*, т. е. те, которые в нормальном случае образуются именно от слов а-склонения.

Непосредственным объектом разбора являются основы на *k*, *g*, *x*, т. е. нас будет интересовать наличие или отсутствие результатов второй палатализации в Д. ед. и М. ед. от слов типа *roka*, *noqa*, *tixa* и наличие или отсутствие результатов первой палатализации в притяжательных прилагательных с *-in-* от этого же типа слов.

Рассматривая современные славянские языки (и в качестве дополнения также старославянский), мы обнаруживаем, что с интересующей нас точки зрения они распадаются на четыре группы.

1. Языки, где в обоих изучаемых звеньях морфологической системы представлены регулярные чередования; это соотношение можно условно обозначить как морфонологическую модель *ЛуцѢ – Лучинь*.

Старославянский: 1) при склонении здесь регулярно выступают чередования типа *рѣка – рѣцѣ*, *нога – ногѣ*, *пазоуха – пазоуцѣ*; 2) у притяжательных прилагательных представлено соотношение *Лоука – Лоучинь*.

Украинский: 1) *рука – руці*, *нога – нозі*, *муха – мусі* и т. д. вполне регулярно; 2) *жінка – жінчин*, *дочка – доччин*, *Лука – Лучин*,

Ольга – Ольжин, мачуха – мачушин, сваха – свашин и т. д., тоже вполне регулярно.

Чешский: 1) *ruka* – *ruce*, *noha* – *noze*, *moucha* – *mouše* и т. д. вполне регулярно; 2) *matka* – *matčin*, *divka* – *divčín*, *Olga* – *Olžín*, *macecha* – *macešín*, *snacha* – *snašín* и т. д., тоже регулярно.

Верхнелужицкий: 1) *ruka* – *ruce*, *noha* – *noze*, *třěcha* – *třěže* и т. д. регулярно; 2) *džowka* – *džowcynu*, *Hanka* – *Hancynu* и т. д.; особенность здесь в том, что в притяжательных прилагательных представлен эффект не первой, а второй палатализации: это явно результат выравнивания по словоформам Д. ед., М. ед., И. В. дв. (*džowce*, *Hance* и т. д.).

Польский: 1) *reka* – *rece*, *noга* – *nodze*, *mucha* – *musze* и т. д. регулярно; 2) *matka* – *matczyn*, *babka* – *babczyn*, *Zośka* – *Zośczyn*, *masocha* – *masoczyn* и др. (правда, в литературном языке такие притяжательные прилагательные употребляются лишь весьма ограниченно; но в разговорной речи и в говорах они представлены существенно шире). Отметим, что в разговорной речи встречаются (хотя и редко) притяжательные прилагательные с *dz* (от основ с *g*), например, *Jadwidzyn* (от *Jadwiga*); ср. выше о верхнелужицком.

II. Языки, где в обоих изучаемых звеньях морфологической системы чередования отсутствуют; условное обозначение – морфонологическая модель Лукъ – Лукинь.

Русский: 1) *рука* – *рукé*, *нога* – *ногé*, *стреха* – *стрехé* и т. д. абсолютно регулярно; 2) *бабкин*, *тёткин*, *дедушкин*, *Васькин*, *Ольгин*, *мачехин*, *сукин* и т. д., также фамилии типа *Лукин*, *Собакин*, *Ногин*, *Кулагин*, *Мухин*, *Блохин* – с той же регулярностью.

Словацкий: 1) *ruka* – *ruke*, *noha* – *nohe*, *socha* – *soche* и т. д. регулярно; 2) *matka* – *matkin*, *učitel'ka* – *učitel'kin*, *Anička* – *Aničkin* и т. д.

Словенский: 1) *rōka* – *rōki*, *nōga* – *nōgi*, *mūha* – *mūhi* и т. д. регулярно; 2) *máčka* – *máčkin*, *ščúka* – *ščúkin*, *máčeha* – *máčehin* и т. д.

III. Языки с колебаниями в обоих интересующих нас пунктах (т. е. находящиеся в состоянии перехода от модели Луцъ – Лучинь к модели Лукъ – Лукинь.

Белорусский: *рука* – *руцэ*, *нага* – *назэ*, *страха* – *страсэ* и т. д.; в литературном языке эти чередования вполне регулярны, однако в говорах (причем не только пограничных с русским языком) значительное распространение имеет также модель без чередования; см. об этом Бернштейн 1974, с. 27; 2) литературной нормой является наличие чередования: *ба́бка* – *бабчын*, *ма́тка* – *ма́тчын*, *дачка* – *даччын*, *руса́лка* – *руса́лчын*, *Зо́ська* – *Зо́сьчын*, *ста́растiха* – *ста́растiшын*, *купчы́ха* – *купчы́шын* и т. д.; однако встречаются также (и могут проникать даже в художественную литературу) и прилагательные без чередования, например, *мы́шкин*, *галуб́кин*, *Зоськiн*, *санiтарыхiн*. Образование притяжательных прилагатель-

ных от основ на *g* (скажем, *Ядвiга*, *Вольга*) вызывает затруднение; в принципе возможны *Ядвiзiн*, *Вользiн* и т. п. (с *z* вместо исторически закономерного *ж*, ср. выше о польском), но также и, например, *Ядвiгiн*.

Сербохорватский: 1) литературная норма в принципе требует для имен а-склонения чередований *k* : *ц*, *g* : *з*, *x* : *с*, однако от этого правила имеется значительное число отступлений (в частности, для личных имен, ласкательных и др.); что же касается говоров, то в большинстве из них чередования в этом звене морфологической системы вообще устранены; см. об этом Бернштейн 1974, с. 70–71; 2) имеются отдельные случаи чередования: *владика* – *владичин*, *ма́йка* – *ма́йчин* (наряду с *ма́йкин*); обычно же чередований нет: *тёткин*, *Лу́кин*, *а́гин*, *слуги́н*, *сна́хин* и т. д.

IV. Языки, где из интересующих нас звеньев морфологической системы сохранилось только второе (поскольку исчезло склонение).

Таковы болгарский и македонский. В болгарском чередования типа *майка* – *майчин* сохранились лишь пережиточно в составе определенных словосочетаний; нормой является отсутствие чередований, ср. *теткин*, *какин*, *Иванкин*, *Радкин*, *Драгин* и т. п. В македонском чередований практически нет.

Сравнивая эти четыре группы языков, легко установить общую закономерность: при образовании притяжательных прилагательных с *-in*-чередования сохраняются там, где сохранены чередования в а-склонении, и устраняются там, где таких чередований нет или где утрачено и само склонение имен как таковое.

Причина такой взаимосвязи очевидным образом состоит в том, что, как показал уже Н. С. Трубецкой (Трубецкой 1937), в древних славянских языках притяжательные прилагательные фактически входили в словоизменительную парадигму существительного – это был своего рода “согласуемый генетив” (а прилагательные с *-in*-соотносились, как известно, именно с а-склонением).

В парадигме типа *Лука*, *Луки*, *Лукъ*, ..., где чередований нет, “согласуемый генетив” *Лучинь* оказывается единственным отклонением от принципа постоянства основы; тем самым создается сильный стимул к устранению чередования. Напротив, в парадигме типа *Лука*, *Луки*, *Луцъ*, ..., где уже имеется чередование, еще одна ступень чередования, представленная в *Лучинь*, качественно уже ничего не меняет: перед нами парадигма с чередованиями. В этом случае либо просто сохраняется первоначальная схема чередований, либо происходит упрощение трехчленного ряда *Лука* – *Луцъ* – *Лучинь* до двучленного *Лука* – *Луцъ*, *Лучинь*; последняя возможность реализована в лужицком, в ограниченной степени может реализоваться также в польском и белорусском.

Чтобы непосредственно увидеть, насколько теснее, чем обычные производные, "согласуемый генетив" связан с исходным словом, достаточно сравнить, например, русские притяжательные прилагательные *тёткин, снох́ин, Ольгин* и т. п. (или исторически тождественные им фамилии типа *Мухин, Блох́ин, Соба́кин, Иволгин*) с обычными прилагательными на *-ин-ый*, например, *муш́иный, блош́иный, кабарж́иный*. Так, скажем, *блох́ин* (или *Блох́ин*) и *блош́иный* явно восходят к одной и той же древней основе *bľš-in-*, и даже разница их значений представляется на первый взгляд не слишком большой. Однако она достаточна для того, чтобы первое прилагательное примкнуло к словоизменительной парадигме слова *блоха́* и переняло от него *x* в основе (*блох́ин*), тогда как второе (*блош́иный*) сохранило древний фонемный облик и не обнаруживает никакой тенденции к превращению в *блох́иный*.

Разную морфологическую эволюцию исходного *bľš-in-* и *блох́ин* и *блошиный* можно сравнить, например, с разной эволюцией исходных *ľst-, mьst-, kopt-*, с одной стороны, в Р. Д. М. ед. *лѣсти, мѣсти, ко́поту*, с другой стороны, в производных глаголах *лѣстить, мстить, копт́ить*. Как и в случае с *блош́иный*, именно производные (*лѣстить, мстить, копт́ить*) сохраняют исторически закономерный фонемный состав, тогда как члены словоизменительной парадигмы (*лѣсти, мѣсти, ко́поту*) выровнялись по остальной части парадигмы (*лѣсть, лѣстью, мѣсть, мѣстью, копоть, ко́потью*). Это сравнение еще раз свидетельствует о том, что притяжательные прилагательные типа *блох́ин* вели себя именно как члены словоизменительной парадигмы.

Заметим, что в истории русского языка и в современном языке известны и другие примеры частичного выравнивания притяжательных прилагательных на *-ин-ъ* по словоформам исходного существительного, в особенности по словоформе Р. ед. Приведем лишь немногие из таких примеров. В рядной Тешаты с Якимом конца XIII в. фигурирует Домославъ *Вѣкошкынъ*. В "Слове о полку Игореве" находим *Ярославнынъ глазь*. В современном просторечии встречаются словоформы типа *Ирын* (вместо *Ирин*). В деулинском говоре (Рязанская область), где в Р. ед. возможны формы типа *у жан'е, у с'уистр'е*, отмечены, в частности, такие притяжательные прилагательные, как *жан'ен' женин', снах'ен' снохин'*.

Принимая во внимание установленную выше морфологическую закономерность, связывающую чередования в а-склонении и в образовании притяжательных прилагательных, обратимся к древнерусскому материалу.

Для Юго-Западной Руси, учитывая данные современных украинского и белорусского языков, естественно ожидать модели *Луцѣ* —

Лучинь, и, действительно, весь имеющийся материал вполне соответствует этому ожиданию; ср., в частности, *Ольжинь, Лучинь* — названия городов в Юго-Западной Руси, *Днѣчинь* в записи о покупке Бояновой земли (XII в.) на стене киевского Софийского собора и др. Здесь нет необходимости останавливаться на этом более подробно.

Совершенно иная картина выявляется в диалекте древнего Новгорода (точнее, в древненовгородском койне, в основу которого легли севернокривичские говоры, см. Зализняк 1988). Берестяные грамоты XI–XIII вв. вообще не обнаруживают, если не считать некоторых церковно-книжных формул типа *господи помози, цѣблю тѣ* и т. п., эффекта второй палатализации заднеязычных, даже в корнях (см. Лингв., § 25–31). В частности, в а-склонении мы находим здесь в Д. М. ед. (равно как и во всех прочих формах, где в древненовгородском диалекте окончанием было *-ѣ* — И. В. дв., Р. ед., И. В. мн.) только такие примеры, как на *Лоугѣ, къ тетѣке, къ Лоукѣ, къ Коулотѣкъ, ко Жирошѣкъ, ко Оуике, на тѣске, на Местѣтке*. Такая же картина и в более поздних берестяных грамотах (XIV–XV вв.); *цѣ* в Д. ед. встретилось здесь только один раз — в церковном термине *владыцѣ 'архиепископу'* (грамота № 244, XV в.). Между тем в новгородских летописях и пергаменных грамотах примеры типа *по Лоугѣ, на Богани оулкѣ, на Борѣке* встречаются лишь изредка; нормой здесь являются написания типа *по Волзѣ, въ Ладозѣ, на рѣцѣ*. Данные берестяных грамот ясно показывают, однако, что живую новгородскую речь отражают именно написания типа *по Лоугѣ*, тогда как написания с *ц, з*, с определяются просто книжной нормой (см. об этом также Глускина 1968).

Для притяжательных прилагательных на *-ин-ъ* данные по раннему периоду таковы: XI в. — *оу Ньжатькины* в берестяной грамоте № 13 из Старой Руссы (и после к переправлено из *ы*); XI/XII вв. — *Нинькиничь* в надписи на стене новгородского Софийского собора (Медынцева 1978, № 47); XII и нач. XIII в. — *Сьмькинц(а)* в новгородской берестяной грамоте № 710, *Коростокине* в № 663, *Хроушкн-* в № 332, *Ѳедокино* в № 599 (2 раза), *Настокине, Недѣлкекине* (две надписи на шиферных пряслицах). Ни одного примера с эффектом первой палатализации в берестяных грамотах не отмечено. Показания летописи и пергаменных грамот в данном случае уже не расходятся с берестяными грамотами. Так, в частности, в Синодальном списке [Новгородской летописи в первых двух почерках (охватывающих события до 1234 г.)] встретились (в разных формах) прилагательные *госпожькинъ, Лоукинъ, Савѣкинъ, Жирошкинъ, Мирошкинъ*, отчества *Сьбышкиничь, Дѣгиничь, Мирошкиничь, Тимошкиничь, Блудкиничь, Синкиничь*; надежных примеров

модели *Лучинь* не встретилось вообще (об особом случае, который составляют написания типа *Доброщиничь*, см. Лингв., § 30). Та же картина представлена и в более поздних берестяных грамотах и пергаменных документах. Согласие в этом вопросе между пергаменными и берестяными документами следует объяснить тем, что книжной нормой данный пункт морфонологической системы никак специально не регламентировался.

Модели *Лукинъ* следуют также известные по старым источникам новгородские и псковские топонимы, например: *Григино*, *Илеикино*, *Куземкино*, *Ольгино*, *Бѣлкино*, *Владыкино*, *Вѣхино*, *Кочергино*, *Кошкинь городокъ*, *Мачехино*, *Ригина гора*, *Сорокино*, *Шугино* и т. п. (число их чрезвычайно велико).

Таким образом, в древненовгородском диалекте несомненно была представлена морфонологическая модель *Лукъ* – *Лукинъ*. Специально отметим, что устранение эффекта первой палатализации в прилагательных на *-инъ* произошло здесь чрезвычайно рано, по-видимому, еще в дописьменный период: даже в самых ранних берестяных грамотах модели *Лучинь* уже не обнаруживается. Эта картина хорошо соответствует тому обстоятельству, что чередование типа *Лука* – *Лукъ* в данном диалекте отсутствовало не в силу вторичного выравнивания (осуществление которого всё же требовало бы какого-то времени), а просто потому, что оно здесь вообще не сформировалось. С фонологической точки зрения, возможность замены *Лучинь*, *Ольжинь*, *мачешинь* и т. п. на *Лукинъ*, *Ольгинъ*, *мачехинъ* обеспечивалась существованием в этом диалекте сочетаний *ки*, *ги*, *хи* (а также *кѣ*, *гѣ*, *хѣ*), поскольку такие сочетания не подверглись здесь второй палатализации; ср. иное положение в других древних славянских диалектах, где сочетания *ки*, *ги* возникали заново лишь в силу более позднего перехода *ы* в *и* (во всех позициях или хотя бы в позиции после *к*, *г*).

Более трудную проблему составляет ситуация в Ростово-Суздальской земле (и шире – во всей неновгородской части будущей великорусской территории). Материала, аналогичного берестяным грамотам, для этой территории нет, и даже пергаменные грамоты, дошедшие до нас, относятся к сравнительно позднему времени (начиная с XIV в.).

Летописи и пергаменные грамоты XIV–XV вв., написанные на этой территории, в отношении второй палатализации дают примерно такую же картину, как и писанные в Новгороде: в корнях *цѣ* (и т. д.), на стыке основы и окончания иногда *цѣ*, иногда *кѣ*. Мы уже знаем, однако, на примере новгородских пергаменных источников, сколь обманчивы могут быть эти показания. Поэтому вопрос о том, осуществилась ли вторая палатализация в неновгородской части

будущей великорусской территории, на основании этих источников надежно решен быть не может. В самом деле, сосуществование в московских грамотах XIV в. примеров типа *на Пруженкѣ* и типа *по згадцѣ* может быть с равным успехом истолковано как отражение: а) совершенно такой же ситуации, как в Новгороде; б) конкуренции старой модели с *цѣ*, существовавшей здесь, в отличие от Новгорода, также и в живой речи, и вытесняющей ее новой модели с *кѣ*.

Правда, наличие в современном русском языке *ц*, *з*, *с* в корнях (*цел-*, *звезд-*, *сер-* и т. д.) ясно говорит о том, что в неновгородской зоне будущей великорусской территории (или хотя бы на ее части) вторая палатализация в корне осуществилась. Однако вопрос о позиции на стыке основы и окончания этим еще полностью не решается: например, для Ростово-Суздальской земли XIII–XIV вв. в принципе можно было бы предполагать: а) ситуацию типа современной русской, словацкой или словенской; б) ситуацию типа современной сербохорватской, т. е. переходную (ситуацию типа современной украинской в данном случае предполагать невозможно, поскольку тогда были бы необъяснимы такие примеры, как *на Пруженкѣ*).

Для решения вопроса чрезвычайно ценными оказываются данные по притяжательным прилагательным на *-инъ*. В Ростово-Суздальской земле в отчествах и топонимах мы находим три морфонологических модели таких прилагательных: *Лукинъ* (как в Новгороде), *Лучинъ* (как в Юго-Западной Руси), а также особую модель *Луцинъ* (т. е. такую же, как, например, в верхнелужицком).

Наиболее обычна модель *Лукинъ*: *Губкино*, *Ерюхино*, *Ивакино*, *Кольчугино*, *Лукино*, *Щукино* и т. п. Модели *Лучинъ* и *Луцинъ* встречаются существенно реже. Приведем некоторые наиболее надежные примеры: село *Луцинское* близ Москвы (ДДГ, с. 8, 9, 34, 358), оно же в других (а иногда и в тех же самых) грамотах называется *Лучинское* (ДДГ, с. 16, 19, 40, 74, 76, 78, 354 и др); отчество (или фамилия) *Луцинъ* (2 раза – в Переяславском и в Ростовском уездах, АСЭИ, т. 1, № 162, 190), ср. также существующее ныне село *Луцино* под Звенигородом; *Дубацино*, *Дубацинское* (в Звенигородском уезде, АСЭИ, т. 3, № 53, 53а, 60; ср. *Дубакино* в Дмитровском и Стародубском уездах, ДДГ, с. 403, 424); *Алабузино* (ДДГ, с. 87), в той же грамоте оно называется также *Алабугино*; *Дерюзино* (в Переяславском уезде, АСЭИ, т. 1, № 46, 353, 560), оно же в других грамотах называется *Дерюгино* (АСЭИ, т. 1, № 354, 355); *Веризино* (близ Владимира и близ Калязина, АСЭИ, т. 3, № 92, 135; ср. *Веригино* в Можайском уезде, ДДГ, с. 396); город *Колязинъ* (ДДГ, с. 352, 372, 424 – по-видимому, связано с диалектным *каляга*, *коляга*; ср.

Колягино в Новгородской земле, НПК, I, 27, 42). Несколько менее надежны примеры типа Семциньское (оно же Семчиньское, ДДГ, с. 7, 9, 16, 18, 176, 194 и др.), Бѣлциньское (ДДГ, с. 16, 18), Дядцино (АСЭИ, т. 2, № 266, 307), поскольку здесь всё же нельзя исключать производящую основу на *ц* (а не на *к*). В дополнение к этому списку отметим еще притяжательное прилагательное Олъзинь в Лаврентьевском списке летописи (см. Соболевский 1907, с. 146).

Как показывает сравнение с другими славянскими языками, приведенный здесь материал по модели Луцинь (а также Лучинь) может служить косвенным свидетельством того, что в эпоху написания дошедших до нас грамот (XIV–XV вв.) или ненамного более раннюю на Ростово-Суздальской территории, в отличие от новгородской (или, точнее, от севернокривичской), еще существовали чередования типа Лука – Луцѣ. Но они, конечно, уже не были регулярными: о начавшемся процессе их утраты говорит значительное распространение модели Лукинъ на этой же территории.

Таким образом, установление морфонологической закономерности, общей для всего славянского мира, оказывается важным инструментом исследования конкретного славянского языка.

Сокращения

АСЭИ – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1952–1964, т. 1–3. **Бернштейн 1974** – Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования, именные основы. М., 1974. **Глускина 1968** – Глускина С. М. О второй палатализации заднеязычных согласных в русском языке (на материале северо-западных говоров). – В кн.: Псковские говоры. Псков, 1968, т. II. **ДДГ** – Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. **Зализняк 1988** – Зализняк А. А. Древненовгородское койне. – Балтославянские исследования 1986. М., 1988. **Лингв.** – Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения. – В кн.: Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 годов). М., 1986. **Медынцева 1978** – Медынцова А. А. Древнерусские надписи новгородского Софийского собора XI–XIV века. М., 1978. **НПК** – Новгородские писцовые книги. Т. I–VI и указатель. СПб., Пг., 1859–1915. **Соболевский 1907** – Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. М., 1907. **Трубецкой 1937** – Трубецкой Н. С. О притяжательных прилагательных (*possessiva*) в старославянском языке. – В кн.: Сборник у част А. Белића. Београд, 1937 (перепечатано в кн.: Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987).

О ПОНЯТИИ "МОРФОНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ"

С. М. Толстая

Понятие позиции широко используется в морфонологических описаниях, но в теоретическом отношении оно остается недостаточно ясным¹. Хотя это понятие применимо к языковым единицам любого уровня (фонологии, морфологии, словообразования, синтаксиса), в морфонологии оно обычно считается заимствованным из фонологии и истолковывается сквозь призму фонологической позиции. Так, по аналогии с фонологией говорят о сильных и слабых морфонологических позициях, о позиционном распределении морфов, о позиционной обусловленности морфонологических чередований и т. п. Это объясняется не столько внутренней связью двух дисциплин и их объектов, сколько более детальной теоретической разработанностью понятия позиции в фонологии.

Очевидно, что применительно к каждому языковому уровню содержание понятия "позиция" соответствующим образом трансформируется и конкретизируется, но его логический смысл во всех случаях остается неизменным. Позиция – понятие принципиально синтагматическое, определяющее сочетаемость некоторой единицы с другими единицами того же уровня (фонемы с фонемами, морфемы с морфемами, словоформы со словоформами) в составе единиц следующего, более высокого уровня (фонем в составе морфем, морфем в составе слов и т. д.). Вместе с тем оно предполагает парадигматическую вариативность единиц, т. е. наличие алло-единиц, репрезентирующих данную единицу в разных контекстах (наличие аллофонов у фонем, алломорфов у морфем, словоформ у слова). Роль позиции состоит в том, что она предписывает появление одной из парадигматических вариативных форм (актуализирует ее) и исключает появление других. При этом позиция диктует свои условия не индивидуальным единицам, а целым классам единиц, однородным в отношении какого-нибудь релевантного признака (напр., всем шипящим фонемам или всем морфам с конечным заднеязычным согласным).

Все исследователи согласны в том, что морфонологическая позиция отличается от фонологической большей сложностью, т. е. большим числом релевантных признаков, относящихся как к фо-

нологическому составу, так и к грамматическим функциям морфем. Напр., фонологическая позиция перед гласным [i] допускает и твердые, и мягкие согласные (*пусты* и *пусты*, *суды* и *суды*), тогда как характеристика морфонологической позиции перед {i} зависит от того, к какой морфеме относится этот гласный. Перед {i} – субстантивной флексией Род. ед. или Им. мн. возможны как твердые, так и мягкие согласные (*Риты* и *Кату*, *углы* и *углы*), а перед {i} – глагольной морфемой (аффиксом императива, тематической гласной, личными флексиями 2. спряжения) возможны только мягкие согласные (ср. *сиди*, *неси*, *вези*; *крутит*, *гудит*, *возит*; *ходить*, *просить* и т. д.).

В трактовке морфонологической позиции разными исследователями отражаются различия в общем подходе к морфонологическому описанию и прежде всего различие между реляционным (дескриптивно-дистрибутивным, статическим) и операционным (порождающим, предсказывающим, динамическим) подходам. В описаниях дескриптивно-дистрибутивного типа позиция понимается как контекст, окружение, в котором выступает та или иная единица (класс единиц). В описаниях операционного (порождающего) типа позиция понимается как модель (механизм) выбора окружения и преобразования (модификации) единицы в соответствии с выбранным окружением.

Дистрибутивная позиция имеет дело с единицами одноплановыми, принадлежащими одному уровню мотивации, а именно – “мотивированному контексту”, т. е. мотивированной (производной) единице более высокого уровня (производному слову или “производной”, т. е. уже готовой словоформе), в которой выбор и взаимоприспособление единиц низшего уровня (морфем) уже совершилось. Напр., дистрибутивный анализ словоформ *хожу* и *ходит* устанавливает в позиции перед флексией 1. ед. наст. {u} наличие морфа {xož}, а в позиции перед флексией 3. ед. наст. {it} морфа {hod}. Такая позиция лишь “констатирует” наличие или отсутствие определенных единиц или классов единиц, но она не определяет отношений зависимости между ними. Дистрибутивная позиция ненаправленна, выступающие в ней единицы равноправны.

Операционная позиция имеет дело с единицами разных уровней мотивации – один ее член принадлежит мотивированному контексту (производному слову, словоформе), другой – мотивирующему контексту (производящему слову и словоформе). Эти единицы неравноправны – одна из них определяет, обуславливает выбор или модификацию другой; одна является активным членом, “субъектом” позиции, вызывающим, диктующим поведение другой,

а другая – пассивным членом, “объектом” позиции, испытывающим действие “субъекта”. В рамках операционной модели взятые для примера словоформы *хожу*, *ходит* должны быть представлены как дериваты (словоизменительные) от некоторой исходной (мотивирующей, производящей) формы, в данном случае от общей глагольной основы {xod'i}, имеющей перед вокалическими и неприкрытыми аффиксами вид {xod'}. Форма *хожу* должна быть записана в этом случае как {xod'} + {u}, а *ходит* – как {xod'} + {it}, где аффиксальные морфы {u} и {it}, принадлежащие мотивированному, производному контексту, являются активным членом, “субъектом” позиции, а морф глагольной основы (корня), принадлежащий мотивирующему, производящему контексту, – пассивным членом, “объектом” позиции. Механизм действия позиции заключается в том, что активный член (аффикс) воздействует на пассивный член, вызывая в нем в одном случае (перед {u}) чередование d' – ž (*хожу*), в другом – оставляя основу без изменения (*ходит*). В обоих случаях в результате действия позиции морф, принадлежащий мотивирующему контексту {xod'}, преобразуется в морф, принадлежащий мотивированному контексту, в данном случае словоформе ({xož}, {hod'}).

Различение дистрибутивной и операционной морфонологической позиции аналогично различению сигнификативной и перцептивной позиции в концепции Московской фонологической школы. Первый тип позиции (дистрибутивный, сигнификативный) характеризуется тем, какие единицы или классы единиц (морфем, фонем) допустимы (реально встречаются) в данной позиции и какие – недопустимы (не встречаются); второй тип (операционный, перцептивный) – тем, как модифицируется (или остается без изменения) морфема или фонема, попадая в данную позицию (при этом предполагается, что модифицируемая единица имела какой-то иной, исходный вид). Соответственно сильной позицией в первом случае (дистрибутивной и сигнификативной позиции) оказывается позиция максимального различения и наименьших ограничений (по тому или иному признаку), а слабой – позиция неразличения, ограничивающая (запрещающая) употребление тех или иных видов морфем или фонем. Во втором случае (операционной и перцептивной позиции) сильной позицией должна быть признана та, которая диктует, предписывает определенные модификации морфем или фонем, а слабой – та, которая оставляет их неизменными². Отсюда как будто следует, что позиция дистрибутивно (сигнификативно) сильная должна быть операционно (перцептивно) слабой, а дистрибутивно (сигнификативно) слабая – операционно (перцептивно) сильной, ибо дистрибутивная (сигнификативная) позиция является

продуктом (результатом, эффектом) действия операционной (перцептивной) позиции. В действительности отношения между ними значительно сложнее и не одинаковы для фонологии и морфонологии.

В фонологии считается, что сигнификативная слабость позиции "порождает" перцептивно сильную позицию, напр. что слабость позиции конца слова для признака глухости-звонкости согласных (их неразличение, отсутствие звонких) вызывает модификацию фонем (автоматическую замену звонкого на глухой или выбор глухого аллофона звонкой фонемы). В морфонологии, наоборот, дистрибутивно слабая позиция считается продуктом, результатом действия операционно сильной позиции. Напр. если операционная позиция требует смягчения твердых согласных (является сильной), то соответствующая (порожденная ею) дистрибутивная позиция будет исключать твердые согласные (является слабой). Однако дистрибутивная и операционная позиции (подобно сигнификативной и перцептивной) могут быть неизоморфными и не зеркальными. За одной дистрибутивной позицией могут стоять несколько породивших ее операционных позиций. Так, позиция перед суффиксом {ak} является дистрибутивно сильной, допускающей и твердые, и мягкие согласные, ср. *простак*, но *остряк*. Ей соответствует три различных операционных позиции: 1) сохраняющая неизменным как твердый, так и мягкий согласный производящей основы (*простой простак*, *синий – синяк*), 2) смягчающая твердый согласный (*пустой – пустяк*, *бедный – бедняк*), 3) вызывающая отвердение мягкого согласного (*пять – пятак*). Позиция перед глагольной флексией 1. ед. наст. {u} является дистрибутивно сильной по признаку морфонологической палатальности, ибо в ней допустимы (встречаются) как твердые (*беру*, *берегу*, *мету*, *веду*, *несу*, *скребу*, *крикну* и т. д.), так и мягкие (*колю*, *мелю*, *гоню*, *борюсь*) и йотированные (*дремлю*, *пишу*, *скачу*, *хожу* и т. д.). На операционном уровне эта позиция "расщепляется" на две автономных позиции, одна из которых операционно сильная, т. е. требует преобразования (чередования) корневой морфемы, а другая – слабая, не требующая чередований. Операционно слабой эта позиция является для глаголов так называемого атематического (консонантного) типа и глаголов на -ти (при этом дистрибутивно для данных глаголов эта позиция также слабая, т. к. в ней представлены только твердые согласные), а сильной – для всех остальных глаголов (соответствующая дистрибутивная позиция и здесь слабая, т. к. твердые согласные в ней невозможны).

Обсуждаемые здесь два принципиально различных подхода – реляционный и операционный (применяемые не только в морфо-

логии, ср. в словообразовании различие между тем, "как сделаны слова", и тем, "как делятся слова") нередко отождествляют с оппозицией "поверхностный" (подход, представление) – "глубинный" (подход, представление). Действительно, объектом реляционного (дистрибутивного, ненаправленного) описания обычно являются "поверхностные" единицы морфонологии – морфы (алломорфы) в их фонемном представлении, а объектом операционного (порождающего, направленного) – "глубинные" единицы (морфемы в их морфонемном представлении), которые преобразуются в "поверхностные" единицы (морфема → морф). Однако эти оппозиции нетождественны. Дистрибутивный подход вполне применим и к единицам глубинного уровня – морфемам, если их распределение не зависит от фонологических признаков морфем (Е. А. Земская говорит в таком случае не о морфонологической, а о грамматической позиции). С другой стороны, операционная модель может устанавливать отношение деривации не только между морфемой и морфом (соответственно морфонемой и фонемой), но и между двумя морфемами – производящим и производным (мотивирующим и мотивированным), каждый из которых обусловлен своей позицией. По отношению к поверхностной модели {хоџ-u} операционная модель {ход'-u} оказывается глубинным представлением, ибо основной морф {ход'}, во-первых, принадлежит производящему контексту, а во-вторых, он еще не подвергся воздействию новой позиции в производном контексте (словоформе). Но в самом производящем контексте (*ходить*) морф {ход'} является элементом поверхностного представления, отражающим результат (эффект) действия позиции перед тематическим {i} (морфонологически твердые согласные в этой позиции невозможны). Исходным для него, свободным от этого контекста является алломорф {ход}, который хотя и не представлен в системе глагольного словоизменения, вообще у данной морфемы существует (*ход*, *ходок* и т. д.). Таким образом, в позиции перед глагольной флексией {u} поверхностному для этой позиции морфу {хоџ} соответствует глубинный морф {ход'} и "еще более глубинный" морф {ход}. В зависимости от того, какая степень глубины будет избрана для операционного представления, словоформа *хожу* будет передана либо как {ход'-u}, либо как {ход-u} (соответственно будет принято либо чередование d' – џ, либо чередование d – џ), либо, наконец, с учетом всей "деривационной (в морфонологическом смысле) истории" формы *хожу* – как {(ход)'-u} (с чередованием d-d'-џ). Как видно из примера, степень глубины представления морфемы определяется и характер позиции, ее механизм и ее результат.

Решение вопроса об оптимальной глубине морфонологического представления зависит от ответа на более общий (и наиболее дискуссионный в морфонологии) вопрос: должно ли (и в какой степени) морфонологическое описание операционного типа быть ориентировано на грамматическую – словоизменительную и словообразовательную – деривацию, на конкретные морфонологические и словообразовательные модели? Должна ли морфонологическая модель, подобно словообразовательной, отражать стадию и отношения непосредственной деривации (актуального деривационного акта), т. е. избирать в качестве исходной формы морфемы ту, которая содержится в производящем слове или словоформе (в нашем примере – {*xod'*})? Или же представление морфемы в операционной модели должно быть независимым от грамматики (от отношений грамматической деривации) и ориентироваться только на парадигматический ряд ее алломорфов ({*xoʒ*, *xod'*, *xod*}), из которых в любой позиции в качестве исходного избирался бы тот, который отличается наименьшей контекстуальной обусловленностью (в нашем примере – {*xod*})?³

На первый взгляд, второй ответ больше соответствует специфике морфонологии и ее единиц. При таком подходе морфема в каждой позиции выступает в "чистом, изначальном" виде, освобожденной от своих прежних грамматических контекстов, соотнесенной лишь со своей парадигматической репрезентацией, является прямым представителем морфемы как элемента морфемного словаря. Правила позиционных преобразований во многих случаях приобретают более стройный вид и большую регулярность. Вместе с тем, такой подход "уплощает" морфонологическое представление языка, лишает его объемности и иерархичности организации, подчиненной грамматической структуре.

Хорошо известно, например, что морфонологические модели словоизменения и словообразования во многом различны⁴; что морфонология имени и морфонология глагола во многих отношениях организованы по-разному или даже противопоставлены⁵ (ср. уже упомянутое различие между позициями перед аффиксом {*i*} в словоизменении имени и глагола; различны также морфонологические позиции перед {*u*}-именной и глагольной флексией и т. п.). Некоторые "промежуточные" виды морфем, будучи производными и позиционно обусловленными, одновременно являются базой дальнейшей развитой системы деривации, в которой они выступают не просто в качестве производящей, но как бы и первичной (немотивированной и необусловленной) формы. Таковы, например, производные глагольные основы. При переходе из системы имени

в систему глагола морфема может "забывать" свои именные свойства, отказываясь от них. Так, корневая морфема существительного *воля* в системе субстантивного словоизменения и именного словособоразования имеет устойчивую палатальность конечного согласного, выступающую в морфонологически сильной позиции (перед флексиями -а, -у, -о], -і). В производной глагольной основе на -і эта независимая палатальность, попадая в слабую позицию (перед тематическим *i*, флексиями 2-го спряжения, в том числе и -аt, где морфонологически твердые невозможны), начинает вести себя как позиционно обусловленная, и потому легко устраняется в соответствующих позициях, напр. *позволить*, *соизволить*, но *произвол*, ср. *ходить*, *приходить*, но *ходок*, *приход*. То же самое можно сказать об именных корнях в словах *тень* (*оттенить*, но *оттенок*), *соль* (*засолить*, но *засол*) и т. п. В системе глагольного словоизменения и отглагольного словообразования они уже не обладают ингерентной, независимой палатальностью конечного согласного (не выступают в морфонологически сильных позициях). Следовательно, такие корневые морфемы как бы раздваиваются и превращаются в две автономные единицы – именную (с независимой мягкостью согласного: *vol'*, *t'en'*, *sol'*) и глагольную (с позиционно обусловленной мягкостью согласного: *vol*, *t'en*, *sol*), каждая из которых имеет свою сферу и свою морфонологию деривации; возводить их к одной исходной форме вряд ли целесообразно.

Разная глубина репрезентации морфемы обуславливает разную структуру морфонологической позиции. Грамматическая информация, необходимость которой в морфонологическом описании никем не подвергается сомнению, в случае непосредственного (актуального) деривационного представления морфемы (когда исходной формой служит морф производящего, мотивирующего слова) принадлежит самой этой морфеме (морф {*xod'*} с мягким конечным согласным идентифицируется как глагольный корень). Напротив, при "парадигматической", единой для всех позиций (безразлично, конкретной или абстрактной) репрезентации морфемы грамматическая информация устраняется из морфемного представления (в записи {*xod-u*} или {*xod-ok*} нет никакой отсылки к производящей глагольной основе) и становится элементом (свойством, характеристикой) самой морфонологической позиции. Наиболее адекватным представлением следует, по-видимому, признать такое, в котором объединяются преимущества и того, и другого способа, т. е. такое, где в качестве исходной в данной позиции избирается непосредственная производящая основа, но при этом она берется в ее независимом от позиции виде: {(*xod*)'-*u*},

{(xod)-ok} (или {(xod-i)-u}, {(xod-i)-ok})⁶. Главная трудность, однако, состоит в том, что процедура освобождения от позиционной зависимости, снятия контекстно обусловленных признаков, необходимая для реконструкции исходной формы морфемы, должна опираться на исчерпывающее представление о характере действия и свойствах конкретных морфонологических позиций. Пока же такого представления у нас нет.

Структура позиции, кроме отношения субъект – объект, включает признак направления: если субъект позиции линейно предшествует объекту (находится слева от него), мы имеем дело с прогрессивной позицией, если следует за объектом (находится справа от него) – с регрессивной позицией. Как и в фонологии, в морфонологии пресобладают регрессивные позиции, т. е. имеет место более сильное воздействие аффиксальных (кроме префиксальных) морфем на предшествующие им основы (корни). Актуальные аффиксальные морфемы (т. е. те, с помощью которых “производятся” конкретные словоформы или производные слова) выступают преимущественно в качестве субъекта морфонологической позиции. Им противостоят основы (в частном случае – корни), являющиеся преимущественно объектами морфонологической позиции.

Каждый из компонентов позиции – субъект и объект – характеризуется определенными фонологическими и грамматическими свойствами, однако далеко не все из них релевантны для морфонологической позиции. Так, для основы (объекта позиции) релевантны такие признаки, как открытость – закрытость (наличие в конце гласного или согласного), слоговая структура (наличие беглого гласного), морфонологический класс конечного консонанта закрытой основы (морфонологически твердые, мягкие, йотированные, заднеязычные). Для аффикса (субъекта позиции) релевантны его слоговая структура, прикрытость – неприкрытость (наличие в начале согласного или гласного). Однако такие существенные для морфонологии свойства аффиксов, как их смягчающее или йотирующее действие, никак не связаны с их фонологической структурой и даже с их грамматическими свойствами. Так, уже упоминалось, что глагольная флексия 1. ед. наст. {u} может быть и йотирующей, и несмягчающей. Следовательно, это свойство правильнее было бы приписывать не аффиксу-субъекту, а самой позиции, ибо оно возникает именно из взаимодействия определенных свойств субъекта (аффикса) с определенными свойствами объекта (основы).

Значит ли это, что каждый конкретный случай сочетания некоторой основы с некоторым аффиксом образует отдельную позицию? Конечно, нет. Морфонологическая позиция обладает регу-

лярностью, проявляющейся двояко. С одной стороны, как уже было сказано, каждый аффикс воздействует не на одну индивидуальную основу, а на класс основ, выделенных по тому или иному признаку (группе признаков). С другой стороны, сам способ воздействия (напр., смягчающее или вокализирующее) не является индивидуальным свойством именно данного аффикса, а объединяет его с целым классом аффиксов, отличающихся одним и тем же поведением в качестве субъекта морфонологической позиции. Иначе говоря, все позиции по свойствам их субъекта (актуального аффикса) могут быть разбиты на группы однородных в отношении своего действия на объект позиций. Так, например, среди аффиксов глагольного словообразования аффиксы {u}, {ut}, {uš'} всегда воздействуют на основу одним и тем же образом (ср. *везу* – *везут* – *везущий*; *пишу* – *пишут* – *пишущий*; *дремлю* – *дремлют* – *дремлющий* и т. д.). То же можно сказать о группе аффиксов {iš', it, im, it'e, it', et', at, aš', a} (*летишь* – *летит* – *летим* – *летите* – *лететь* – *летят* – *летающий* – *летя*; *ходишь* – *ходит* – *ходим* – *ходите* – *ходить* – *ходят* – *ходящий*, (*про*)*ходя*) или группе {oš', ot, om, ot'e} (*берешь* – *берет* – *берем* – *берете*; *бережешь* – *бережет* – *бережем* – *бережете*) и др. Следовательно, аффиксы, входящие в одну группу, создают одну и ту же морфонологическую позицию для предшествующего конечного согласного основы.

Однако позиция не может быть отождествлена не только с одним (индивидуальным) аффиксом, но даже и с классом однородных аффиксов-субъектов. Как видно из первого примера, класс аффиксов {u, ut uš'} в одних случаях вызывает йотацию предшествующего согласного (*писать* – *пишу*, – *пишут*, *пишущий*); в других – оставляет согласный твердым (*нести* – *несу*, *несут*, *несущий*), создавая тем самым две разных позиции. Определяющим для позиции является, таким образом, характер воздействия, сказываемого ею (ее активным членом, субъектом) на составляющие ее единицы (на пассивный член, объект). Если говорить о позиции конечного согласного основы, то следует выделять всего четыре типа позиций: 1) позиции, в которых актуальный аффикс (субъект) безразличен к виду конечного согласного (амбивалентная позиция), 2) позиции, которые требуют палатальной (мягкой) степени предшествующего согласного, 3) позиции, которые требуют йотированной степени предшествующего согласного, и 4) позиции, которые требуют твердой степени согласного⁷. Аффиксы {u, ut, uš'} могут быть субъектами третьей (*хожу*, *верчу*, *дремлю*, *колю*) и четвертой (*веду*, *несу*, *засну*) позиции, аффиксы класса {iš', it, im и т. д.} и класса {oš', ot, om, ot'e} – субъектами второй позиции.

При таком подходе механизм позиции понимается не как требование определенной модификации основы (чередования), а как требование определенного вида (определенной морфонологической ступени) ее конечного согласного, а наличие или отсутствие модификации оказывается производным от типа позиции. Если ступень согласного производящей основы совпадает со ступенью, предписываемой позицией, то никакого чередования не происходит. В противном случае происходит чередование, приводящее конечный согласный основы в соответствие с требованием позиции (напр., твердый согласный заменяется мягким или йотированным). При этом, как уже говорилось, характер чередования зависит от способа (степени глубины) репрезентации основы.

Во многих морфонологических описаниях свойства смягчения или йотации приписываются аффиксам, и говорится о несмягчающих, смягчающих и йотирующих аффиксах⁸. Такое обозначение кажется неточным в двух отношениях. Во-первых, смягчающие или йотирующие аффиксы вызывают смягчение или йотацию только в тех основах, где конечные согласные находятся на других ступенях, оставляя без изменения согласные, уже имеющие мягкость или йотацию (если бы их действие было "смягчающим", следовало бы ожидать не только смягчения твердых, но и замену мягких йотированными)⁹. Во-вторых, многие аффиксы, подобно глагольным {и, ut, uš'}, могут иметь разное действие, т. е. создавать несколько разных позиций (ср. суффиксы {ak}, {enije} и многие другие).

Таким образом, тип позиции – понятие, абстрагированное от свойств (фонологических и грамматических) конкретных взаимодействующих морфем и от самой конкретной позиции и определяемое характерным для позиции способом действия, механизмом приспособления морфемы-объекта к требованиям морфемы-субъекта. Четыре типа позиций, относящихся к морфонологическому признаку палатальности согласных, принадлежат к наиболее регулярным моделям русской словоизменительной и словообразовательной морфонологии. К ним по своему объему и значению приближаются лишь морфонологические механизмы усечения и вокализации.

Примечания:

1. Некоторые важные стороны этого понятия получили освещение в работах: Панов М. В. О грамматической форме. – Ученые записки МГПИ им. Потемкина, т. 73, вып. 6. М., 1959; Земская Е. А. О понятии "позиция" в словообразовании. – Развитие современного русского языка. 1972. М., 1975; Смиренский В. Б. О роли морфонологических средств в языке. – Известия АН СССР, ОЛЯ, т. 34, № 2, 1975; Булыгина Т. В. Проблемы теории и практики морфонологического описания. –

Известия АН СССР, ОЛЯ, т. 34, № 4, 1975; Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. М., 1977; Толстая С. М. Морфонология. Морфемика. – Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1974–1977 гг. Словообразование. Материалы для обсуждения. М., 1982, с. 128–130.

2. Очевидно, что понятие перцептивной позиции в фонологии "операционно" (и тем самым морфонологично), ибо объектом действия этой позиции является единица (фонема), принадлежащая другому контексту (сигнификативно сильной позиции), который может быть установлен только на уровне морфемы. Напр., констатация перцептивно слабой позиции в слове пруд или перцептивно сильной в слове прут для конечного согласного (его глухости или звонкости) возможно только через обращение к соответствующим морфемам и их позиционно сильным алломорфам (пруда, прута). Сама идея модификации (преобразования) фонемы предполагает понятие исходной, стоящей вне данного контекста и до него (сильной, "производящей") формы. На эту "морфонологичность" московской концепции фонологии не раз обращалось внимание.

3. В данном случае мы отвлекаемся от так называемых искусственных (абстрактных) исходных форм морфем, не совпадающих ни с одним реальным контекстным репрезентантом морфемы. В интересующем нас отношении искусственные представления не отличаются от "контекстно не обусловленных" (или "наименее обусловленных") реальных репрезентаций.

4. См. Stankiewicz E. The interdependence of inflectional and derivational patterns. – Word, 1962, v. 18.

5. См. прежде всего Трубецкой Н. С. Морфонологическая система русского языка. – Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987.

6. Ср. Ворт Д. С. Морфонология славянского словообразования. – American contributions to the VII-th Intern. Congress of Slavists. 1973, p. 384–385; Исаченко А. В. Глагольные основы и структура отглагольного слова (По поводу статьи В. В. Лопатина). – Russian linguistics, 1976, № 3, p. 157–158.

7. При определении ступени чередования согласного следует учитывать, что губные и переднеязычные различают все три ступени m-m', ml', w-w', wl', f-f', fl', p-p', pl', b-b', bl', t-t', č, d-d', ž, s-s', š, z-z', ž, st-st', š', zd-zd', ž'); у сонорных и заднеязычных (r l n k g x, а также c) не различаются ступень смягчения и ступень йотации (обе представлены соответственно r' l' n' č ž š ć), а у j совпадают все три ступени.

8. В морфонологических описаниях, ориентированных на конкретные деривационные модели, выделяются также аффиксы отвердения, а механизм их действия иногда называется обратным чередованием.

9. Лопатин В. В. (указ. соч., с. 301) приводит пример с суффиксом -ение, который якобы вызывает смягчение твердых глагольных основ и йотацию мягких (плету – плетение, но крутить – кручение, спасти – спасение, но просить – прошение). Однако различие результатов здесь зависит не от твердости – мягкости согласного в производящей основе, а от класса глагола (от его тематического показателя), ср. отсутствие йотации при мягкой основе у глаголов на -еть: облысеть – облысение, похудеть – похудение, гудеть – гудение, сидеть – сидение, огрубеть – огрубение, сопеть – сопение и т. д.

ЕЩЁ РАЗ О КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ, ВРЕМЕНАХ БОЛГАРСКОГО ИНДИКАТИВА И "ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ"

И. К. Бунина

Настоящий экскурс в прошлое, не претендующий на полноту и не свободный, видимо, от субъективности, имеет целью обрисовать суммарно содержание тех споров, которые велись по вопросам, обозначенным в заглавии, на заседаниях сектора славянского языкознания, на проводимых им конференциях и на страницах его изданий. Это было время, когда сектор был мал, молод и един и только становился на ноги вместе со всем Институтом славяноведения, а его бессменный руководитель глубокоуважаемый С. Б. Бернштейн, почтенный юбилей которого мы отмечаем, тоже был молод и переполнен самими, как нам казалось порой, фантастическими планами, которые все же в дальнейшем большей частью осуществились.

Одной из тем, предложенных Самуилом Борисовичем, была тема "Вид и время славянского глагола", в разработке которой приняла и я участие.

С. Б. Бернштейн предполагал сосредоточить внимание разработчиков этой темы на праславянском периоде, мы же отдали предпочтение изучению истории видовременной системы славянских языков в письменный период их развития. В центре внимания исследователей этого периода были вопросы, связанные с переходом от многочленной системы времен, представленной в древнейших памятниках славянской письменности, к трехчленной, господствующей во всех современных славянских языках кроме болгарского. Они формулировались примерно так: чем объяснить смену систем времени в большинстве славянских языков и отклонения от общего пути в болгарском языке, является ли его система времен аномалией или можно установить историческую преемственность между современной болгарской системой времен и старославянской.

То или иное освещение этого исторического процесса определялось тем, какой ответ давал исследователь на вопрос, являются ли независимыми категориями вид и время славянского глагола.

И хотя еще в трудах А. А. Потебни¹, Л. П. Размусена², Б. Гавранка³ развивалась идея независимости категории времени от ка-

тегории вида, к тому времени, когда началась работа над названной темой, эту идею поддерживали далеко не все исследователи. П. С. Кузнецов⁴, В. В. Бородич⁵ и др. по-прежнему отстаивали тезис о том, что в сфере "протекания действия во времени" значение этих категорий не поддается разграничению. Подтверждение этому видели в очевидном, как представлялось исследователям, факте исторической взаимозамещаемости значений форм времени и вида. Речь шла о прошедших временах: аористе, имперфекте, перфекте, плюсквамперфекте, которые употреблялись в древних памятниках славянской письменности, а теперь отсутствуют в большинстве славянских языков, кроме болгарского. Исчезновение этих времен объяснялось тем, что выполнение их функций взяла на себя категория совершенности – несовершенности. Наличие же многочленной системы времен в болг. языке объясняли слабым развитием категории вида по сравнению с другими славянскими языками. Было также мнение, что времена в современном болг. языке ничего общего со старославянскими не имеют⁶. Обращали внимание на то, что в морфологии болгарских времен индикатива произошли существенные изменения, которые коснулись как глагольных основ, так и глагольных флексий. Но на содержательном уровне отношение болгарской системы времен к старославянской оставалось неясным.

Для разматывания клубка всех этих запутанных вопросов большее значение имело появление работ Ю. С. Маслова "О своеобразии морфологической системы глагольного вида в современном болгарском языке"⁷ и "Вид в современном болгарском языке"⁸. Они были построены на обширном материале, извлеченном из современных текстов болг. литературы. Ю. С. Маслов предложил совершенно новую концепцию описания видо-временной системы современного болг. языка. Было убедительно показано, что содержательно категория вида в болг. языке ничем не отличается от категории совершенности – несовершенности в других славянских языках, что ее значения укладываются, как и в этих языках, в круг семантических значений глагольных основ и не связаны со значениями форм времени. Что же касается различий, существующих якобы между болг. языком и остальными славянскими языками в степени развитости категории вида, то оказалось, что формализация вида в болг. языке характеризуется большей последовательностью и единообразием, чем в тех славянских языках, в которых она признавалась более развитой. Таким образом, вопрос об отношении категории вида и времени решался в пользу признания самостоятельности этих категорий во всех славянских языках, и сторонники чисто вре-

ленной интерпретации славянских глагольных времен получали новое подкрепление своих позиций.

Однако Ю. С. Маслов не пошел их путем и предложил ввести в описание системы времен современного болг. языка неизвестное до этого понятие "вида в широком смысле слова". Эта категория отличалась по содержанию от категории совершенности -- несовершенности, которую Ю. С. Маслов предложил называть "видом в узком смысле слова". Единого определения эта новая категория, однако, в его труде не получила. И вопрос о том, как очертировать область значений, в которой категория времени функционирует как самостоятельная грамматическая категория, оставался дискуссионным.

Направление, в котором вели поиски решения вопросов, связанных с интерпретацией славянских систем времени, Б. Гавранек и его сторонники и тогда, и теперь представляется более перспективным. Последовательное проведение принципа чисто временной интерпретации значений славянских времен позволяет адекватнее очертить круг значений категории времени, исходя из грамматически обусловленного требования славянского индикатива определять хронологию действий по грамматической системе отсчета времени (ГС).

Всякое действие, обозначенное той или иной формой времени, вводится в текст как соотношенное во времени с "моментом речи", который является исходной точкой в ГС, т. е. как относимое к прошлому (=период времени, предшествующий "моменту речи"), будущему (=период времени, следующий за "моментом речи") или настоящему (=период времени, совпадающий в какой-либо части "с моментом речи"). Полнота временной характеристики действия, обозначенного формой времени: длительность, повторяемость и другие обстоятельства его протекания во времени обозначаются в тексте уже лексическими и синтаксическими средствами. Такое понимание содержания категории времени лежит в основе "хронологической теории". В болгарском языкознании последователем этой теории является Л. Андрейчин, который дал в своей "Грамматике болгарского языка"⁹ пространное описание времен индикатива в современном болг. литературном языке.

После работ Ю. С. Маслова и Л. Андрейчина положение в современном болг. языке несколько прояснилось, но вопрос об исторической преемственности между болг. многочленной системой времен и старославянской оставался открытым прежде всего потому, что изучение значений и употребления старославянских форм времени велось фрагментарно. К тому же атомарный подход в такого рода исследованиях не предполагал выяснения связей

изучаемого времени с другими временами, определение его места среди других времен. Опыт такого описания был предложен Б. Гавранком¹⁰, который, однако, коснулся в своем описании лишь форм И. В связи с этим было целесообразнее приступить к полному описанию значений старославянских времен, что и было сделано мною в книге "Система времен старославянского глагола"¹¹ на материале одного из древнейших памятников славянской письменности -- Мариинского евангелия¹². Исследование было продолжено в книге "История глагольных времен в болгарском языке"¹³, где в сравнительно-историческом аспекте были рассмотрены одинаковые куски из евангельского текста, взятые из других древних редакций (Зографское и Ассеманиево евангелия, Саввина книга) и среднеболгарской редакции (Врачанское евангелие), а также из переводов евангелия на новоболгарский язык, сделанных в XIX и XX веках¹⁴. Сравнение разновременных редакций и переводов евангельского текста показало, что не только состав времен болг. индикатива, но и их функционирование в болг. письменном языке не претерпело таких радикальных изменений, какие произошли в системе времен индикатива в большинстве славянских языков. В новом переводе евангелия, сделанном через тысячу лет после первого перевода в 86 % случаев от всех встретившихся в наших выборках форм времен индикатива в аналогичных местах употребляются те же самые формы времени или их диахронические варианты в том же самом значении, что и в первом переводе евангелия. Устойчивость состава типов "разночтений", т. е. различий в использовании форм времени, имеющих место между обследованными редакциями и переводами евангельского текста в пределах сделанных выборок, также свидетельствует о неизменности тех коррелятивных отношений, на которых строилась система времен в древнейший период письменной истории болг. языка. Тем не менее на протяжении этого периода произошли все же изменения не только в морфологии болгарских времен, но изменился также и их узус. Некоторые времена стали употребляться чаще.

Кроме евангельских текстов были привлечены тексты светского содержания: из среднеболгарской письменности -- грамоты, слова, притчи, повести, из новоболгарской -- дамаскины, а также литературные произведения, написанные на современном болгарском языке: роман И. Вазова "Под игом" и рассказы Елина-Пелина¹⁵.

Анализ материала, извлеченного из названных произведений болгарской письменности, подтверждал выводы, полученные в результате изучения евангельских текстов, что дало возможность сделать так сказать, синтетическое описание этого материала и

при рассмотрении значения той или иной формы времени одновременно использовать материал, относящийся к различным эпохам. Описание системы болгарских времен велось с позиций "хронологической теории".

Основные термины, которые используются в "хронологической теории" при описании многочленной системы времен, это – "абсолютные времена" и "относительные времена". Эти термины употреблялись и в славянских грамматиках, и в специальных исследованиях и прежде, но использовались они в них от случая к случаю. В "хронологической теории" им придается основополагающее значение. Именно последовательное использование этих терминов позволяет описать двуступенчатость структуры болгарских времен.

По ГС есть возможность определять хронологию действия не только относительно "момента речи" (=абсолютный момент отсчета = абс. МО), но и относительно времени "сообщенного события" (=относительный момент отсчета = отн. МО). В соответствии с этим из многочленной системы болгарских времен выделяется две подсистемы: система абс. времен и система отн. времен.

Из 8 времен болгарского индикатива Л. Андрейчин относил 3 времени к абс. временам: аорист (А), настоящее время (Н), будущее время (Б), 5 времен – к отн. временам: плюсквамперфект (Пл), имперфект (И), будущее в прошедшем (БвПр), перфект (П), *futurum exactum* (f. ex.).

В интерпретации Л. Андрейчина абс. времена и отн. времена отличаются между собой тем, что первые указывают на один, абс. МО, вторые же указывают одновременно на два: и на отн. МО, и на абс. МО. Он так называл их временами "с двойной ориентацией во времени"¹⁶.

Целесообразность разбиения болгарских времен на эти группы подвергалась сомнению и до, и после появления работы Л. Андрейчина. Споры велись также и о составе каждой группы. Так, например, некоторые считали невозможным включать формы Б¹⁷ и формы А¹⁸ в состав абс. времен, другие отказывались включать П и Пл в состав отн. времен¹⁹. Есть также мнение, что отн. времена надо вообще вывести из состава категории времени, что они образуют особую грамматическую категорию (*taxis*)²⁰.

Различия в интерпретации значений тех или иных форм времени определяется тем, какой элемент значения глагольной формы времени берется за основной. В рамках "хронологической теории" есть возможность провести единый принцип при выделении этого основного элемента для всех форм времени болг. индикатива. Соглашаясь с критикой в адрес признака "двойной ориентации",

который использовал Л. Андрейчин для характеристики форм отн. времен, нельзя не поддержать распределение болгарских времен по группам, проведенное им в "Грамматике болгарского языка"²¹. В русле идей Л. Андрейчина предлагается различать две группы признаков: 1. различия между действиями в отнесенности к грамматическому периоду времени (ПД): настоящему, прошедшему и будущему; 2. различия в выборе грамматического момента отсчета времени (МО): абс. МО и отн. МО.

Все времена болг. индикатива связаны отношениями привативной оппозиции. В основе противопоставления отн. и абс. времен лежит различие в указании на МО, как и считал Л. Андрейчин, но в отличие от Л. Андрейчина отн. времена рассматриваются в настоящем описании как однозначно указывающие на то, что грамматический период времени действий (ПД), ими обозначаемых, определяется относительно времени "сообщенного события", т. е. отн. МО. Из группы отн. времен выделяются три группы (см. рис. 1), которые различаются по отн. МО. Это объясняется тем, что "сообщенное действие" может быть обозначено формами разных абс. времен, и в зависимости от этого употребляются разные формы отн. времен. Отношения между отдельными временами внутри группы абс. времен и трех групп отн. времен определяются различиями между грамматическими периодами действий, что связано с положением их на временной оси относительно МО: грамматически ПД может совпадать с МО (=настоящий ПД), но может и не совпадать, тогда он либо предшествует МО (=прошедший ПД), либо следует за ним (=будущий ПД).

Набор дифференциальных признаков и их значений, из которых складывается значение каждого времени (=граммемы времени), представлен в следующей таблице.

Таблица 1

| Группа признаков | Признак | Положительное значение | Отрицательное значение |
|------------------|---------|--|----------------------------------|
| Первая | 1-й | прошедший ПД будущий ПД | настоящий ПД |
| | 2-й | | |
| Вторая | I | прошедший МО настоящий МО будущий МО | абсолютный МО ("момент речи") |
| | II | | |
| | III | | |

Под положительным значением признака имеется в виду значение маркированного члена, который в таблице 2 обозначен знаком

плюса (+), а под отрицательным значением признака – противоположное ему значение, которое для неотмеченного члена является, в терминологии Р. Якобсона, "собственным" значением грамматической формы и которое обозначается в таблице 2 знаком (-). Отсутствие какого-либо из этих значений отмечено знаком нуля. Значение немаркированной формы складывается из положительного и отрицательного значения признака. Это будут частные значения немаркированной формы. Возможность формы времени выступать в тексте то с тем, то с другим значением и делает ее немаркированной. Общим значением немаркированной формы будет "неуказание на значения маркированного члена".

Содержание болгарских граммем времени представлено в таблице 2, при чтении которой надо иметь в виду, что знак минуса используется в литературе для обозначения общего значения немаркированного члена, а не частного значения, как в этой таблице.

Таблица 2

| Наименование граммемы времени | | Дифференциальный признак | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----|------------|-----|-----|
| | | 1-я группа | | 2-я группа | | |
| | | 1 | 2 | I | II | III |
| Неотносительные времена | Настоящее (Н) | + - | + - | + - | 0 0 | 0 0 |
| | Аорист (А) | + 0 | 0 0 | + - | + - | + - |
| | Будущее (Б) | 0 0 | + 0 | + - | 0 0 | 0 0 |
| Относительные времена | I Имперфект (И) | + - | + - | + 0 | 0 0 | 0 0 |
| | Плюсквамперфект (Пл) | + 0 | 0 0 | + 0 | 0 0 | 0 0 |
| | Будущее в прошедшем (БвПр) | 0 0 | + 0 | + 0 | 0 0 | 0 0 |
| | II Перфект (П) | + 0 | 0 0 | 0 0 | + 0 | 0 0 |
| | III f. ex. | 0 0 | + 0 | 0 0 | 0 0 | + 0 |

Знак одного нуля в этой таблице указывает на то, что формы данного времени в этом значении не употребляются. Знаками двух нулей фактически обозначается отсутствие вообще в системе болгарских времен таких времен, которыми могли бы быть выражены эти значения.

Пользуюсь случаем заметить, что в книге "История глагольных времен в болгарском языке" на стр. 41 в таблице 3 допущена опечатка. На первой строке в графе II и на третьей строке в графе III должны стоять нули, а не знаки плюса и минуса.

Корреляции граммем болгарских времен наглядно представлены на рисунке 1:

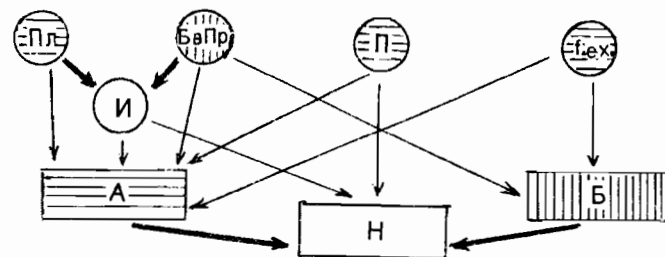


Рис. 1

На этой схеме формой элементов обозначается различие систем абс. (=неотносительных) времен (квадраты) и систем отн. времен (круги), способом штриховки – маркированность по признаку первой группы: горизонтальная штриховка указывает на прошедший ПД, вертикальная – на будущий ПД. Коррелятивные связи между граммемами обозначаются стрелками, направленными в сторону незаштрихованного элемента, представляющего немаркированную граммему. Жирными стрелками связаны элементы одной конфигурации, ими обозначаются связи между граммемами внутри группы по признакам первой группы (см. табл.1). Элементы разной конфигурации связаны светлыми стрелками, ими обозначаются связи граммем по признакам второй группы (см. табл.1). Таким образом, по количеству стрелок, которыми связан элемент, можно судить о числе корреляций, в которые входит граммема, им представляемая.

Предложенная модель не является, как может показаться, чисто умозрительной конструкцией. Она опирается на некоторые вполне очевидные реальности и прежде всего на убеждение в том, что при анализе значений времен нельзя ограничиваться рамками предложения, как это делается в большинстве работ. В любом сообщении, представляющем собой развернутое высказывание, а не эллиптическую речь предложение не является самодавяющей единицей. Оно объединяется с окружающими его предложениями смысловыми связями, что находит отражение и в грамматической структуре сообщения.

При таком подходе с очевидностью обнаруживается двуплановость действий, составляющих содержание сообщения: одни действия относятся говорящим к первому плану, они составляют содержание сообщений или, как говорят, "основную линию повествования", другие действия относятся им ко второму плану и привлекаются для пояснения действий первого плана. Иерархическое строение сообщения (=текста) находит себе грамматическое выражение в двухступенчатой структуре системы времен болг. языка, в наличии в этой системе форм двух типов времен, абс. и отн. Именно

потребность выразить второплановость одних действий по сравнению с другими и побуждает говорящего обращаться к формам отн. времен. Выбор говорящим одной из трех подсистем отн. времен зависит от того, какими формами абс. времен обозначает он действия первого плана.

Своеобразие "поведения" в тексте форм абс. времен и отн. времен обнаруживается в том, что отн. времена встречаются несравненно реже, чем абс. времена и по сравнению с абс. временами употребляются в ограниченном круге контекстов. Не существует такого текста, который был бы написан с использованием только форм отн. времен, в то время как имеются тексты, в которых действия обозначены только формами абс. времен, так что любой текст, в котором употребляются формы и тех, и других времен может быть переписан с использованием только форм абс. времен, обратное – исключено.

Таким образом, выясняется, что не только одно предложение, но и отрезок текста, состоящий из ряда предложений, но не содержащий одновременно форм отн. и абс. времен, нельзя признать достаточным для выявления значений отн. времен. Между тем, если и используются контексты с рядом форм времени, то обычно выбираются ряды одноименных форм, как это делается, например, при рассмотрении значений форм А.

Рядом одноименных форм времени могут обозначаться как действия, происходившие последовательно, так и действия, отношения между которыми во времени оказываются не выраженными. В контекстах с выраженной хронологией действий из прошедших времен чаще всего употребляются формы А. Это служит для некоторых исследователей основанием утверждать, что формам А свойственно выражать определенность в протекании действия во времени в отличие от форм П и Пл, для которых более характерно употребление в перечислительных контекстах.

Все же можно найти контексты, где формы П и Пл употребляются для обозначения последовательных действий. Вместе с тем, употребление форм А в перечислительных контекстах также возможно и встречается достаточно широко. И вообще, представление о последовательности действий мы получаем только благодаря тому, что формы времени (какие бы то ни было) вводятся в текст в соответствии с той последовательностью, в которой они совершались в реальности, а не значением самих форм времени. В любых контекстах, и с выраженной хронологией действий, и в перечислительных, формы любого прошедшего времени и А, и П, и Пл свидетельствуют лишь об одном, что действия, ими обозначенные, относятся автором к прошедшему ПД. Дальнейшее уточнение опреде-

ленности совершения действия во времени обозначается в тексте с помощью не глагольных форм, а лексических и синтаксических средств.

Гораздо важнее другое, что при совместном употреблении формы времени, т. е. в контекстах с разноименными формами времени, наблюдается известное тяготение отн. времен к формам совершенно определенных абс. времен, что в болгарской науке называется "симбиозом форм времени". Формы Пл и П как раз и различаются между собой тем, что имеют разные центры тяготения: формы Пл всегда сопровождают формы А, а формы П – формы Н. Такое же надежное постоянство в совместном употреблении с формами А проявляют также и формы И, и формы Б в Пр. Формы же f. ex. всегда встречаются с формами Б. Важно также отметить следующее. В тексте формы отн. времен проявляют тяготение не ко всем формам абс. времен, употребляющихся в данном тексте, а лишь к некоторым из них, и именно к тем, с которыми они вместе входят в один и тот же отрезок текста, единый по содержанию и по грамматической оформленности иерархии действий, в нем называемых. Такой отрезок можно назвать эпизодом. Для того, чтобы иметь основание причислить разноименные формы к одному эпизоду, необходимо, чтобы они относились к одной и той же группе времен и обозначали действия, распределяющиеся по отнесенности к первому и второму плану повествования в пределах именно этого эпизода. В отличие от предложений для выделения эпизодов в тексте специальных знаков не имеется, с абзацами они далеко не всегда совпадают. При членении текста на эпизоды полезно использовать такие понятия как "основная линия повествования" и "побочная линия повествования", "главное действие" и "второстепенное действие", которые помогают понять иерархическую структуру текста на содержательном уровне, а вместе с тем определить, какие из действий этого текста являются комментируемыми, а какие – комментирующими. И если главное действие обозначается формой А, а комментирующее его действие формой Пл, то это означает, что автор при определении периода времени комментирующего действия использовал в качестве "временной вехи" (=системы отсчета времени) именно это главное действие, и тогда обе формы времени и А, и Пл можно рассматривать в качестве относящихся к одному эпизоду.

При переходе к следующему эпизоду внимание автора сосредотачивается уже на другом главном действии, обозначенном формой А, а вместе с тем меняется и система отсчета прошедшего периода комментирующих его действий, но меняется она в рамках одной подсистемы отн. времен, и в тексте этот переход глаголь-

ными временами никак не выражается. Как и в первом эпизоде комментирующее действие, относимое повествователем к прошедшему периоду, будет обозначаться формой Пл.

Если главное действие в новом эпизоде обозначается автором не формой А, а формой Н или Б, то в отличие от рассмотренного случая смена отн. системы отсчета оказывается грамматически выраженной: для обозначения комментирующего действия, относимого к прошедшему периоду, автор вместо формы Пл употребит либо форму П, если главное действие обозначает формой Н, либо форму f. ex., если главное действие обозначает формой Б.

Рассмотрим теперь отрывок из романа "Под игото" И. Вазова, который представляет собой один эпизод:

"Соколов беше съвсем нарясал докторството, не лекуваше вече никого, та и никой не отиваше при него от страх да не се компрометира... Само един болен се съглеждаше още да посещава дома му, той беше Ярослав Бързобегунек. Той от една непредпазливост беше се наранил по ръката с револвера, един ден подир завръщането на доктора. Това нещастие беше му привлякло състраданието на всичките граждани и беше накарало бедния австриец да се откаже от фотографията си, която отдавна се беше отказала от него. Веднага вратата се хлопна и докторът устреми очи към нея. Подаваше се именно Бързобегунек... Дясна му ръка... висеше на подвеска... Той идеше полека и непредпазливо насам, вероятно да избегне болезненост, която бързото движение причинява на ранения член. По лицето му, което се бърчеше на всяка стъпка, се четеше страдалческо изражение. Кога влезна при доктора, той се озърна внимателно наоколо си и хвърли подвеската на кревата.

– Доброутро, байно! – И подаде десницата си. Докторът я плесна силно със своята, без гостът да не покаже най-малък знак на страдание. Защото нараняването на Бързобегунек беше измислено: трябваше да се оправдаят честите му посещения у доктора"²².

Основное событие, которое находится в центре внимания автора в этом отрывке, составляет сцена появления в доме доктора гостя, и все действия здесь обозначены формами А: *вратата хлопна, докторът устреми очи, влезна при доктора, се озърна, хвърли подвеска, подаде десницата, плесна силно.*

Действия, которые привлекаются автором для разъяснения этого события, обозначены формами отн. времен I подсистемы: И и Пл. Они используются в описании положения, в которое попал доктор еще до того, как появился гость в его доме. Все действия, которые закончились к началу этой сцены, обозначены формами Пл: *беше нарясал докторствд*, а те действия, которые начались до

этой сцены, но продолжались или, вернее сказать, продолжали быть актуальными и во время этой сцены, обозначены формами И: *не лекуваше, никой не отиваше при него, един болен се съглеждаше да посещава дома му.*

Вся история, объясняющая поведение гостя при входе его в дом доктора, произошла вскоре после того, как доктор перестал практиковать, но еще до основной сцены, и при описании этой истории автором используются опять формы Пл: *беше се наранил по ръката, беше му привлякло състраданието на всичките, беше... да се откаже от фотография.* Заметим, что этими формами обозначены последовательно совершавшиеся действия, но тут же рядом стоит форма Пл в придаточном предложении *която отдавна беше се отказала от него.* Ею обозначено действие, по отношению к которому вопрос о его временных отношениях с другими действиями, обозначенными формами Пл, в таком контексте ставить не корректно.

Для сравнения приведем еще один отрывок из того же произведения:

"¹Скоро притъмня добре и той остави това място, което утрещеше да бъде нагазено от турски потери. Заедно с мрачината и нощния студ растеше.² Първото турско село беше съвсем замъртвяло. (Турските села запустяват и мязат на гробишта, щом се смръкне). Само в една бакалница се чуваше глъчка. Но Огнянов не смя да похлопа, при всичко че бе премалял от глад.³ Той вървя два часа още, замина други села и най-после се бялно нещо пред него... Това беше Стрема"²³.

Этот отрывок на первый взгляд ничем не отличается от приведенного выше. Он как будто бы един по содержанию; речь идет об одном лице, переходящем из одного села в другое, в нем употребляются также только формы А и отн. времен I подсистемы: Пл, И и БвПр. Но, если присмотреться внимательнее, то станет очевидным, что, хотя всеми формами отн. времен обозначаются действия второго плана, в смысловом отношении они связаны не со всеми действиями, обозначенными формами А, как в предыдущем примере, а лишь с некоторыми из них. Так, действия, обозначенные формой Пл *село беше замъртвяло и бе премалял от глад* и формой И *се чуваше глъчка* явно связаны с действием *не смя да похлопа* и никакого отношения не имеют к действиям, обозначенным формами А *притъмня, остави това място.* Зато с этими действиями связано действие, обозначенное формой БвПр *щеше да бъде нагазено* и действие, обозначенное формой И *студ растеше.* Таким образом, этот отрывок состоит не из одного эпизода, а из трех, хотя он по длине короче первого. В начале каждого эпизода стоит арабская цифра, отделяющая один эпизод от другого.

В каждом эпизоде используется один и тот же набор форм отн. времен, но от эпизода к эпизоду эти формы времени как бы меняют своего хозяина, поскольку в каждом эпизоде описывается своя ситуация, и в центре внимания автора оказывается уже другое действие, время совершения которого и становится новой "временной вехой" при определении периода совершения действий второго плана в этом новом эпизоде.

Таким образом, различать в тексте действия первого и второго плана повествования, членить текст на эпизоды в предложенном понимании при изучении значений времен болгарского индикатива не только не бесполезно, как считают некоторые исследователи²⁴, но просто необходимо. Именно такой подход дает возможность внести коррективы в интерпретацию отн. времен, предложенную Л. Андрейчиным, и показать, что эти формы времени всегда указывают на один, отн. МО и никогда не указывают на абс. МО, ни прямо, ни опосредованно через формы абс. времен. В системе времен болгарского индикатива, абс. времена во всех корреляциях с отн. временами выступают в качестве неотмеченного члена корреляции. Действительно, в контексте с отн. временами абс. времена всегда обозначают действия, соотносимые с "моментом" речи", но их делает таковыми именно присутствие форм отн. времен, в других контекстах они не выступают так однозначно. В системе времен болгарского индикатива нет времен, которые бы всегда указывали на абс. МО, и есть времена, которые всегда указывают на отн. МО.

Некоторые исследователи употребление форм Н в придаточных предложениях при глаголах "говорения" и "идеальной деятельности"²⁵ и "настоящее историческое"²⁶ относят к случаям отн. настоящего. Повод для такого толкования дает, видимо, следующая ложно понятая аналогия. Как и при употреблении форм отн. времен, здесь тоже наблюдается смена МО при переходе к употреблению формы Н в названных позициях. Но суть этой смены разная, и она вызывается разными причинами.

Смена форм времени в этом типе придаточных предложений не свидетельствует о переходе к относительной системе отсчета времени в повествовании. Она связана не с изменениями в иерархии действий, а со сменой автора сообщения.

Это ни у кого не вызывает сомнения, когда речь идет о прямой речи. Но то же самое происходит, когда в тексте появляется косвенная речь. И в прямой, и в косвенной речи для обозначения одних и тех же действий вместо форм прошедшего времени, которыми эти действия обозначаются в повествовании, употребляются формы Н. Это связано с тем, что в повествовании в качестве

автора сообщения выступает сам повествователь, а в прямой и в косвенной речи — персонаж повествования. Соответственно время действий определяется не относительно "момента речи" повествователя, а относительно "момента речи" персонажа. Таким образом, появление в тексте глаголов "говорения" предопределяет переход в повествовании не к относительной ГС, а к новой абсолютной ГС.

Но при глаголах "идеальной деятельности" в придаточных предложениях в болг. яз. наряду с формами Н можно встретить формы И, что может дать повод усомниться в нашей версии. Между тем, если учесть все формы времени, употребляемые в сочетании с формами Н и И в таких предложениях, то окажется, что с формами Н для обозначения прошедших действий употребляются формы П, а с формами И — формы Пл. Это говорит о том, что в болг. языке при появлении глаголов "идеальной деятельности" смена абс. системы отсчета времени в повествовании не обязательна. Но если она происходит, то по тем же правилам, как и после глаголов "говорения".

Нет также оснований причислять к отн. вр. "настоящее историческое". При переходе повествователя к обозначению прошедших действий формами "настоящего исторического" не наблюдается изменения иерархии действий в повествовании. Формами "настоящего исторического" так же, как и формами А, обозначаются действия, относящиеся к первому плану повествования и период времени их совершения определяется по абс. системе отсчета времени. Тем не менее различие между этими формами и формами А есть, и связаны они так же, как и в выше рассмотренных случаях употребления форм Н, с изменением автора сообщения, но не в буквальном, а в фигуральном смысле.

Дело в том, что автор в рассказе о прошедших событиях может выступать либо в роли, условно говоря, летописца, либо в роли очевидца описываемых событий, соответственно, в первом случае прошедшие действия будут им обозначены формами А, во втором — формами Н, но если смена формы времени в прямой и косвенной речи грамматически обусловлена, то при использовании форм "настоящего исторического" автор преследует чисто стилистические цели создать впечатление картинности²⁷.

Примечания:

1. Потенба А. А. Из записок по русской грамматике, т. IV. М., 1941, с. 35–62.
2. Размусен Л. П. О глагольных временах и об отношении их к видам в русском, немецком и французском языках. — ЖМП. 1891, Июнь, с. 378–401.
3. Havranek B. Aspect et temps du verbe en vieux slave. — Melangue de linguist-

tiques offerts a Charles Bally. Geneve, 1939, p. 223–230.

4. Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. Морфология. М., 1953, с. 267.

5. Бородич В. В. К вопросу о видовых отношениях старославянского глагола. – Ученые записки Ин-та славяноведения АН СССР, т. IV. М., 1954, с. 137–138.

6. Бородич В. В. К вопросу о значении аориста и имперфекта в старославянском языке. – Славянская филология. М., 1951, с. 24–25.

7. Маслов Ю. С. О своеобразии морфологической системы глагольного вида в современном болгарском языке. – Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР, вып. 15. М., 1955, с. 29–47.

8. Маслов Ю. С. Вид в современном болгарском языке. Докторская диссертация. М., 1957. (Машинопись).

9. Андрейчин Л. Основна българска граматика. София, 1944. Перевод с болгарского: Бородич В. В. Грамматика болгарского языка. М., 1949, с. 57–61, 133–169, 189.

10. Наврашек В. Указ. соч., с. 223–230.

11. Бунина И. К. Система времен старославянского глагола. М., 1959, 160 с.

12. Маринское евангелие с примечаниями и приложениями. Труд И. Я. Ягича. СПб., 1883.

13. Бунина И. К. История глагольных времен в болгарском языке. Времена индикатива. М., 1970, 300 с.

14. Список использованных источников см. Бунина И. К. История..., с. 298–299.

15. Там же.

16. Андрейчин Л. Грамматика..., с. 169.

17. Курылович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962, с. 144.

18. Младенов Ц. Миналите времена в брезнишкия говор. – Статьи и материалы по болгарской диалектологии, вып. 9. М., 1959, с. 7–50.

19. Бородич В. В. К вопросу о значении аориста..., с. 24–25. Подробнее о дискуссии по этому вопросу см. Бунина И. К. Система..., с. 22–25.

20. Пенчев И. Към въпроса за времената в съвременния български език. – Български език, кн. 2. София, 1967, с. 137–143.

21. Андрейчин Л. Грамматика..., с. 169.

22. Вазов И. Събрани съчинения, т. XII. София, 1956, с. 201.

23. Там же, с. 148.

24. Пенчев И. Указ. соч., с. 131–134.

25. Стеванович М. Функције и значења глаголских времена. Београд, 1967. См. также рец. на эту книгу: Бунина И. К. Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972, с. 380–389.

26. Стеванович М. Указ. соч., с. 20–22. О дискуссии по этому вопросу см.: Бунина И. К. О границах "настоящего исторического". – В памяти на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София, 1974, с. 355–362.

27. Кузнецов П. С. К вопросу о praesens historicum в русском литературном языке. – Доклады и сообщения филологического ф-та МГУ, кн. 8. М., 1949, с. 24–25.

О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ ПАССИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СЕРБОЛУЖИЦКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКАХ

М. И. Ермакова

Глагольная система верхне- и нижнелужицкого литературных языков в отличие от других славянских языков располагает большим набором формальных средств для выражения различных залоговых отношений. Это приводит к созданию условий для конкуренции форм и синтаксических конструкций, расширяет возможности выбора между ними в процессе актуального членения предложения. Одним из наиболее широко распространенных способов выражения пассивного значения является употребление синтаксической конструкции, представленной сочетанием личных форм вспомогательного глагола *być* (в.-луж.)/*byś* (н.-луж.) с *-n/-t*-причастием полнозначного глагола. Вспомогательный глагол в составе данной конструкции может иметь форму с любым временным значением и употребляться в любом наклонении. Временное значение всей конструкции определяется формой времени глагола *być/byś*; *-n/-t*-причастия в с.-луж. литературных языках с точки зрения временного значения являются немаркированными. Ср., например, в.-луж./н.-луж. настоящее вр. 1 л. ед. ч. *sym/som (na) pisany*, 2 л. ед. ч. *sy (na) pisany*, 3 л. ед. ч. *je/jo (na) pisany...*; будущее вр.: 1 л. ед. ч. *budu (na) pisany*, 2 л. ед. ч. *budžeš/bužoš (na) pisany...*; претерит: 1 л. ед. ч. *běch (na) pisany*, 2 л. ед. ч. *bě(še) /běšo (na) pisany...*; перфект 1 л. ед. ч. *sym był/som był (na) pisany*, 2 л. ед. ч. *sy był (na) pisany...*; плюсквампретерит 1 л. ед. ч. *běch był (na) pisany*, 2 л. ед. ч. *bě(še) /běšo był (na) pisany...*; итеративный претерит, конъюнктив: 1 л. ед. ч. *bych by był (na) pisany...*; императив: 2 л. ед. ч. *budź(će)/buź(śo) (na) pisany...*; инфинитив: *być/byś (na) pisany*.

Характерной особенностью данных синтаксических конструкций является их способность образовываться от глаголов с разной видовой, валентной и семантической характеристиками, в том числе и от возвратных глаголов. При этом более распространены конструкции этого типа от глаголов совершенного вида, переходных и непереходных, среди непереходных глаголов – факитивные

глаголы состояния типа в.-луж. *mřěć, schorjeć, zestarjeć, zbiědnyc, rosc, padnyc...*; н.-луж. *wumřěć, pochorjeć, zestarjeć, rosc, padnyc...*. Особенностью конструкций указанного типа, употребляемых от возвратных глаголов, является опущение морфемы *so/se*. Ср. н.-луж. примеры с конструкциями, образованными от глаголов *zalaś se, wobojeś se...nježli ten by bliżej pśišek, mogat byś Lipo južo zalaŕiv (Dom., 105); ...kak te žońske su wubojane (Dom., 117)*.

Подобного типа синтаксические конструкции известны и в других славянских языках, где они также используются для выражения пассивного значения (ср., например, в русском языке сочетание личных форм глагола *быть* с краткими формами страдательных причастий, а польском – конструкции, состоящие из личных форм глагола *być* и страдательных причастий и др.). Интерес к соответствующим с.-луж. синтаксическим конструкциям определяется тем, что они обладают рядом морфологических особенностей, отличающих их от подобных образований в других славянских языках, а также тем, что в с.-луж. грамматиках и исследованиях этот способ выражения пассивного значения оценивается по-разному. В основе расхождений при определении характера данной конструкции, ее функционально-семантического соотношения с другими формами пассива и места в системе с.-луж. грамматической категории залога (ГКЗ) лежит различное понимание сущности ГКЗ.

Исходя из чисто грамматической природы категории залога, некоторые исследователи включают конструкцию типа *je/jo + -n/-t*-причастие в состав ГКЗ и рассматривают ее как одну из форм пассива, равноправную с другими образованиями¹ – аналитической формой пассива, представленной сочетанием личных форм вспомогательного глагола *być/byś* от основы *bu-* и *-n/-t*-причастиями, а также возвратными формами глагола с пассивным значением: ср. в.-луж./н.-луж. парадигму аналитических форм пассива с формами *buch, bu...*: ед. ч. 1 л. *buch postany*, 2, 3 л. *bu postany*; дв. ч.: 1 л. *buchmoj/buchmej postanaj/postanej*, 2, 3 л. *buštaj/buštej postanaj/postanej*; мн. ч.: 1 л. *buchmy postani(e)/postane*, 2 л. *bušće/bušćo postani(e)/postane*, 3 л. *buchu postani(e)/postane*.

Другие исследователи², включающие данную конструкцию в состав с.-луж. ГКЗ, противопоставляют ее аналитической форме пассива типа *bu + -n/-t*-формы глагола по признаку процессуальности: формы типа *bu + -n/-t*-формы всегда имеют процессуальное значение в отличие от форм типа *jo/je + -n/-t*-причастия, характеризующихся так называемым статальным значением (пассив состояния).

Если же исходить из логико-грамматической характеристики ГКЗ в славянских языках, признавая, что она отражает специ-

ческие отношения (диатезы) логического и синтаксического уровней³, то следует признать: в.-луж. залоговая система обладает набором формальных средств для выражения отношений $S/O \sim Ag/P$, а также отношений $S \sim K/Adr.$, то есть включает два ряда форм – так называемые прямые и косвенные *Genera verbi*, которым соответствуют определенные типы диатез. Этим с.-луж. ГКЗ отличается от других славянских языков. В с.-луж. залоговой системе прямой пассив представляют формы типа *bu- + -n/-t* – формы. Как аналитические формы прямого пассива они всегда, независимо от контекста, указывают на отсутствие O_4 ($O_4 = \emptyset$), при этом исключается соответствие S и Ag – $S \neq Ag$, $S = P^4$. Ср., например, в.-луж. *Pochowana bu na Lubuskim kěrchowje, dokelž na pohrjebnišću, niže Narća nikohó wjace pochować njesmědzachu. Narć bu do Wojerec zafarowany, a boža rola so pomatku zasypowaše (Cit., 429); Skónčnje buchu narodnokulturne aspekty a potreby jédnostronsce socialnym podrijadowane a casto jako njewažne njewobkedźbowane a zapnjećowane (Roz., 134); Organizacije a zjednoćenstwa buchu dale redukowane na pasiwne "transmissijne pasy" ... (Roz., 134); Kolonialny status Grónlanskeje... bu l. 1953 zběhnjeny (Roz., 143); н.-луж. ...a ja buch pšijaznje wuwitany (Cit., 374), Gnoj bu po wjelikich kusach chytany na konjocy woz... (K., 107); W lěse 1923 bu mě pisanje "Serbskego Casnika" dowěrjone (Cit., 480). Все формы аналитического пассива с *bu-* свидетельствуют в приведенных примерах о собственном им значении процессуальности; в некоторых случаях контекст лишь подчеркивает его (см., например, в первом из приведенных предложений, где в придаточном раскрывается причина действия, названного в главном и выраженного интересующей нас формой пассива).*

Как показывает анализ употребления синтаксических конструкций типа *je / jo + -n/-t*-причастия, в предложениях, где они применяются, обычно можно говорить о выражении диатезы, типичной для прямого пассива, то есть $O_4 = \emptyset$, $S \neq Ag$, $S = P$. Однако, хотя и редко, возможным оказывается и такое употребление этих конструкций, при котором речь идет о выражении диатезы, характеризующей прямой актив – $S = Ag$. Ср. 1) В.-луж. *A prašane su – znajmjeńša tuchwilu wosebje kriminalne romany... (Roz., 138); ...ale byrnjež smy měli dosć zahorjenych socialistow, kotřiž běchu woprawdže inspirěrowani wot Marxa a Engelsa... (Roz., 135); ...Łužišcy Serbaj...su nětko tež wuswobodźeni přez Čerwjenu armiju... (Roz., 132); Škuš a kěžorej, kotryž je nam z hnady Božeje postany... (Br., 6); Baser so njese w rumije čłowjeskeho, kiž je wotměrjony a napjeljony z bytostnosću a hustošču konfliktow... (Cit., 577); н.-луж. *Za tym njejo nichten pšašať, bužo-li doma wobžěłane abo nic... (Dom., 17); ...ja ga**

njok byś pšošony...ga ten dŕug dej byś wopŕašony... (Dom., 31); ...tam cu zakopany byś (Dom., 119); ...až jo była wot błuda wježona (Dom., 19); Wěšće jo na posłany (Dom., 80); ...ja by był dawno zakopany a zabyty (Dom., 117); ...te šyje su wěšće suche a deje byś woblate... (Dom., 124). 2) Н.-луж. Takego grona som dawno nastuchany... (Dom., 64); No, ja som jomu daŕa chytu wawriś, a gaž som była nastuchana, pon som jomu teke groniŕa, což som se myslita (Dom., 37); ...gaž tak stara bužoš, ako ja som, ga pon bužoš hynacej myslona! (Dom., 24); в.-луж. Jan njeje hišće stanjeny; džěci běchu wuspane.

В большинстве приведенных примеров конструкции типа *je/jo + -n/-t-* причастия имеют значение состояния, достигнутого в результате определенного процесса. Но в некоторых случаях их значение можно определить как процессуальное: ср. например, в.-луж. *Njech mi tohodla dowolene, tu podać rozprawu wo śmowych wotmysłach... studentstwa* (Cit., 443); н.-луж. *Nama by było pomožone...* (Dom., 45). Отдельные примеры не позволяют дать одно, определенное, толкование значению данных конструкций, так как контекст допускает в равной степени понимание их как имеющих процессуальное, так и статальное значение. Ср. в.-луж. *kaž wy wěšće, je serbski lud lětstotki doŕho z wukorjenjenjom wohroženy był...* (Cit. 415).

Противопоставление в с.-луж. литературных языках двух рядов глагольных образований – аналитических форм пассива со значением процессуальности и синтаксических конструкций, немаркированных в отношении этого признака, до известной степени напоминает ситуацию в немецком языке, где также представлены формы пассивного залога, образованные с помощью глагола *werden* и причастия II спрягаемого глагола, обычно имеющие процессуальное значение, и синтаксические конструкции, образованные сочетанием личных форм глагола *sein* и причастия II переходных глаголов, употребляющиеся как правило со статальным значением (ср., например, *Das Fenster wurde geöffnet – Das Fenster war geöffnet*), близким значению прилагательного.

Анализ употребления синтаксических конструкций типа *je/jo + -n/-t-* причастия дает возможность наблюдать различную степень их приближения к предикативным конструкциям, что связано с различной степенью адъективизации *-n/-t-* причастий. Последняя обусловлена двойственной природой причастия, употреблением его форм в конструкциях со статальным значением, где на первый план выдвигается значение состояния как результат осуществленного действия. Ср. *Žyto je posušene* 'хлеб скошен', *Durje su zawrjene* 'дверь закрыта', а также примеры, которые дают основание говорить о существующем достаточно большом диапазоне выражения значений 'статальность – процессуальность': в.-луж. *Dróhi budžeja*

přepjelnjene a zatykane (Мл. žně, 92); *Ludžo dale wonka budžeja...* z kreju wobleći... (Мл. žně, 93); ...a tajkemu bě myslenje zakazane (Мл. žně, 47); ...jako njeby wjes docyta była wobydlena (Мл. žně, 47). *Erty su zawrjene, hubje kruće jedna na drugej spinanej ...* (Cit., 424); *Zatamany budž do žiwjenja...* (Cit., 520). В этих конструкциях всегда употребляется субъект, но обозначение агенса не обязательно: ср. в.-луж. *Mjez nimaj a wokoto njeju je někotryžkuli mjenje abo bóle wučesany kamjeń zatwarjeny* (Cit., 633); *Chódra běchu z hłohoncom směšenja potykane, z černjemi hanjenja wobwite a z hozdžemi złeho směcha zabite* (Cit., 529); н.-луж. *Pšez wjeliku šydnosć jadneje wosoby how w tom domje stej wobej wobšuzžonej* (Dom., 88). При всем отличии в образовании и роли конструкций данного типа в с.-луж. и русском языках (большие ограничения в образовании русских конструкций с точки зрения валентных и видовых значений, иное соотношение с другими формами, употребляемыми для выражения пассивного значения, а также место в системе ГКЗ и др.) их можно сопоставлять по степени морфологизации: и в русском, и в с.-луж. литературных языках эти конструкции чаще выступают в статальном значении, а выражение процессуального значения связано с определенным контекстом. В ряде случаев значение этих конструкций не может быть определено однозначно с точки зрения выражения признака статальности или процессуальности. О процессуальном значении с большей вероятностью можно говорить при наличии указания на агенса, при дополнительном подчеркивании способа, которым осуществляется действие и др. Иногда эти конструкции обнаруживают близость к предикативным образованиям, что является причиной рассмотрения их за пределами пассива и залоговых отношений⁶.

В с.-луж. литературных языках "слабость" этого звена в системе залоговых отношений находит дополнительное обоснование при сопоставлении данных конструкций с аналитическими формами пассива и особенностями их морфологической структуры.

Аналитические формы, как и конструкции рассмотренного типа, употребляются от глаголов обоих видов, переходных и непереходных. Для непереходных глаголов формы типа *buch, bu...* + *-n/-t-* формы возможны тогда, когда в активе и интранзитиве этим глаголам соответствует S, на логическом уровне равный A, то есть, в отличие от конструкций предыдущего типа, эти формы не образуются от глаголов *mřeś, schorjeś, rośc...* Ср. в.-луж. *jemu bu (wote mnje) pomhane* (актив *ja pomham jemu*), *jemu bu podžakowane* (актив *woni jemu podžakowali*). Как и в случае образования форм типа *je/jo- + -n/-t-* форм причастий, образование аналитических

форм пассива сопровождается редукцией валентной структуры соответствующего глагола. При этом наблюдаются определенные закономерности в необходимости указания на агенса и в употреблении S в предложении с данными формами прямого пассива⁶. Эти закономерности устанавливаются для переходных глаголов с обязательной или факультативной бивалентностью, для моно- и бивалентных непереходных глаголов. Так, обязательное указание на А характерно для переходных глаголов с обязательной бивалентностью, и факультативно для переходных глаголов с факультативной бивалентностью. Ср., например, в.-луж. актив *Jan gumije stwu-* пассив *Stwa bu wot Jana gumowane* или *Bu gumowane*. Ср. также обязательное употребление S в предложениях с аналитическими формами прямого пассива, образованными от переходных глаголов с обязательной бивалентностью: в.-луж. *Jan bu wopytany*, но *Šat bu derje šity/Potom bu šite*. Без S употребляются предложения с аналитическими формами пассива, образованными от непереходных глаголов следующего типа: в.-луж. *Bur chwata* – пассив *Bu chwatane*. *Potom smy spali* – *Potom bu spane*. Ср. также *jemi bu pomhane, za nim bu hladane*.

О высокой степени морфологизации пассивных форм с *bu* свидетельствует характер элементов их структуры. Они включают в свой состав *-n/-t-*формы, среди которых есть такие, которые вне данных сочетаний с личными формами глагола, образованными от основы *bu-*, не употребляются. К ним относятся, например, *-n/-t-*формы в.-луж. неопределенных глаголов движения⁷ и некоторых других глаголов. Предложения с этими формами пассива имеют безличное значение: ср. *bu chodžene, bu fažene, bu jězdžene, bu pluwane, bu sydane, bu rejowane, bu swarjene, bu čakane, bu spane, bu sedžane, bu słuchane*. "Связанность" в употреблении *-n/-t-*форм, образованных от названных глаголов, свидетельствует как о высокой степени морфологизации рассматриваемых аналитических форм пассива, так и об особом характере одного из элементов этих форм: *-n/-t-*формы как бы теряют двойственный характер, свойственный обычным *-n/-t-*причастиям, что дает основание рассматривать их как специальные формы, употребляемые для образования форм пассива и омонимичные причастиям на *-n/-t*.

При образовании аналитических форм пассива в с.-луж. литературных языках решающим является характер семантической структуры глагола. Это подтверждают и отмеченные выше случаи употребления форм типа *bu chodžene, bu fažene*. Эти формы пассива образуются без ограничений у тех глаголов, при употреблении которых предполагается, что А является инициатором или пассив-

ным носителем действия-процесса, а обязательному Р на синтаксическом уровне соответствует O_4 ; ограничения наблюдаются у названных глаголов в тех случаях, когда их употребление не предполагает Р, соответствующего O_4 , то есть у глаголов типа *rejować, pfać, słuchać, prosić*. Не знают ограничений в образовании форм аналитического пассива и так называемые фактививные глаголы типа *skazyć, myć, zaśić, wottamać, palić, wjazać, wobswětlić, rozwić*...⁸

Аналитические формы пассива в отличие от форм типа *jo/je + -n/-t-*причастие имеют одно временное значение: они указывают на несовпадение момента речи и периода, когда совершается действие, выраженное данной формой. В зависимости от контекста они могут свидетельствовать о различном соотношении момента речи, момента действия и периода, о котором идет речь.

Формы с.-луж. аналитического пассива конкурируют с формами прошедшего времени – перфекта или плюсквамперфекта прямого интранзитива, перфекта или претерита интранзитива или только с формами перфекта интранзитива. С помощью конкурирующих форм интранзитива может быть выражена диатеза пассива в настоящем и будущем времени.

Употребление с.-луж. аналитических форм пассива с формой вспомогательного глагола от основы *bu-* и синтаксических конструкций с личными формами глагола *bys'/być* в сходных контекстах дает возможность наблюдать конкуренцию этих образований: ср., например, в.-луж. *...běch tehdy druhi króć zajaty* (Rozhlad, 1989, 255) 'тогда я во второй раз был арестован' – *Na to bu A. Krawčik dnja 9. měrca zajaty* (Rozhlad, 1989, 252) 'После этого А. Кравчик был арестован 9 марта'. Однако такие случаи редки.

Каждый элемент с.-луж. трехчленной оппозиции, представляющей ГКЗ (актив – интранзитив – пассив) имеет однозначно интерпретируемые средства выражения соответствующего залогового значения. Аналитические формы, образованные с помощью сочетания личных форм глагола от основы *bu-* и *-n/-t-*формами полнозначного глагола, являются способом выражения одного из элементов этой оппозиции – процессуального пассива. Эти формы всегда указывают на диатезу пассива. Она имеет определенное временное значение, указывая на разобщенность действия-процесса, выраженного соответствующим глаголом, с моментом речи. Ей свойственна высокая степень морфологизации, которая проявляется и в особенностях ее внутренней структуры. Образование этой формы связано с рядом характерных только для нее ограничений.

Синтаксические конструкции, образованные сочетанием личных форм глагола *być/byś* и *-n/-t*-причастий, обладают двойственным характером. Это проявляется в том, что с их помощью можно выражать не только диатезу, типичную для пассива, но и диатезу, свойственную активу. Они обычно выражают состояние как результат действия, относящееся к различным временным планам, но в некоторых контекстах они имеют и процессуальное значение и, следовательно, являются немаркированными относительно признака процессуальности. В противоположность аналитическим формам пассива данные конструкции характеризуются менее связанным характером: с двойственным характером причастия связана способность конструкции в той или иной степени терять способность выражать пассивное значение и переходить в иное качество – предикативные конструкции. Эти конструкции обладают рядом свойственных только им ограничений в процессе образования.

Отмеченные особенности двух способов выражения пассивного значения в с.-луж. литературных языках определяют их различную роль и место в системе залоговых отношений в этих языках и не дают основания считать их равноправными формальными средствами в ГКЗ.

Примечания:

1. См. Šewc Hinc. Gramatika hornjoserbskeje rěče. I. Fonematika i morfologija. Budyšin, 1968, S. 200–201. Автор грамматики определяет категорию залога как способ выражения отношения между субъектом высказывания и глагольным предикатом. При этом пассив указывает на направление глагольного действия на субъект и выражается тремя формами: возвратными формами, сложными формами, состоящими из форм вспомогательного глагола *być* и пассивных причастий соответствующего полнозначного глагола; сложными формами, состоящими из особой претеритальной формы вспомогательного глагола *być* и пассивного причастия полнозначного глагола. Так же оценивается с.-луж. пассив и в кн. "Славянские языки", М., 1977, с. 208–209.

2. Löttsch R. Problem klasifikacije t. mj. dźelow rěče. – Lětopis. R. A. Č. 13/1, S. 58–69.

3. Такая интерпретация в.-луж. ГКЗ предложена в "Грамматике современного верхнелужицкого литературного языка" (Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart. Verfasst von Helmut Fasske unter Mitarbeit von Sigfried Michalk. Morphologie. Bautzen, 1981, S. 196–236). В отличие от традиционной с.-луж. грамматики ГКЗ рассматривается здесь как трехчленная оппозиция, представленная формами прямых и косвенных актива, интранзитива и пассива. Каждый член оппозиции характеризуется типичными диатезами или наборами диатез.

4. Grammatik..., S. 234.

5. Согласно точке зрения Г. Фаске (см. Grammatika..., S. 320), конструкция типа *je* + причастие не является аналитической формой пассива, а представляет собой синтаксическую конструкцию, образованную глаголом-связкой и страдательным

причастием полнозначного глагола, употребляемым в собственно функции причастия – атрибутивной. С аналитическими формами пассива эту конструкцию объединяет два признака – редукция валентности, а также возможность указания агенса в предложениях с данной конструкцией. Поэтому она стоит на периферии ГКЗ и противопоставлена всем залоговым формам как немаркированная в отношении признака процессуальности.

6. Grammatik..., S. 129.

7. Grammatik..., S. 212.

8. Grammatik..., S. 92.

Сокращения

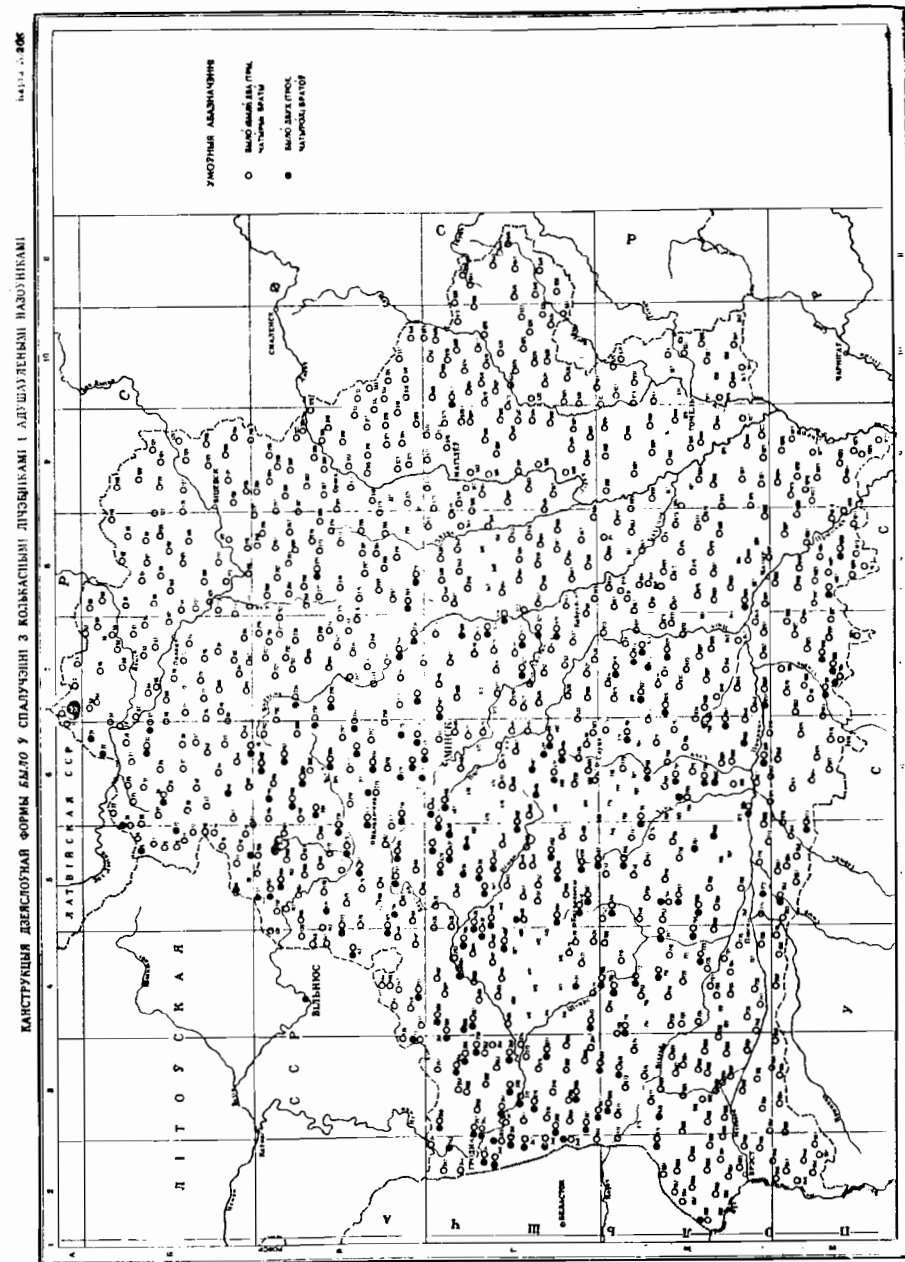
Br. – Brězan Jurii. Stara Jančowa. Dwě nowelce. Bautzen, 1952. Dom. – Domaškojc Marjana. Z našeje glinjanjeje budki. Budyšin, 1956. Čit. – Serbska čitanka. Sorbišche Lesebuch. Leipzig, 1981. Roz. – Rozhljad. Časopis Domowiny za serbsku kulturu. Čo. 5 letnika 40, 1990. Roz. 1989 – Rozhljad, Časopis Domowiny za serbsku kulturu. Čo. 9 letnika 39, 1989. K. – Mjazy sedym mostami. Budyšin, 1969. MČ žně – MČde žně. Zběrka literarnych dźělow serbskeho spisowacelskeho dorosta. Budyšin, 1959.

ОБ ОДНОЙ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ ПАРАЛЛЕЛИ ИЗ ОБЛАСТИ СИНТАКСИСА

Т. М. Судник

Изоглоссные связи литовского и белорусского языков, при всем внимании к этой теме в последние десятилетия, выявлены далеко не полностью. Если обратиться к задачам, в частности, межъязыковой синтаксической идентификации, то один из полезных методов обнаружения сходства там, где на первый взгляд очевидны лишь различия, видится в том, чтобы свидетельства лингвистической географии рассмотреть через призму наблюдений над ситуациями литовско-белорусского двуязычия. Изучение того единства способов выражения, которое было достигнуто в практике двуязычия, проясняет иногда картину более широких ареальных связей литовского и белорусского. Ниже предлагается опыт установления таким путем возможной литовско-белорусской синтаксической изоглоссы.

Карта № 208 "Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы" озаглавлена: "Конструкцыя глагольнай формы было в сочетании с количественными числительными и одушевленными существительными". Она составлена на материале вопроса программы: "Используется ли количественно-именное словосочетание в форме родительного падежа множественного числа: *былі (было) два браты* или *было двух братоў*; *тры сыны былі (было) ...* или *трох сыноў было*; *у мяне было чатыры браты* или *было чатырох братоў*; *былі (было) дзве дачкі* или *былі (было) дзвюх (дзвёх) дачок*?" Темой карты, как это определено в Комментариях к атласу (с. 751), является противопоставление количественно-именного словосочетания в именительном и родительном падежах в конструкции типа *было два браты* и *было двух братоў*. Граница между тем и другим типами проходит почти в меридиональном направлении, приблизительно по линии Верхнедвинск (Дриса) – Бегомль – Борисов – Бобруйск – Мозырь – Наровля, разделяя белорусскую языковую территорию на западную и восточную зоны. Западная зона – область широкого, но при этом скорее полуфакультативного, нежели обязательного, употребления субъектного генитива. Ср.:



“Подлежащее, выраженное количественным словосочетанием в форме родительного падежа типа *трох хлопцаў коні пасе* постепенно вытесняется динамичными конструкциями в форме именительного падежа (*тры хлопцы коні пасуць*)” (см. Лічэбнік, с. 89).

Однако содержание карты, как это следует из ее интерпретации в последующих диалектологических исследованиях, шире, по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, в генитивные конструкции указанного типа, распространенные на территории западной зоны, включаются не только 2–4, но и другие числительные (по-видимому, 5–20, 30 и т. д.), ср. среди приводимых примеров: *шасцёх хлопцаў ходіло, трыццаціх чалавек сабралася* (Лічэбнік, с. 88); причем, примеры отражают обычно генитив на *-ох* или (для запада Витебской обл.) *-іх*, формы же на *-і* отмечаются заметно реже (ср. в Слоўн. паўн.-зах., т. 4, с. 226: *пяці альбо шасці чалавек паехалі; нас было дзяўчат пяці*; т. 5, с. 539: *там шасці мушчын сабраўшыся*), хотя оба типа генитива в говорах сосуществуют. Во-вторых, и это главное – в той же западной зоне, там же, где представлены упомянутые субъектные генитивные сочетания (числительное + существительное одушевл.), распространены и конструкции иного типа: *пяцёх косіць//косяць, нешта трох ці чатырох хадзілі ..., васьмёх засталася чакаць, двух стаіць* и т. п. Примеры таких конструкций приводятся в одном ряду с количественно-именными словосочетаниями (как феномен свертывания последних?) и квалифицируются соответственно как формы родительного падежа числительных в роли подлежащего (см. Нарысы, с. 304; Лічэбнік, с. 89).

Эти конструкции широко распространены на литовско-белорусском пограничье (в том числе и на Виленщине, ср. фиксации в Слоўн. паўн.-зах.). В Гродненской обл., в интересующих нас ситуациях древнего двуязычия, они всякий раз обращают на себя внимание, заставляя задуматься над грамматической квалификацией словоформы числительного – дело в том, что в литовском (где окончания генитива и локатива не совпадают) здесь представлен локатив: *пяцёх касілі – penkiésa šyenaŭvo, чатырох малацілі лён – keturosà kúla linús*. Если учесть, что в дер. Пеляса, где были записаны эти примеры, литовские и белорусские элементарные синтагмы и предложения четко и почти идеально подравниваются друг к другу в плане симметрии грамматических и синтаксических характеристик, то мы вправе предположить изоморфную конструкцию, т. е. локатив + глагол, и в белорусском.

Парадигма числительных 5–9 в пеляском белорусском говоре подтверждает это предположение. Как явствует из нашего материала, формы генитива и локатива (опять-таки как в литовском) противопоставлены друг другу:

И. В. *пяць*
Р. *пяці*
Д. *пяцём*
Т. *пяціма//пяцьма* (но: *сямі, васьмі*)
М. (*аб, у*) *пяцёх*

(Что касается числительного *дзесяць*, то при норме несклоняемости – ср. indeclinabile *dz'ãšymc'* в литовском – форма наречного типа *дзесяцёх [дзесяцёх рабілі]* все же сохраняется).

Таким образом, в белорусском говоре Пелясы словоформы числительного в составе рассматриваемых сочетаний бесспорно квалифицируются как формы беспредложного локатива.

Аналогичные конструкции на всей остальной территории западной зоны следует, по всей вероятности, определять точно так же – как локативные, а не генитивные. И существенным дополнительным аргументом в пользу именно такой их квалификации является локативная же природа дублетных конструкций: *удвух (удзвух), утрох, учатырох, упяцёх* и т. д. + глагол. Последние широко распространены на белорусской территории, включая литературный язык; это онареченные формы предложного локатива от количественных числительных.

В литовском языке конструкции типа *dviésė (trisė, keturiésė, penkiésė* и т. д.) *dirba* повсеместно и широко употребительны (см. LKG I, 612–614; II, 436); адвербиализованные количественные числительные, восходящие к старым или парадигматическим формам локатива, представлены разнообразными и многочисленными вариантами, ср.: *dviėja, dviėjau, dviėjo, dviėjoj, dviėjõs, dviėjõs, dviėjõse, dviēju, dviējuo, dviējuõs, dviējuosa, dviējuõse, dviesà, dviesė, dvieso, dviesu* (LKŽ II, s. v.), *trisė, trijosė, trijuosė*, и т. д.

Белорусские количественные сочетания с беспредложным локативом, как видно по карте, образуют ареал, примыкающий к Литве и северо-восточной Польше; структура его такова, что сгущения этих конструкций, отмеченные на пограничье, главным образом, в Гродненской и Минской обл., постепенно как бы рассеиваются к востоку и к югу. С ним совпадает, как сказано выше, ареал распространения количественно-именных сочетаний типа *было двух братоў*. И если изоглосса субъектного генитива продол-

жається в польском (ср. лично-мужские формы *dwóch mężczyzn przyszyć* и т. п.), как это отмечалось начиная с Карского (Карский, с. 320), что изоглосса субъектного беспредложного локатива (*двох стаіць//стаяць, пяцёх ішли//ішло* – ср. нейтрализацию категории числа в 3-м лице глагола в литовском), объединяет белорусские говоры западной зоны с Литвой.

Сокращения

Карский – Карский Е. Ф. Белорусы. Вып. 2–3. М., 1956. **Комментарии** – Дыялек-талагічны атлас беларускай мовы. Уступныя артыкулы, даведачныя матэрыялы і каментарыі да карт. Пад. рэд. Р. І. Аванесава, К. К. Крапівы, Ю. Ф. Мацкевіч. Мінск, 1963. **Лічэбнік** – Чабярук А. І. Лічэбнік у беларускіх гаворках. Мінск, 1977. **Нарысы** – Нарысы па беларускай дыялекталогіі. Пад. рэд. Р. І. Аванесава. Мінск, 1964. **Слоўн. паўн.-зах.** – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі яе пагранічча. Мінск, т. 4. 1984; т. 5. 1986. **LKG I, II** – Lietuvių kalbos gramatika. Vyr. red. K. Ulvydas. Vilnius, t. 1, 1965; t. 2, 1971. **LKŽ** – Lietuvių kalbos žodynas, t. II. Vilnius, 1969.

ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО МЕТОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

Г. П. Нецименко

Использование метода сопоставления феноменов с себе подобными явилось важным импульсом в развитии целого ряда наук. Не составляет исключения в этом отношении и лингвистика, где на основе применения указанного метода конституировался целый комплекс научных дисциплин и, в частности, сравнительно-историческое языкознание, ареальная лингвистика, типологическая лингвистика, теория перевода и, наконец, сопоставительная лингвистика в собственном смысле этого слова. Данные научные направления отличаются друг от друга как целевым назначением, так и условиями применения сопоставительного метода; различия и удельный вес этого метода в ряду других исследовательских приемов, применяемых в работе с языковым материалом. Не вдаваясь в детали дифференциации указанных научных направлений, так как это увело бы нас в сторону от предмета рассмотрения¹, заметим, что в поле нашего зрения будет находиться лишь сопоставительная лингвистика в собственном смысле слова. В современной терминологической традиции для обозначения этой дисциплины имеются и альтернативные наименования, к примеру, "конфронтативная", "контрастивная" лингвистика. Впрочем, они не передают достаточно точно и эксплицитно существо данной дисциплины. Вопрос о выборе термина отнюдь не является второстепенным, поскольку в идеале термин должен хотя бы контурно очертить направленность научного поиска. В этом отношении термин "контрастивная лингвистика", на наш взгляд, сужает предмет исследования, акцентируя внимание на выявлении лишь отличительных особенностей сопоставляемых феноменов (сказанное полностью правомерно и для термина "конфронтативная лингвистика"). Вместе с тем термин "сопоставительное языкознание", укоренившийся в ряде лингвистических школ (используется он и нами), не вполне корректен в методическом отношении: одновременно он обозначает как целое (вся совокупность лингвистик,

оперирующих приемом сопоставления – см. выше их перечень), так и его часть (отдельно взятая конкретная дисциплина). Мало того, этот термин акцентирует формальный момент – использование приема сопоставления, по сути, превращая его в самоцель. На самом же деле факт применения этого приема сам по себе вряд ли может служить дифференциальным признаком по отношению к другим сопоставительным лингвистикам, также имеющим в своем арсенале этот прием. В связи со сказанным важно уточнить, как и для какой цели применяется сопоставительный метод – именно в этой плоскости в основном и проходит различие между разновидностями сопоставительной лингвистики.

Следует отметить, что сопоставительная лингвистика (в собственном смысле этого слова) длительное время развивалась неравномерно, скорее вширь, чем вглубь. Результатом этого явилось возникновение целого потока работ конкретно-описательного характера, занимающихся формальным сравнением инвентаря языковых средств, зачастую на случайных основаниях, без учета системно-функциональных взаимосвязей и закономерностей. Во многом это объяснялось недостаточно глубоким осознанием специфики и целевой установки сопоставления, его "сверхзадачи", кажущейся легкостью и доступностью данного жанра исследований. В силу этого упрощенно понималась и методика сопоставления: во главу угла ставилась конкретная задача – выявление сходств и различий между языками. Заметим, что в тех случаях, когда эта задача решалась на материале генетически неродственных языков, сходства и различия были достаточно очевидны и выявлялись без особого труда, на поверхностном уровне. Тогда же, когда к исследованию привлекались близкородственные языки, положение осложнялось, поскольку для выявления различий было уже недостаточно вскрытия поверхностного слоя – необходимым оказывалось вовлечение глубинных слоев языковой материи, позволяющих обнаружить функциональные особенности языковой системы. Проведение подобного рода исследований предполагает высокий уровень профессионализма, отточенность методики как при анализе, так и синтезе языкового материала, корректность в использовании понятийно-терминологического аппарата. В противном случае "отдача" сопоставления оказывалась невысокой, что приводило в сущности к дискредитации самого метода. Неслучайно достаточно широкое распространение получила ошибочная точка зрения, согласно которой данное научное направление рассматривалось как некая вспомогательная дисциплина сугубо прикладного характера, занимающаяся, по сути, лишь эмпирической каталогизацией, инвентаризацией межъ-

языковых сходств и различий и не поднимающаяся до уровня высших обобщений. Из сказанного становится очевидным, что первоочередной задачей в развитии сопоставительного языкознания является активизация теоретико-методологических изысканий, устранение известной диспропорции между уровнем и степенью продвинутости теоретических и эмпирических исследований.

В этой связи считаем необходимым особо оттенить следующее: развертывание сопоставительных исследований предполагает наличие мощного теоретико-методологического фундамента, тщательную предварительную проработанность языкового материала. Именно поэтому нам представляется резонансным характеризовать сопоставительное языкознание как одно из магистральных научных направлений, становление которого обусловлено эволюцией и дальнейшим совершенствованием методологии лингвистических исследований. Сам же сопоставительный метод – или же, как будет показано ниже, метод системно-функционального сопоставления – является, по нашему убеждению, новым витком в развитии научной методологии.

За последние десятилетия были достигнуты значительные успехи в области разработки теоретико-методологических основ сопоставительного языкознания. Это позволило в свою очередь поднять уровень эмпирических исследований. Особенно успешно, на наш взгляд, осуществляется сопоставительное изучение славянских языков. Широким фронтом развертываются работы, посвященные сопоставительному изучению как целых грамматических систем, так и отдельных их уровней и фрагментов. Важной приметой современного этапа развития сопоставительной лингвистики является организация научного поиска объединенными усилиями ученых разных стран, в частности, славянских. Развитие широкомасштабных сопоставительных исследований существенно обогатило и расширило наши знания о языковых закономерностях, позволило ввести в научный оборот новые факты и наблюдения. Есть все основания утверждать, что преимущества и перспективы сопоставительного подхода при изучении как близкородственных, так и неродственных языков стали настолько очевидными, что вряд ли нуждаются в специальной аргументации.

Сказанное выше отнюдь не означает, что в настоящее время уже полностью сняты все спорные вопросы теории и методологии сопоставительного изучения, что не нуждается "в доводке", усовершенствовании программа и сама процедура сопоставления, его рабочая модель. На наш взгляд, по-прежнему одним из серьезных препятствий, тормозящих развертывание полноценных исследований, остается недостаточная сводимость результатов конкрет-

ных описаний, выполняемых под разным углом зрения, без единой программы и зачастую с разными целевыми установками. В полной мере это относится к исследованиям, проводимым как в области словообразования, так и социолингвистики.

В связи со сказанным считаем необходимым особо акцентировать ряд моментов:

А. Специфика сопоставительного метода

При характеристике специфики метода необходимо прежде всего подчеркнуть, что речь идет не просто о сопоставлении, а о сопоставлении системно-функциональном (в чешской лингвистике 30-х лет предлагался термин "аналитическое сравнение"). Это означает, что сопоставляемые изфункциональные феномены, принадлежащие к любому уровню языковой системы, рассматриваются не как изолированные элементы, а как компоненты функционирующих систем. Соответственно сравнение этих систем должно проводиться с учетом отнюдь не случайно выхваченных, произвольно отобранных признаков, а на основе признаков, релевантных для внутренней организации и функционирования сопоставляемых систем.

Выявление релевантных параметров системы, включающих инвентарь системообразующих компонентов, правила их организации, т. е. внутреннюю иерархию, закономерности распределения в составе системы и пр., осуществляется путем внутрисистемного анализа. Полученные в ходе этого исследования наблюдения впоследствии могут быть использованы в качестве основания для сравнения при межъязыковом сопоставлении.

Из сказанного выше следует, что системно-функциональное сопоставление включает две важные, взаимообуславливающие друг друга фазы:

а) внутрисистемный анализ, целью которого является системное и функциональное изучение каждого из сравниваемых языков или же языковых феноменов как необходимая основа для конфронтации:

б) межсистемный анализ, в ходе которого исходная система включается в контекст межсистемных взаимоотношений, межъязыковых взаимосвязей, т. е. рассматривается как бы со стороны, в ином ракурсе.

Б. Цель сопоставления

Главной целью сопоставительного анализа является углубленное познание системно-функциональных закономерностей сопоставляемых языковых феноменов, выявление на этой основе

сходств и различий между ними, а также некоторых общезыковых универсалий и межъязыковых взаимосвязей (численность сравниваемых языков, равно как и их генетическая, типологическая, ареальная принадлежность являются произвольными).

Формулируя задачи сопоставительных исследований, мы намеренно не ограничиваем их лишь выявлением сходств и различий, поскольку это, как уже отмечалось, неправомерно сузило бы значимость этого научного направления. Несмотря на то, что в лингвистической литературе широко бытует понимание сопоставительного изучения именно как межъязыковой конфронтации, мы тем не менее полагаем, что системно-функциональное сопоставление имеет более широкий спектр применения и, в частности, оно может быть использовано и при внутриязыковой конфронтации в рамках различных синхронных срезов в истории одного и того же языка (т. е. вертикальная ось). Важно также иметь в виду, что внутриязыковая конфронтация является надежной основой для межъязыкового сопоставления, поскольку позволяет выявить внутриязыковые универсалии (диахронические), которые затем могут быть использованы в качестве основания для сравнения при межъязыковой конфронтации. Так, рассматривая деминутивную словообразовательную категорию на протяжении трех синхронных срезов в истории чешского литературного языка, можно отчетливо наблюдать динамику данной категории, ее деривационного инвентаря; ср., в частности, устойчивость К-суффиксов, вытеснение суффиксов с консонантом "Ц", наступление многофемных аффиксов и т. п. Тем самым диагностируются основные блоки рабочей модели данной словообразовательной категории, которые затем могут быть выверены на материале соответствующих изофункциональных категорий в других близкородственных языках. Что касается выработки рабочей модели, используемой при сопоставительном описании в качестве основания для сравнения, то, по нашему мнению, при ее определении можно исходить из какого-то одного языка из числа тех, которые привлекаются для сравнения. Для этой цели правомерно использовать язык или же языковой феномен, характеризующийся наибольшей представленностью изучаемого явления, что, разумеется, устанавливается эмпирически. На основе данных исходного языка в этом случае составляется рабочая модель, т. е. некоторая ориентационная сетка (термин "эталон" нам представляется не вполне удачным), ненасильственно накладываемая на другие языки. Считаем необходимым подчеркнуть, что в нашем понимании рабочая модель сопоставления не является максимальной теоретико-множественной моделью. Напротив, она весьма приближена к языковой кон-

кретике, в частности, исходного языка, и впоследствии корректируется по мере вовлечения в орбиту исследования фактов других языков.

Важно иметь в виду, что синхронно-диахронное сопоставление дает уникальную возможность отсеять частные признаки, сконцентрировать внимание на релевантных системных закономерностях, подтвержденных ходом исторического развития языка.

Особым случаем внутриязыковой конфронтации служит сопоставление различных форм существования одного и того же этнического языка, в частности, литературного языка и разговорной речи, литературного языка и диалектов, различных диалектов друг с другом и т. п. Заметим, что и при социолингвистическом исследовании сопоставление может осуществляться как на пространственной (т. е. горизонтальной), так и на временной (т. е. вертикальной) оси.

Применение метода системно-функционального сопоставления открыло большие перспективы при исследовании закономерностей словообразования. Это стало возможным, разумеется, лишь после того, как были развернуты фронтальные исследования по теории и методике словообразования, основывающиеся на соблюдении принципов системно-функционального изучения, оперирующие стабильным, непротиворечиво интерпретируемым понятийно-терминологическим аппаратом, отработанной техникой словообразовательного описания. Здесь следует признать особую значимость вклада чехословацкой словообразовательной школы во главе с крупнейшим теоретиком М. Докулилом.

Тем не менее и по сей день все еще остается немало уязвимых мест. Так, мы хотели бы особо выделить сбои в технике деривационной сегментации производного слова, т. е. идентификации производящей основы и словообразовательного форманта. Особенно досадным является достаточно часто встречающееся ошибочное отнесение к суффиксу стыкового консонанта основы (ср. неправомерное вычленение суф. *-чик-* вм. *-ик-* там, где для этого не имеется необходимых морфонологических предпосылок). В этом случае предметом сопоставления могут оказаться неадекватные и, следовательно, несопоставимые факты. Ошибки в анализе структуры слова в свою очередь сказываются и на результатах деривационного синтеза. Немало трудностей создает отсутствие единообразия в использовании критериев определения степени продуктивности словообразовательных формантов, что, естественно, затрудняет определение их реального места в системе языка. Так, нередко разные исследователи неодинаково оценивают степень словообразовательной активности одних и тех же форман-

тов в одном и том же языке. В связи с этим чрезвычайно важно сконцентрировать внимание на таких показателях, которые существенны для определения степени продуктивности форманта: совместимость структурных параметров суффиксов и преобладающих типов производящих основ; соотношение производных и неизпроизводных основ; участие аффикса в создании новообразований; конкурентноспособность аффикса; использование аффикса для оформления заимствований; наличие/отсутствие избирательности в семантике и стилистической окрашенности форманта. Приведем лишь несколько примеров. Так, в полном соответствии с правилом притягивания противоположностей² в агентивных обозначениях, где преобладают глаголы с однотипными вокализованными контактными зонами основ, широко используются суффиксы с консонантным зачином; ср. русск. *-тель, -ник, -щик, -лец, -щц* и т. п. При наличии скопления согласных в исходе основы фиксируется присоединение суф. *-итель* (*смотритель*). В словообразовательных категориях, характеризующихся меньшей однотипностью строения контактной зоны основы (их большинство), т. е. включающих производящие основы как с вокализованными, так и с консонантными контактными зонами, фонемное строение суффиксов также более разнообразно. На практике это проявляется в наличии формантов как вокального, так и консонантного типа.

Далее, несмотря на то, что исследователи русского и болгарского языков довольно единодушно отмечают продуктивность "Ц"-формантов в сфере деминутивного словопроизводства, есть резонные основания сомневаться в правомерности этого вывода и, напротив, утверждать, что в обоих упомянутых языках словообразовательная активность "Ц"-суффиксов в указанной сфере снижается (в чешском языке этот процесс прошел более стремительно). Так, анализируя состав производящих лексем, сочетающихся с данным суффиксом, мы можем заметить, что в инвентаре производящих лексем, отмеченных с суф. *-ец, -ц(е), -иц(а)*, представлены в первую очередь неизпроизводные слова, относящиеся к старому лексическому пласту; ср.: *ветрец, градец, дъждец, хлебец, винце* и т. д. Практически отсутствуют заимствованные слова, а также слова, вновь образованные. Дериваты с "Ц"-суффиксами вытесняются дериватами с более продуктивными формантами.

Признавая бесспорную значимость дифференциации словообразовательных формантов по степени их продуктивности, мы считаем целесообразным дополнить ее вычленением центра и периферии деривационной системы (в данном случае – словообразовательной категории) и, соответственно, дифференциацией формантов на "центровые" и "периферийные". Уточним, что в нашем

понимании словообразовательная категория представляет собой гомогенную макросистему, объединяющую в качестве системообразующих подсистем словообразовательные типы, включающие идентичные по своей классификационной принадлежности форманты (например, только суффиксы, либо только префиксы и т. п.).

Не имея возможности более подробно останавливаться на важнейшей проблеме вычленения центра и периферии системы, отметим лишь, что, с нашей точки зрения, дифференциация формантов по шкале продуктивности все же не позволяет создать пластичное представление о внутренней упорядоченности деривационной системы, ее динамике. Примечательно, что некоторые из суффиксов деминутивов, несмотря на имеющиеся ограничители их продуктивности, тем не менее могут относиться к центровым; ср. суф. *-ik-* в чешском языке (данный формант предпочтительно присоединяется к короткосложным словам, чаще заимствованного происхождения; многие из них имеют скопление согласных в основе) устойчиво принадлежит к центру системы, так как он компенсирует комбинаторные лакуны, характерные для самого продуктивного суф. *-ok-*, т. е. он является как бы его сателлитом. Важно иметь в виду, что поляризация словообразовательных типов в направлении центра и периферии осуществляется с неодинаковой скоростью как в различных словообразовательных категориях, так и в языках.

В связи со сказанным выше мы считаем принципиально важным подчеркнуть, что сопоставительное изучение близкородственных языков дает нам уникальную возможность наблюдать диахронию в пространстве, т. е. синхронно зафиксировать различные стадии протекания одного и того же языкового процесса. Так, в деминутивном словопроизводстве чешский язык в своей истории прошел полный цикл вытеснения "Ц"-формантов; русский и болгарский развиваются в сходном направлении, но с несколько меньшей скоростью – в сербохорватском языке наблюдается более сложная картина. Интересные перспективы открываются в этой связи в сфере лингвистического прогнозирования.

Как нам представляется, исследователями все еще недостаточно учитывается тот факт, что по своей сути язык является многослойным явлением, развивающимся с неодинаковой скоростью в различных пластах и звеньях своей системы. Чаще приходится слышать о неодинаковой мобильности различных уровней языковой системы (например, о большей динамичности лексики), однако и в пределах одного и того же уровня, в частности, в словообразовании динамика может быть неодинакова в зависимости от того, относится ли та или иная словообразовательная категория к

магистральным путям номинации или же нет. Так, в современном языке значительно активизировалось образование профессиональных обозначений (главным образом, от десубстантивных основ), в результате чего интенсивнее протекают процессы поляризации, формирования центровых суффиксов в *Nom. actoris* по сравнению с *Nom. agentis*. Последняя, кстати, подвергается значительной внутренней подвижке, что проявляется, в частности, в оттоке профессиональных обозначений, их переосмыслении как десубстантивных образований, усилении экспрессивного использования; ср. совр. рус. *запретитель, оскорбитель, голосовальщик, доноситель, делатель, выступатель, несун, везун* (см. последние новообразования в контексте: Помимо пешего *несуна*, в силу все больше входит теперь *несун* машинизированный – *везун*, Правда, 1987). Очень выразительна динамика у *Nom. loci, Nom. abstracta*. В современных славянских языках буквально наблюдается "бум" в образовании абстрактных существительных; ср. рус. *международность, дурновкусие, самонаградность, октябрьскость, аппаратное держимордство, брианство* и т. п. Сказанное позволяет говорить о наличии общей тенденции в современном словопроизводстве.

Существенные коррективы в словообразовательные закономерности вносят различные явления контактного характера – мы имеем в виду, в частности, взаимодействие с другими языками; ср., например, заимствование иноязычных формантов; ср. в болгарском: суф. *-джия/-чия* и др.; суф. *-чик* из русского (*бетонджия, гипсиджия, изоляторджия, тапетджия, бюфетчия, паркетчия* и др.; *азотчик, аппаратчик, ремонтчик, дестилаторчик*).

При изучении деривационных тенденций следует уделять больше внимания и социолингвистическим факторам, в первую очередь влиянию разговорной речи. Это особенно важно в настоящее время, когда создаются предпосылки для пересмотра социолингвистического статуса разговорной речи. Ныне мы имеем все основания говорить о все возрастающем влиянии разговорного языка на литературный, о необходимости более толерантного отношения к норме и кодификации литературного языка, к его стиливым эталонам. Мы убеждены в том, что следует перестать видеть в разговорном языке более низкую ступень в единой иерархической лестнице национального языка, некоего младшего партнера.

Симптоматичным является следующее наблюдение: устойчивость позиций того или иного форманта в разговорной речи подкрепляет его позиции и в литературном языке; ср. укрепление позиций суф. *-ář, -ař, -arž, -ar* (болг.). Примечательна значительная активизация в русском литературном языке нового времени суф.

-щик/-чик- (новообразования: *застройщик, перестройщик, переговорщик, панорамщик, уотергейтщик* и пр.). Несмотря на то, что многим из приведенных дериватов сопутствуют нежелательные для строгой литературной нормы стилистические коннотации разговорности, тем не менее иная деривационная альтернатива (пожалуй, кроме *перестроечник*) здесь отсутствует – литературный язык им может противопоставить лишь громоздкие описательные конструкции типа "сторонник перестройки", "участник переговоров" и т. п. Усиливаются и позиции суф. -ак. Примечательно, что он даже вторгается в сферу образования наречий (в разговорной речи); ср.: *стабильняк, верняк, точняк* и т. д.

Важно подчеркнуть, что для разговорной речи не является препятствием полисемия форманта (например, -ак), хотя многие исследователи именно в этом, на наш взгляд, не всегда правомерно, видят ограничитель продуктивности словообразовательного суффикса. По нашему мнению, полисемия форманта, вероятно, может затруднять его использование в таких специфических сферах коммуникации, как профессиональная речь (прежде всего терминологическая номенклатура), где желательна четкая соотнесенность с обозначаемым или же в экспрессивной речи, где важна броскость, незатертость средства выражения. В отличие от литературного разговорный язык обладает множеством компенсаторов нейтрализующих полисемию, к примеру, уточняющий контекст, жестикуляция и пр.

Следует подчеркнуть, что в сфере социолингвистики применение метода системно-функционального сопоставления может оказаться чрезвычайно результативным. Перспективным в этом отношении является сопоставительное изучение как разных форм существования этнического языка, так и языковых ситуаций в целом. Причем, эта конфронтация может проводиться как в синхронном, межъязыковом, так и во внутриязыковом, синхронно-диахронном аспектах.

Сложность решения этой проблемы заключается, однако, в необходимости пересмотра бытующих в лингвистической литературе представлений о строении этнического языка, о соотношении форм его существования. Зачастую эти представления вступают в противоречие с реальным состоянием коммуникации в обществе и поэтому нуждаются в пересмотре и уточнении. В связи с этим мы позволяем себе отметить, что эффективность использования сопоставительного метода в социолингвистике непосредственно зависит от уровня теоретико-методологического осмысления языкового материала, устранения разночтений в понимании ключевых социолингвистических понятий, отказа от некоторых традиционно

сложившихся стереотипов, не всегда адекватных реальному состоянию коммуникации. В пересмотре нуждается, например, интерпретация такого понятия, как "разговорный литературный язык", представляющего собой, на наш взгляд, теоретически смоделированную конструкцию. Спорной является и интерпретация национального (этнического) языка как единой, монолитной, внутренне строго иерархизованной системы³.

Так же, как и в словообразовании, развертывание сопоставительных исследований в социолингвистике станет возможным после разработки ее теоретико-методологических основ, появления добротных, непротиворечивых (а, главное, непредвзятых) описаний коммуникации в социуме. Разумеется, желательно, чтобы эти описания основывались бы на единой программе. Думается, что это дело ближайшего будущего, дело весьма перспективное, имеющее большое значение для выработки стратегии и тактики языковой политики.

Примечания:

1. См. по этому поводу: Барнет Вл. К проблеме языковой эквивалентности при сравнении. – Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983.

2. См. Нецименко Г. П. Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII – середина XX вв.) Прага, 1980 и др.

3. См. в этой связи: Нецименко Г. П. Функциональное членение чешского языка. – Функциональная стратификация языка. М., 1985. Она же. Проблема функциональной дифференциации национального языка в аспекте сопоставительного изучения славянских языков. – X Международный съезд славистов. Славянское языкознание. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М., 1988.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛГАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ПЕРИОДА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Е. В. Чешко

Задача изучения истории литературного языка состоит в определении основных периодов его развития, характеристике состояния литературного языка в каждый период по сравнению с предыдущим и выяснении причин происшедших изменений.

Очевидно, объектом изучения должны явиться те стороны литературного языка, которые отличают его от живого народно-разговорного языка. Это прежде всего его письменная фиксация, которая определяет возможность сознательного воздействия людей на письменный язык с целью сделать его единым и общепонятным (для всего этнического сообщества или его определенных слоев), что достигается посредством нормирования. Нормирование касается в первую очередь состава и употребления буквенных и других письменных знаков и написания слов и форм, т. е. орфографии, которая в средние века являлась главным объектом нормирования; нормирование касается также употребления слов и форм, образования форм, словообразования, лексики и синтаксиса, а именно пополнения письменного языка теми лексическими и грамматическими средствами, которые позволили бы ему успешно выполнять функции, возложенные на него обществом в данное время.

Однако развитие литературного языка зависит не только от задач, которые ставит перед ним общество, но также от той языковой ситуации, которая сложилась к данному этапу развития литературного языка, и в первую очередь, соотношения живого народно-разговорного и литературного языка. Развитие живого языка приводит к расхождению норм литературного языка с узусом живого языка. Проникновение особенностей живого языка писцов в письменный язык приводит к нарушению норм письменного языка, по мере накопления этих нарушений возникает потребность нового нормирования. При этом происходит либо укрепление старых норм и изгнание из литературного языка новообразований,

либо создаются новые нормы, приспособленные к изменившейся языковой ситуации. Иногда сочетается и то, и другое.

Степень разрушительного влияния живого языка на традиционную норму зависит не только от тех изменений, которые произошли в живом языке, но также от состояния письменной культуры в данный период, что в свою очередь определяется степенью стабильности общества и государства, его единством или разобщенностью. Общественные катаклизмы (войны, междоусобицы, поражение страны другими народами) и иные факторы, порождающие общий упадок культуры, приводят к ослаблению нормализаторской деятельности, расшатывают нормативность и единство письменного языка, способствуют проникновению в литературный язык диалектных особенностей и новых грамматических структур, которые появились в изменившемся живом языке. Феодальная раздробленность способствует возникновению региональных норм.

При этом нужно иметь в виду, что нарушение стабильности традиционных литературных норм происходит не мгновенно с наступлением новой исторической ситуации, а по прошествии определенного времени, иногда в течение жизни одного-двух поколений. Поэтому периодизация истории литературного языка не может механически опираться на историческую периодизацию.

Другим важным фактором языковой ситуации, влияющим на развитие литературного языка, является его отношение к другим языкам, с которыми данный литературный язык вступает в контакты. Для литературного языка среднеболгарского периода это древнегреческий, сербский и отчасти древнерусский. Так, византийские списки служат эталоном при создании правленных редакций славянских книг. Различное нормирование заимствований из языка греческого оригинала связано с принципами перевода, принятыми в тот или иной период. Эти принципы в свою очередь формируются под влиянием языковой ситуации и тех целей, которыми руководствуются книжники, создающие новые переводы или новые редакции существовавших ранее книг. Такова связь факторов, определяющих развитие литературного языка.

Итак объектом исследования в истории литературного языка является литературная норма и ее изменения. Предмет исследования может быть определен как развитие литературной нормы и выяснение причин и факторов, вызывающих изменения и определяющих направление и особенности ее развития.

Рассмотрим теперь вопрос о подходе к изучению истории литературного языка и его периодизации, о порядке исследования: идти ли от описания развития языковых явлений к анализу факторов,

определяющих это развитие, или наоборот – сначала анализировать общественно-историческую обстановку и языковую ситуацию, обусловившие особенности развития литературного языка данного времени, а затем переходить к рассмотрению того, как реагировал литературный язык на эти факторы, какие изменения в нем произошли. В основу периодизации может быть положен как первый, так и второй подход. Недостаток второго подхода состоит, на наш взгляд, в том, что трудно учесть все факторы, влияющие на изменения литературного языка в каждый данный период, не определив сначала самих этих изменений. Берется обычно один, с точки зрения автора, наиболее важный и общий фактор. Так, Д. Иванова-Мирчева в основу своей периодизации литературного языка донационального периода положила фактор соотношения народно-разговорного и литературного болгарского языка. При этом выделяются две различные тенденции в использовании книжниками народно-разговорного языка для формирования норм литературного языка: первый период IX–XII вв. характеризуется тем, что "връзка между говоримата и книжовната форма на народността език е естествена и влиянието между тях силно, особено от страна на говоримия език върху книжовния"¹; второй период XIII–XIV вв. характеризуется тем, что "български книжовници... не търсят своите изрази средства в говоримата реч, така както и техните съвременници в тогавашния средновековен свят не ги търсят в говоримата реч"². И, наконец, третий период характеризуется наличием обоих типов литературного языка: традиционного типа, продолжающего второй период, и типа литературного языка, близкого к народному.

Предложенная Д. Ивановой-Мирчевой периодизация носит слишком общий характер и нуждается в детализации. Она характеризует не фактическую историю самой литературной нормы, но лишь подход книжников к избранию эталона для этой нормы, и то в самом общем виде. Один и тот же принцип выбора эталона для нормирования литературного языка – обращение к народно-разговорному языку – приводит к созданию разных структур литературного языка в древнеболгарский и новоболгарский период. Влияние народно-разговорного языка на литературный может определяться не только сознательной деятельностью книжников, но носить и чисто стихийный характер, обычно разрушающий традиционную книжную норму. Отталкивание от народно-разговорного языка также может приводить к разным результатам нормировки в зависимости от того, взяты ли за эталон просто традиционные нормы, что мы находим, например, в период царствования Асеня II, или эталоном служит текст греческого оригинала (например, в Норов-

ской псалтыри), или тенденция грецизации перевода дополняется архаизацией, что находим в афонской и евфимиевской традиции. Орфографические нормы могут заимствоваться (например, ресавская орфография в болгарской письменности XV в.). Наконец, могут создаваться собственные искусственные нормы орфографии, что наблюдается, например, в письменности XII в. Если, как правильно отмечает автор, "в книжовната форма съществува необходимата за всеки книжовен език норма – правописна и езиковостилна"³, то совсем неравномерно относить к древнеболгарскому периоду литературный язык XII в., как это сделано в предлагаемой периодизации, потому что в XII в. уже сформировались новые орфографические нормы употребления юсов и еров (среднеболгарская мена юсов и, как правило, одноерова орфография)⁴. В периодизации Д. Ивановой-Мирчевой никак не выделяются периоды упадка литературной нормы, что является неотъемлемой частью ее истории. Например, вторая половина XIII в. – период междуусобных войн и феодальной раздробленности⁵.

Таким образом, принятый принцип периодизации оставляет не выявленными важные этапы развития литературной нормы. Заметим также, что лингвистические и экстралингвистические факторы, оказывающие влияние на развитие нормы, в разные периоды времени могут быть различными. Поэтому класть в основу периодизации истории литературного языка один какой-либо фактор вряд ли правомерно.

Какие аспекты развития нормы должны быть приняты во внимание при описании ее истории? Прежде всего определение периодов ее стабильности и дестабилизации. Их чередование может служить канвой периодизации истории литературного языка в среднеболгарский период.

При исследовании нормы в отношении ее стабильности должны быть освещены вопросы сохранения традиционной нормы и ее нарушения, а также становление и стабилизация вновь возникших норм на разных уровнях языка. В отдельные периоды истории литературного языка норма может нарушаться на различных уровнях языка, следовательно, и нормализации в разные периоды могут подвергаться различные уровни языка. Так, например, рукописи XII в. отличает нормированная орфография и вместе с тем нарушения традиционной нормы в синтаксисе падежей: отмечаются случаи смешения родительского падежа с винительным и именительным, родительного и местного после предлогов. Эти процессы только намечались в древнеболгарском, в XII в. они ярко выражены, особенно в рукописях второй половины и конца XII в.

Укрепление Болгарского царства при Асене II способствовало усилению нормализаторской деятельности книжников. Основным принципом было возвращение к традиционным нормам, что коснулось в первую очередь употребления падежей. В конце XIII в. наблюдается нарушение нормативности как в орфографии, так и в употреблении падежей, доходящие в македонской письменности до полного хаоса. Тырновская письменность сохраняется в лучшем состоянии, что В. Н. Щепкин объясняет различиями в живом языке этих разных регионов. Возможно, тут действуют и более прочные традиции сохранения нормированного языка⁶. Это отмечает и Д. Иванова-Мирчева, проводя резкую грань между тырновской и нетырновской письменностью, что находит отражение даже в предложенной периодизации⁷. Несомненно, тырновским книжникам принадлежит ведущая роль в нормализации литературного языка среднеболгарского периода.

Однако рукописи образцовой нормировки известны и среди нетырновских памятников, например, охридская рукопись – Болонская псалтырь⁸. Нетырновские рукописи XIV в. в отношении их литературной нормы почти не изучены. Перед исследователем истории литературного языка стоит задача выявления общих процессов в развитии литературной нормы и их региональных особенностей.

В памятниках, относящихся к разным языковым стилям и жанрам письменности, даже написанных одновременно, могут быть отражены разные стадии процесса разрушения традиционных норм и возникновения новых. В канонических текстах (Псалтыри, Евангелии, Апостоле) нарушение традиционных норм сказывается слабее, чем в неканонической церковной литературе, например, Триоди. Именно в триодях конца XIII в. наблюдаются наибольшие отклонения от традиционной нормы в орфографии и употреблении падежей, в эти тексты легче проникают новые аналитические конструкции и балканизмы⁹.

Специфика источников изучения истории болгарского литературного языка древне- и среднеболгарского периодов состоит в том, что до нас дошли, главным образом, тексты конфессиональной литературы, что, естественно, органичивает возможность исследования судьбы литературной нормы в других жанрах письменности. Однако следует иметь в виду, что в средние века эталоном литературной нормы был язык священного писания, так что мы располагаем первоисточниками формирования литературной нормы. Исходя из этих норм можно оценивать состояние и особенности нормировки в памятниках других жанров письменности.

Другой особенностью источников истории болгарского литературного языка периода средневековья является то, что сохранились, главным образом, тексты, переведенные с греческого. Однако, следует иметь в виду, что древнеболгарский литературный язык формировался на основе переводов греческих богослужебных книг. Поэтому одной из важных проблем истории литературного языка является вопрос о принципах перевода, которые не оставались неизменными на протяжении среднеболгарского периода.

Принципы перевода определялись целями, которым должны были служить эти переводы, и языковой ситуацией того времени, когда они создавались. Так, Кирилл и Мефодий, переводя греческие богослужебные книги на славянский язык, руководствовались миссионерскими целями проповеди христианского учения. Создаваемый ими славянский литературный язык должен был быть понятным славянам, что обязывало к максимально широкому использованию языковых средств славянского языка, существовавшего до сих пор только в разговорной форме. С другой стороны, язык перевода обязан точно передать все нюансы смысла, выражаемые высоко организованным греческим литературным языком. Языковая ситуация в славянском мире того времени была такова, что славяне разных племенных групп и народов могли без перевода понимать друг друга. Благодаря этому Кирилл и Мефодий имели возможность положить в основу создаваемого ими славянского литературного языка говор солунских славян, который они хорошо знали.

Кирилл и Мефодий прибегали к греческим словам и калькам, к греческим синтаксическим оборотам лишь в тех случаях, когда славянские языковые средства оказывались явно недостаточными для передачи богословской и философской основы новой религии. Только в этой сфере допускался, например, так называемый поморфемный перевод, в то время как в сфере совпадения славянской и греческой культуры применялся пословный перевод¹⁰.

Если мы обратимся теперь к богослужебным книгам начала XIV в., таким, как Норовская псалтырь, то увидим, что поморфемный способ перевода получил всеобщий характер, хотя к этому времени он утратил свою прежнюю обусловленность, так как христианская терминология была уже создана¹¹.

Обращение к поморфемному способу перевода было вызвано тем, что к началу XIV в. была нарушена старая нормативность литературного языка, который был наводнен ошибками в написаниях и употреблении синтетических форм, нарушениями старых орфографических норм, диалектизмами и другими отступлениями от старого нормированного языка. Господствующая в это время

философия исихазма, отождествлявшая слово с его божественной сущностью, считала порчу языка недопустимой, порождающей ереси. Однако в правке языка писцы не могли уже полностью полагаться на свое языковое чутье и обращались как к эталону к греческому тексту, стремясь к точной передаче словообразовательной структуры греческих слов (префиксов, суффиксов, внутренней формы слова), точной передаче реляционных элементов (артиклей, предлогов, частиц), калькированию глагольного управления, синтаксических оборотов, последовательному соблюдению порядка и количества слов, что приводило к образованию новых форм в словообразовании и синтаксисе. Примером такого текста может служить Норовская псалтырь.

Позднее (чему пример афонская редакция Псалтыри) вводится второй принцип, который несколько корректирует первый, освобождая славянский текст от грецизмов, противоречащих славянскому узусу. Этот принцип – следование древним нормам литературного славянского языка и изгнания из книжного языка новообразований, свойственных уже аналитическому в это время живому языку.

Переводческая и нормативно-редакторская деятельность книжников играла большую роль в истории болгарского литературного языка донационального периода, особенно в XIV в., когда усиленно проводилась правка болгарских церковных книг в восточной Болгарии и на Афоне.

Таким образом, в истории литературного языка среднеболгарского периода должна быть исследована не только нормативно-грамматическая, но также нормативно-редакторская деятельность книжников.

Методика изучения истории литературного языка, как и древней литературы, должна пользоваться методом текстологии. Главное преимущество такого подхода, говорит академик Д. С. Лихачев, состоит в том, что он "лишает ученого права довольствоваться приблизительным"¹². Современная текстология предполагает изучение истории текста отдельных памятников, т. е. процесса развития однородного текста. При сопоставительном рассмотрении разных списков, как пишет Д. С. Лихачев, "вскрывается уже не статическое явление, а литературный процесс его выработки и становления"¹³. Это в полной мере можно отнести к изучению становления и развития литературных норм в языке.

О ШТУРОВСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА

Л. Н. Смирнов

Одной из характерных черт эпохи словацкого национального возрождения (конец XVIII в. – середина XIX в.) является процесс возникновения и развития литературного словацкого языка. Именно в эту эпоху в кругах словацкой патриотической интеллигенции постепенно кристаллизуется осознание необходимости литературного языка, основанного на родной речи, который мог бы органично отражать национально-этническое своеобразие словацкого народа, способствовать развитию его национальной культуры. В хронологических рамках данной эпохи выделяются два основных взаимосвязанных этапа становления словацкого литературного языка. В конце XVIII в. была осуществлена языковая реформа А. Бернолака (1762–1813), благодаря кодификаторской деятельности которого словацкий язык, не имевший прежде узаконенной письменной формы существования, был впервые поднят до уровня литературного языка. Этот литературный язык ("бернолаковщина") вступил в конкуренцию с чешским языком, который с XV в. функционировал в Словакии в качестве литературно-письменной формации. Он получил признание лишь в среде словацких католиков и просуществовал в практическом пользовании около шестидесяти лет, так и не став общесловацким литературным языком. В середине XIX в. в общественно-культурную жизнь Словакии вошел новый вариант литературного языка, называемый по имени его кодификатора Л. Штура (1815–1856) "штуровщиной". На его основе сформировался единый национальный литературный язык словаков¹.

Концепция нового литературного языка, обоснованная в научных трудах Л. Штура и получившая воплощение в его кодификаторской деятельности, была неотъемлемой составной частью общей программы борьбы прогрессивной словацкой интеллигенции за национально-культурное пробуждение словацкого народа.

В первой половине XIX в. словацкое национальное движение было расколото на два основных течения: по конфессиональному,

национально-идеологическому и языковому признаку: протестантское и католическое. Словацкие протестанты придерживались концепции национального единства чехов и словаков, пользовались в письменности чешским литературным языком ("библичтиной"). У словацких католиков преобладало стремление к национальной и языковой самостоятельности. После реформы Бернолака они стали пользоваться словацким литературным языком. Кроме того, в 20–30 годы велись поиски "третьего пути" в решении языкового вопроса – осуществлялись опыты включения в нормы чешского литературного языка некоторых типично словацких фонетических, грамматических и лексических элементов с целью создания специфического "чешско-словацкого" литературного "стиля", более понятного и доступного словакам (Я. Коллар и П. Й. Шафарик)², но они не имели большого значения. Правда, до начала сороковых годов Штур тоже питал некоторые надежды на такой путь выхода из языковой разобщенности словаков.

В этих условиях введение нового словацкого литературного языка имело, по замыслу Штура, принципиально важное социальное назначение – он призван был стать решающим фактором национальной консолидации. Штур и его сторонники видели в нем "связующее звено нашей духовной и национальной жизни", "символ нашего единства"³, необходимое средство преодоления раскола национально-патриотических сил.

Штуровцы придавали новому литературному языку большое значение и как орудию просвещения простого народа, как эффективному средству преодоления неграмотности в словацком обществе. Для них было характерно глубокое понимание роли родного языка как выразителя национальной самобытности. Штур неоднократно подчеркивал, что далеко не безразлично на каком языке развивать духовную жизнь нации.

Исходным положением штуровской концепции нового литературного языка был тезис о самобытности словацкого языка в кругу других славянских языков. Штур провел тщательное исследование, чтобы выяснить является ли этот язык диалектом (rozličnorečja) чешского языка (как было принято тогда считать) или же он представляет собой самостоятельное, отдельное образование. И только убедившись в том, что это "особый язык", Штур выдвинул идею ввести его "в наши сочинения и в нашу общественную жизнь"⁴. В противном случае, замечает он, напрасным было бы желание возвести словацкий язык в ранг литературного. Тезис о самостоятельности и самобытности словацкого языка органически вытекал из представлений штуровцев о национальной самобытности словаков, которые базировались на новой концепции славянского един-

ства, на творческом переосмыслении учения Я. Коллара о славянской взаимности. В начале 40-х годов происходит глубокий кризис "колларовской четырехплеменной структуры славянского народа как закрытой статической системы"⁵ (напомним, что по Коллару "славянский народ" складывался из четырех "племен" – русского, польского, чехословацкого и иллирийского). Штур в рамках единого славянского народа выделяет не четыре, а одиннадцать племен, в том числе и словацкое, со своими отдельными языками. По его мнению, развитие отдельных "племен" как этнических индивидуальностей должно способствовать укреплению и процветанию славянского "народа" в целом. Таким образом, Штур приходит к выводу о необходимости отказа от чешского языка ("библичтины") и перехода на литературный язык, основанный на родной речи словаков.

В связи с этим, однако, естественно вставал вопрос об отношении штуровцев к той форме словацкого литературного языка ("бернолаковщине"), которая уже употреблялась в среде католической части словацкого общества. Штур положительно оценивал традицию бернолаковщины и подчеркивал, что в принципиальном плане он продолжает линию Бернолака. Вместе с тем он указывал, что кодифицированный Бернолаком литературный язык, опирающийся на западнословацкую диалектную основу, не имеет перспективы, поскольку не отражает "чистой" словацкой речи, представленной в среднесловацких говорах. В этом плане он рассматривал бернолаковщину как переходное связующее звено между чешским литературным языком и новым словацким литературным языком, в основу которого была положена "чистая" народно-разговорная речь. Современными исследователями доказано, что базой штуровского литературного языка является не какой-то конкретный среднесловацкий говор, а так называемый "культурный среднесловацкий язык" (kultúrna stredoslovenčina)⁶ или, в другой терминологии, "среднесловацкий культурный интердиалект"⁷. Следовательно, произошла смена диалектной основы литературного словацкого языка. Выбор диалектной основы, сделанной Штуром, был не случайным. С одной стороны, в этом проявились его субъективные романтические представления о среднесловацких говорах как наиболее древних, хорошо сохранившихся, "самых чистых". С другой стороны, Штур учитывал и объективные данные: наблюдения показывали, что среднесловацкие говоры занимают самую значительную часть территории Словакии, они наиболее употребительны и устойчивы. Более того, некоторые среднесловацкие элементы выходили за пределы своей диалектной области, проникали в западнословацкие и восточнословацкие говоры.

Интересно решалась Штуром проблема соотношения литературного языка и диалектной речи. Хотя в его работах нередко встречаются высказывания о поднятии словацкого диалекта на уровень литературного языка, это не значит, что имелся в виду какой-то формальный акт создания письменности на данном диалекте. Штур понимал, что формирование литературного языка на основе народно-разговорной речи – это сложный и длительный процесс, требующий тщательного отбора и обработки языковых средств, их нормализации, кодификации и стабилизации. При этом прежде всего им рассматривались вопросы нормализации элементов письменной формы словацкого языка. Поэтому у него определения "письменный" и "литературный" выступали как синонимические. Это вполне объяснимо: на начальном этапе функционирования нового литературного языка нужно было в первую очередь установить единые нормы его письменной формы.

Совершенно справедливо Штур считал, что литературный язык должен представлять собой определенным образом организованную систему. Поэтому он не соглашался с теми, кто предлагал собрать из всех словацких говоров "хорошие", наиболее отточенные формы и из них образовать единое целое – словацкий литературный язык, поскольку это создало бы пеструю "мешанину" и открыло бы дорогу всякому своеволию и беспорядку⁸.

Обоснование предпринятой языковой реформы, аргументы в пользу нового литературного языка, единого для всех словаков, находим во многих статьях и выступлениях Штура, но наиболее развернуто и полно они изложены в книге "Словацкое наречие или необходимость писать на этом наречии"⁹. Кодификация литературно-языковых норм и научное описание грамматического строя словацкого литературного языка представлены в книге "Наука словацкого языка"¹⁰. Сам Штур подчеркивал, что это не практическая грамматика, а труд, базирующийся "на исследовании и объяснении внутреннего строя и порядка нашего языка"¹¹.

Отметим некоторые типичные черты штуровской кодификации.

Прав о п и с а н и е. Правописание, по мнению Штура, должно основываться на произношении. Вслед за Бернолаком он ввел фонетический принцип правописания, что позволяло особенно четко показать отличие словацкого языка от чешского. Среди конкретных рекомендаций назовем следующие:

На месте этимологического *y*, *ý* предлагалось писать *i*, *í*, например, *bit'* (а не *byt'*), *chiba* (а не *chyba*) и т. п.

Штур узаконил обозначение мягкости согласных *p*, *t*, *d* не только перед гласными *a*, *o*, *u*, но и перед *i*, *e*, а также перед дифтонгами *ja*, *je*, например, *mja*, *t'a*, *l'ud'om*, *nápadník*, *paňe*, *peňjazmi*,

ňje len, *t'i*, *ot'ec*, *host'ja*, *vyhod'it'*, *úd'el* и др. Благодаря этому появилась возможность графически фиксировать характерное для среднесловацкой диалектной области противопоставление указанных согласных по твердости – мягкости.

Штур впервые кодифицировал обозначение долготы не только гласных *á*, *í*, *ú*, но и плавных согласных *l'*, *ř'*, которые в словацком языке могут выполнять слогаобразующую функцию, например, *víša*, *brkat'* и т. п.

Вместо графем *w*, *g*, *g*, используемых в бернолаковщине, Штур узаконил графемы *v*, *j*, *g*.

Фонетика. Описывая фонетическую систему словацкого языка, Штур выделил пять кратких гласных *a*, *i*, *u*, *e*, *o* и соотносительные с ними долгие звуки. Причем кратким *a*, *i*, *u* соответствовали долгие *á*, *í*, *ú*, а кратким *o*, *e* соответствовали, как правило, дифтонги *uo*, *je* (долгие *ó*, *é* он считал нетипичными для словацкого языка). С кратким *a* мог соотноситься также дифтонг *ia*.

Штур закрепил в литературной норме типичные среднесловацкие дифтонги *ja*, *je*, *uo* (в написании *ja*, *je*, *uo*), например, *vid'ja*, *pjest'*, *kuoň*.

Примечательно, что в систему вокализма Штур не включил характерный для некоторых среднесловацких говоров звук *ä* (широкое открытое *e*, ср. совр. *mäso*, *pät'*, *vädnutí'*, *žriebä*). Он считал его неистинным дифтонгом, который как незаконный и к тому же исчезающий "не принадлежит нашему литературному языку"¹². На месте *ä* в штуровщине писалось *a* или *e*, например, *svatí*, *zavazuje*, *najme*, *vezeň* (ср. совр. *svätý*, *zaväzuje*, *najmä*, *väzeň*).

Характерной чертой штуровской литературной нормы было произношение *u* в формах глагола прошедшего времени типа *bou*, *tau*, *volau*, *robiu*. Правда, в качестве вариантного произношения допускалось и *-l* (как в совр. формах *bol*, *mal*, *volal*, *robil*).

Несомненной заслугой Штура было открытие ритмического закона сокращения долгот, по которому в слове не могут следовать друг за другом два долгих слога. Характеризуя эту типичную для среднесловацких говоров черту, Штур писал: "В чистом словацком языке нигде не встречаются два долгих слога, и даже если один из слогов по своему характеру должен быть долгим, он сокращается, когда ему предшествует долгий слог"¹³. Это правило реализовалось в штуровщине достаточно последовательно, например, *hádžu* (а не *hádžú*), *vjažu* (а не *vjažú*), *pjati* (а не *pjatií*) и т. п.

В системе согласных, которая в основном совпадает с нормами современного словацкого литературного языка, Штур специально выделяет аффрикаты *dz* и *dž*, подчеркивая в этом пункте отличие словацкого языка от чешского, например, *hádzat'*, *chuodza*, *džavotat'*.

Отличительной чертой штуровской системы кодификации является отсутствие мягкого *l* (*l'*). Штур исходил из того, что этот звук недостаточно распространен в словацких говорах и неэстетичен ("неприятный")¹⁴.

Несмотря на то, что Штур не принял такие типично среднесловацкие языковые элементы, как звуки *ä* и *l'*, кодифицированная им фонетическая система в целом хорошо отражает характерные особенности звукового строя среднесловацких говоров.

Грамматика. Узаконенная Штуром система морфологических норм характерна (с незначительными изменениями) и для современного литературного словацкого языка. Подчеркнем, что в своем грамматическом сочинении Штур стремился постичь системную организацию языка, учитывать узус народно-разговорной речи, акцентировать внимание на живых, продуктивных явлениях описываемого языка¹⁵. Укажем лишь некоторые типичные для штуровщины морфологические черты:

Окончание форм Им. и Вин. падежей ед. ч. имен существительных среднего рода *-ja*, например, *nárečja, svedomja, zdravja* (совр. норма – окончание *-ie*).

Окончание форм Твор. падежа мн. ч. имен существительных *-mí, -amí*, например, *susedmí, medvedmí* и *medved'amí, volmí* и *volamí, slovmí* и *slovamí* и т. п. (совр. норма – окончание *-mi, -ami*). При действии ритмического закона *i* сокращался: *pánmi*.

Окончание форм Дат. падежа ед. ч. имен существительных среднего рода *-ú*, например, *staveňú, znameňú* (совр. норма – окончание *-iu*).

Окончание форм Им. и Вин. падежей ед. ч. прилагательных среднего рода *-uo*, например, *dobruo, potrebnuo* (совр. формы *dobré, potrebné*).

Наличие дифтонга *je* в падежных окончаниях имен прилагательных, например, *dobrjeho, dobrjemu, každjeho, každjemu* (совр. формы *dobrého, dobrému, každého, každému*).

Формы инфинитива на *-uvat'*: *obetuvat', považovat'* (совр. формы *obetovat', považovat'*) и т. п.

Штуровские регламентации в сфере морфологии были не всегда жестки и однозначны, в ряде случаев допускалась возможность употребления вариантных форм.

В целом же Штуру блестяще удалось уловить фонетическую и формальную систему среднесловацкого диалекта¹⁶.

Большое внимание Штур уделял вопросам нормализации и развития словарного состава литературного словацкого языка, хотя и не создал специальных лексикологических или лексикографических работ. В своих общих лингвистических трудах, в редакторской

и журналистской деятельности он не только излагал теоретические взгляды по этим вопросам, но и предлагал их конкретные решения. И в этой сфере Штур выступал за чистоту словацкого языка, за обогащение его словарного состава местной диалектной лексикой, элементами словацкой народно-поэтической речи. Штуровцы по-новому понимают роль и значение для литературного языка речевых средств простого народа. В отличие от многих словацких деятелей старшего поколения (Я. Коллар, П. Й. Шафарик и др.), которые считали, что лексические элементы простой крестьянской речи непригодны для литературного языка, Штур и его последователи смело включали эти элементы в литературные тексты, рассматривая их как полноценные компоненты словарного состава литературного языка¹⁷. Штур, однако, понимал, что литературный язык не может ограничиваться лексикой, бытовавшей в среднесловацких говорах. Свое понимание путей обогащения и развития словарного состава литературного языка он кратко сформулировал в "Объявлении о словацкой национальной газете", в котором писал: "Народ, который в науках (*scientia*) на своем языке до сих пор мало что сделал, у которого не было общественной высшей жизни, не обладает и словами, относящимися к этим высшим предметам (*objectum*), поэтому желая взяться за это, он вынужден прибегать к образованию или заимствованию слов. И нам придется так же поступить"¹⁸.

В отношении заимствованных слов Штур в целом занимал достаточно трезвую, свободную от крайностей пуризма позицию. Доказывая лексическое своеобразие словацкого языка, его отличие в этом плане от чешского языка, он вместе с тем считал возможным и полезным заимствовать чешские слова, которые отсутствовали в словацком языке. В связи с этим не удивительно, что в текстах на штуровщине встречается немало лексических богемизмов. Многие из них выступали в свойственной словацкому языку огласовке или морфологической форме. Особенно значительным было влияние чешского языка на формирование словацкой научной терминологии и абстрактной лексики. Как отмечал Э. Паулини, наиболее важная часть специальных терминов литературного лексикона была заимствована в штуровский период из чешского языка¹⁹.

Аналогичным было отношение Штура к иностранным словам, особенно имевшим международный характер (европеизмам). Он признавал возможность их использования в литературном словацком языке, но наряду с этим порой довольно резко выступал против чрезмерного употребления иностранных слов, поскольку это делает тексты непонятными для широкого круга читателей.

В заключение отметим демократическую направленность языковой реформы Штура. Литературный язык, кодифицированный им на основе народно-разговорной речи, предназначался не для элиты словацкого общества, а был рассчитан на признание и распространение в самых широких слоях народа. Этот новый литературный язык, по замыслу Штура, должен был поддержать и укрепить развивающееся национальное самосознание словаков, помочь им осознать свою принадлежность к единому национальному коллективу.

Примечания:

1. Подробнее об этом см.: Смирнов Л. Н. Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения (1780–1848). – Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978, с. 86–157. Он же. О роли реформы М. М. Годжи – М. Гатталы в истории словацкого литературного языка. – Славянское и балканское языкознание: История литературных языков и письменность. М., 1979, с. 232–245. Paulíny E. Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava, 1983, s. 74–199.
2. См.: Tóbbik Š. Šaráríkov a Kollárov jazyk. Príspevok k vývinu českého a slovenského jazyka v období národného obrodenia. Bratislava, 1966. Смирнов Л. Н. Формирование словацкого литературного языка..., с. 117–122.
3. Štúr L'. Hlas oproti Hlasom. – Orol Tatránski. V Prešporuku, 1846, Roč. II, Čís. 35, s. 275.
4. Štúr L'. Dielo, I. Bratislava, 1986, s. 307.
5. Dejiny Slovenska, II. Bratislava, 1987, s. 715.
6. Paulíny E. Op. cit., s. 120, 179.
7. Смирнов Л. Н. Указ соч., с. 151.
8. Štúr L'. Hlas k rodákom. – Štúr L'. Dielo I, s. 209.
9. Štúr L'. Nárečia slovenskuo alebo potreba písania v tomto nárečí. V Prešporuku, 1846.
10. Štúr L'. Náuka reči slovenskej. V Prešporuku, 1846.
11. Štúr L'. Dielo I, s. 306.
12. Štúr L'. Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Turč. Sv. Martin, 1943, s. 159.
13. Štúr L'. Op. cit., s. 266.
14. Štúr L'. Op. cit., s. 222.
15. Ср.: Blanár V. L'udovít Štúr ako jazykovedec. – Slovenská reč. 1956, Roč. 21, Čís. 3–4, s. 153.
16. Jóna E. L'udovít Štúr – kodifikátor spisovnej slovenčiny. – L'udovít Štúr. Život a dielo. 1815–1856. Bratislava, 1956, s. 211.
17. Ivanová-Šalingová M. Príspevok k štýlu štúrovskej prózy. Bratislava, 1964, s. 36.
18. Štúr L'. Politické state a prejavy. Bratislava, 1956, s. 37.
19. Paulíny E. Op. cit., s. 185.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НАУКИ

О ПОЛЬЗЕ ТРАДИЦИЙ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ ПРОГРЕСС (Роль преемственности в литературном творчестве)

Л. Н. Будагова

“Что такое национальная литература, иначе говоря, литература вообще, я, собственно понял лишь этим летом, когда стал больше читать по-английски. Эта великая последовательность поколений в литературном мире, эти сражения и связи, эти обновления, которые являются исправлениями, эта традиция, которая облегчает прогресс вместо того, чтобы препятствовать ему”¹, – написал в 1940 г. Бертольд Брехт, выразив в, казалось бы, частном замечании о конкретной литературе один из законов развития искусства: сложную диалектику “сражений и связей”, отрицания и преемственности.

В конечном итоге эта диалектика торжествует, хотя далеко не всегда оба фактора (отрицание и преемственность) выступают в своем единстве. В реальном литературном процессе мы нередко встречаемся как с недооценкой, так и с гиперболизацией каждого из них, что чревато либо консерватизмом и эпигонством, либо “разрушением основ”, превращением творчества в экспериментальную лабораторию.

Но даже если отвлечься от этих крайностей, то и тогда можно констатировать превалирование то одного, то другого фактора, что зависит и от доминирующей поэтики, и от общественной ситуации, и от индивидуальных склонностей писателя. По типу отношения художника к каждому из них можно в какой-то мере судить о типе писательского творчества. Так, в XX веке, например, авторы, тяготеющие к реализму, осознают, как правило, роль преемственности, опираются на традиции национальной и мировой классики. Представители художественного авангарда, напротив, акцентируют в развитии искусства момент отрицания художественного опыта предшественников.

Успехи европейских литератур XX века (особенно поэзии) ассоциируются во многом с творчеством писателей, связанных с

авангардистскими течениями, выступавшими под знаменем "анти-традиционализма". И возникает вопрос, не опровергают ли достижения его поборников мысль о пользе традиций, "облегчающих прогресс, вместо того, чтобы ему препятствовать"? И что означал этот "анти-традиционализм", с чем был связан и насколько последовательно проявлялся? И, наконец, как объяснить непоследовательность этого принципа? Ведь в творчестве многих крупных писателей крен анти-традиционализма выравнивался, односторонность преодолевалась?

Возникновение художественных школ, поднявших бунт против классического наследия, объявивших бой всему традиционному, – одно из знамений XX века. Вспомним призыв Маринетти 1909 г.: "Мы стоим на обрыве столетий!... Так чего же ради оглядываться назад?... Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки..."² Ему был созвучен и воинственный клич некоторых российских писателей, готовых "сбросить Пушкина с корабля современности". Наиболее резко выраженная в футуристических манифестах, тенденция отмежевания от искусства прошлого стала общей чертой многих художественных течений начала XX века. При всей своей неоднородности, при всем различии идейно-эстетических программ и философских платформ, футуризм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, поэтизм, надреализм, – сходились в эстетическом нигилизме, в попытках начать сначала свою страницу в истории искусства, как бы полностью отрешившись от исписанных чужими руками страниц.

Пафос ниспровергательства авторитетов в искусстве не нов. Любое художественное напразление, любая литературная эпоха в той или иной степени несла в себе полемику с прошлым, необходимую для самоопределения и самоутверждения рождающейся новизны. Момент отрицания устоявшегося, общепризнанного как бы заложен в механизме любого развития. Это одна из его пружин. "Отрицание как раз и есть (рассматриваемое со стороны формы) движущее начало всякого развития"³, – такова аксиома диалектики.

Отличительная черта авангардизма – не в самом факте, а в характере, в степени, в глубине и резкости этого отрицания. Он как бы укрупнил, подчеркнул этот момент развития, сделал на нем акцент, привлек к нему внимание.

Течения авангарда отрекались в первую очередь от близлежащего опыта "отцов". В более далеких литературных эпохах, среди "дедов" и "прадедов" они, напротив, стремились отыскать себе союзников. "Экспрессионизм существовал во все времена"⁴, – утверждали экспрессионисты, отыскивая родственные черты у

Кретьена де Труа, Шекспира, Гете и т. д. Дадаисты видели своих предшественников в Гете и в Стендале. По мнению Незвала, истоки любезного его сердцу сюрреализма скрывались не только в творчестве Аполлинера, но и в произведениях Карела Гинека Махи. И может показаться, что авангардизм нарушал преемственность не столько как таковую, сколько "последовательную, поступательную" преемственность, обращаясь "через голову ближайших предшественников к традициям отдаленных эпох"⁵. Но и это обращение было весьма своеобразным, выборочным, с большой долей негативизма. Фактически речь шла не о продолжении традиций (даже далеких), а о поисках созвучий, переключек, об установлении родословной, которая бы облагородила новое литературное движение, повысила его авторитет. Речь шла скорее о тенденциозном прочтении классиков под углом зрения завладевшей современным художником страсти, чем о наследовании их опыта.

В некоторых теориях авангардизма не без оснований видят связь с романтизмом. Но в то же время нельзя не заметить, что осуществлялась эта связь по большей части на уровне самых общих творческих установок. Так, новейшие течения унаследовали от романтизма идею торжества духа над материей, – но не в онтологическом, а в эстетическом смысле, как полное раскрепощение творческого субъекта, фантазии, не скованной законами объективного мира. С более конкретными литературными традициями того же романтизма представители авангарда солидаризироваться не спешили, особенно в начальную свою пору, пору рождения манифестов.

Развитие традиций, как известно, имеет две стороны. Одна связана с рецепцией, с восприятием опыта прошлого, другая – с его участием в творческом процессе, с преломлением в новом произведении. В русле авангардизма как бы происходило расщепление этого двуединства и редукция второго из слагаемых. Впитывая, воспринимая культурное наследие, соотнося с ним свое творчество (именно в ходе этих соотношений прочерчивались линии связей, пунктиры совпадений и переключек с искусством прошлых веков), художники-авангардисты стремились воспрепятствовать любым, даже импонирующим литературным влияниям, абстрагироваться от них. И для этого были свои основания.

За дерзостью авангардистских манифестов стоят не только субъективные причины – нравы их сочинителей, элементы само-рекламы, стремление через эпатаж, через скандал в благородном семействе привлечь к себе максимум внимания, – но и объективные потребности искусства, веяния времени. Начало нового столетия с его революционными зарницами, общественными ката-

клизмами, бурным развитием науки, новыми приметам цивилизации вызывало острую жажду новизны, потребность сказать, выкрикнуть – пусть непонятное, непривычное, но свое, ни на чье другое не похожее слово. А для этого нужно было освободиться из-под власти авторитетов, преодолеть инерционную силу традиций, чужие влияния. В эпоху интенсивных и многообразных литературных контактов, какую являл собой новый век, объектом и средоточием этих влияний становился по сути дела любой восприимчивый художник. Доступность чужого литературного опыта, возросшая с развитием технических и гуманитарных наук, средств коммуникации и информации, – создает известную опасность превалирования книжных впечатлений над непосредственными, опасность растворения "своего" в "чужом". Заметим, что как опасность это могло ощущаться лишь в эпоху высокого авторитета творческой самобытности.

И возникало острое, подчас гипертрофированное стремление воспрепятствовать чрезмерному вмешательству чужого опыта, принявшего форму традиций, в творческий процесс, очистить от него свое сознание, объявив настоящий бой всему традиционному.

Именно здесь, в реакции творческой личности на избыточность связей, на диктат "чужого" кроется, на наш взгляд, один из важнейших истоков авангардистского "нигилизма". Приглушить во имя "поэтической интеллигенции" – "интеллигентность благоприобретенную"⁶, – вот на что были одно время направлены усилия молодого В. Незвала.

Нигилистические тенденции проявлялись и в пролетарском искусстве начала 20-х годов. "Мы помним все, что Ленин строго осуждал пролетарское чванство, которое стремилось попросту сдать в архив все, что сделано было до нашей революции, и обещало в кратчайший срок создать новое с иголки пролетарское искусство", – писал А. В. Луначарский⁷. Здесь на первый план выступали социальные, идеологические моменты: классика отвергалась как искусство "буржуазное" (искусство феодально-буржуазных эпох), и больше с точки зрения содержания, а не формы. Отношение к традиционным, апробированным формам и приемам было вполне лояльным. Их целесообразность оспаривали не пролетарские писатели, а представители авангардных течений, и прежде всего поэты, лирики. Будто именно этот вид творчества настраивал на особо резкую эмансипацию от традиционных поэтик. Возможно, так и было.

"Вне традиций не бывает искусства, но нет другого вида словесного искусства, в котором традиция была бы столь мощной, упорной, труднопреодолимой, как в лирике"(Л. Гинзбург)⁸ В

какой-то мере в этом повинны устойчивые стихотворные формы, регулярные размеры и рифмы, как бы располагающие к использованию готовых словесных блоков, услужливо всплывающих в сознании поэтов. И это давление традиций, а вернее давление поэтических стереотипов, принимавшихся за традиции, создавали внутреннюю силу противодействия всему традиционному.

Труднопреодолимость в поэзии инерции художественного мышления, ощущение недостаточности полумер в этом процессе, провоцировали весьма решительное вмешательство новых "измов" в сложившиеся структуры поэтического языка. Это хорошо просматривается в программах разных авангардистских направлений. "Я не хочу слов, которые изобретены другими, – читаем в "Манифесте к первому вечеру дадаистов в Цюрихе" Хуго Балля. – Все слова изобретены другими. Я хочу совершать свои собственные безумные поступки, хочу иметь для этого соответствующие гласные и согласные... Можно стать свидетелем возникновения членораздельной речи. Я просто произвожу звуки. Всплывают слова, плечи слов, ноги, руки, ладони слов. Стих – это повод по возможности обойтись без слов и языка. Этого проклятого языка, липкого от грязных рук маклеров, от прикосновения которых стираются монеты"⁹.

"Синтаксис надо уничтожить, а существительные ставить как попало, или как они приходят на ум... Пунктуация больше не нужна... Самые верткие и неуловимые образы можно поймать густой сетью. Плетется частый невод ассоциаций и забрасывается в темную пучину жизни... Сплетать образы нужно беспорядочно и вразнобой. Всякая система – это измышление лукавой учености" (из "Технического манифеста футуристической литературы" Маринетти)¹⁰.

Антропофобия итальянского футуризма, стремившегося "полностью и окончательно освободить литературу от собственного "я" автора, то есть от психологии" и вместо человека "принять неживую материю"¹⁰, не была свойственна ни экспрессионизму, ни сюрреализму, ни поэтизму. Но художественные приемы, пропагандируемые футуристами, техника письма (алогизм, свобода ассоциаций и т. д.) стали элементами стилей и других течений. Как дадаизм, этот провозвестник сюрреализма, так и экспрессионизм культивировали "анархию восприятия"¹². Сюрреалистическая "бесконтрольность" явно перекликалась с футуристическим антиэстетизмом ("К черту показуху! Не бойтесь уродства в литературе..."¹³), а стремления сюрреалистов ограничить вмешательство разума, рассудка в творческий процесс увлекало их вслед за футуристами в "неоглядные дали"¹⁴ интуиции. Сходные принципы про-

возглашал устами своих теоретиков и чешский поэтизм. У него были свои задачи (в частности, освободить искусство от груза социальных проблем, от идеологии, нацелить на воспитание чувств), и своя логика рассуждений (поэтисты исходили из принципа разделения труда в современном обществе, пытаясь противопоставить художественное творчество утилитарной деятельности человека). Но обобщенная картина стилевых особенностей поэтизма во многом будто складывалась из стилевых элементов других течений. "Новая композиция без грамматических связей, ассоциативный метод поэтизации, целевое экономичное строение стиха, фантазия и воодушевление" (Б. Вацлавек)¹⁵.

Все эти сходства нельзя объяснить лишь взаимовлияниями, которые, конечно же, были. Но были и совпадения на почве отступления от традиционных стилевых систем. Новейшие течения стремились дать от них максимальный угол отклонения, что имело свой предел, где и встречались разные "измы", пропагандируя вместо логики – алогизм, вместо последовательного развития сюжета, мысли – поток ассоциаций, плюрализм неотстоявшихся впечатлений.

"Новое" в своем химически чистом виде имеет налет искусственности. Его органичность и эффективность обнаруживается в синтезе со "старым". Не случайно языковое новаторство "поэзии для поэтов" полностью раскрывает свою целесообразность в "поэзии для масс". Здесь позволительно одно отступление. Беседа в кулуарах научного симпозиума с итальянскими литературоведами¹⁶, я услышала, когда речь зашла о Маринетти, что ему не повезло, так как с ним рядом не было Маяковского, т. е. рядом с реформатором искусства не было художника, который эти бы реформы воплотил. Маяковский, впрочем, хоть был и не рядом с Маринетти, тем не менее реализовал в своем творчестве многие открытия футуризма, к которому себя причислял. Но направление эволюции Маяковского, его поэтики – это помимо всего и усиление в его творчестве традиционного начала, с которым взаимодействовало "новое".

Общепризнана роль Аполлинера в инспирации "нового поэтического сознания", новых ритмов, стихотворных структур и целых художественных течений. Но, выступая за активные "формальные поиски", способные привести к открытиям "в мире мысли и в лирике", он осуждал "крайности итальянского и русского футуризма", как "неумеренные", подчеркивал необходимость унаследованных от классиков "здравомыслия" и "чувства долга, которое очищает эмоции"¹⁷. В способности органично соединить смелый поиск с опорой на вековой опыт мировой культуры, "традиции с но-

ваторством" и состояло (по мнению больших ценителей его творчества – Арагона, Незвала и др.) подлинное величие Аполлинера. "Меня сначала потрясла бьющая в глаза старомодность этого основоположника современной поэзии, – писал Милан Кундера. – Но потом меня осенило, что это противоречие и есть ключ ко всему его творчеству: Аполлинер жил в эпоху, когда современная техника и цивилизация еще не стали обыденностью, ... когда поезд, телефон, радио, автомобиль только появились на свет, и когда на все это еще можно было смотреть с "другого берега", с берега уходящей старины, архаичности, ну хотя бы из окна нейглюкского замка, где жила аристократическая семья с гувернанткой и домашним учителем и где витал дух старой романтики"¹⁸. Но, вероятно, не только колорит времени, который вобрало в себя творчество Аполлинера, не только обстоятельства жизни, но и масштабы таланта определили связь Аполлинера с традициями.

Некоторые положения авангардистских программ как бы фиксировали мысль и энергию художника на отрицании опыта прошлого, препятствовали преемственности, что нарушало естественный ход творческого процесса, мешало развитию. В этом скрывается, на наш взгляд, одна из причин относительной (по сравнению с романтизмом, реализмом и его модификациями) кратковременности авангардистских течений и оттока от них целого ряда крупных писателей, тесно связанных с ними в начале творческого пути (Незвала, Бехера, Брехта, Арагона, Элюара и др.). Стремление восстать против преемственности, откликнуться на ее зов, властный, как зов природы, являлось одним из внутренних мотивов явной или скрытой полемики с антитрадиционализмом, а переход от отрицания традиций к их признанию, от преимущественного использования вновь изобретенных приемов к синтезу "старого" и "нового" определил логику развития многих деятелей культуры XX века.

Очень рано опасность эксплуатации новейших поэтических средств осознал В. Незвал и быстро перевел авангардистский нигилизм в иной режим, в отрицание эпигонства, в борьбу с книжными штампами, со стереотипами языка и мышления, взяв под свою защиту традиционное начало. Ведь пренебрежение им так же обедняло творчество как и другая крайность. "Сравним сознание со шкафом в несколько полок, – пишет он в эссе "Капля чернил" (1928). – Так называемые традиционалисты застряли где-то на предпоследней полке. Так называемые модернисты, т. е. ортодоксальные представители некоторых современных школ, черпают из самого верхнего ящика, переполненного актуальностями современной жизни. Это, бесспорно, поверхностная современность, которая истолковывает и превращает современность, или достижения

какой-нибудь творческой индивидуальности в правила для всех. Истинно творческая личность не скована последним слоем своего сознания... Она умеет освобождать в произвольном порядке слои своего сознания, смешивая их содержимое, создавая поистине новые и оригинальные комбинации"¹⁹.

Сходные мысли посещали и Луи Арагона в пору его связи с сюрреализмом. И он старался уйти от диктатуры однотипных форм, вернуться от свободного к традиционному стиху. Показывая закономерность утверждения верлибра, Арагон писал: "Но верно и то, что в XX веке эта свобода формы все чаще и чаще подменяла собой подлинную свободу поэтического творчества, что отказ от старой формы стихосложения как самоцель стал разновидностью "искусства для искусства" в поэзии, а запрещение писать традиционным стихом превратилось в настоящую тиранию. Тридцать лет тому назад передо мной встала такая проблема: я хотел донести содержание и смысл моей поэзии до широкого читателя, однако прибегнуть к помощи старого французского стиха я не мог: это означало бы пойти против воли немногочисленных, но влиятельных эрудитов и знатоков поэзии вообще. В тот момент моя свобода заключалась в том, чтобы воспротивиться вкусам своего времени, велению моды, утверждавшейся так же прочно, как мода на ампиры, луки и колчаны в XVIII веке, и писать мелодичным стихом, не применяясь к тому, кто их будет слушать – писать, опираясь на традицию французской версификации, не свободным стихом" (1959)²⁰.

В потребности использовать "старые" литературные конструкции признавался и Б. Брехт, отвечая на обвинения в формализме. "Я изучил старые формы лирики, повествования, драматургии и театра различных эпох и отказывался от них лишь в случаях, когда они мешали тому, что я хотел сказать. Почти в каждой области я начинал традиционно..." (1938)²¹.

Во всех трех случаях речь шла об использовании безличного творческого опыта, тех традиционных навыков, форм, приемов, которые являются всеобщим достоянием, образуя анонимные традиции, чьи истоки затеряны в веках.

Но укрепление связей с искусством прошлого, с классикой, действие закона преемственности проявлялось и в другом, в частности, в конкретных реминисценциях, в обращении к "вечным" образам мировой литературы, активизировавшемся в XX веке в процессе творческого переосмысления литературного наследия. Приведем в качестве примеров, (а их много в искусстве нашего столетия), лишь серии произведений В. Незвала и Б. Брехта, напи-

санных на литературной основе, с переработкой "готовых" сюжетов и образов. У Незвала это пьесы по мотивам Бомарше, Дюма, Кальдерона, Прево: "Новый Фигаро", "Три мушкетера", "Игра в прятки", знаменитая "Манон Леско" (1931–1940). У Брехта пьеса "Круглоголовые и остроголовые, или богач богача видит издалика" (1932–1934, переработка шекспировской "Меры за меру"), "Трехгрошовая опера" (1928), восходящая к "Опере нищих" Джона Гейя и др.

Активное вторжение в классику творчески зрелого, состоявшегося художника ничего не имеет общего с ее активным, часто стихийным восприятием в период литературной учебы, когда начинающий автор осваивает уроки больших мастеров. А этот этап обычно переживают будущие представители самых разных, даже полярных направлений. С завершением этого периода, когда в школяре пробуждается самобытный художник, нередко и возникала та самая обратная тенденция, которая стоит у истоков авангардизма: желание идти против течения, змансипироваться от прошлого, от отстоявшихся эстетических систем, дабы не повторять других, дабы не спугнуть уже проклюнувшееся, но еще не оперившееся индивидуальное начало. Если и опираться, то лишь на явления, не потерявшие обаяния новизны, если и искать союзников, то лишь среди тех, кто сам бунтует против эстетических канонов.

Разумеется, все это характерно именно для эпохи, где велик авторитет самобытности. В век классицизма, например, ориентация на литературные каноны, а стало быть активное использование чужого опыта предусматривалось правилами творчества.

Страх современного писателя перед "чужим" обычно проходит с обретением творческой зрелости. Сильная индивидуальность легко и свободно подчиняет его себе. "Благоприобретенная интеллигентность" перестает ощущаться как тяжкий груз, мешающий свободному полету мысли, а становится стимулом развития "поэтической интеллигентности", увеличивая свободу выбора художника и усмиряя крайности антитрадиционализма.

От стихийного, ученического освоения "чужого" литературного опыта – к его нигилистическому отрицанию, а затем вновь – его творческое использование, – вот упрощенная схема проявления разных факторов развития целого ряда писателей XX века.

Примечания:

1. Брехт Б. О литературе. М., 1988, с. 371–372.

2. Маринетти Филиппо Томазо. Первый манифест футуризма. – Называть вещи своими именами. М., 1986, с. 160.

3. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 20, с. 641.
4. Эдшмит Казимир. Экспрессионизм в поэзии. – Называть вещи своими именами, с. 311.
5. Бушмин А. С. Литературные связи и преемственность – закономерность литературного развития. – Литературные связи и литературный процесс. М., 1986, с. 18.
6. Nezval V. Dílo, XXIV. Praha, 1967, s. 14.
7. Луначарский А. В. Статьи о литературе. М., 1957, с. 102.
8. Гинзбург Л. Я. О лирике. Л., 1974, с. 10–11.
9. Называть вещи своими именами, с. 317.
10. Там же, с. 163–165.
11. Там же, с. 165.
12. Экспрессионизм. Пг-М., 1923, с. 22.
13. Называть вещи своими именами, с. 167.
14. Там же.
15. Avangarda znamá a neznamá. Praha, 1972, s. 184–185.
16. Советско-итальянский симпозиум. (Москва, Институт славяноведения и балканистики АН СССР, июль 1988.)
17. Аполлинер Г. Новое сознание и поэты. – Писатели Франции о литературе. М., 1978, с. 53–54.
18. Kundera M. Veliká utopie moderního básnictví. – В кн.: Apollinair G. Alkoholy života. Praha, 1965, s. 6.
19. Nezval V. Dílo XXIV. Praha, 1967, s. 181.
20. Арагон Луи. Надо называть вещи своими именами. – Называть вещи своими именами, с. 123–124.
21. Брехт Б. О литературе, с. 344–345.

СЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ

(Попытка современного взгляда на проблему)

С. А. Шерлаимова

Наука о литературе переживает сложный период. В первую очередь это относится к историко-литературному и теоретическому осмыслению литературного развития в XX веке: истории русской литературы советского периода и истории литератур Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине нашего столетия. Большое число исследований этого плана и у нас, и за рубежом в прежние годы испытывало на себе сильное давление политической конъюнктуры, заранее диктовавшей оценки и выводы, страдало неполнотой охвата материала. Сегодня речь идет о необходимости резко повысить научную объективность в разработке этой остроконфликтной проблематики, об отказе от предвзятости отбора писательских имен и произведений, о проверке методологии.

В сложной ситуации современного кризиса гуманитарных наук задача на новом уровне исследовать пути литературного развития новейшего времени с неизбежностью обращает нас к самой общей литературоведческой проблематике, в частности, к новому осмыслению возможностей сравнительной методологии. На некоторых аспектах сравнительного изучения славянских литератур мне и хотелось бы остановиться в настоящей статье.

Литературы восточных, западных и южных славян правомерно рассматриваются как особая группа в рамках европейской литературы, как определенная литературная общность. Вопрос о такого или иного рода межнациональных литературных образованиях в последнее время весьма часто привлекает к себе внимание исследователей. Из последних работ можно назвать, например, труд международного научного коллектива под руководством известного словацкого компаративиста Диониза Дюришина "Особенные межлитературные общности", изданный в 1987 г. в Братиславе¹. Во вводной главе Д. Дюришин определяет данное понятие следующим образом: "Это объединения, общности национальных литератур, представляющие в познавательном процессе особенное вспомога-

могательную категорию между единичным и всеобщим" (с. 10). Принимая это определение, можно было бы добавить, что "межли-тературная общность" это отнюдь не только "вспомогательная категория" для удобства научных построений, но реальный фактор, действующий в мировой литературе.

Формирование межнациональных литературных образований происходит на основе различных принципов: геополитических, конфессиональных и т. д. Значение этих принципов в зависимости от различных обстоятельств может меняться во времени, но наиболее устойчивым и постоянным является принцип языкового родства. В отношении славянских литератур он был в пользу силу осознан еще в эпоху Национального возрождения и возникновения колларовской концепции "славянской взаимности".

Родство славянских литератур по языку подкрепляется географическим соседством славянских народов, известной общностью их исторических судеб, начиная с противостояния татаро-монгольской и турецкой экспансии с юго-востока и германскому наступлению с северо-запада. Это противостояние на протяжении веков способствовало сознанию кровного родства всех славян, которое в исторической перспективе (что настойчиво подчеркивает в своих работах, например, известный чешский славист и компаративист С. Вольман), оказалось сильнее, чем внутриславянские конфликты, хотя и они возникали нередко в давние и совсем недавние времена.

По географическому признаку славянские литературы относятся к восточно- и центральноевропейскому и балканскому ареалам. По конфессиональному - восточная и большая часть южных славян принадлежат к праславному миру, западные и часть южных (хорваты, словенцы) - к католицизму. Разная религиозная ориентация существенно повлияла особенно на начальные стадии развития славянских литератур, но какие-то черты, восходящие к религиозным доктринам, продолжают ощущаться и до сего времени, не говоря уже о существовании и в XX веке, например, католических течений в отдельных славянских литературах. Было бы грубой ошибкой это игнорировать.

Весьма противоречивым было воздействие на славянское литературное развитие превратных судеб славянской государственности.

История сложилась так, что восточные славяне рано объединились в одном государстве, соответственно сплелись корнями истории их литератур. Большая часть южных славян попала на века под власть османской империи, что нанесло тяжкий урон их ярко начинавшемуся литературному развитию. Из западных славян длительному инациональному культурному воздействию под-

вергались чехи и словаки - в составе Австрийской и Австро-венгерской империи, серболужичане - в немецком окружении. До конца XVIII века имела свою национальную государственность Польша, что, конечно же, по сравнению с другими западными, а тем более южными славянскими литературами, создавало более благоприятные условия для развития польской литературы. Разделы Польши между Австрией, Пруссией и Россией открыли простор для тенденций германизации и русификации польской культуры, что вызвало однако и достаточно мощный отпор, сам по себе игравший роль действенного импульса национального культурного развития. В неблагоприятных условиях славянские народы, и даже самый маленький из них - серболужичане - сумели сберечь свои культурные и литературные традиции. Поворотным пунктом в истории славянских народов и их литератур стала эпоха Национального возрождения.

Мне представляется, что в конце XVIII - начале XIX веков национально-возрожденческий подъем в том или ином виде переживали все славянские народы вне зависимости от того, обладали ли они национальной самостоятельностью или испытывали национальное угнетение. Польша в тот период утратила собственную государственность, но именно тогда польская идея ярко загорелась в литературе благодаря блистательному таланту Адама Мицкевича. Возрожденческий дух - пусть иного типа - присутствует и в творениях Пушкина, убежденного, что "Россия вспрянет ото сна". При всем различии, с одной стороны, таких динамически развивающихся литератур, как русская или польская, а с другой стороны, таких предпринимавших в то время усилия к национальному самоутверждению и восстановлению былого потенциала, как, например, чешская - их объединяет акцент на национальном, повышенное внимание к национальной истории и специфике, к славянскому фольклору, к вопросам славянского родства.

К той же ключевой для новой истории славян эпохе Национального возрождения восходят и истоки сравнительного изучения славянских литератур, начало которого обычно связывают с трудом П. Й. Шафарика² "История славянского языка и литературы по всем наречиям" (1826). Сравнительное изучение славянских литератур уступало по интенсивности сравнительному изучению славянских языков, тем не менее эта область литературной компаративистики продолжала развиваться на всем протяжении прошлого века и в начале нынешнего.

Короткий, но исключительно насыщенный и плодотворный период развития славянских литератур между двумя мировыми войнами шел под знаком возникновения в Европе новых самостоя-

тельных славянских государств. Естественно, что академическая наука в Польше, Чехословакии, Болгарии и Югославии преимущественное внимание уделяла в те годы национальной литературной истории, однако продолжала развиваться и компаративистика. Это можно сказать и о Советском Союзе, где с начала 20-х годов при Ленинградском университете существовал специальный Научно-исследовательский институт сравнительной истории языков и литератур Запада и Востока, это можно сказать и о зарубежных славянских странах. Для характеристики вклада сравнительного литературоведения тех лет достаточно назвать имя русского ученого В. М. Жирмунского и его монографию "Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы" (1924)³ или имя чехословацкого ученого Ф. Вольмана и его сочинение "К методологии сравнительной славянской словесности" (1936)⁴. Однако разработка собственно славяноведческих проблем затруднялась их политизированным восприятием. Противоречия между вступившим на путь социалистического переустройства Советским Союзом и буржуазными режимами в зарубежных славянских странах сказались в этой области весьма отчетливо. Изучение зарубежных славянских литератур в Советском Союзе по меньшей мере "не приветствовалось" – за исключением внимания текущей литературной критики к некоторым революционным и антифашистским писателям. Интерес критиков в других славянских странах к русской советской литературе воспринимался там зачастую как просоветская пропаганда.

В межвоенные годы произошло разделение ряда славянских литератур на "литературу страны" и "литературу эмиграции". Прежде всего это относится к русской литературе. Если говорить о славянских странах, то наиболее значительными были центры русской эмигрантской литературы в Чехословакии и Югославии. А в Советском Союзе жили и создавали свои произведения, например, польские писатели-коммунисты (Б. Ясенский и др.). Взаимодействие славянских литератур 20-х – 30-х годов до сих пор изучалось нашей наукой практически без учета литературы эмиграции, между тем как здесь встает немало интересных и важных проблем.

Например, Р. Якобсон, поселившийся в 20-е годы в Чехословакии, оказал, на мой взгляд, решающее влияние на формирование пражского литературного структурализма, его труд "О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским" (1923)⁵ предопределил направленность исследований по чешской поэтике на многие годы. А вот М. Цветаеву, жившую в Чехии в середине 20-х годов, чешская читательская общественность открыла для себя по существу только после того, как ее поэзия в 60-е годы

вновь стала издаваться в Советском Союзе, хотя переводы отдельных стихотворений поэтессы публиковались в чешской периодической печати и антологиях русской поэзии еще в межвоенный период. Да и сама Цветаева, до конца дней своих горячо любившая Чехию и Прагу, вроде бы осталась равнодушной к чешской поэзии, хотя та именно в годы ее "чешской эмиграции" переживала подлинный взлет. Как такое могло произойти? В чем причина – в языковом барьере или замкнутости эмигрантского мирка?

По сравнению с отстраненностью Цветаевой от чешской литературной жизни обратной была ситуация Б. Ясенского в Советском Союзе. Польский писатель самым активным образом включился в советскую литературную жизнь, стал популярным советским писателем (и разделел в конце 30-х годов трагическую участь многих представителей советской литературы, став жертвой репрессий).

Взаимопроникновение славянских литератур межвоенного периода под углом зрения литературы эмиграции еще только-только начинает осваиваться литературоведческой наукой, не выявлена даже библиография, не говоря уже о сопоставительном анализе эстетических позиций отдельных авторов и конкретных художественных произведений.

Особо стоит вопрос о литературной эмиграции после второй мировой войны. Ее интенсивность весьма существенно различалась по странам и историческим этапам. Так, после мощного потока русских писателей в эмиграцию в первые послеоктябрьские годы следующий пик русской литературной эмиграции пришелся на 70-е – 80-е годы. В других странах картина была иной. Например, чешская литература в межвоенный период практически не знала эмиграции, в годы гитлеровской оккупации страны отдельные писатели находились в США (Э. Гостовский), Англии (Ф. Лангер), Советском Союзе (З. Неядлы, И. Тауфер), но после освобождения вернулись в страну. После февраля 1948 г. невзирая на резкое усиление преследований по политическим мотивам и репрессии, из писательской среды эмигрировало относительно немного, а вот после событий 1968 г. в эмиграции оказалась большая часть чешских писателей, в том числе таких известных, как М. Кундера, Й. Шкворецкий, А. Лустиг, П. Когоут. Долгие годы официальная чешская критика молчала об эмигрантской и самиздатской (В. Гавел, Л. Вацулик и др.) литературе. Аналогичным образом поступали и мы, тем более, что у нас возбранялось даже просто упоминать – пусть и в самом критическом контексте – многие чешские (и словацкие, и польские) писательские имена. После "бархатной революции" ноября 1989 г. ситуация в Чехословакии категорически изменилась: литературная печать стала писать

почти исключительно о прежде непризнаваемых авторах и произведениях, как правило, сугубо комплиментарно, без серьезного критического анализа материала. Нетрудно понять и объяснить эту ситуацию, сходную с ситуацией в советской критике в отношении к "пропущенным" и возвращенным литературным явлениям, очевидно однако, что перед критиками и историками литературы остро стоит задача объективного научного анализа всей художественной продукции послевоенного периода.

В плане изучения эмигрантской литературы наиболее продвинута к настоящему времени литературоведческая наука в Польше, назову для примера работы М. Стемпяна. Но и по польской эмигрантской литературе и ее взаимодействию с литературой страны еще многое предстоит исследовать, тем более это справедливо в отношении других славянских литератур и всей славянской литературной общности в целом.

До сих пор речь шла в основном о взаимоотношениях славянских литератур между собой, о специфике этих взаимоотношений в зависимости от исторических и прочих условий. Славянские литературы представляют общность весьма разноликую, меняющуюся во времени, но тем не менее обладающую и определенными общими чертами. Но эта общность существует не сама по себе, не в изоляции, а в реальном контексте европейской и мировой литературы. Оказывается, что различие языков, вероисповеданий, политического устройства и пр. не может служить непреодолимым препятствием для межлитературного общения, для взаимовлияний, если это отвечает каким-то внутренним потребностям развития литературы. И многие важные черты славянских литератур объясняются их подчас очень противоречивыми связями с неславянскими литературами.

Исполнены драматизма, например, взаимоотношения культуры южных славян с турецкой культурой. Жестокие преследования славянского и варварские способы "отуречивания" вызвали ненависть и протест угнетенных славян, вели к некритическому восприятию и идеализации собственных национальных обычаев и традиций. И тем не менее между славянскими и турецкой культурами шло взаимообогащение, что не могло не отразиться и на литературе.

Особую проблему представляет совокупность литератур, существовавшая в рамках многонациональной Австрийской, а после 1867 г. Австро-венгерской империи: здесь имело место взаимное влияние, обогащение и – отталкивание славянских литератур от австрийской немецкой литературы, вызванное протестом против национального притеснения со стороны габсбургской монархии.

Замечу, что такого рода притяжение – отталкивание существовало в отдельные периоды и между некоторыми славянскими литературами. Так, отталкивание и взаимное притяжение, полемика и взаимообогащение были характерны для отношений польской и русской литератур времени вхождения в Россию Королевства Польского. В пределах же Австро-Венгрии притяжение – отталкивание существовало и между словацкой и венгерской, между хорватской и венгерской литературами. Отчетливо прослеживается близость гуманистических тенденций в разных национальных литературах и в том случае, когда отношения между этими нациями по тем или иным причинам осложняются.

Весьма менялись во времени взаимосвязи славянских литератур с литературами Западной Европы. На первый план в истории выдвигались контакты то с одной, то с другой из этих литератур: итальянской, английской, немецкой, французской... На отдельных этапах несомненно очень сильное воздействие этих литератур тем не менее не подавило, не стерло идентичность литературного развития славян, что относится не только к самым большим славянским литературам – русской, польской, украинской – но и ко всем остальным. Голос славянских писателей, в том числе и представляющих эти "остальные" литературы, звучит в послевоенном мире достаточно громко и имеет тенденцию к усилению.

Вполне естественно и оправданно стремление многих исследователей сопоставить развитие славянских литератур с этапами развития ведущих литератур Западной Европы, прежде всего с французской, схема исторического пути которой воспринимается как наиболее "классическая". На самом деле – без такого сопоставления не может быть выявлена с необходимой полнотой специфичность славянской литературной истории. Но суть вопроса заключается в том, чтобы несовпадения историко-литературных этапов, отсутствие в отдельных славянских литературах по сравнению с французской каких-то литературных направлений, течений, жанров или их существенное видоизменение не рассматривалось бы как доказательство "отсталости" славянских литератур. Необходим конкретный подход к осмыслению и оценке литературных явлений, а не принцип "единого эталона".

Новая политическая ситуация, сложившаяся в Европе после разгрома гитлеровской Германии, отразилась на дальнейшем развитии славянских литератур и самом понимании их единства. В 50-е – 80-е годы славянские литературы развивались в рамках новой межлитературной общности, получившей в литературоведческой науке наименование "общности литератур европейских социалистических стран". Речь здесь шла о совокупности литера-

тур, объединенных принадлежностью к одной общественно-политической формации. Понятие данной межлитературной общности отражало действительные процессы в литературном развитии народов, входивших в так называемое "социалистическое содружество". Это была многосложная и противоречивая литературная система, не свободная от внутренних конфликтов, но несомненно характеризовавшаяся на разных этапах развития и определенными общими признаками – не только тематически – идеологическими, хотя ими, может быть, в первую очередь, но и эстетическими. Изучение этой общности стало разворачиваться в последние два десятилетия: в Советском Союзе, ГДР, Чехословакии, ФРГ. Однако практически все эти работы страдают неполнотой охвата материала и политической предвзятостью, пусть и порой диаметрально противоположного толка. Переломные события, произошедшие в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в 1989 г., в научном плане придали известную "завершенность" "общности литератур европейских социалистических стран", которая при любом ходе дальнейшего движения в прежнем своем виде перестала существовать. Тем более необходимо – и возможно – ее углубленное научное исследование, при котором следует принимать во внимание эволюцию связей этой общности в целом и каждой из составляющих ее литератур с общеевропейским литературным контекстом.

На мой взгляд, славянские литературы не переставали оставаться особой группой и в рамках "общности литератур европейских социалистических стран", хотя этот тезис и нуждается еще в детальной проработке. И вообще: насколько языковое родство предопределяет типологическое сходство национальных литератур? Мне представляется, что этот вроде бы отвлеченный и сугубо теоретический вопрос остро поставлен общей сегодняшней ситуацией в "повестку дня" развития филологической науки.

Примечания:

1. "Osobitné medziliterárne spoločenstva". Bratislava, 1987.
2. Safařík P. J. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. Budín. 1826.
3. Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. – Из истории романтической поэмы. Л. 1924.
4. Wollman F. K metodologii srovnávací slovesnosti slovanské. Brno. 1936.
5. Якобсон Р. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. Берлин. 1923.

К ПОЭТИКЕ "ПОХВАЛЬНОГО СЛОВА КИРИЛЛУ-ФИЛОСОФУ"

КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО

(Оксюморон)

М. И. Лекомцева

Анализ поэтики "Похвального слова Кириллу-Философу" Климента Охридского представляет собой сложную и многоаспектную задачу. Настоящая статья является продолжением работ, посвященных семиотике риторических фигур, используемых в этом тексте (Лекомцева, 1979, 1979б, 1980, 1981, 1986). Были рассмотрены эпанод и полиптотон, гендиадис и сравнение – фигуры, связанные с прямым, непереносным смыслом. Теперь, переходя к фигурам, которые исключают понимание их составляющих в прямом смысле, необходимо прежде всего выделить конфигурацию, имеющую своим пределом оксюморон.

Настоящая статья посвящается анализу таких единиц текста Климента Охридского, которые построены на основе оксюморона, т. е. выражают парадоксы. Центральная роль этих элементов в структуре текста "Похвального слова" определяется фундаментальной значимостью выраженных в них парадоксов для той сферы духовного существования, которая получила воплощение в письменности "седмочисленицев" (Бернштейн, 128). Предварительно можно сказать, что описываемые фрагменты занимают особое место и в композиции текста "Похвального слова".

Имеется в виду три следующие выражения:

ТРЪБЕЗНАЧАЛНЫ СВѢТЪ ВЪСИА
ИЗЪАШНЪИХЪ ПРОРОЧЬСКИ ЯЗЫКА ГЪГНИВА
ТРЪБЕЗНАЧАЛНААГО БЪЖТВА ЗАРЪ ВЪСИАВШИ

Эти высказывания являются целостными единицами текста, они образуют – входят – фонд нового знания и создают тот фон, на котором и могут проявиться. В. Н. Топоров, рассматривая структуру текста "Прогласа", определил особый принцип формирования текста "мозаичный" (Топоров, 37). Этот же принцип – готовых целостных единиц, из которых создаются тексты подобно мозаикам – можно видеть и у Климента Охридского (ср. Бычков, 1983. Demus, 122–150). Поэтому здесь встает особенно отчетливо задача опре-

деления или, для начала, формирования и функционирования таких целостных единиц – “молекул” текста, образующих словарь памяти культуры – “мемы” (W. Koch).

Наиболее простое и вместе с тем наиболее древнее происхождение имеет здесь второе высказывание: ИЗЫАШНЪИХ ПРОРОЧЬСКИ ЯЗЫКА ГЪГНИВА. Для цели настоящего исследования нет надобности давать полное семантическое представление входящих в это высказывание семем. Существенно здесь то, что семема ИЗЫАШН- очевидным образом имеет признак глагола говорения (обозначим этот признак *dic*) и признак говорения ясно, чисто, четко (обозначим этот признак *clar*). Семема же ГЪГН- имеет также признак глагола говорения, но второй признак как раз противоположен признаку (*clar*) – это говорение неясное, нечистое, косноязычие. Таким образом, здесь непосредственно семантически сочетаются антонимические семемы, что является явным нарушением семантического согласования. Непосредственное семантическое сочетание антонимов образует особую риторическую фигуру – оксюморон. “Косноязычные, говорящие ясно” – эта фигура отсылает к таким знакам Божественного присутствия, о которых сказано у пророка Исаяи: “И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать; и косноязычные будут говорить ясно” (Ис., 32, 4). “Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!” (Ис., 26, 19); “Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромым вскочит, как олень, и язык немого будет петь;” (Ис., 35, 5–6). Именно на эти знаки ссылается Иисус, когда говорит, чтобы ученики Иоанна передали своему учителю: “Слепые прозревают и хромы ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют” (Мт. II, 5).

Можно сказать, что ИЗЫАШНЪИХ ПРОРОЧЬСКИ ЯЗЫКА ГЪГНИВА – знак, равносильный другим описанным знакам Божественного присутствия – для всех этих знаков характерно преодоление опыта, страженного в сочетаемости семем, характерно указание на парадоксальную ситуацию, которая требует особенного внимания и особого осознания. То, что при изучении способа цитирования у Константина-Философа В. Н. Топоров определил как “соборную цитату”, можно увидеть и у Климента Охридского, по крайней мере в смысле “вертикальной соборности”, так как и здесь “...одна часть текста (любая) результирует целую совокупность тождественных в заданном отношении цитат из разных текстов (“вертикальная” соборность)” (Топоров, 59, сноска 69). Эта соборная цитата представляет собой единицу коллективной памяти, “за которыми с большей или меньшей степенью очевидности просвечивают библейские прототипы, образующие последний, наиболее глубин-

ный слой, еще удерживаемый, однако, религиозным христианским сознанием грека или славянина IX в. и трактуемый этим сознанием, как своя собственная священная предистория” (Топоров, 13).

Но знаком Божественного присутствия является не только то, слепые видят, глухие слышат, – уже в Исходе знаком Божественного присутствия является особое сияние, свет. “Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним” (Исх. 34, 29). Символика света в византийской культуре и у седмочисленцев славянства не может быть здесь предметом обсуждения. С. С. Аверинцев так характеризует парадоксальную трактовку света в восприятии византийцев: “Божественное, будучи трансцендентно по своей сущности, само приходит к человеку в своем световом явлении, явление это воспринимается одновременно чувственно и сверхчувственно – зрением “тела духовного” (ср. новозаветный текст: “Есть тело душевное, есть тело и духовное” – I. Кор. 15. 44)” (Аверинцев, 1989, 45).

Теперь сравним, как сказано у Климента Охридского: ТРЪБЕЗНАЧАЛНЫ СВѢТЬ ВЪСИА.

с тем, как поется в Тропаре Преображения (глас 7):

Да воссияет и нам, грешным,
Свет Твой присносущный!

В Тропаре инкоативность “воссиять” очевидно связана с “нами” – “пусть для нас начнет сиять”, а “Свет” – “всегда существующий”, не имеющий инкоатива, – соотносится с самим собой, т. е. безначальность Света противопоставляется погруженности в “начала и концы” “нас”.

У Климента Охридского СВѢТЬ ВЪСИА имеет безотносительный инкоатив, но это “начало сияния” относится парадоксальным образом к “Свету безначальному”. Путем использования префикса ВЪС- вводится идея начинательности – этой инкоативности противопоставляется семема с лексическим смыслом НАЧАЛ-, которая префиксом БЕЗ- переводится в свою противоположность. Таким образом, из глубины грамматического построения возникнет оксюморон “БЕЗНАЧАЛЬНОЕ НАЧАЛО”, только выраженный семемами разных уровней. ТРЪБЕЗНАЧАЛНААГО БЪТВА ЗАРЪ ВЪСИАВШИ построен как реплика рассмотренного выше оксюморона.

Здесь можно увидеть то “рассогласование времен”, которое характерно для обозначения соотношения времени и вечности. Так, в Евангелии от Иоанна Иисус говорит: “истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь” (И., 8.58) (ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί) прежде, нежели родил-

ся Авраам, Я есмь". Это как бы чисто грамматический оксюморон: форма настоящего времени включает в себя прошедшее время.

С. С. Аверинцев обратил внимание на еще более сложно выраженный парадокс в словах апостола Павла: "Ибо мы спасены в надежде" (τῆ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν (Рим. VIII, 24)). В Библии "страх и надежда" – два разных названия для одного и того же – для заинтересованности. И коль скоро абсолютная ценность требует абсолютной заинтересованности, путь к ней оказывается путем страха и надежды. К страху и надежде как двум универсалиям христианской жизни относятся два новозаветных текста: "...со страхом совершайте свое спасение" и "...мы спасены в надежде". Оба раза понятия "страх" и "надежда" сопряжены с понятием "спасение". Конечно, страх, о котором идет речь, есть именно страх за "спасение", и надежда есть именно надежда на "спасение", но этим сказано не все, ибо страх составляет условие "спасения", а надежда, если это полная, совершенная надежда, содержит в себе уже как бы обладание "спасением" еще до этого обладания; не говорится: "спасаемся в надежде", но: "спасены в надежде" (ἐσώθημεν – форма аориста). И это несмотря на то, что надежда по самой своей сути относится к еще не данному, еще не выявившемуся: "надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, на что ему и надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении" (Рим., VIII, 25). Здесь – характерный парадокс христианского "уже-но-еще-не" "... (Аверинцев, 1977, 75, 76).

В истории христологии очень важное место занимает освоение и осознание парадоксализма, "характерно, что еретические учения всегда стремились уйти от этой парадоксальности" (Мусхелишвили, Шабуров, Шрейдер, 31). В борьбе с арианством епископ Александр формулирует: Выражение "был всегда прежде веков" – τὴν αἰὲν πρὸ αἰώνων – отнюдь не тождественно с понятием "не-рожденный" (не = ἀγεννητός). Итак, должно приписывать нерожденному Отцу Ему только свойственное достоинство (οἰκεῖον ἀξίωμα), признавая, что Он не имеет ни в ком виновника Своего бытия; но должно воздавать подобающую честь и Сыну, приписывая Ему безначальное рождение от Отца (τὴν ἀναρκον αὐτῷ παρὰ τοῦ Πατρὸς γεννησίν)» (Поснов, 334). Эта безначальность рождения стала элементом различных канонических текстов, напр., в Рождественском Кондаке Романа Сладкопевца поется:

Нас бо ради родися Чадо младое
– превечный Бог.

Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский сформулировали учение, согласно которому "сущность Божия и

отличительные ее свойства – не-начинаемость бытия и Божеское достоинство принадлежат одинаково всем трем ипостасям: Отец, Сын и Дух суть только тройное проявление ее в лицах, из которых каждое обладает всею полнотою абсолютной сущности и находится в нераздельном единстве с ней" (Поснов, 362).

Эта идея "безначального начала" поставила особенно напряженно задачу освоения и осмысления фигуры оксюморона. В византийской литературе оксюморон используется необыкновенно активно. Несколько позднее Климента Охридского Симеон Новый Богослов напишет целое стихотворение, состоящее из нанизываемых оксюморонов ("созерцать, любить нетварность..." – перевод С. С. Аверинцева (Аверинцев, 1989, 45–46).

Более сложное развитие оксюморонной фигурности, используя выражения А. Ф. Лосева, можно видеть в таком построении: у того же Симеона: "Чудо неизъяснимое! Текут слезы вещественные из очей вещественных и омывают душу невещественную от скверн греховных" (цит.: Бычков, 1989, II, 452).

Великолепным примером оксюморонной фигурации является рефрен из Кондака на Благовещенье Романа Сладкопевца:

Радуйся, Невеста невестная!
(Аверинцев, 1977, 219).

Феодор Студит строит головокружительные фигуры: "... Христос предстает нам "описуемо-неописуемым" (γραπτοῦραπτος) и соответственно остается неописуемым и в то время, когда изображается (на иконах)" (Anti. I, 3) (Бычков, 1989, II, 414). В славянской литературе эта фигура была представлена уже в "Прогласе" как *неразумный разум*.

Невыразимость, апофатичность смысла таких фигур оксюморона превращается в конструктивный принцип порождения в тексте новых смыслов. Как заметил развивавший эту традицию А. Ф. Лосев, "чем более нагнетен этот последний (апофатический момент – М. Л.) в слове, тем оно более охватывает смысловых возможностей, оставаясь по структуре самым обыкновенным словом. Возникает необходимость определения той лестницы значений эйдоса, которая возникает в меру нагнетенности в слове апофатического момента. Это – та или иная степень символичности бытия, или выраженности предметной сущности имени" (Лосев 1990, 109).

Прежде чем говорить об эйдосе или подобии архетипу, надо обратить внимание на то, что в период иконоборчества утвердилось представление о взаимном переводе вербального и визуального кодов. В постановлении VII Вселенского собора (Никея, 787) сказано: "... что повествование выражает письмом, то же самое живопись выражает красками" (цит.: Бычков, 1989, II, 408), то и

другое – “чувственные символы” (Там же). Поэтому драматическое определение в период иконоклазма статуса иконы – изобразительного образа – имело непосредственным следствием прояснение семиотического статуса и словесного образа.

Как показал В. В. Бычков, Феодор Студит, наиболее далеко развивший теорию “подобия”, исходил из концепции “внутреннего эйдоса” у Плотина (Бычков, 1989, II, 411). Что такое “внутренний эйдос”, Плотин пояснял таким примером: “Внешний вид здания, если удалить камни, и есть его внутренний эйдос” (Там же, I, 6, 9). Но каков внутренний эйдос вещей бестелесных? Иоанн Дамаскин так размышлял об изображении бестелесных, “духовных сущностей” они запечатлеваются так, “что телесный образ показывает некоторое бестелесное и мысленное созерцание”, т. е. возводит ум зрителя к созерцанию духовных сущностей. Одна лишь божественная природа неопишима и неизобразима” (Бычков, 1989, II, 405–406). В постановлении VII Вселенского собора говорилось о знаковой природе изображения: “Истинный ум не признает на иконе ничего более, кроме сходства ее по наименованию, а не по самой сущности, с тем, кто на ней изображен” (цит.: Бычков, 1989 II, 409). Однако это сходство по наименованию или подобие по Феодору “не замыкает внимание зрителя в самом себе, но возводит ум его “через телесное созерцание к созерцанию духовному”, т. е. выполняет анагогическую функцию” (Бычков, 1989, II, 407).

Разработанные Иоанном Дамаскиным классификация функций икон: кроме функции анагогической выделены функции возвышенного ($\delta\ \acute{\upsilon}\phi\eta\lambda\omicron\varsigma$), харизматической функции и функции поклонного образа (Бычков, 1989, II, 407) можно считать описанием той части семиозиса, которая связана с рассмотрением воздействия образа – символа – в коммуникативной ситуации, его “энергии”¹.

“Образ” и “первообраз” или “изображение и архетип имеют “одно подобие”, но различные сущности... “Природа изображения, – пишет он [Феодор], – в том и заключается, что оно тождественно с первообразом в отношении подобия, а различается по значению сущности”. (Там же, 412). “Без сомнения, – пишет Феодор, – образ, начертанный по подобию на различных веществах, везде остается одним и тем же. Он не мог бы, однако, оставаться неизменным на различных веществах, как только при условии, что не имеет с ними ничего общего, но лишь мысленно соединяется теми (веществами), на которых он находится” (Там же).

Отношение образа и первообраза (означающего и означаемого) Феодор Студит поясняет на примерах отпечатка и тени. “Одно – печать и другое – отпечатанное изображение. Однако и до отпечатывания отпечаток (находился) на печати. Печать, однако, была бы

недействительной, если бы не имела отпечатка на каком-либо веществе. Соответственно и Христа пришлось бы признать недействительным и недействительным, если бы он не был видим в изображении искусства”. (Там же, 414). “Как тень, – пишет Феодор, – от действия солнечного луча становится ясно видимой, так и образ Христа становится явным для всех тогда, когда он является запечатленным на (различных) веществах”. (Там же, 413).

Мысли об образе и его архетипе, высказанные Иоанном Дамаскиным, Феодором Студитом и принятые в византийской культуре, дают возможность предполагать, что сама фигура оксюморона может рассматриваться как тип “фигурности сущности” (Лосев, 1990, 107)², как особый образ, предполагающий осознание парадокса – более того, осознание парадокса как положительного основания воззрения на мир и источника порождения новых смыслов (о функции текста как механизма порождения новых смыслов см. Лотман, 77).

Столкновение с парадоксом означает границы рационального эмпирического опыта. К этому времени возникло понимание того, что преодолеть эти границы можно и на пути активизации анагогической функции знака парадокса – “восхождения к сверхреальности”. При этом неизбежно происходит изменение установки восприятия и изменение состояния сознания. (Н. Л. Мухелишвили, Н. В. Шабуров, Ю. А. Шрейдер, 36). “Когда бытовое сознание приходит к явной противоречивости”, когда “самодостовверные посылки” исключают друг друга, тогда происходит или отступление к привычным схемам или изменение сознания и принятие парадоксальности. Когда была построена модель понимания и включения парадокса (там же, так же: Н. Л. Мухелишвили, Н. В. Шабуров), стало ясно, что высказывания типа

“не А” и “не В” (1) и

“А” влечет “не В”

“В” влечет “не А” (3)

“могут оказаться истинными при условии одновременной ложности высказываний А и В.

Предложенное ослабление высказывания (2 : “А” равносильно “не В” – М. Л.) фактически означает произведенное в процессе умозаключения изменение понятий. Если вначале А и В мыслились как альтернативы, то теперь они мыслятся лишь как несовместимые понятия. Происходит увеличение универсума рассуждений. Если вначале он исчерпывался классами А и В, то теперь он включает дополнение к этим классам” (Мухелишвили, Шабуров, Шрейдер, 34).

“За счет этого расширения универсума становится возможной истинность высказывания (1). Такое расширение не дается в обы-

денном опыте, но его необходимость вытекает из существования парадокса. Основным примером здесь служит соотношение "нераздельного" и "неслиянного". ... И хотя обыденный опыт не может нас привести к существованию того, что нераздельно и неслиянно, эта необходимость – есть единственный способ ассимилировать парадокс двойной природы. Впрочем, сделав шаг в сторону такого неоправдываемого обыденным опытом расширения универсума, мы можем найти репрезентаторы возникающей ситуации в виде виртуальных квантовых частиц, порожденных вакуумом. Эти частицы нераздельны с вакуумом и, одновременно, неслиянны с ним." (Там же). "Парадоксальность бытия означает не его невозможность, а его невмещаемость в обыденный опыт, постижимый в состоянии I. Парадокс требует изменения состояния сознания, но не отрицания парадоксального бытия. Парадокс молчания состоит в том, что опыт, получаемый в состоянии III и состоящий в расширении универсума, не может быть выражен в прямой коммуникации. Этот опыт может быть артикулирован в состоянии IV, где он фиксируется как парадокс; а не как формирование понятия "ни А, ни В" (Там же, 35). Это состояние М. М. Бахтин выразил так, что "... нельзя жить и осознавать себя ни в гарантии, ни в пустоте (ценностной гарантии и пустоте), но только в вере" (Бахтин, 126).

Оксюморны "безначального начала", "Невесты невестной" или "косноязычного, говорящего ясно" являются риторической фигурностью относящейся к реальности, не данной нам наглядно, но отражающей процесс мышления в "расширяющейся Вселенной". Как из дома можно "удалить камни" и получить идею "подобия дома", которая расширит исходный набор "наших объектов", так и "безначальное начало" дает нам возможность уловить идею и уразуметь принцип, напоминаящий представления о вакууме, свете и энергии как фундаменте существования. Правда, "одно дело помыслить вещь, мысля обозначающую ее речением; другое дело – уразумевая самое вещь как таковую" (Ансельм Кентерберийский, 252).

Оксюморонная фигурность является не только выражением оснований веры, способом обращения к вере, но и имеет соответствие в плане волевого стремления – того, что С. Кьеркегор называл "подвигом веры"³. Классический пример такого подвига – это жертвоприношение Авраама, которое является именно таким парадоксом в действии. Как отмечал Григорий Палама: "Ведь он действительно был готов принести в жертву своего единственного сына, и (о, чудо!) все же не терял веры в то, что от него произойдет множество потомков!" (Meuendorff). Апостол Павел в своем Послании евреям еще усилил парадоксальность поступка Авраама:

"Верю Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование" (II, 17–19).

Если оксюморон подвига веры Авраама или оксюморон – знак Божественного Присутствия – "косноязычный, говорящий ясно" передаются в тексте и хранятся в памяти культуры, "как семя в почве" (М. Ю. Лотман), то оксюморон "безначальное начало" иллюстрирует возможность порождения текстом новых смыслов (Лотман, 77). Этот скрытый мраком смысл безначальности можно усмотреть в высшем сакральном знаке Божественного Присутствия. "Этому Присутствию, пространственно определяемому для Израиля на крышке Ковчега и проявляющемуся в светящемся облаке, в умозрительных построениях раввинов дается впоследствии особое наименование: они его называют словом Шекина, производным от корня *шакан*, что означает "пребывать как бы под шатром" (Буйе, 93). "Сама Шекина, хотя и сообщает себя человеку, в то же время и ускользает от него. Она скрывается в облаке в то самое время, когда открывается в сиянии Славы. В конечном итоге, она, может быть, лучше всего символизируется этой пустотой между крыльями херувимов, пустотой, которой даже серафимы не дерзают испытывать" (Там же, 93–94). ... "В месяцеслове Ассеманиева евангелия (начало XI в.) Климент назван святым. Таким образом, он был канонизирован уже в X в." (Бернштейн, 137).

Примечания:

1. Традиция рассмотрения энергии образа в зависимости от энергии архетипа продолжалась и в русской философской традиции. Примером такого энергийного подхода может служить концепция А. Ф. Лосева (А. Ф. Лосев, 1990 а, Флоренский, В. И. Постовалова, 1990).

2. В античной традиции оксюморны занимали несравненно более маргинальное положение, свидетельствуя скорее об изящной языковой игре, как, напр., в изысканном Горациевском *concordia discors rerum*.

3. Существенный анализ подвига веры Авраама, проведенный С. Кьеркегором [Kierkegaard], показывает соответствие уровням энергии волевого стремления, намечаемым А. Ф. Лосевым (Лосев, 1990).

Сокращения

Аверинцев 1973 – Аверинцев С. С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры. – Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. М. **Аверинцев 1977** – Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М. **Аверинцев 1989** – Аверинцев С. С. Философия VIII–XII веков. – Культура Византии. Вторая половина VII–XII веков. М. **Ансельм Кентерберийский** – Ансельм Кентерберийский. Прослогион. – Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков. М., 1972. **Бахтин** – Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. – Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. **Бернштейн** – Бернштейн С. Б.

Константин-Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности. М., 1984. Буйе – Буйе Л. О Библии и Евангелии. Брюссель, 1988. Бычков 1977 – Бычков В. В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., Бычков 1983 – Бычков В. В. К проблеме эстетической значимости искусства византийского региона. – Зограф. Београд, № 14. Бычков 1989 – Бычков В. В. Эстетика. – Культура Византии. Вторая половина VII–XII веков. М. Климент Охридски – Климент Охридски. Собрания съчинения. Т. I, София, 1970. Лекомцева 1979 – Лекомцева М. И. К семиотической характеристике некоторых тропов. – Вторичные моделирующие системы. Тарту. Лекомцева 1979 б – Лекомцева М. И. Семантическая структура сравнения (на материале "Похвального слова Кириллу-Философу" Климента Охридского). Balcan – Balto – Slavica. Симпозиум по структуре текста. Предварительные материалы и тезисы. М. Лекомцева 1980 – Лекомцева М. И. Семантика некоторых риторических фигур, основанных на тавтологии (на материале "Похвального слова Кириллу-Философу" Климента Охридского). – Структура текста. М. Лекомцева 1981 – Лекомцева М. И. К структуре текста у Климента Охридского (фигуры эпанода и полиптона). – Σπμξωττκςκς. Труды по знаковым системам, XII, Тарту. Лекомцева 1986 – Лекомцева М. И. О характеристике Кирилла-Философа в "Похвальном слове" Климента Охридского. – Балканы в контексте Средиземноморья. Проблемы реконструкции языка и культуры. Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. М. Лосев – Лосев А. Ф. Философия имени. М., 1990. Лотман – Лотман Ю. М. Три функции текста. – Анализ знаковых систем. История логики и методологии науки. Киев, 1986. Мухелишвили, Шабуров – Мухелишвили Н. Л., Шабуров Н. В. Проблема парадокса и анализ сознания. (Культурно-исторические и философские аспекты). Препринт 1987. Мухелишвили, Шабуров, Шрейдер – Мухелишвили Н. Л., Шабуров Н. В., Шрейдер Ю. А. Символ и поступок. Препринт, М., 1987. Поснов – Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель, 1964. Поставалова – Поставалова В. И. Послесловие. – А. Ф. Лосев. Философия имени. М., 1990. 228–259. Топоров – Топоров В. Н. Слово и премудрость ("логосная структура"): "Проглас" Константина-Философа. – Russian Literature, XXIII–I, Amsterdam. 1 Jan. 1988. Флоренский – Флоренский П. А. по воспоминаниям Алексея Лосева. Публикация Ю. А. Ростовцева и П. В. Флоренского. – Контекст. Литературно-теоретические исследования. М., 1990. Demus – Demus O. Byzantine Art and the West. N. Y. 1970. Kierkegaard – Kierkegaard S. Furcht und Zittern. Reinbek bei Hamburg, 1961. Koch – Koch W. A. Genes vs. memes. Modes of integration for natural and cultural evolution in a holistic model ("ELPIS"), Bochum, 1986. Meyendorff – Meyendorff J. Introduction a l'étude de Grégoire Palamas, P., 1959.

МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА "ДЗЯДОВ" А. МИЦКЕВИЧА

Л. А. Софронова

Драматическая поэма А. Мицкевича "Дзяды" собирает воедино разнонаправленные, разновременные линии польской культуры, задает последующее развитие этой культуры. Она, как всякое истинно художественное произведение, многозначна и может быть интерпретирована различно. Это открытое, постепенно наполняющееся новыми смыслами художественное явление, соотносимое со множеством пластов национальной культуры¹. Все его соотношения подчиняются важнейшей функции искусства – сакральной. Для Мицкевича, несомненно, эта функция была ведущей в его системе ценностей. Он не раз приравнивал искусство обряду, в терминах обряда он говорил и о "Дзядях". С его точки зрения, "Дзяды" не только в романтическом освещении преломляют обряд поминовения, который дал название всей поэме, но и стремятся к обряду. Продолжим – и достигают его статуса².

Во многом этому способствует особая форма драматичности "Дзядов". Мицкевич как бы опустился на множество ступеней вниз, к истокам, к обрядовому действу, которое есть "зародыш драмы и театра уже в силу своей вопросно-ответной агональной структуры"³. Этим движением он реконструировал рождение театра, дал поэме не только формальные признаки обряда, но и наполнил ее обрядовыми значениями. Поэтому не только подосновой поэмы, но и главным ее содержанием стал миф. Миф создает глубину текста, отсылает поэму к отдаленным пластам памяти культуры, которую в устоявшейся форме удерживает, хранит обряд.

Сталкивая романтическое произведение с обрядом, Мицкевич ведет себя не как послушный ученик носителей или собирателей фольклора. Он свободно ориентируется в народной культуре, проникает в тайные связи отдельных поверий, обрядов. Не только обряд поминовения, но отрывки других обрядов, например, свадебного, различные персонажи народной демонологии: упырь, дикий охотник, неприкаянные души в образе насекомых – составляют семантическое ядро поэмы. Оно в предельно сжатой форме задает тему связи двух миров, веру в которую поэт, как и многие философы эпохи романтизма, считал истинно славянской.

Идею связи он объявлял и ведущей идеей поэмы, которая постепенно развивается во всех частях, принимая различные формы.

Эту связь Мицкевич заявил уже в прологе, поручив его пришельцу из того мира, Упырю. По внешним признакам он соотносим как с фольклорным персонажем, так и с героем неистового романтизма. Он кодирует представления о связи жизни и смерти, без которой не может быть понята вся поэма. Он ведет себя по правилам, предписанным народной демонологией и в романтическом ключе объясняет связь двух миров. Они объединены любовью, которая не знает границ, ни во времени, ни в пространстве. Эти миры будут соприкасаться и взаимодействовать на протяжении всей поэмы. Любовь станет ее ведущей темой.

Связь двух миров и любовь как скрепляющая их ось – содержание II части. Она в наибольшей степени близка обряду поминовения, даже становится им. Объекты же его выделяются в последующих, IV и III частях. Здесь обряд совпадает с театром. II часть – это мифопоэтическая структура всей поэмы, ее прообраз. Она распадается на четыре параллельных эпизода. В тексте переплетаются загробные жалобы, заклинания, мещанские песни, цитаты из Шиллера. Сам же обряд в поэме отразился косвенно. Центральная его часть – принятие ритуальной пищи и разделение трапезы с "дедами" – отсутствует полностью. К ней лишь готовятся или ее завершают. Зато значение обряда Мицкевич реконструирует в поэме. Он сумел ввести произведение в то пространство поэтического универсума, где есть место и обряду, и мифу, и романтизму. Пересечение границы двух миров, поиски контактов разделенных жизнью и смертью в ритуализированной форме составляет основное содержание II части. Романтизм в своем мифопоэтическом арсенале располагал идеей двоемирия. Его второй мир был миром тайных смыслов, высоких значений. Второй, "тот" мир народной культуры был для него, может быть, слишком точно определен, хотя взаимопроникновение миров было романтикам близко. "Цепь жизни", единство романтического универсума соответствовали оформленной обрядом идее двоемирия. Мицкевич во II части "Дядюв" добился наложения мифопоэтического мира романтизма на архаические структуры сознания, зафиксированные в обряде.

Он пригласил на трапезу дедов: Детей, страдающих от избытка любви, Девуцу, не познавшую любовь, Злого Барина, не ведавшего ни любви, ни милосердия. Они все преступили законы любви, соединяющей тот и этот мир. Так обряд наполняется новым содержанием, что становится особенно ясно с появлением Призрака, еще одной ипостасью романтического героя. Он налаживает связь между мирами, его любовь к Пастушке разрывает противополо-

жение двух миров, объединяет их и души любящих. Так обряд памяти насыщается темой любви, а любовь переводится в разряд космических величин и принимает в себя идею единства мировой души, абсолюта, бесконечного. Так поэма становится обрядом. Искусство вновь вспоминает о своей сакральности.

IV часть поэмы (следующая за II) зеркально отражает тематическое строение II. Если II часть воспроизводила обряд и из него выводила тему любви, то IV часть сохраняет значения II, не теряет связей с обрядом, хотя он и становится ее глубинным пластом. Внешне он сказывается только в дате встречи двух главных персонажей, Густава и Священника, и в их споре о значении поминального обряда.

Густав оказывается пришельцем из другого мира, на что в тексте есть ряд указаний, которые можно толковать по-разному. С одной стороны, его рассказы о долгом и трудном пути, о ненастной погоде, холоде могут быть повествованием о реальных невзгодах, мешающих путнику достичь родного очага. С другой, "Тема дороги неотделима от отдаленности вообще и от области смерти"⁴. Трудности пути – не плод воображения поэта, а традиционное описание пути душ, посещающих этот мир, и преград, которые стоят на этом пути. Священник приглашает Густава погреться у огня, предлагает ему еду и питье, спрашивает, кто он и откуда. Это происходит в поминальный день, потому проявления гостеприимства воспринимаются как формула встречи пришельцев оттуда⁵. Итак, подосновой IV части является мифологема – приход умершего в страну живых, приуроченный к поминальным дням. Она поддерживается топосом дома, который, являясь символом жизни, отражает состояние семьи, хозяина. С его смертью он перестает быть надежной защитой, олицетворяет смерть⁶. Значимым мотивом, который еще раз отгораживает Густава от мира живых, является мотив: свадьба/похороны. Реализация темы смерти через брак типична для славянского фольклора. Она вплетается в сложный комплекс ассоциаций, углубляющих и дополняющих доминантную тему всей поэмы – тему двоемирия. К противопоставлению жизни и смерти в терминах обряда Мицкевич возвращается, варьируя мотив: приход мертвого жениха на свадьбу невесты. Круг значений, связанных со смертью, создает и дендрологический код. Друг Густава – еловая ветвь – это и свадебный и траурный символ. Дом Священника населен неприкаянными душами, с Густавом беседует жук-древоточек, душа ростовщика; в бабочках он узнает цензора, вельможу.

Вводя в различных кодах круг значений, связанных со смертью, Мицкевич намечает противоположение земного и потустороннего миров. На него накладывается тема романтической любви,

которая без сопутствующей ей темы смерти лишилась бы и космического звучания, и трагического характера.

Тема любви ведется тесно сплетенная с темой памяти, что преобразует ее в обряд поминовения чувства, но не его объекта. Она возникает в воображении Густава, распадается на свернутые, разрозненные эпизоды, традиционные для культуры романтизма⁷. Здесь и прогулки, и тайные встречи в саду, и слезы, и талисманы, и вечная разлука. Все они поднимаются на небывалую высоту и освящаются не столько трагическим концом главного героя (он также литературен, и в нем – дань Вертеру), сколько его мистическим возвращением, его приходом в день поминовения. Так любовь сакрализуется, становясь обрядом. Так Мицкевич показывает, что чувственная смерть – внешняя, что духовно Густав побеждает смерть, вступая в мир высшей объективности. Миф романтической любви, таким образом, концентрируется в обряде поминовения, мифопоэтическая структура II части обогащается.

II и IV части "Дзядов", несмотря на различия сюжетов, тесно сближаются: во II романтически преломляется обряд поминовения, который в IV, уходя вглубь текста, вбирает в себя основной романтический миф – миф всеобъемлющей, космической любви.

III часть, на первый взгляд, слабо связана с предыдущими, II и IV. Густав по ходу действия преобразуется в Конрада. Обряд поминовения только проблескивает в дате этого преобразования и сразу исчезает. Тема вечной любви к далекой возлюбленной ни разу не возникает. Здесь все другое – нет ни условных романтических воспоминаний, ни призраков. Но части поэмы внутренне тесно держатся вместе. Совершенно иной событийный ряд – арест филоматов и филаретов в Вильне в 1823 г. – не отрывается от встречи Густава и Священника, и Призрака и Пастушки. Мицкевич сохраняет в точности место и время реальных событий (вильненский базилианский монастырь, превращенный в тюрьму, бывший епископский дворец), имена их участников (Т. Зан, И. Домейко, А. Фрейенд и проч.), доносит до читателя на первый взгляд мало значительные для истории факты, как арест юного Моллесона (у Мицкевича – Роллисона) или Чиховского. Он оставляет без изменений портреты преследователей, такими, какими они сложились в общественном мнении: сенатора Новосильцева, Л. Байкова, ректора Пеликана и др. Но таким образом их соединяет воедино, освещает под таким углом зрения, что и III часть не теряет связей с обрядом, и сама стремится стать им.

Непосредственно с обрядом поминовения связана только последняя IX сцена III части. В целом эта часть выполняет сакральную функцию в соотношении не с народной, а с религиозной мифо-

логией. Сквозь реальные контуры арестов, допросов, ссылок просвечивают архаические жанры мистерии и моралите. Страдания юных узников вызывают к жизни рождественскую мистирию; видение Петра – пасхальную; преобразование Густава в Конрада заставляет вспомнить моралите.

Элементы жанров религиозного театра вплетены в трагическое и гротескное действие, разобщены между собой, но играют в поэме структурообразующую роль. Они видоизменяют ее художественное пространство, ориентируя его по вертикали, которая особенно четко выявляется в Большой Импровизации.

Рождественская мистерия в "Дзядях" возникает благодаря постоянно повторяющемуся сравнению Сенатора с Иродом, а арестантов-невинно убиенными младенцами. Сравнение таит в себе вечный сюжет. Сенатор реализует его отдельные мотивы. Как мистериальный Ирод, он тревожится, предчувствуя неминуемую гибель, жалуется на тяготы власти, видит вещий сон, преследует юношей, почти детей. Их молодость, детство постоянно подчеркиваются. Они незаметно приравниваются самой высокой жертве. Мицкевич подчеркивает их безропотность, готовность пострадать, безмерность их страданий. Так сквозь призму Евангелия он описывает историческую ситуацию в Польше, поднимая ее тем самым на уровень священных событий, что было характерно для мессианизма.

Мессианистские взгляды со всей очевидностью сказались в разработке элементов пасхальной мистерии. Поэт не раз приравнивает страдающую родину Иисусу, суд над юношами – суду Понтия Пилата. В Видении Петра он сложным образом сочетает страсти господни и муки поруганной родины. Происходит даже их совмещение. Польша видится ему в терновом венце, окровавленная. Она шествует на Голгофу. Петр слышит ее последние слова, уже распятой на кресте, сложенном из трех сухих деревьев, высохших от злобы трех народов, разделивших Польшу. Польша, ее народ, погибает на кресте, но Видение Петра на этом не кончается. Он "досматривает" пасхальный сюжет, подставив на место Спасителя аллегорический образ родины. И вот она воскресает и возносится под пасхальное пение ангелов. Пасхальные мотивы возникают не только в Видении, но и в сцене суда над Петром. Его речь, обращенная к Сенатору, полна евангельских реминисценций. Он молчит на допросе, как молчал Иисус, отказывается пить вино, его бьют по лицу, как Иисуса били издевавшиеся над ним.

Мистерия традиционно связана с моралите, зачастую служит его рамой, и, даже уходя за скобки, остается его подосновой, ибо моралите проецирует события священной истории на душу челове-

ка. Частично своему появлению моралите в III части обязано отражению реальных событий в драме, которые поэт так трансформировал и так сместил во времени, что в "Дзяды" вошел сколок религиозной драмы о падении и возвышении, о преступлении и наказании, т. е. моралите. Когда Густав становится Конрадом, он повторяет преображение Адама, когда он проходит испытания, и духи борются за него, духи добра и зла, в III части слышны отзвуки суда над грешником. Ее финал – это развязка моралите. Преследователем свободы поражает гром, к ним приходит смерть, и они не успевают покаяться. Они мучатся в геенне огненной.

Так с помощью архаических жанров возвеличиваются и сакрализуются патриотические порывы юности, так память поэта связывает прошлое с настоящим. III часть превращает в обряд поминовения трагические дни юности поэта, дни, предвещающие революцию 1830 г. Это тоже дзяды – теперь их справляют по юным порывам к свободе. Так осуществляется связь всех частей драматической поэмы. И в III части поэт верен основной задаче обряда – "вернуть угрожаемую жизнь к порядку истории и времени в его органических и плодотворных связях. Подлинный ритуал восстанавливает не только время, но и всех, кто участвует в нем и в частности совершает его"⁸. Мицкевич восстанавливает время, справедливо преобразует, реконструирует историю, возвышая ее, вспоминает всех, кто реально жил в ней и оценивает их, используя как меру архаический жанр. Конкретным содержанием наполняет обряд памяти.

Их скрепляет также тема любви. В III части – это любовь к Родине, ибо "Родина стала польской религией, семьей, обществом, профессией, наукой, поэзией и философией, всем человечеством"⁹. Эта тема в наибольшей степени развита в Импровизации Конрада. Любовь его направлена на общество, на все человечество. Она способна его преобразовать и осчастливить. Так трансформируется эта тема: от мистической связи Призрака и Пастушки – к любви Густава, уведшей его в могилу – к всепоглощающей любви к Родине.

Итак, поэма Мицкевича – это поэма-обряд. Ее II часть задает обряд памяти, IV – соединяет его с темой романтической любви, III – преобразует эту тему в патриотическую, не теряя сакральности, а набирая ее, фиксируя исторический момент как содержание обряда. Обряд поминовения оказывается не только рамой – он начинается и кончается всю поэму. Он не только скрепляет ее, не дает ей распасться на ряд фрагментов. Он вживается в романтический текст. Прививка народной мифологии переводит драматическую поэму из разряда романтических произведений, колеблющихся

между театром и литературой, в разряд обрядовых текстов. "Дзяды" становятся основным обрядом польской культуры эпохи романтизма.

Примечания:

1. Барт Р. От произведения к тексту. – Избранные труды. Поэтика. Семиология. М., 1989.
2. Топоров В. Н. "Поэма без героя" в ритуальном аспекте. – Анна Ахматова в русской культуре XX века. М., 1989.
3. Топоров В. Н. Несколько соображений о происхождении древнегреческой драмы (к вопросу об индоевропейских истоках). – Текст: семантика и структура. М., 1983, с. 108.
4. Невская Л. Г. Семантика дороги и смежных представлений в погребальном обряде. – Структура текста. М., 1980, с. 230.
5. Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. М., 1982, с. 153–154.
6. Невская Л. Г. Семантика дома и смежных представлений в погребальном фольклоре. – Балто-славянские исследования. 1981. М., 1982.
7. Софронова Л. А. Категория любви в культуре романтизма. – О Просвещении и романтизме. М., 1989.
8. Топоров В. Н. "Поэма без героя", с. 16.
9. Cybulski W. "Dziady" Mickiewicza. Krytyczny rozbiór zasadniczej idei. Poznań, 1864, s. 34.

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ПОЭТИКИ ЯНА НЕРУДЫ

А. П. Соловьева

Мудрым учителем, наставником, безоговорочным научным авторитетом был для всех нас, студентов первых выпусков славянского отделения филфака МГУ, Самуил Борисович Бернштейн. Видеть в Самуиле Борисовиче патриарха славянской филологии нам мешала только его молодость, красота и элегантность, столь необычная в суровые военные годы (студенты первого и второго курсов славянского отделения появились в 1943 г.).

Заведующий кафедрой славянской филологии восхищал нас своей эрудицией, блестящей памятью, блеском лекций, прочитанных без всяких конспектов и выписок. Самуил Борисович стремился воспитать из своих "славиков" филологов в широком понимании этой отрасли науки. Эту благородную миссию он продолжал и в Институте славяноведения АН СССР, где долгие годы занимал пост руководителя сектора славянской филологии, объединявшего лингвистов и литературоведов.

Нас, студентов, он умел увлечь строгими законами лингвистики, таинственной логикой исторического развития славянских языков, связанного с культурой народов. Моя первая студенческая работа была, естественно, языковедческой. Она посвящена богемизмам Реймского евангелия. Самуил Борисович ее весьма одобрил, но отнюдь не одобрил моей измены лингвистике и увлечения литературоведением. Однако он от души порадовался моей защите кандидатской диссертации, посвященной творчеству Яна Неруды – ведь я была первым "законным" аспирантом нашей кафедры, ее первым выпускником, ставшим кандидатом наук.

Масштабность, емкость образных поэтических формул, афористичность, чистота и прозрачная ясность языка таких шедевров нерудовской лиры как стихи его последних сборников "Баллады и романсы" (1883) и "Песни страстной пятницы" (1896, посмертно) рождались в упорных поисках гармонии, четко отточенной мысли и средств поэтического выражения, наиболее полно отвечающих творческой задаче поэта: "Вдумайтесь сами в работу духовной мастерской поэта. Он должен одарить читателя новой мыслью, не

правда ли? Новая, действительно новая мысль однако приходит редко, а потом пройдет еще немало дней, прежде чем она выкристаллизуется в прекрасную, поистине по-гречески соответствующую ей форму... Только то чешское стихотворение действительно имеет художественную цену, познакомившись с которым в переводе на иностранный язык, вся заграница сможет сказать: "Да, это не пустое эхо!"¹.

Основой поэтического творчества для Неруды была прежде всего "поэтическая мысль", для выражения которой ему было недостаточно одних лишь эмоций, случайно промелькнувшего настроения. Он полагал что только по-настоящему взволновавшие поэта события, выстраданные мысли, глубокие чувства могут вдохновить на создание подлинной поэзии: "Прочитав стихи какого-нибудь стихоплета, я порой не знаю, что, собственно хотел он сказать. Да он и сам очевидно не знал, чего хочет, с него хватило "настроения", а этого плачевно мало... Звонкие слова, гладенький стих, умело сплетенный размер трогают его сами по себе. И все это похоже на завитой парик на деревянной подставке в витрине парикмахера... Отвратительное впечатление!"².

Стихотворения сборников "Баллады и романсы" и "Песни страстной пятницы" отличает простота и естественность синтаксического строения фразы, которая подчиняется прежде всего внутреннему смыслу, содержанию. Неруда иногда строил поэтическую строку, свободно передвигая на ударное место то слово, которое несет основную идейную нагрузку. При этом он сознательно нарушал четкий ритмический рисунок стихотворения, заставляя читателя невольно "спотыкаться" на словах, которые считал в стихотворении особо важными и существенными для выражения основной мысли. Сам поэт оставил ценные свидетельства, подтверждающие, что подобные приемы в организации стиха были для него отнюдь не случайными: в письме к поэту С. Чеху он писал относительно концовки своего стихотворения "Ангел хранитель" "... tvé křídlo nadšené mne přenes přes propásti, | anděle strážný svatá lásko k vlasti"): "Ритмический сбой в предпоследней строке стихотворения, что не ушло от Вашего внимания, имеет свою специальную цель. Я добавил там одну стопу, чтобы конец стихотворения звучал как народный дистих и последняя его строка таким образом обретала свое смысловое ударение"³.

Поэт стремился к тому, чтобы все компоненты поэтического произведения были слиты в по-гречески прекрасную гармонию, с которой несовместимо ничто случайное, лишнее, внутренне неоправданное. Поэтому он так непримирим в своих рецензиях на поэтические произведения своих современников к излишней услож-

ненности и нарочитости синтаксиса, финалу стихотворения, лишённому ударной мысли, непоэтическому "менторскому" звучанию строки, к банальным рифмам и образам⁴. Он осуждает перегрузку поэтической речи диалектизмами и словакизмами, когда читатель начинает нуждаться в словаре⁵. Его пугает стремление многих молодых поэтов к чрезмерным внешним эффектам, к обилию поэтических образов и фигур, которые душат поэтическую мысль, служат лишь украшающим, художественно не необходимым орнаментом. Считая Я. Врхлицкого одним из наиболее ярких талантов чешской музыки, восторженно отмечая умение этого мастера формы находить "золото поэзии во всем, к чему прикоснется его поэтический гений", находить словесное выражение для тончайших оттенков чувства и мысли⁶, Неруда вместе с тем не прощал ему ни многословия ("... вместо краткого и выразительного образа он нагромождает пусть даже прекрасные, но повторяющиеся стихи, и когда кажется, что поэт сказал уже все, что хотел, он добавляет что-то еще..."⁷), ни чрезмерной рефлексии, ни небрежностей поэтической формы, ни аморфности, "безударности" стихотворной концовки⁸.

И неудивительно, что одним из немногих современников Неруды, кто глубоко проник в его творческую лабораторию, отдав должное его профессиональному мастерству и своеобразию поэтического почерка, был именно Врхлицкий, так много работавший над созданием совершенной с формальной точки зрения структуры стиха. Поэт, блиставший формальными изысками, он восхищается свободой и естественной простотой поэтического почерка Неруды, отсутствием у него страха перед чуть жесткой стихотворной формой во имя выражения важной мысли в предельно ясной и убедительной поэтической формуле. Причем, Врхлицкий доказывает, что это отнюдь не поэтическая небрежность Неруды, который много и упорно работал над формой стиха, но его творческое своеобразие: "Поэт новейшей школы многое выразил бы в более гладкой и элегантно́й форме, однако вряд ли сумел бы сделать это так исчерпывающе и в гармонии с идеей, как Неруда. С самого начала он показал себя мастером предельного заострения своей мысли в ясной афористической формуле (pointe) как раз там, где ему было особенно важно подчеркнуть свою основную идею – и тогда он не придерживался с излишней щепетильностью заданного ритма или рифмы"⁹.

Поиски наиболее художественных выразительных средств, стремление к доступности поэтических образов, попытка посмотреть на мир глазами народа, передать народные легенды в народном же духе и стиле – все это привело Неруду к широкому и сво-

бодному обращению к Библии и Евангелию. Страстный противник католицизма и воинствующий антиклерикал (стихотворение "Папской курии", острые статьи против иезуитов в 70-е гг.) в стихах своих последних сборников многократно использовал образ Христа, девы Марии, библейские сюжеты. Это парадоксально лишь на первый взгляд. Библейские образы обладают исторически закрепленной в них особенностью высокого стиля. Неруде для патристических гражданских стихов нужен был патетический стиль высокой образности. С другой стороны – и это главное – поэта привлекала масштабность, многогранность, емкость библейских образов при широкой известности и доступности их народным массам, которым Неруда адресовал свои стихи, стремясь сделать высокую поэзию духовным достоянием народа.

Само название поэтического сборника "Песни страстной пятницы" легко расшифровывалось читателем: чешский народ-страдалец, распятый на кресте национального бесправия, переживает, подобно распятому Христу, свою страстную Пятницу, веруя в светлое Воскресение. Его муки разделяет Мать-Родина.

Используя библейские мотивы, поэт обычно оставлял в стороне их божественную религиозную тенденцию, делая акцент на общечеловеческих проблемах, на общечеловеческом звучании, "заземляя" их выдвижением на первый план чисто жизненных ситуаций, человеческих чувств, бытовых реалий. Свадьба в Канне галилейской в одноименной балладе рисуется поэтом как небогатая чешская сельская свадьба с обычными сплетнями кумушек о наряде и приданом невесты, о свадебном угощении, с недовольством по поводу малого количества винных бочек, с обычным озорством молодежи и любопытством вездесущих мальчишек. Благодарность пирующих Христу, обратившему воду в вино, проявляется очень искренне и по-человечески: они желают завести Христу собственный домик с полем и садом, с красивой рачительной хозяйкой. И так естественна и человечна печаль Марии, тщетно желавшей для сына обыкновенного человеческого счастья. В неторопливом эпическом повествовании скрыт глубокий лирический подтекст. Эмоции участников легендарной сцены легко проецируются на эмоциональный мир самого поэта, который служил своему делу с полной самоотверженностью, с полной отдачей сил, лишенной всякого своекорыстия, но тосковал от своего душевного одиночества и мечтал о тихом и обычном человеческом счастье семьи, которое ему не было дано судьбой.

Худшим врагом поэзии казалась Неруде выпренность, "красивый" пафос, от которых один шаг до ходульности, до поэтических котурнов, а это было глубоко чуждо творческому "я" поэта.

Органическое сочетание высокой патетики и юмора, столь характерное для поэтического почерка Неруды, глубоко коренится в самой национальной специфике чешского характера. Не только бытовые и психологические реалии и детали, но и сама манера изложения, простой разговорный язык вступают в противоречие с религиозной торжественной тематикой баллад. Часто это создает яркий комический, порою даже пародийный эффект. В "Райской" балладе", например, разговор деви Марии со святой Елизаветой напоминает сугубо земной, деловой разговор придирчивой хозяйки с нерадивой служанкой:

Что с тобой, святая, стало?
Я тебя не узнаю.
Нимб твой светлый на бок сбился,
Мутный взор остановился –
Иль не нравится в раю?

(Пер. М. Павловой)

В "Балладе о трех королях" короли поздравляют Марию и Иосифа с рождением Христа в таких выражениях, в каких подвыпившие односельчане могли бы говорить со своими соседями. И ведут они себя так же совершенно не по-королевски. Новорожденный Христос предсказывает, что станет пророком бедных и угнетенных – и потому негодным королям. Один из королей, озадаченный пророчествами Христа, чешет в затылке, словно простой мужик, небрежно сдвинув набок корону и потеряв дар речи: ("král řečník z čela koruny si honem k uchu šoupl", řek by něco, neví co, a zdá se mu, že zhloupl").

В "Романсе о весне 1848 года" поэт создает взволнованный гимн весне, обновляющей природу, и революции, которая приносит человечеству волю, обновление:

Весь край сверкал как будто бальный зал,
Из-под земли веселый марш звучал,
Нас сам господь на танец пригласил:
"Ну, наконец, людьми вы стали!

Финал этого гимнического стихотворения своей неожиданной откровенно-юмористической концовкой, несерьезной ноткой легко снимает то высокое патетическое напряжение, которого поэт всегда несколько опасался.

В вольном обращении с небом, в очеловечивании небожителей, в привнесении в каноническую религиозную сюжетную канву жизненных бытовых сценок, реалий, шуток, диалогов, грубоватого юмора Неруда следовал народному творчеству. Особенно близкой поэтике Неруды в этом отношении была, как нам кажется, чешская народная духовная дарма. Ее традиции идут из глубины веков.

Народные духовные представления разыгрывались особенно широко на пасху и на рождество любительскими, а затем и профессиональными актерскими труппами вплоть до конца XIX века, естественно, трансформируясь с течением времени. Особенно широкое распространение народная духовная драма получила в побелогорскую эпоху (народный театр барокко). Утрачивая свой первоначальный чисто религиозный ритуальный смысл, эти народные представления становились событием культурной жизни чешского села и провинции. Их характерной чертой была живая, непосредственная связь сцены и зрительного зала, которая актуализировала каждое представление. Все пьесы были написаны и игрались на чешском языке, расцвеченном особенностями местных диалектов. Популярность этих драм в народе, все более увеличивающийся светский характер, постоянные намеки на отношения реальной жизни, проникающие в них идеи просвещения – все это привело к тому, что церковные и государственные власти начали запрещать эти народные представления¹⁰.

Увлеченно изучавший в 80-е годы народное творчество, Неруда, безусловно не мог пройти мимо народной драмы. В этом убеждает прежде всего сам дух и характер его трактовки библейской темы, обнаруживающей глубокую близость и родство с народным видением. И у Неруды, и в народных драмах мы встретим неустанное акцентирование того, что Христос – сын простой и бедной женщины, что он родился среди бедняков и им посвятил свою жизнь. В известной "Раковницкой рождественской драме" XVII в. пастухи приветствуют в новорожденном Христе дитя человеческое, короли же – Бога. Ангел пытается примирить спорящих, убеждая их, что Христос родился бедным, чтобы обогатить всех бедняков, что перед ним равны и король и пастух:

Račil se narodit chudý,
aby dokázal, že tudy
chudé chce obohatit,
ryšné z stolice ssaditi.
Před nim bohatý, jak chudý
a kral postuškovi rovný.

Может быть традиции именно этой единственной в своем роде драмы, в которой так сильно чувствовался голос третьего сословия, его мечта и стремление добиться своих прав, стать вровень с господами, в которой так смело прокламировался демократизм Христа и его борьба за справедливость на земле, были особенно созвучны мировоззрению самого поэта. В стихах Неруды, так же как и в народных драмах, Христос последовательно очеловечивается, а его жизнеописание наполняется подробностями и деталями сугубо

земного, бытового, а не небесного и чудесного содержания. Неруде не могло не импонировать и представление о Христе, как о мятежнике и борце, которое возникает во многих народных драмах, в том числе в Железнодорожной¹¹, где Христос осуждается на смерть как "buřic" – мятежник, бунтовщик, смутьян, не подчиняющийся кесарю и подбивающий народ не платить ему дани. Нерудовский образ Христа-патрона итальянских карбонариев, осененного красным знаменем ("Уго Басси"), Христа, благославляющего революционный народ в 1848 г. или предрекающего королям, что его учение будет опасно сильным мира сего, очень близок именно этому народному толкованию, а не догмам официальной религии.

Близок к издавна идущей народной традиции рождественских представлений, колядок, пастушеских драм, песен и образ Христа, олицетворяющий молодость, наивность, чистоту. В "Рождественском романсе" Неруды Христос – веселое, лукавое, доброе и озорное дитя человеческое, в нем нет ничего трагического, ничего пророческого, ничего божественного. (Сходное толкование мы встретим и во многих очерках и фельетонах Неруды 70–80-х годов.)

Поэт воспользовался известным ему опытом старых иконописцев. Его привлекала та наивность и непосредственность, с которой они соединяли, казалось бы, несовместимое: религиозно-мифические сюжеты с чисто бытовыми реалиями жизни современной им эпохи. В фельетоне "Наивность" (1869 г.) Неруда с восхищением рассказывает о том, что в Мюнхене в одном из храмов он видел икону, посвященную деве Марии. В центре набожно молящегося общества, нарисованного по всем канонам иконописи эпохи, художник правдиво и живо изобразил грызущихся собак, что отнюдь не гармонировало с общим замыслом иконы. "А в Венеции на иконе с изображением всемирного потопа, – пишет далее Неруда, – между людьми, ищущими спасения, есть один субъект, который снимает "допотопные" сапоги, желая облегчить себе предстоящее плавание"¹².

С подобным обращением к традициям народной драмы, народной поэзии, характерным для поэтики Неруды, мы, пожалуй, не встретимся ни у кого из современников поэта.

Примечания:

1. Neruda Jan. Dopisy, III. Praha, 1965, s. 399.
2. Неруда Ян. Избранное, т. 2, М. 1959, с. 483 (Статья "Родной язык", 1980).
3. Dopisy III, s. 340.
4. Dopisy I. P., 1963, s. 434. (Quisovi, 13.4.1887).
5. Neruda Jan. Literatura III. P., 1958 (R. Pokorný. Z hor. 1881).
6. Там же, с. 91. ("Myty", 1879).
7. Там же, т. 13 ("Duch a Svět", 1878).
8. Там же, т. 172 (Básně, 1881).
9. Vrchličky J. Nové studie a podobizny. Praha, s. 56.
10. Dějiny českého divadla. I. Praha, 1968, s. 298–300.
11. Dějiny českého divadla. I, s. 314.
12. Neruda J. Sebrané spisy, díl 10. Praha, 1907, s. 115.

ЯРОСЛАВ ГАШЕК В ВОСПОМИНАНИЯХ

Я. С. НИКОЛАЕВА

С. В. Никольский

Среди живых свидетельств о Ярославе Гашеке особый интерес представляют воспоминания ныне уже покойного ленинградского художника Ярослава Сергеевича Николаева, с которыми он не раз выступал в Доме художника в Ленинграде. В 1967 г. его рассказ о встречах и общении с Гашеком был записан на магнитофонную пленку чешским корреспондентом Иржи Сейдлером и воспроизведен в переводе на чешский язык в журнале "Свет Совету"¹.

Николаев родился в 1899 году. Его детские и юношеские годы прошли в Сибири. Он учился в Томском художественном училище. Дальнейшая его судьба была связана с Иркутским университетом, где он поступил на исторический факультет, и с Восточно-Сибирскими художественными мастерскими. Он "посещал иркутское Общество художников, изучал в местной картинной галерее полотна Поленова, Левитана, Касаткина, Лансере, Сомова, Мане, Ренуара, сблизился с несколькими профессорами Мюнхенской академии художеств, заброшенными волей военной судьбы в далекий Иркутск. Эти военнопленные помогли Ярославу Николаеву в понимании западного изобразительного искусства, начиная академизмом и кончая импрессионизмом"². После прихода в Иркутск Красной Армии Николаев преподавал в художественной студии Пятой армии, а затем стал сотрудником агитационной отдела армии, где и познакомился с Гашеком. Общение их длилось несколько месяцев (лето – начало осени 1920 г.). Гашек был в это время, как известно, начальником интернационального отделения политотдела Пятой армии и вел огромную организационную и пропагандистскую работу. По свидетельству Николаева, они и жили рядом. Но об этом позже.

Самое интересное в информации Николаева – его упоминание о том, что Гашек давал ему в Иркутске читать свое сочинение "Швейк в стране большевиков". Приводим соответствующий фрагмент беседы чешского корреспондента с Николаевым:

"Николаев. В Иркутске он также написал своего "Швейка в стране большевиков".

Сейдлер. "Швейка в стране большевиков"? У нас не известно, что Гашек написал такое сочинение.

Николаев. Это было уже так давно, что я сам не помню подробностей. Но одно знаю точно – это был от руки написанный и с помощью примитивной техники размноженный текст, который я потом нигде больше не читал*. Жаль, что я не спрятал его тогда. Один экземпляр был у меня. Особенно интересны были "Приключения кадета Биглера", которые я несколько раз с чувством перечитал.

Сейдлер. Это было написано по-русски?

Николаев. По-русски.

Сейдлер. Писал это по-русски Гашек сам или кто-то перевел ему?

Николаев. Это я не берусь сказать. Но говорил он по-русски очень хорошо. Мы обо всем говорили с ним без труда. Запомнил я также, что кадет Биглер употреблял в этой книге некоторые очень неприличные выражения. Настолько неприличные, что меня это иногда смущало.

Сейдлер. Как вы расстались с этим экземпляром? Куда он мог подеваться?

Николаев. Трудно сказать. Откровенно говоря, я совершенно не помню, взял ли его Гашек назад или же он остался в доме, где мы жили. Тогда уж время было такое. Мы переезжали с места на место и все оставляли... В 1917–1930 годах я несколько раз лишался всего, что у меня было".

Речь идет, таким образом, о неизвестном до сих пор сочинении Ярослава Гашека. Подтвердится ли когда-нибудь его существование? Находки в архивах по прошествии семидесяти лет, по всей видимости, уже маловероятны, хотя и не исключены полностью. В настоящее время можно высказать лишь некоторые соображения о сообщении Николаева, сопоставив его с другими фактами. Можно также попытаться проверить, насколько достоверны и лишены ли ошибок памяти воспоминания Николаева в остальной их части.

Николаев помимо всего прочего называет адрес проживания Гашека в Иркутске, не известный до сих пор. Он рассказывает: "Сотрудники агитационного отделения, так же как и командование были размещены в гостинице "Модерн" или по соседству с ней.

* Присутствовавший во время беседы ленинградский богемист О. М. Малевич уточнял, что речь шла о копии, изготовленной на гектографе или жирографе. (Добавим, что гектограф имелся в распоряжении интернационального отделения, которое возглавлял Гашек.)

Гашек и я жили в домике пастора на углу Амурской и Большой улицы. Жили мы и работали в соседних комнатах. Это нас, естественно, еще больше сблизило. Я участвовал в пропаганде и агитации средствами изобразительного искусства, Гашек – прежде всего искусством слова – печатного и устного. Двери между нашими комнатами были постоянно открыты, так что мы часто разговаривали и во время работы".

Николаев набросал даже карандашный рисунок церкви и домика пастора возле нее, обозначив стрелками окна комнат, в которых жил Гашек и сам он. (Рисунок воспроизведен Сейдлером в журнале.)

От уроженцев Иркутска, в частности, от профессора С. Б. Бернштейна, а также при поездке в этот город нам удалось получить подтверждение того, что во времена Гашека на месте, указанном Николаевым, через улицу от гостиницы "Модерн" (здание сохранилось), действительно стояла церковь. Это был лютеранский храм, о чем Николаев не упоминает, но именно поэтому он говорит не о священнике, а о пасторе.

В 30-е годы церковь была снесена, а немецкие и французские книги, имевшиеся в библиотеке при ней, были якобы отправлены в утиль на бумажную фабрику. Во дворе современного дома-коробки № 20 по улице К. Маркса (бывшая Большая) до наших дней сохранилось одноэтажное каменное строение, принадлежавшее церкви (молельня? покойницкая?) и отчасти напоминающее (по утверждению иркутского реставратора Надежды Георгиевны Леус) архитектуру храма, который был выдержан в стиле ранней готики. Сохранившееся строение имеет закругленные сверху окна и аркатурный пояс над ними.

Нам удалось также обнаружить в Иркутске фотографию церкви и домика пастора. Правда, фотография относится к иному времени, чем рисунок Николаева. На ней нет деревьев, отделявших жилище пастора от церковного здания, которые мы видим на рисунке. Но в остальном она совпадает с ним и подтверждает его.

Подтвердились и реалии в воспоминаниях Николаева о Гашеке, связанные с их совместными походами на рыбную ловлю. Николаев вспоминал: "Одним из наших общих развлечений была рыбалка. Удочки мы держали снаружи дома за наличниками – в доме они не умещались. Мы накапывали в садике у церкви червей, брали с собой старый чайник, варили вкрутую яйца, накладывали каши из пшенной крупы, которую выдавали тогда в любом количестве, а если представлялась счастливая возможность, то захватывали и "китайские" калачи, которые были очень дороги. Мы выменивали их на базаре "Манчжурка" на рубашки или кофе – в зависимости от

того, что удавалось достать. С этими запасами около двух часов ночи мы отправлялись к Чертову озеру. В нем, правда, водились только караси, но нам здесь нравилось. Придя на место, – а к этому времени уже начинало светать, – мы раскладывали маленький костер и закидывали удочки. Гашек был малоразговорчив, только иногда мурлыкал чешские песни. (Теперь на минуточку прерву рассказ, – вставляет корреспондент. – Это было волнующее мгновение: ненадолго замолчав, припоминая, Ярослав Сергеевич вдруг извлек из глубин своей памяти мотив и слова – это было как чудо; растроганным голосом, русифицируя слова и мелодию, он начал петь звучную чешскую песню "Летела гусынька, летела высоко..." и первые слова давно забытой чешской песни: "Голубые очи, что же вы плачете..."). Песню "Летела гусынька" Гашек напевал, когда у него было хорошее настроение, "Голубые очи", которая звучала как-то трагично, наоборот, если у него что-то не ладилось, особенно в личной жизни".

Чертово озеро расположено на левобережье Ангары, между рекой Иркут и впадающей в нее речкой Кая, у подножия лесистого холма, который носит название Синюшина гора. В давние времена с этими местами были связаны легенды о разбойниках. Но название озера происходит не от слова "чёрт", а от слова "черта". Здесь проходила пограничная черта, разделяющая владения деревень Мельниково и Смоленщино*. (Сейчас озеро, бывшее когда-то очень живописным, обмелело и наполняется водой только в сырую погоду.) Николаев верно указывает расстояние от центра города до озера – примерно час ходьбы или чуть больше.

Довольно неожиданно выглядит в воспоминаниях Николаева психологическая характеристика Гашека, не совпадающая с тем, что мы привыкли читать о нем. Мате Залка, встречавшийся с Гашеком в Пятой армии в Красноярске, вспоминал, например, что вокруг Гашека всегда царил смех: "В присутствии Гашека мрачным оставаться было просто невозможно. Он рассказывал, а мы, кругом стоявшие, улыбались, смеялись, хохотали или просто ржали, надрываясь от смеха. Разговор Гашека – сплошной поток остроумных высказываний"³. У Николаева было совсем другое впечатление: "По большей части утверждают, что Гашек был необыкновенно веселым человеком. Не хочу этого опровергать, но

* Пользуюсь случаем выразить благодарность за эти и другие сведения заведующей Отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки Иркутского университета Надежде Васильевне Куликаускене, старожительнице Иркутска и краеведу Раисе Архиповне Андреевой, а также за информацию о планировке и архитектуре Иркутска – реставратору и знатоку архитектурных памятников Надежде Георгиевне Леус.

я его таким не знал. На протяжении тех нескольких месяцев, когда я жил рядом с ним, он был прямой противоположностью такому представлению, ходил по большей части задумчивый, даже нахмуренный. Он был небрежен в одежде, как, впрочем, и большинство людей вокруг нас... Никто в то время, разумеется, не обращал на это никакого внимания. Важнее были другие достоинства, прежде всего достоинства духа и воли. А ими Гашек бесспорно обладал. Он был неутомим в своей деятельности, писал воззвания, статьи, часто ездил выступать за пределы города. На собраниях и митингах я его, правда, ни разу не слышал, потому что не любил их. Но от других знаю, что он всегда имел большой успех".

Как мы видим, в памяти Николаева Гашек остался очень деятельным, однако чуть ли не грустным человеком. Но оказывается в Иркутске Гашек и был именно таким. Сведения об этом мы находим в воспоминаниях самого близкого тогда Гашеку человека – его жены Шуры Львовой. Она буквально в тех же выражениях, что и Николаев, пишет о настроении Гашека в то время. "В Иркутске Ярослав впервые за много месяцев ходил нахмуренный. Вызвано это было сообщением, что он должен возвращаться домой"⁴. Гашек решал тогда для себя очень нелегкую дилемму. Он должен был сделать выбор – либо возвращаться на родину, либо навсегда остаться в России. И решение нельзя было откладывать: стало известно, что определенные партийные круги в Чехословакии настаивают на его приезде для партийной работы дома. Естественно, что перед своим соседом, который к тому же был на шестнадцать лет моложе его, Гашек не раскрывал ни всех своих дум и забот, ни своего прошлого, в котором была и богемная молодость, и связь с анархистским движением, и первый брак. Не делился он, по-видимому, и опасениями за свое будущее и на родине и в России. Он понимал, что в случае возвращения его ждет весьма сложная ситуация, что потом и подтвердилось. Не просто было и остаться в России. Конечно, здесь его ценили. Конечно, он не мог предвидеть всех последующих деформаций и беззаконий, обрушившихся вскоре на Советскую Россию. Но вспомним его автобиографический рассказ "Перед Революционным трибуналом Восточного фронта", в котором он так зорко запечатлел тревожные симптомы, которые уже проявлялись в деятельности советских карательных органов. Особенно колоритен образ члена трибунала Агапова, который борется "с тенями прошлого", "видя в каждом возможного предателя", а Гашеку бросает фразу: "Как волка не корми, он все в лес смотрит. Гляди, брат, а то голова прочь"⁵. Было отчего задуматься.

Таким образом все то, что удается проверить в воспоминаниях ленинградского художника, получает подтверждение. Это повышает вероятность достоверности и его свидетельства о существовании сочинения Гашека "Швейк в стране большевиков". Косвенно в пользу его достоверности говорит и то обстоятельство, что, будучи в России, Гашек действительно вынашивал планы сочинений о Швейке, а частично и осуществлял их. Первая жена Гашека Ярмила Майерова вспоминала, что по возвращении на родину, он делился с ней: "Пишу Швейка. Все эти годы эта тема не отпускала меня. На фронте. В России. Всюду"⁶. В 1917 г., находясь в чешских добровольных частях в России, Гашек издал в Киеве повесть "Бравый солдат Швейк в плену". Друг Гашека, писатель и врач Франтишек Лангер, также служивший в чешских легионах, вспоминал, что Гашек собирался написать для самодеятельного армейского театра пьесу о Швейке, вступающем в добровольческие части в России. Есть свидетельства о том, что Гашек намеревался изобразить Швейка и в Красной Армии. Об этом вспоминали Арношт Кольман, служивший вместе с Гашеком в Пятой армии, чешский писатель Иван Ольбрахт, встречавшийся с Гашеком после его возвращения в Чехословакию, как раз во время его работы над романом о Швейке. Да и само название романа в рекламных плакатах, которые распространял Гашек со своими друзьями перед выходом первых глав, выглядело так: "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой и гражданской войны у нас и в России". Еще до появления этих плакатов и первых глав романа Гашек назвал также некоторым чешским издателям темы будущих своих сочинений вроде "Швейк у большевиков", "Швейк в Бугульме". Само начало работы над романом совпадает по времени с возникновением так называемого бугульминского цикла рассказов Гашека, в которых он с юмором рисует некоторые эпизоды своей службы в Красной Армии. Тематика этих рассказов и замысел романа не могли не соприкасаться в сознании автора⁷.

Любопытно, что намерение Гашека изобразить своего героя в обстановке гражданской войны в России было известно и в Советском Союзе. Создается даже впечатление, что в 20-е годы об этом замысле знали больше, а потом он забылся. Вот что писал, например, в 1929 г. обычно хорошо осведомленный о чешских делах советский критик Михаил Скачков. Отметив в одной из своих статей, что тема участия чехов и словаков в боях Красной Армии, очень мало разработана в литературе, он продолжал: "Единственный писатель Ярослав Гашек, принимавший участие в гражданской войне на нашей стороне и обещавший описать ее в продолжении своей эпопеи, которое должно было носить подзаголовок "Швейк при советях", умер, не успев выполнить своего намерения"⁸. В другой статье М. Скачкова мы читаем о Гашеке: "Если раньше он писал мелкие рассказы, то сейчас он берется за монументальную

эпопею, которая должна была охватить огромный период: мировую войну, русский плен, самодержавие, наши Февральскую и Октябрьскую революции и гражданскую войну в Сибири. Ранняя смерть помешала ему выполнить все эти планы"⁹.

Каждый, наверное, обратит внимание на то, что само название соответствующей части книги, которое приводит М. Скачков, поразительно напоминает и по смыслу и по тону заглавие, названное Николаевым.

Добавим вместе с тем ко всему сказанному, что не существует ни одного воспоминания, в котором сообщалось бы об иных вариантах развития темы Швейка в творческих планах Гашека.

Разумеется, нет ничего удивительного в том, что в контексте подобных замыслов могло родиться и сочинение или набросок сочинения "Швейк в стране большевиков". Тем не менее полностью прояснить этот вопрос позволили бы только новые архивные находки. Если их не будет, сообщение Николаева, по-видимому, так и останется вечной загадкой в биографии Гашека.

Чтобы завершить историю знакомства Николаева с Гашеком, напомним, что осенью 1920 г. Гашек выехал на родину. Где-то в сентябре – октябре 1920 г. он навсегда расстался и с Николаевым. В Чехословакии он написал свой знаменитый роман, хотя и не успел закончить его полностью. В начале 1923 г. Гашек умер, не дожив каких-нибудь четырех – пяти лет до своей всемирной славы. Николаеву было суждено стать профессиональным художником, пережить вторую мировую войну, перенести блокаду Ленинграда, во время которой он едва не погиб (был случай, когда его обессиленного от голода и теряющего сознание подобрали на невском льду), а затем оставить и воспоминания о Гашеке.

Примечания:

1. Seydler J. Napsal Hašek Švejk v zemi bolševiků? – Svět Sovětů. 1967, 23. srpna, s. 14. Всюду дальше воспоминания Николаева цитируются по этому изданию без дополнительных отсылок.

2. Славентатор Д. Поиски, вечные поиски. – Нева. 1960, № 7, с. 159.

3. Залка М. О поле, боге и Ярославе Гашеке. – Советское искусство, 1932, 27 февраля.

4. Lvová-Hašková A. G. – Můj život s Jaroslavem Haškem. Z vyprávění Alexandry Gavrillovny Lvové-Haškové. Připravil Jiří Častka. – Svět Sovětů. 1965, č. 40, s. 14.

5. Гашек Я. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 4. М., 1984, с. 119, 122.

6. Majerová J. Jaroslav Hašek (воспоминания, написанные в 1930 году). Цит. по кн.: Lidský profil Jaroslava Haška. Praha, 1979, s. 266.

7. О генезисе романа см.: Никольский С. В. Творческий замысел романа Я. Гашека "Похождения бравого солдата Швейка". – Сравнительно-историческое изучение и теоретические вопросы развития современных литератур. М., 1988, с. 206–289.

8. Скачков М. Чешская литература о войне. – Вестник иностранной литературы, 1929, № 4, с. 222.

9. Скачков М. Современная литература Чехо-Словакии. – Вестник иностранной литературы, 1930, № 6, с. 152.

ДВА ХАРАКТЕРА – ДВЕ ГРАНИ БОЛГАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. И. Злыднев

Личность каждого человека складывается в результате воздействия на него различных факторов генетического, этнического, социального и культурного характера. Важное значение при этом приобретает ближайшее окружение личности с раннего возраста, условия быта, воспитания, а затем и опыт практической деятельности. В конечном счете в личности проявляется характер человека, а он затем сказывается на реальной деятельности человека, в какой бы области он ни трудился. Но особенно это сказывается на творческой личности – писателя, художника, композитора, архитектора, артиста. Поэтому нередко можно наблюдать, когда писатели одного поколения или выступающие в одно время, хотя и не всегда принадлежащие к одному поколению, проявляют разную склонность в постановке проблем, выборе темы, в характере освещения людей или социальных слоев, в тяготении к разным эстетическим концепциям, разным стилям и, можно сказать, к разному восприятию и воспроизведению окружающей действительности. Конечно, при этом имеют значение мировоззренческие категории, но не только они. Исследователю приходится принимать во внимание самые различные обстоятельства жизни писателя, его психический склад, которые влияют на творчество писателя, способствуя проявлению разных сторон дарования. Все это протекает в рамках одного историко-литературного периода и показывает его многоплановость. Так мы реально сталкиваемся с индивидуальными особенностями творческой личности, которые приводят к разнообразию литературы на каждом ее этапе развития.

Для рассмотрения интересующего нас вопроса мы избрали двух крупных болгарских писателей – Людмила Стоянова и Георгия Караславова, которые на протяжении нескольких десятилетий участвовали в болгарской общественно-литературной и культурной жизни и внесли крупный вклад в развитие болгарской литературы. Их произведения перешагнули национальные границы и стали известны читателям разных стран. В Советском Союзе произведения Л. Стоянова и Г. Караславова неоднократно издавались большими тиражами на русском языке и на языках народов наших

национальных республик. Поэтому внимание к их произведениям представляется вполне оправданным.

Оба писателя у себя на родине зарекомендовали себя как активные борцы против реакции и фашизма, за что неоднократно подвергались преследованиям и гонениям со стороны официальных правящих кругов. Оба они видели в Советском Союзе оплот мира и надежного защитника тружеников не только в Болгарии, но и других странах. Поэтому их выступления в защиту нашей страны, нашей культуры сделали их в глазах общественности нашими верными друзьями. Это побуждает нас с еще большим вниманием отнестись к их общественно-литературной деятельности.

Вместе с тем, это были две неоднозначные личности по своим характерам, склонностям, взглядам и по своему творческому выражению. Не однозначны, а порой и сложны были и их личные взаимоотношения. Разным было и их литературное окружение. Хотя следует отметить, что ни у одного, ни у другого писателя не было открытого противостояния. Каждый из них уважительно относился к творчеству другого.

Автору этих строк довелось познакомиться лично с Л. Стояновым, в конце 40-х годов, а с Г. Караславовым в начале 50-х и в то же время довелось знакомиться с их произведениями и выступать о них в нашей печати – в изданиях популярных и академических. Впоследствии связи с этими писателями поддерживались самые непосредственные до конца их жизни. Хорошо помню, как в конце 1948 г. Л. Стоянов вместе с М. Грубешлиевой впервые после войны приехал в Москву и привез с собой первые номера первого в Народной Болгарии "толстого" литературного журнала "Септември", главным редактором которого был Стоянов. Он специально просил меня обратить внимание на талантливую повесть Г. Караславова "Танго", которая тогда впервые появилась на страницах журнала. С юношеских лет Караславов следил за книгами Стоянова. В 30-е годы они нередко выступали в одних революционных изданиях. В то же время не трудно было заметить, что разные обстоятельства, в том числе и разные обстоятельства личной биографии каждого из них, разделяли писателей.

Л. Стоянов (1888–1973) вырос в семье учителя и был представителем болгарской интеллигенции не первого поколения, что в конце прошлого и начале нынешнего столетия в Болгарии встречалось не часто. Из детства ему особенно врезались в память картины родного села Ковачевица в Родопях, оставшегося под османским игмом – "камни, хлеб из кукурузы, испытые лица, могилы"... А затем переезд в свободную Болгарию в начале 90-х годов, когда он становится сельским жителем Пловдивской околии. Здесь жили

и болгарские, и турецкие крестьяне, которые как отметил писатель в автобиографической повести "Детство", – "народ мирный, добродушный, услужливый". Не случайно потом появятся в разных произведениях Стоянова образы турок доброжелательных и свободолубивых.

В начале 900-х годов юноша оказывается в пловдивской гимназии, проявляя живой интерес к литературе. Вскоре в Софии он выступает как репортер газет "Пряпорец" и "Балканска трибуна". С этого времени он уже связан жизнью болгарского города, с интересами интеллектуальной молодежи. Сверстники молодого поэта стали впоследствии такие видные поэты, как Д. Дебелянов, Е. Попдимитров, Д. Подвырзачев. Все они увлекались модным символизмом. "Всей нашей богеме, – писал он позднее, – кому в большей, кому в меньшей степени, была свойственна самоуверенность знаменитого гидальго"; все мы мнили себя Колумбами неоткрытых миров. С Бодлером и Малларме или Брюсовым и Блоком подмышкой мы были убеждены, что творим великое дело, заgrimированные формулой: "Красота спасет мир"¹.

Но эта божественная жизнь продолжалась недолго: наступили первая и вторая балканские войны (1912–1913), а затем первая мировая война, в которую Болгария была ввергнута по воле правящих кругов. Поэт оказался участником этих войн и тяжело их перенес. Позже он писал: "Лучшие годы моей жизни загублены на войнах. Я упал с облаков романтизма на твердую землю и очень ушибся"². Неприятие окружающей действительности породило конфликт между поэтом и обществом, побудило его подвергнуть переоценке отношение к власти, государству, политике. Он стал анализировать и анатомировать жизнь, чтобы "показать ее фальшь и несостоятельность". Конечно, это произошло не сразу. Первые его поэтические сборники "Видения на перекрестке" (1914), "Меч и слово" (1917) еще были написаны в духе символизма. Понадобилось пережить волну воздействия идей Октябрьской революции в России и ее реакции в Болгарии в виде Владайского восстания (1918), быть свидетелем трагедии народа при подавлении Сентябрьского восстания 1923 г., чтобы писатель окончательно утвердился на демократических позициях и стал реально отражать социальные и нравственные конфликты. Он становится непримиримым противником насилия, реакции, деспотизма, где бы и в какой бы форме они ни проявлялись. С конца 20-х годов Л. Стоянов уже становится активным борцом против милитаризма и фашизма. На этой почве расширяются его литературные связи с писателями-коммунистами, с передовыми деятелями культуры на Западе, с советскими писателями. Публицистические статьи Л. Стоянова тех

лет составили позднее сборник "Путь маятника" (1946) – блестящая страница гражданственности и мужественности писателя, заметное явление общественно-литературной и культурной жизни Болгарии 30-х годов. Молчаливый и на вид замкнутый человек, более склонный к аналитическим раздумьям, Л. Стоянов как публицист, поэт и прозаик становится выразителем передовых устремлений болгарской народной интеллигенции, а его участие на болгарских и международных форумах против войны и фашизма поставило его в ряд открытых борцов против фашизма и принесли ему известность в разных странах. 20–30-е годы для Л. Стоянова – это время творческой активности в разных жанрах, но особенно следует отметить его поэтический сборник "Земная жизнь" (1939), повести "Холера. Солдатский дневник" (1935), "Мехмед Синап" (1939), "Серебряная свадьба полковника Матова" (1933–1947), сборники рассказов. Как писатель и редактор антифашистских периодических изданий Л. Стоянов оказался в центре прогрессивных сил в общественно-литературной жизни в стране.

Г. Караславов (1904–1980) родился в крестьянской семье в с. Дебыр, недалеко от Пловдива. Он не только хорошо знал, но и как бы впитал в себя быт и нравы болгарских крестьян, воспринял их неиссякаемую любовь к земле, к сельскому труду. Живой и пытливый ум юноши побудил его после гимназии учиться некоторое время в Почтово-телеграфном училище в Софии, в Педагогическом училище в Харманли и Казанлыке, но исконная тяга к земле привела Караславова на Агрономический факультет Софийского университета. Когда его исключили из Университета за участие в революционном движении, он уехал в Прагу и там завершил агрономическое образование (1929–1931).

Интерес к литературе у него пробудился вскоре после первой мировой войны. Его любимыми писателями стали такие реалисты, как И. Вазов, Елин-Пелин, следил за изданиями современных поэтов и прозаиков. Но особенно влекла его кипучая деятельность революционной молодежи. Он стал активно сотрудничать в революционных изданиях. Неизгладимое впечатление оставило кровавое подавление Сентябрьского восстания в 1923 г. в Казанлыкской околии. А в следующем году он уже становится членом Болгарской коммунистической партии и с нею он связывает всю свою жизнь и творчество. Много раз он подвергался преследованиям, арестам, избиениям; он мужественно переносил истязания фашистских следователей, испытал физические и духовные муки. Открытый, упрямый, непреклонный он остался верным своим убеждениям. Первые сборники рассказов Г. Караславова "Уличные мальчишки" (1926) и "Кавал плачет" (1927) вводили читателя в атмосферу

нищеты и бесправия, социальных контрастов села и небольшого города, в духовный мир болгарской молодежи, приобщавшейся к революционной борьбе. В 30-е годы Караславов активно сотрудничает в изданиях болгарских коммунистов как редактор, издатель и автор новых рассказов и повестей. Он сближается с такими революционными писателями как Х. Радевский, Н. Ланков, художник А. Жендов, он поддерживает молодого поэта Н. Валцарова. В своих художественных произведениях он стремится воспроизвести образ болгарского коммуниста, показав его путь к сознательной борьбе. Его рассказы и повести обогащают литературу новой проблематикой, сложными переплетениями социальных и нравственных конфликтов болгарского села. Самыми значительными его произведениями стали романы из крестьянской жизни – "Дурман" (1938) и "Сноха" (1942), получившие большую известность в стране и за рубежом.

В 30-е годы и Л. Стоянов, и Г. Караславов, при всем различии политических позиций, индивидуальных характеров, оказывались в одном прогрессивном и революционном процессе обновления литературы. Но у каждого из них складывались свои отношения к людям, обществу и самому принципу духовного развития.

Л. Стоянов воспринимал крестьянство как важную часть болгарского народа, с которой связана деятельность передовой болгарской интеллигенции. Уровень ее прогрессивности также был в прямой зависимости от понимания чаяний народа, от связей с ним. В стихотворении "Бедность" (1925) как боль и сочувствие вырвется мысль: "Мой бедный, бедный народ, печальна твоя участь"³. А в стихотворении "Не могу без людей" (1928) он скажет, что там где "говорят на родном языке ... где в поле два брата толкуют... Я ведь тоже их брат вдалеке". Позднее, в стихотворении "Родина" (1939) он выскажется еще определеннее: "Да, я горжусь твоими пастухами, мне дорог пахарь твой, твои поля, разбуженные песней"⁴. И все же взгляд на крестьян как бы со стороны, в нем больше раздумий интеллигента о судьбе своего отечества. В своих наиболее значительных произведениях Стоянов воспроизводит переживания, настроения и думы интеллигента, будь он прогрессивных или консервативных убеждений. В "Холере" его герой запишет: "Здесь все больше крестьяне, и они смотрят на меня участливо и с удивлением"⁵. А вот и его связь с землей: "Я сам едва волочу ноги, руки отказываются держать винтовку. Земля зовет! Зовет неотразимо, как мягкая пуховая постель. Хочется лечь, блаженно вытянуться и лежать так до второго пришествия"⁶.

Для болгарской прозы 20–30-х годов характерно было появление характеров в динамическом развитии, в эволюции. Это

можно обнаружить в произведениях Г. Стаматова, Г. Райчева, С. Загорчинова, О. Василева; это мы находим и в произведениях Стоянова и Караславова. У первого – рождение протеста против насилия, нарастание народного бунта, как в завершающих сценах повести "Холера", где человек "с крестьянским лицом" на митинге призывает бунтующих солдат "повесить царя на перекладине".

Основные герои рассказов, романов и повестей Г. Караславова это крестьяне с их повседневным бытом, с их суевериями и неволей, с их переживаниями и борьбой за существование. Роман "Сноха" начинается описанием уходящего летнего дня на селе: "Мягкие волны сумерек спускались по мерцающим огненным нитям первых звезд. Неуловимое дуновение пошевеливало верхушки потемневших деревьев, пробежало вниз по ветвям и поколебало духоту догоравшего летнего дня. Пыльное село притаилось и затихло в сладкой дремоте под перезвон медных колокольчиков далеких разбредшихся стад и глухой стук запоздавших телег"⁷.

Властный и деспотичный глава крестьянской семьи не щадил и себя: "Будет время, належусь, – в гробу! – сердито отвечал Юрталан. Он вставал очень рано, до того, как куры начинают копать во дворе, смотрел на бледный румянец наступавшего дня и старался угадать, какая будет погода. Когда Юрталан ждал хорошего ясного дня, а шел дождь, он ругался, но тихо, чтобы не услышали небесные силы, в могущество которых он верил, как в силу богатого человека"⁸. И первая и вторая зарисовки это не просто свидетельство большой наблюдательности автора, а свидетельство его органической связи со всем крестьянским миром, который он видел и ощущал как бы изнутри. У Караславова мы встречаем и развивающиеся человеческие характеры, путь сельских героев в революционную борьбу. Пожалуй, в наибольшей степени это выражено в его крупном эпическом цикле из шести романов под общим названием "Простые люди" (1952–1975), в котором писатель дает широкую панораму жизни и борьбы болгарских крестьян за свои социальные права со времени кануна первой до кануна второй мировой войны.

Оба писателя питали огромную любовь к русской классической и советской литературе, что выразилось не только в их пристрастиях как читателей, но и в переводческой практике. Через всю свою жизнь Л. Стоянов пронес огромную любовь к А. Пушкину и М. Лермонтову, увлекался он и русской поэзией начала XX века. Самым крупным его вкладом как переводчика явилось издание на болгарском языке полного собрания сочинений А. Пушкина в 10 томах и полного собрания сочинений М. Лермонтова в 5 томах. В первом издании Л. Стоянова выступил как редактор, организатор и

переводчик ряда произведений русского поэта, а во втором все переводы принадлежат ему. Это итог его переводческих усилий на протяжении трех с половиной десятилетий. Оба издания вышли в 1942 г. и явились крупным событием в культурной жизни страны. Г. Караславов меньше переводил, но не без гордости отмечал, что его переводы "Капитанской дочки" А. Пушкина и "Мертвых душ" Н. Гоголя были положительно отмечены критикой. Оба они переводили и советских авторов. Под влиянием М. Горького, и особенно его романа "Мать", который был очень популярен в Болгарии в 30-е годы, Г. Караславов создавал образы коммунистов в рассказах и повести "Селькор". Оба писателя на протяжении всей творческой деятельности выступали за укрепление болгаро-русских и болгаро-советских культурных связей. Большое внимание они проявляли и к работам советских болгаристов, постоянно поддерживали их через Союз болгарских писателей и институты Болгарской Академии наук.

Большую и трудную школу прошли Л. Стоянов и Г. Караславов в буржуазной Болгарии; много они сделали для развития литературы и культуры после второй мировой войны. Взыскательные художники слова к своему творчеству, они создавали атмосферу высокой требовательности к каждому писателю. Это проявлялось и тогда, когда они возглавляли Союз писателей, и тогда, когда были редакторами журнала "Септември", и когда они участвовали в кипучей литературной жизни.

Их художественные произведения, литературно-критические статьи, воспоминания, заметки о писателях – их современниках и деятелях культуры – вошли в национальный фонд современной болгарской литературы и высвечивают разные грани ее развития.

Примечания:

1. Стоянов Л. Статьи, речи и письма. Избрани произведения, т. 6. София, 1955, с. 210.

2. Там же, с. 30.

3. Стоянов Л. Избранное. М7, 1953, с. 30.

4. Там же, с. 23.

5. Там же, с. 211.

6. Там же, с. 233.

7. Караславов Г. Сноха. М., 1949, с. 9.

8. Там же, с. 23.

КАК РАЗРУШАЛИСЬ СТЕРЕОТИПЫ

(Страничка истории)

Г. Я. Ильина

Югославия была первой из восточноевропейских стран, которая отказалась от советской модели социализма. Отказалась не по доброй воле. Решениями Информбюро (июнь 1948 г. и ноябрь 1949 г.) она была отлучена от социалистического лагеря за проявленное неповиновение "отцу народов". Это было шоком для многих югославов и не только коммунистов. Началось трагическое освобождение от иллюзорных представлений о Советском Союзе, о невозможности противоречий и кризисов в социалистическом мире. Освобождение было поистине трагическим еще и потому, что партия, осмелившаяся возразить Сталину, сама оставалась партией сталинского типа. Всех тех, кто не разделял ее нового курса, ждали жестокие репрессии в сталинском духе – концлагеря, издевательства над человеческим достоинством, исключение из общественной жизни (в том числе и членов семьи). Противоречие между вынужденными поисками своего пути в социализм и сохранением в обществе и государстве монополии одной партии и одной идеологии наложило отпечаток на всю последующую историю страны, на ее культуру и литературу.

Казалось бы в Югославии период господства социалистического реализма был непродолжительным, всего несколько лет. Разрыв с ним после 1948 г. был решительным и практически всеобщим, и все же процесс идеологического раскрепощения общества в целом, и литературы в частности, был мучительным. Долгое время по-прежнему клеймилось всякое инакомыслие, даже в чисто эстетической сфере, как антисоциалистическое, и антинародное. На наш взгляд, одна из самых серьезных причин такого хода событий лежала прежде всего в характере участия Югославии во второй мировой войне. Расчлененная на несколько марионеточных государств, губерний и провинций¹, многонациональная страна сумела объединиться в борьбе против оккупантов и отстоять свою независимость. Эту борьбу возглавила Коммунистическая партия Югославии, собравшая вокруг себя все прогрессивные силы. Она вела

тогда не только национально-освободительную войну, но и стремились соединить ее с революционной борьбой против социального и национального угнетения, что неизбежно привело к гражданской войне. На освобожденной от врагов территории под ее руководством осуществлялись социально-экономические, идеологические и культурные преобразования социалистического характера. Югославская компартия сознательно выбрала советскую модель построения социализма² и применяла в ее осуществлении те же методы: диктатура пролетариата, бескомпромиссная классовая борьба, национализация промышленности, банков, транспорта, связи, оптовой и большей части розничной торговли, издательства, кинотеатров и т. п., индустриализация и коллективизация, естественно с раскулачиванием; в культуре – внедрение социалистического реализма и ориентация только на революционные и лишь отчасти демократические традиции, а в эстетическом плане – на реализм и усеченный романтизм. А ведь практически все крупнейшие писатели страны восторженно приветствовали новую Югославию, веря в гуманистический характер зарождающегося федеративного государства.

В первые годы после войны новая власть стремилась привлечь на свою сторону "все здоровые демократические антифашистские силы" (Р. Зогович)³, всех тех, кто не запятнал себя сотрудничеством с оккупационными режимами. Белградская "Наша книжевност", например, писала в первом своем номере о стремлении "объединить писателей Сербии безотносительно к их воззрениям, литературной ориентации и стилю"⁴. Выдвинутый тогда же писателем-партизаном С. Куленовичем, автором известной поэмы "Стоянка, мать из Кнежеполя" (1943) лозунг "реальности и моральности"⁵ как главной задачи литературы разделялся большинством югославских писателей. Их объединяло в ту пору воодушевление и энтузиазм людей, освободивших свою родину от фашизма, вернувших ей независимость и поверивших в свои созидательные силы. Поэтому столь всеохватным было презрение к предателям и коллаборационистам, которое нередко распространялось и на тех, кто не принимал активного участия в борьбе. Поэтому не вызывали сопротивления и призывы к немилосердной расправе с ними⁶. Поэтому же идейно-воспитательная функция литературы, просветительская ее направленность и оптимизм, проистекавший из победы народа, становятся для писателей добровольно взятыми на себя обязательствами. Любое отклонение от них встречало немедленный и весьма резкий отпор. Когда поэт Б. Радичевич, узник концентрационного лагеря, изобразил в поэме "Сумеречные дни" (1945) голод как всепоглощающее чувство лагерной жизни, то против него мо-

ментально выступил Добрица Чосич, поставивший в вину автору декадентский взгляд, "неправильный и формальный подход к теме". По мнению молодого критика и писателя, поэт должен был исходить "из перспективы новой жизни", тогда бы он понял, что главным для молодежи даже в тех условиях был не голод, а сопротивление и борьба⁷. Так же как молодой писатель Д. Чосич, думала и редколлегия журнала "Наша книжевност", в которую входили маститые писатели и критики М. Богданович, Д. Максимович, В. Глигорич. И по их мнению, народно-освободительная борьба должна восприниматься как время "силы и величия человека", а не как "трагическая мрачная эпоха его опустошения"⁸. По мнению патриарха революционной югославской литературы Мирослава Крлежи, литература должна быть "знаменем в борьбе ума и человеческого достоинства в окончательной победе человеческой мысли над коварным и близоруким невежеством"⁹. Писатели разных поколений и разного эстетического прошлого как должное приняли главенство воспитательно-просветительской функции художественного слова. Отсюда и опора главным образом на реалистическую традицию.

Период единения, однако, был чрезвычайно кратким. К концу 1946 г. – началу 1947 г. все больше расширяется влияние концепции искусства, отдающей предпочтение одной традиции – традиции революционной литературы межвоенного периода (социальной литературе и социальному реализму), а также опыту советской литературы 30–40-х гг. и выдвинувшей в качестве основной задачи литературы изображение "нового героического человека" и "нового общества". Вскоре эта концепция займет монопольное положение, а ее адепты начнут безжалостно расправляться с любым разномыслием. В результате еще неокрепшее объединение писателей внутренне стало расслаиваться. Многие писатели старшего поколения становились все сдержаннее в своих высказываниях, а то и вовсе замолкали.

Проводить в жизнь господствующую концепцию был призван отдел агитации и пропаганды ЦК КПЮ (Агитпроп), созданный в середине 1945 г., но организационно окрепший и распространивший свое влияние на культуру, науку и литературу к концу 1946 г. Его возглавил один из руководителей компартии М. Джилас, во главе отдела литературы был поэт и публицист Р. Зогович. Агитпроп получил непререкаемую власть над всей идеологической и культурной жизнью страны. Здесь должны были получать разрешение на публикацию даже такие писатели как М. Крлежа и И. Андрич. Главной опорой Агитпропа стали писатели – участники партизанского движения и литературная молодежь, недавно сменившая штык на перо и верившая в возможности штурмовой атаки в

литературе. Им-то и были обязаны литературные дискуссии тех лет нравами военной поры. Теоретиками и критиками выступали преимущественно партийные функционеры разного уровня – Э. Кардель, М. Джилас, Б. Зихерл, Р. Зокович, М. Франичевич, Д. Митрев, И. Попович. Выдвигаемые ими положения не были оригинальны: утверждались классовость искусства, требование идеализации и возвеличивания борцов с фашизмом и тружеников социалистического строительства, необходимость бескомпромиссной борьбы с буржуазным идеализмом, индивидуализмом, пессимизмом, формализмом и декадентством (кстати, эти понятия были очень нечеткими по содержанию и часто употреблялись как синонимы чего-то враждебного социализму и поэтому недопустимого). Тем самым давался импульс к единообразию и унификации художественного творчества, последствием чего и стало замедление литературного движения. На помощь была призвана и советская литература и критика конца 40-х годов. Югославскими журналами тотчас же были опубликованы доклад А. Жданова о журналах "Звезда" и "Ленинград", решения ЦК ВКП(б) об этих изданиях, речь А. Фадеева по поводу постановления и т. д. Широко печатались работы Л. Тимофеева, М. Розенталя, В. Ермилова, И. Анисимова, учивших югославских писателей "правильному методу". На вооружение был взят и опыт командирования литераторов на стройки коммунизма: не только молодые писатели, но и И. Андрич, М. Крлежа, М. Богданович отправлялись на строительство дорог, на фабрики и рудники. После одной из таких поездок сербский критик М. Богданович писал в 1947 г.: "Наша сегодняшняя жизнь – сама по себе новый реализм. Говоря о социалистическом реализме, мы его и переживаем... социалистический реализм создает и объясняет сама наша действительность, те огромные результаты в строительстве и тот бескрайний полет энтузиазма, которым они достигаются... Писатель, который побывал на строительстве молодежной дороги, прошел там живую школу социалистического реализма"¹⁰.

Так писал крупнейший критик, энциклопедист, опытный и талантливый литературовед М. Богданович, а рядовые и не очень образованные авторы требовали от писателей отказа от "личных переживаний", так как читателю интересна "готовая программа, а не сам автор"¹¹. В той поспешности, с которой проводилась переориентация всей литературы на социалистический реализм, безусловно сказывалась как идеализация советской страны и ее литературы, так и убежденность в необходимости создания новой литературы, которая подкреплялась реальными свершениями первых послевоенных лет, в том числе и в области культуры – провоз-

глашение равных прав для всех народов, создание творческих союзов, журналов, газет, издательств, огромные тиражи и т. п.

Между тем, буквально с каждым месяцем усиливалась борьба "за идейную чистоту художественных взглядов" против "декаданса и субъективизма", против всяческой недооценки советской литературы, против ложного новаторства, пессимизма, рецидивов прошлого, традиций символизма, натурализма, мистики и сюрреализма"¹². На несколько лет эти призывы станут своеобразными заклинаниями, а критика приобретет характер идеологической квалификации. В потере перспективы и чувства ответственности перед народом, в болезненности, формализме и безыдейности обвиняет М. Франичевич молодую талантливую хорватскую поэтессу Весну Парун¹³, сербского поэта Б. Радичевича критик Д. Попович упрекает в бегстве от жизни и в углублении в "убогие субъективные переживания"¹⁴. Резкое осуждение встречает попытка хорватского писателя П. Шегедина изобразить "вневременное и вненациональное сознание, решая проблему отчуждения в отрыве от других жизненных явлений" в романах "Дети божьи" (1946) и "Одинокие" (1947)¹⁵. Сравнив "убогих" и "лишних" героев романов Шегедина с героями М. Горького, Э. Шинко увидел отличие хорватского писателя от советского в "отсутствии перспективы и положительных героев, которые бы противостояли всякой нечисти и показывали бы какие огромные силы заключены в людях"¹⁶.

Такой была ситуация в литературе ко времени критики Информбюро югославского руководства, за которой последовал разрыв отношений между Югославией и социалистическими странами. На первых порах эти события привели к еще большему ужесточению проводимого курса – югославские коммунисты пытались доказать, что они верны сталинизму. Форсированными темпами продолжается коллективизация, национализация средней и мелкой промышленности, усиление административных методов регулирования экономики. В докладе на V съезде КПЮ (июль 1948 г.) М. Джилас призывает к борьбе за социалистическую идейность против влияния буржуазной идеологии и линии на идеологические компромиссы, а Р. Зокович сообщает тому же форуму, что "в борьбе за социалистический реализм в теоретическом и практическом отношении литература опередила все остальные виды отечественного искусства"¹⁷. И хотя в заявлении Р. Зоковича желаемое во многом выдавалось за действительное, в нем безусловно отразилось направление культурной политики КПЮ, осуществляемой в течение ближайших лет. Так, до 1952 г. сохраняет свои функции Агитпроп, продолжают выходить молодежные издания, учившие партийности и народности, созываются конференции молодых писателей

(последняя была в 1950 г.). Как бы в догонку уходящему влиянию советской теории в 1950 г. появился перевод учебника по теории литературы Л. Тимофеева, пропагандирующего советскую модель социалистического реализма тех лет. Кстати, он еще долго будет использоваться в югославских институтах как учебное пособие.

И тем не менее именно эти политические события подтолкнули к критическому осмыслению догматического марксизма. Его воплощением стали сталинизм и ждановизм (которым противопоставлялся титоизм), а в искусстве – советский социалистический реализм. В них и полетели первые критические стрелы. Внутри же Югославии процесс демократизации шел страшно медленно, с неоднократными рецидивами тех самых сталинщины и ждановщины. В этом, на наш взгляд, заключалась вторая причина столь длительного процесса освобождения от сложившихся стереотипных представлений о социализме, о марксистской теории, о свободе мнений и главное – о роли коммунистической партии. Вступало в силу то противоречие, о котором говорилось выше: провозглашение самоуправления, деколлективизация, признание относительного, но все же плюрализма, и одновременно – сохранение монополии одной партии, которая, по словам ее руководителя, "должна была располагать такими членами, иметь такую дисциплину, чтобы можно было идейно направлять массы и не позволять классовому врагу захватить позиции, какие он сейчас уже занимает в нашей стране в разных формах". По мнению И. Б. Тито, в Югославии после 1952 г. наступило "время какой-то эйфории демократизации всего и вся"¹⁸, что разумеется, одобрения партократии не вызывало.

Первой ласточкой в процессе раскрепощения ума и духа стало выступление Э. Карделя в Словенской АН в декабре 1949 г. В нем он подверг критике модель советской науки и культуры, ее зависимость от государства положение и выступил за автономию научного творчества, за борьбу мнений как условие прогресса, но, разумеется, в рамках марксистского миропонимания. В декабре 1949 г. собрался и второй съезд югославских писателей. В его решениях по сути дела продолжала господствовать теория социалистического реализма, хотя сам термин был отвергнут, а каждый из выступавших отрекался от советской литературы, как впрочем, и от "дегуманизированной" литературы Запада. Решения съезда содержали призывы создавать произведения, достойные современности и наполненные социалистической идейностью, расширять тематические границы реалистического изображения новых условий и нового человека, осваивать марксистско-ленинскую эстетику, повышать теоретический уровень писателей, вести бескомпромиссную борьбу с безыдейностью, формализмом и декадент-

ством¹⁹. Но на этом съезде был прочитан и доклад П. Шегедина, ставший возможным лишь после выступления Э. Карделя. Этот доклад, как и выступления других ораторов, был пронизан привычной терминологией: "партийность искусства", "новый человек", реализм как "искусство человека, на высшей стадии – социалистического человека". Вместе с тем Шегедин выступил против восприятия марксистско-ленинской эстетики как завершенного учения, где открыты все научные истины, против сведения партийности к прагматически понимаемой текущей политике и исключения из этого понятия "всего богатства человеческого бытия" (К. Маркс). Доклад был направлен также против механического восприятия советской литературы и эстетики, против нетерпимости в критике, ее декларативности и бездоказательности. Пришла пора, по мнению Шегедина, в открытой свободной дискуссии обсудить проблемы реализма, декаданса и формализма, гармонии формы и содержания. Хорватский писатель одним из первых поставил вопрос и о социалистическом гуманизме, который, как он полагал, является существенной составляющей партийности²⁰. Доклад П. Шегедина был воспринят в Югославии как первый шаг в борьбе за автономию искусства. Ему удалось сформулировать назревшую потребность в "очеловечивании литературы".

Начавшееся движение остановить было уже нельзя, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. В 1950 г., например, была запрещена сатира "Еретический рассказ" (1950) популярнейшего писателя Бранко Чопича, позволившего себе высмеять представителей высшего руководства, не желающих расставаться с благами, полученными во времена следования "батюшкиному курсу". Кульминацией же борьбы с "эйфорией демократии" стало осуждение М. Джиласа за ревизионистские воззрения, направленные "на разрушение идеологического и организационного единства Союза коммунистов и его ликвидацию"²¹ (в том числе и за литературные произведения, в частности рассказ "Анатомия одной морали", 1953, предшественника книги "Новый класс"). СКЮ твердо заявил тогда и еще не раз будет заявлять в будущем о своем праве на контроль за идеологической направленностью науки и искусства. "Случай Джиласа" показал, что процесс демократизации шел с весьма существенными ограничениями, что пока практически была невозможна критика партии и ее политики.

Но, как уже говорилось, движение началось. Оно подпитывалось тем новым видением социализма, которое, начиная с 50-х гг., формировалось в Югославии и в свою очередь расширяло и углубляло это видение. При всех заклинаниях о допустимости плюрализма в рамках одной социалистической идеологии с годами все яв-

ственнее во все поры общественной и культурной жизни проникало многообразие идей, мнений, теорий. Возникают новые издания (новая серия белградского журнала "Младост", 1952; "Беседа", Любляна, 1951; "Кругови", Загреб, 1952; "Млада литература", Скопле, 1952; "Млада култура", Белград, 1952; "Сусрети", Титград, 1953), они провозглашают "веру в человеческие ценности, в красоту как предназначение искусства, в свободную жизнь и свободную мысль, стремление к всесторонней полноте истины, к бескомпромиссной честности по отношению к себе и к искусству"²². Лозунгом дня стало название программной статьи журнала "Кругови" "Пусть будет живость", написанной одним из членов редколлегии В. Павлетичем. Особенно привлекал ее вывод: "Пусть скрестятся противоположные мнения, самые разные суждения, но пусть не будет осуждения"²³.

В этих журналах прежде всего меняется отношение к отечественному литературному наследию и современной литературе Запада. На их страницах все чаще появляются имена писателей сербского, хорватского и словенского модерна рубежа XIX–XX вв., межвоенных модернистов и авангардистов, публикуются переводы Кафки, Сартра, Камю, Фолкнера, Вульф. Приобретают права гражданства интимная лирика, психологический анализ, рефлексия, в качестве литературного героя появляется человек не тот, который будет, а тот, который есть. Объединившиеся молодые писатели, чаще всего те, кто вступил в литературу сразу после войны или в 50-е годы, осознают теперь свою особость.

Любые попытки молодых восстать против монополии реализма, выступить за свободу выбора тем и средств выражения, права на эксперимент, на расширение базы литературных традиций клеймились как "бесплодный формализм", "оживленный сюрреализм", "проповедь пассивности и резигнации, опускание на колени перед трудностями и опасностями, которые окружают человека"²⁴. Поэзия молодых поэтов М. Павловича, Р. Константиновича, В. Попы объявлялась "наступлением поэтического абсурда и бессмысленности"²⁵. И все это происходило при том, что в дискуссиях 1951–1953 гг. молодые и поддерживающие их писатели старшего поколения (журнал "Сведочанства", Белград, 1952) не посягали на социалистическую ангажированность литературы. Они сами ратовали за "развитие гуманизма и истинной культуры" для того, чтобы современная литература "могла быть на высоте стоящих перед ней социалистических задач"²⁶. Борьба с догматическим марксизмом велась ими с позиций марксизма, а в союзники чаще всего призывался молодой Маркс.

Размежевание происходило по вопросу о понимании общественной функции литературы, вылившееся в многолетнюю полемику между реалистами и модернистами. Во многом это было продолжением конфронтации первых послевоенных лет: реализм – формализм (декадентство) с тем же главенством идеологического аспекта даже в чисто эстетических вопросах. А с этой дихотомией теснейшим образом были связаны и другие – традиция и современность, национальное – югославское (и шире – универсальное). И методы полемики, к сожалению, тоже мало изменились: обе стороны отличала нетерпимость, обе использовали резкие оценочные идейно-политические аргументы, обе апеллировали в решении литературных вопросов к партийным инстанциям. И все же вливавшееся в литературу на протяжении 50-х годов новое поколение писателей было уже более раскованным, особенно в эстетическом плане. Оно продолжило борьбу за разрушение стереотипов мышления, особенно художественного мышления. Кульминацией ее стала конфронтация двух белградских литературных журналов "Современник" (начал выходить с января 1955 г.) и "Дело" (с марта 1955 г.), за которой активно следила вся литературная (и не только литературная) Югославия. Но это был уже следующий этап борьбы за свободу творческой деятельности.

Примечания:

1. Независимое хорватское государство, губернаторство Черногория, Люблянская провинция; часть территории Югославии отошла к союзникам Германии – Италии, Венгрии, Болгарии и, конечно, львиную долю, включая Сербию, захватил сам третий Рейх.
2. Отвергая как исторически неточное утверждение, что советская модель была навязана Югославии извне, И. Б. Тито пояснял, что "мы, свободно выбирая наш путь развития, в то же время брали пример с Советского Союза, что вполне понятно, так как это был единственный опыт строительства социалистической системы". – IX конгресс СКЈ, Белград, 1969, с. 5.
3. Zogović R. Na poprištu. Beograd, 1947, s. 11.
4. Наша књижевност. Белград, 1946, № 1, с. 4.
5. Преглед. Сарајево, 1946, № 1.
6. Ристић М. Смрт фашизму – слобода народу. – Борба, 1944, 5. XI. В этой статье бывший глава сербского сюрреализма писал: "Нет и не может быть ни свободы народа, ни единства, ни мира, ни счастья без полного немилосердного уничтожения реакции..."; Зоговић Р. Може ли издаја да застари? – Борба, 1946, 23. X.
7. Млади борац. Белград, 1945, 15. VIII.
8. Наша књижевност. 1946, № 1, с. 2.
9. Krleža M. Književnost danas. – Sabrana djela, sv. 20. Zagreb, 1953 – 1972, s. 136.
10. Цит. по: Peković R. Ni rat ni mir. Beograd, 1986, s. 39.
11. Там же, с. 49.
12. Књижевност, 1948, № 1.
13. Republika. Zagreb, 1947, № 7–8.
14. Цит. по: Peković R. Ni rat ni mir, s. 38.

15. Peleš G. Poetika suvremenog jugoslavenskog romana. Zagreb, 1966, s. 113.
16. Republika. Zagreb, 1947, № 6, s. 407–408.
17. Књижевност, 1948, № 9, с. 563.
18. Борба, 1972, 8. X.
19. Књижевност, 1950, № 1, с. 92.
20. Šegedin P. O našoj kritici. – Siciel M. Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti. Zagreb, 1972, s. 288.
21. Историја Савеза комуниста Југославије. Београд, 1985, с. 397.
- Джилас был полностью реабилитирован в 1990 г.
22. Цит. по: Slovenska književnost. 1945–1965. Prva knjiga. Ljubljana, 1967, s. 295.
23. Krugovi. Zagreb, 1952, № 1, s. 7.
24. Рецензия М. Бандича на поэтический сборник М. Павловича "87 стихотворений". – Летопис Матице српске. Нови Сад, 1952, № 5.
25. Богдановић М. О поезији у једном броју "Младости". – Књижевне новине", 1951, 23. XII.
26. Svedočanstva. Beograd, № 1.

О ПОЛЬСКОЙ ЭССЕИСТИКЕ

50–60-х годов XX века

В. А. Хорев

В польской литературе после 1956 г., после освобождения творческой мысли от пут сталинизма начались интенсивные художественные поиски, связанные в первую очередь с расцветом разных жанров "рефлексивной" прозы – эссе, дневник, воспоминания, фельетон, беллетризованный репортаж и др. Интерес писателей к этим жанрам был вызван необходимостью осмыслить кардинальные морально-философские вопросы: этика и политика, свобода и необходимость, историческая и социальная обусловленность личности, каноны и стереотипы мышления и т. д. А также необходимостью пересмотра и обновления художественных средств для освоения этой проблематики на новом этапе, ибо эти не столь уж новые проблемы на каждом этапе развития общества решаются литературой по-новому – и по существу, и по форме. Параллельные жанры представляли для этого прекрасные возможности.

В первую очередь это относится к эссе. Эта гибкая и многогранная литературная форма, в которой рассмотрение какой-либо проблемы сопряжено с личным переживанием и личным опытом автора, позволяет в свободной манере обсуждать и оценивать общезначимые темы из духовной жизни своего времени. Польская эссеистика конца 50–60-х годов исключительно богата и разнообразна по содержанию, по художественно-стилистическим приемам. К эссе обращались крупнейшие польские писатели современности. О значении эссе писала, например, Мария Кунцевич: "Да, я люблю этот жанр. Мне кажется, что пристрастие к эссеистике является определенным показателем современного вкуса читателей и склонностей авторов"¹.

Значительный вклад в развитие польской эссеистики внес Ярослав Ивашкевич, который с 1957 г. регулярно печатал заметки и эссе в периодической печати, издав их в сборниках "Беседы о книгах" (1961, 1968), "Люди и книги" (1971). В предисловии к одному из них он так определил характер своей литературной

эссеистики: "Рассыпанные, точно мозаика, заметки о прочитанных книгах отражают определенную действительность, определенное состояние моего ума. Они – проявление того, что я называю деятельной жизнью... Эта деятельная жизнь, которая воплотилась в моих заметках, симптоматична для нашей действительности. Она, несомненно, является неким интеллектуальным отражением жизни, движения...²

Мозаика наблюдений и размышлений в эссеистике Ивашкевича складывается в определенный узор, в своеобразный интеллектуальный дневник писателя. Из этого дневника читатель может черпать знания о мире, культуре, литературе и истории, а также о самом писателе, о времени, в котором он жил, о его художественных вкусах и привязанностях. Большая тема эссеистики Ивашкевича – русская и советская литература, русско-польско-украинские культурные и литературные связи. Он исследовал мировое значение русской литературы, многие страницы посвятил творчеству Пушкина, Л. Толстого, Тургенева, Чехова, Достоевского, Бунина, Шолохова, А. Толстого, Паустовского, Эренбурга, Блока, Ахматовой и других.

Названные книги Ивашкевича стоят в ряду многих эссеистских, художественно-документальных, автобиографически-мемуарных книг писателя. Этот внушительный цикл в его творчестве открывается "Встречами с Каролом Шимановским" (1947), за которыми последовали "Письма из Латинской Америки" (1954), "Книга о Сицилии" (1956), "Книга моих воспоминаний" (1957), "Гнездовье лебедей" (1964) и многие другие, созданные писателем уже в 70-е годы.

Большое распространение получила в 60-е годы историческая эссеистика. В исторических эссе автор часто становится одним из героев в том смысле, что он постоянно информирует читателя о своих поисках, отбрасывает ошибочные гипотезы, комментирует источники и т. п. "Историческим репортером" был назван Мариан Брандыс. Он посвятил цикл исторических эссе эпохе наполеоновских войн: "Неизвестный князь Понятовский" (1960), "Офицер больших надежд" (1964), "Козетульский и другие" (1967), "Хлопоты с панной Валевской" (1971). В них нарисована красочная панорама польской общественной жизни XIX в., формирование шляхетской модели культуры и образа мышления, имеющие значение вплоть до сегодняшнего дня.

Отличительной особенностью эссе, в первую очередь исторического, является то, что в нем не обязательно исчерпывающее рассмотрение вопроса, как в строго научных исследованиях, но это не снижает ценности этого типа произведений, зато облегчает

читателю усвоение авторской концепции, существа рассматриваемой темы. Оригинальную концепцию (вызвавшую большой интерес читателей и споры среди историков) функционирования власти в разные эпохи польской истории представил в своих книгах Павел Ясеница – "Польша Пястов" (1960), "Польша Ягеллонов" (1963), "Речьпосполита обоих народов" (1967–1972) и др.

Историческая эссеистика способствует популяризации истории и истории культуры. Эту цель в первую очередь преследуют книги Александра Кравчука, представляющего исторические фигуры выдающихся деятелей античного мира: "Гай Юлий Цезарь" (1962), "Император Август" (1964), "Нерон" (1965), "Ирод, король Иудеи" (1965), "Перикл и Аспазия" (1967) и др. Сюда же можно причислить книги Зенона Косидовского: "Когда солнце было богом" (1956), "Библейские предания" (1963) и др.

Результатом поисков культурных традиций, актуальных для современности, которые авторы видели в древних культурах средиземноморья, явились эссе Збигнева Херберта "Варвар в саду" (1962), Мечислава Яструна "Средиземноморский миф" (1962). Эссеистский характер имеют и книги Виктора Ворошильского, посвященные русской литературе – "Сны под снегом" (1963) о судьбе М. Салтыкова-Щедрина, "Жизнь Маяковского" (1966), "Жизнь Сергея Есенина" (1973).

Большой интерес вызвали полемически заостренные фельетоны и эссе Станислава Цат-Мацкевича. Бывший премьер-министр лондонского эмигрантского польского правительства (в 1954–1955 гг.) в 1956 г. Цат-Мацкевич вернулся в Польшу, где печатался в католической прессе и выступал (в рамках, дозволенных цензурой) оппозиционером по отношению к коммунистической власти в стране. Его книги "Мухи ходят по мозгу" (1957), "Достоевский" (1957), "Зеленые глаза" (1958), "Был бал" (1961), "Ересь и истина" (1962), "Evropa in flagranti" (1965) на исторические и современные темы вносили оживление в литературную жизнь, вызывая полемику в связи с субъективными обобщениями исторических фактов, в частности событий второй мировой войны.

К годам второй мировой войны обращались и другие эссеисты, среди которых выделяется Збигнев Залуский. В книгах "Пропуск в историю" (1961), "Семь главных польских грехов" (1962), "Финал 1945" (1963), "Сорок четвертый" (1968) Залуский остро и бескомпромиссно полемизировал с модной концепцией антигероизма, получившей воплощение в ряде произведений, доказывал необходимость и политическую результативность самоотверженной борьбы польского солдата на фронтах второй мировой войны.

Парабеллетристика, получившая развитие в 60-е годы и широко представленная эссеистическими формами, охватывает и близкие к эссеистике художественно-документальные жанры: мемуары, дневник, репортаж, художественный очерк и т. п. В этих жанрах, объединяемых понятием литература факта, совершалась – по сравнению с предшествующим периодом – заметная эволюция от фактографии, от внешней описательности в глубь характеров, в глубь психологии личности, отражающей социальную психологию различных слоев общества. В такого рода документальной литературе проявляется, как и в других жанрах, резко возросший читательский и писательский интерес к человеческой личности, участвующей в сложных общественных процессах.

Именно это отличает работы мастеров польского репортажа – Рышарда Капусциньского, Ольгерда Будревича, Кшиштофа Конколевского, Ежи Ловелла и др.

В художественно-документальных жанрах документы и факты не являются лишь первоосновой или прототипикой для художественного произведения, как в литературе вымысла. В них обнаруживается скрытая эстетическая энергия жизненного факта, действительного случая, характера и поведения конкретного лица, рассказывая о которых автор выражает правду о человеке и его времени и раскрывает самого себя, свои чувства и мысли, свои представления о людях и событиях.

Это обстоятельство дало основание польской критике назвать разнообразные бесфабульные повествовательные формы, такие, как эссе, беллетризованный репортаж, дневник, автобиография, воспоминания и т. д. "скрытым романом". Наиболее приложим этот термин, пожалуй, к литературе человеческого документа – автобиографии, дневнику, мемуарам, – в тех случаях, когда в них раскрываются важные, значительные не только для автора факты личной и общественной жизни, показывается связь человеческой судьбы с историей, когда в них явственно ощущается образ самого писателя, занимающего определенные идейные и эстетические позиции.

Большим мастером репортажа был Мельхиор Ванькович. Его репортажи близки по форме гавенде. Гавенда – подражание устному рассказу – специфический жанр, сложившийся в польской прозе XIX в. Главная роль в гавенде принадлежит рассказчику, который излагает события в том порядке, в котором они ему вспоминаются, постоянно обращается к читателю. Ведущие темы репортажей Ваньковича – польское сопротивление немецкому фашизму, судьбы поляков в годы второй мировой войны и в эмиграции ("Монте Кассино", 1957; "Вестерплатте", 1959; "Сражающийся "Гриф", 1963; двухтомный цикл "По следам Колумба", 1967–1968).

Совершенно иной жизненный опыт запечатлен в многотомном цикле воспоминаний Ежи Путрамента, общественного деятеля, многие годы бывшего одним из руководителей Союза писателей и его парторганизации, ("Полвека", тома I–VII, 1961–1981). В воспоминаниях, не лишенных личных пристрастий в оценках событий и людей, писатель выступает, как и во всем своем творчестве, прежде всего как политик и моралист, его интересуют значительные общественные и политические события.

Расцвет эссеистики и других парабеллетристических жанров вызвал процесс усиления личностного начала в прозе, преобладание рефлексии над описанием, ограничение фабулы в пользу интеллектуальной конструкции. Смешение эссеистики и беллетристики, репортажа и фельетона, публицистики и моралитета характерно для прозаического цикла Адольфа Рудницкого под общим названием "Голубые странички": "Слепое зеркало этих лет" (1956), "Просветы" (1957), "Жених Беаты" (1961), "Картина с кошкой и собакой" (1962), "Лодзинский купец" (1963), "Любовная пыль" (1964), "Вайсс впадает в море" (1965), "Общий снимок" (1967).

Рассказывая о повседневных событиях, о прочитанных книгах, увиденных спектаклях и кинофильмах, разговорах и встречах, Рудницкий фиксирует проявления новых обычаев, вкусов, эмоций. Писатель неустанно сигнализирует об опасности дегуманизации жизни и творчества, призывает творческую интеллигенцию к повышению чувства ответственности за свое творчество.

Эссеистика была для прозы своеобразным опытным полигоном, проверкой тех или иных интеллектуальных моделей мира, воплотившихся затем в иных жанрах. Соотношение между эссе и рассказом, повестью, романом прослеживается в творчестве многих писателей, хотя при этом следует иметь в виду частое взаимопроникновение элементов различных прозаических жанров, отсутствие непроходимой границы между сюжетной прозой и эссе в их творчестве. Казимеж Выка сравнил эссе с разведкой на войне. "Его посылают, – писал Выка, – чтобы он изучил местность, произвел наблюдения, позволяющие командованию принять решение и отдать приказ(...)" В иерархии литературных жанров эссе исследует территорию, подготавливая действия более тяжелых родов литературных сил, но много раз случалось ему самому эту территорию завоевывать. Много раз его первые озарения и вопросы значили больше, чем очищенный им от неприятеля, проторенный им путь, по которому спокойно катятся обозы"³.

Размышления о польской, и не только польской, современности, философии, нравах, политике, впечатления от путешествий и

встреч с людьми отражены в книге Казимежа Брандыса "Письма к пани Зет. Воспоминания о современности" (1958–1961, т. 1–3). Краеугольным камнем размышлений писателя является убеждение в необходимости для каждой эпохи по-своему решить "основополагающие вопросы человечества". Эти вопросы "обычно остаются нерешенными, но это не значит, что не стоит о них думать. Нужно жить в их сфере. Существует ряд записей ответов на эти вопросы и каждая эпоха должна вписывать свой".

В книге намечены знаменательные для писательской манеры Брандыса – и для всей прозы – новшества: широкое использование приемов внутреннего монолога, а также диалога – спора автора с самим собой, стирание грани между рассказом и очерком, фельетоном и эссе. В полной мере эти новаторские художественные стремления присущи книге рассказов и повестей Брандыса "Романтичность" (1960), повести "Способ существования" (1963), книгам "Джокер" (1966), "Рынок" (1968). Для этих произведений также характерна морально-философская и психологическая проблематика, конфликт между субъективными намерениями и объективной логикой различных исторических ситуаций.

Элементы различных повествовательных жанров сплавлены воедино в дневнике-эссе Тадеуша Брезы "Бронзовые ворота" (1960). Книга была результатом многолетнего пребывания автора на дипломатической работе в Риме, давшей возможность собрать обширный материал. Это весьма детальное и убедительное в выводах исследование о политике Ватикана, об отношениях внутри римской курии.

Дневник Брезы дает объективную информацию о католической церкви, в которой автор видит определенную систему власти, систему поддержания религиозного культа, систему подчинения своим идеям разнообразных областей жизни. Наряду с этим в нем созданы глубокие психологические портреты людей, с типом мышления и поведения, сложившимися под влиянием этой политической и идеологической системы.

Свои наблюдения над действием громоздкой бюрократической машины Ватикана Бреза использовал и в романе "Ведомство" (1960, на русский язык роман переведен под названием "Лабиринт"). Герой этого романа, молодой поляк приезжает в Рим, чтобы добиться справедливого решения дела своего отца – адвоката по делам костела в одном из польских епископств, заподозренного в лояльном отношении к новому строю и отстраненного от исполнения своих обязанностей. События, происходящие с героем, человеком нерешительным, безвольным, безуспешно блуждающим по коридорам и кабинетам римской курии, при всей их конкретно-ис-

торической определенности имеют и более универсальный смысл: показывают столкновение личности с бездушным бюрократическим механизмом.

Для эссе, фельетнов и рассказов Станислава Дыгата ("Ненастные вечера", 1957; "Розовая тетрадка", 1958; "Размышления во время бритья", 1959; "За пять минут до сна", 1960) характерны разоблачительное отношение к позе, манерности в разных сферах человеческой жизни, внимание к внутреннему миру "заурядного" человека, лирическая и ироническая интонация стиля.

Основное содержание беллетризованного репортажа о путешествии по странам Африки "Прощание с панной Сынгилю или слон и польский вопрос" (1959) Яцека Бохеньского – раздумья писателя о современных общественно-политических конфликтах и формировании в странах Африки новых культурных норм, форм общественной и личной жизни, непрестанно сопоставляемые со своими идеями и понятиями, которые являются результатом иного исторического опыта.

Жанр книги Бохеньского "Божественный Юлий. Записки антиквара" (1961) можно определить как исторический роман-эссе. Роман имеет мало общего с традиционным историческим повествованием. Писатель отказался от фабулы и хронологической последовательности в изложении. Это связано с замыслом книги – не просто рассказать об эпохе Юлия Цезаря, а показать, "что сделал Цезарь, чтобы стать богом", проследить пути и средства достижения Цезарем верховной власти. Историю борьбы Цезаря за власть реконструирует и комментирует эрудит-антиквар, обладающий ироническим складом ума. Такой рассказчик-интерпретатор живо и непринужденно беседует с читателем, делится с ним своими наблюдениями, сомнениями и предположениями.

Идеальный правитель, мудрый вождь, наблюдательный психолог, знаток человеческих характеров, превосходный стилист, преданный любовник Клеопатры, красавец-мужчина, увенчанный лавровым венком... Всего этого не скрывает от читателя антиквар. Но он показывает и обратную сторону "божественного" лика: насилие и шантаж, предательство и ложь, сводничество и разврат, наконец, – отсутствие каких-либо идейных побуждений. Сияющий нимб скрывает циничного и грязного политического интригана, "лысого бабника".

В романе Бохеньского, согласно исторической правде (республика изжила себя, объективный ход истории был "за Цезаря") нет сил, способных противостоять диктатору. Единственным молчаливым судьей его деяний был народ, "маленькие" люди, загадочные и подчас пугающие даже Божественного.

Книга Бохеньского прочно базируется на историческом знании, но история возвышения Цезаря, рассказанная антикваром, дает читательскому уму обильную пищу для размышлений о механизме возникновения культа личности, о безнравственности антинародной власти.

Такой же характер имел и роман Бохеньского об Овидии – "Назон-поэт" (1969), в котором сложная судьба инакомыслящего римского поэта, приговоренного к изгнанию из страны, отражала более универсальный конфликт – между подлинным художником и политической властью.

Эссеистская проза, рассматривающая взятые из жизни (или сконструированные) образцы человеческого поведения, моральные ситуации, размышляющая об истории, искусстве, литературе, о диалектике исторических и обыденных фактов играла в польском литературном процессе с конца 50-х годов авангардную роль. Она получила поддержку многих литературных критиков, которые связывали с ее расцветом появление "интеллектуальной литературы". Главной задачей этой литературы они считали отражение основного, по их мнению, содержания польской действительности, которым является преодоление "отчуждения общественных институтов, человеком созданных бюрократических творений, которые начинают господствовать над человеком". (Стефан Жулкевский)⁴.

На наш взгляд, следует скорее говорить не столько об "интеллектуальной литературе" (программа которой так и не была реализована, во всяком случае в полном объеме), сколько о процессе "интеллектуализации" польской прозы, зародившемся в эссеистике. Именно эссеистика точно нащупала главный конфликт жизни общества, строившего социализм сталинского образца – проблему отчуждения человека, именно эссеистика с ее морально-философскими раздумьями и широкими поисками новой литературной техники способствовала углублению проблематики и повышению художественного уровня произведений разных жанров.

Примечания:

1. Rozmowy z Marią Kuncewiczową, Warszawa, 1983, s. 140.
2. Ивашкевич Я. Люди и книги. Статьи. Эссе. М., 1987, с. 40.
3. Wyka K. Szkice literackie i artystyczne, t. 2, Kraków, 1956, s. 301.
4. Zółkiewski S. Zagadnienia stylu. Warszawa, 1965, s. 20.

ФЕНОМЕН ДВОЕМЫСЛИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СЛОВАЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (На материале творчества Рудольфа Слободы)

Ю. В. Богданов

Историками литературы из анализа повторяющихся типологически сходных ситуаций давно уже выведена характерная зависимость: переживаемые общественные катаклизмы, как правило, обостряют в литературе чувство самосохранения, стимулируют аналитизм мышления, стремление выявить и опереться на то позитивное, что содержалось в предшествующем художественном опыте. Не стала исключением из этого правила и современная словацкая литература, в лице своих наиболее чутких к состоянию общественного самосознания представителей давно уже с тревожной озабоченностью сигнализировавшая об углубляющемся процессе нравственного оскудения человеческого общежития, об отсутствии условий для осмысленного проявления гражданской активности личности. Эта аналитическая ветвь литературы, первые завязи которой появились в начале 1960-х годов, не пользовалась симпатиями господствующей официальной критики, раздраженно угадывавшей в сосредоточенном внимании к внутренней или к обыденной стороне жизни людей тихое, но упорное противостояние расхожим лозунговым стереотипам и политической конъюнктуре. В результате при всей несхожести и индивидуальной обусловленности творческих биографий писателей, отстаивавших право на свое особое видение мира, общим для них являлся устойчивый знаменатель настороженного, неприязненного или откровенно негативного отношения к создаваемым ими произведениям. Цепочка подобных – "спорных", "дискуссионных", "ошибочных" – книг предстает сегодня как один из наиболее весомых аргументов "для доказательства внутренней непрерывности национального литературного процесса в конкретный исторический период, когда вопреки подчеркиваемой приоритетности различных вне-литературных ограничителей и разрывов этот процесс обнаруживает высокую степень имманентной логики и закономерности"¹.

Рудольф Слобода (род. в 1938 г.) как раз и принадлежит к числу тех авторов, творчество которых отличается самостоятельностью внутренней эволюции, не зависящей напрямую от служебно-прагматически трактуемых "требований времени", "социального заказа" и т. п. Начиная с романа "Нарцисс" (1965) до последней на сегодняшний день, пятнадцатой по счету книги – повести "Уршуля" (1987), произведения Слободы неизменно сопровождался диаметрально противоположными оценками в критике, оправданными, а чаще неоправданными претензиями к писателю, за которым установилась репутация спорного, провоцирующего на дискуссию, непредсказуемого автора.

Между тем, по тонкому замечанию поэта Ш. Стража, одного из внимательных читателей и истолкователей Слободы, никакой прихотливой непредсказуемости в его творчестве нет: "Слобода в сущности всю жизнь создает некий единый развивающийся текст, причем как бы об одном и том же, но сам факт, что мы не в состоянии внятно определить, "о чем" Слобода пишет, уже в чем-то существенно характеризует его прозу"².

Творчество Слободы и в самом деле трудно поддается простодушной идейно-тематической характеристике. В каждом крупном его произведении, будь то, к примеру, романы "Нарцисс" или "Бритва" (1967), "Второй человек" (1981) или "Разум" (1982), есть, разумеется, свой особый сюжет, своя фабула, в них действуют разные герои и героини, но внутренняя проблематика, общий круг главных, "конечных" вопросов, волнующих автора, остается более или менее постоянным. В центре внимания писателя, независимо от внешних обстоятельств и поворотов действия, неизменно оказывается внутренний мир личности, причем не как некое определенное и логически развивающееся целое, а прежде всего как мир пульсирующий, постоянно находящийся в движении, часто противоречивый и сложный, густо замешанный как на здравом смысле, так и на предрассудках, вобравший в себя конкретный житейский опыт, но одновременно и массу иллюзий, расхожих поведенческих стереотипов и прочих атрибутов обыденного сознания...

Основные контуры и координаты этого зыбкого душевного пространства были намечены, нащупаны, эмпирически выведены и творчески апробированы писателем уже в первом крупном произведении, романе "Нарцисс". Редкий дебют в словацкой литературе последних десятилетий сопровождался столь бурным обсуждением, как эта книга – с относительно незатейливым сюжетом и "вечной", если не сказать банальной темой взросления молодого человека своего времени. Урбан Хромы, в недавнем прошлом благополучный студент философского факультета, внезапно пре-

рывает учебу в университете и завербовывается работать в Острове сначала на шахте, затем на металлургическом заводе. В самом факте обращения к подобному повороту в биографии молодого человека – уходу со студенческой скамьи на производство – не могло быть в ту пору ничего сенсационного. Литература уже успела нещадно эксплуатировать – без особых, впрочем, художественных завоеваний – тему "перековки" всевозможных нестойких индивидуумов в процессе конкретного, физического труда на фронтах социалистического строительства. К моменту выхода романа "Нарцисс" эта тема, породившая в пятидесятые годы целый поток схематичных и дидактических по преимуществу произведений, была, казалось бы, не только исчерпана, но и надолго девальвирована в литературе.

Если бы не предельная искренность интонации, не лихорадочная, местами просто спонтанная напряженность повествования, книгу Слободы можно было бы истолковать как заведомую полемику с канонами "производственного романа", поскольку Урбан Хромы не вынес из своей школы физического труда ничего, кроме отвращения к себе и к тем занятиям, которым он отдал два с лишним года жизни. И дело не только в том, что он так и не стал профессионалом, что и на шахте, и на заводе его используют "на подвахте"; дело в первую очередь в том, что Урбан постоянно живет в разладе с самим собой, по студенческой "философской" привычке рефлектируя по поводу каждого совершенного, а тем более несовершенного им поступка: "Я сказал себе, что надо смириться. Именно смириться, потому что разумом ничего не решить. Но тупость повседневной работы я не могу перестать ненавидеть. Я несчастен. Такой человек не имеет права жить. Я лишний..."

Не лучше обстоят его дела и в "личной жизни". Попытки сблизиться с молодыми работницами приносят ему сплошные разочарования, еще больше усугубляя недовольство собой, разжигая комплекс неполноценности, обрекая на тотальное внутреннее одиночество. Когда-то, покидая Братиславу, Урбан мечтал сделать себя "совершенным человеком". Теперь он не питает никаких иллюзий: "Мне кажется, что общество меня едва терпит. Я не чувствую себя членом общества." В конце концов он берет на заводе расчет и возвращается в Братиславу с горьким сознанием того, что "годы, проведенные им вдали от дома, были его проигрышем".

Роман "Нарцисс" определил всю дальнейшую творческую эволюцию молодого писателя, а Урбан Хромы стал первым в галерее героев-неудачников, которые один за другим в той или иной модификации будут возникать на страницах произведений Рудольфа Слободы. В "Нарциссе" определился и сам принцип повествова-

ния, чрезвычайно характерный именно для Слободы. В заостренной форме он сформулировал его недавно следующим образом: "Любой литературный герой – это собственно сам автор... Писатель не может писать ни о ком другом, кроме себя"³. Вот почему многие персонажи Слободы в профессиональных занятиях, поступках, поворотах судьбы часто повторяют биографию своего творца. Или лучше сказать: сам писатель щедро, вплоть до интимных мелочей, делится с ними личным жизненным опытом, привычками, вполне конкретными, доподлинными деталями и обстоятельствами своей жизни. И началось это именно с "Нарцисса". Не кто иной, как Рудольф Слобода учился на философском факультете, затем оставил его, переехал в Оставу, работал там несколько лет на шахте и на заводе, затем вернулся и, наконец, – единственное существенное отличие от Урбана Хромого – написал свой первый роман.

Конечно, в такой опоре на личное, пережитое нет ничего удивительного. Каждый художник ищет, находит, избирает свою меру, свою пропорцию между фактом и вымыслом. Правда, у Слободы "зазор" между героем и авторским "я", рассказчиком, часто сознательно сводится к минимуму, так что голоса того и другого нередко почти неразличимо сливаются. Подобная писательская позиция сулит немало преимуществ, как бы определяя заразительную искренность интонации, втягивая читателя в процесс сопереживания и соразмышления с героем (автором), но она же таит угрозу вынужденной самоизоляции, отказа от более широкого – соотносительно с кругозором героя – охвата явлений действительности, иными словами, чревата субъективизмом. Эта тонкая грань между "здоровой", оправданной художественным замыслом субъективностью, "аутентичностью" и опасностью полностью замкнуться на самом себе, погрузиться в мелочное, малопродуктивное самокопание и явилась главным оселком критических дискуссий, сопровождавших в Словакии творчество Слободы.

Впрочем, не только Слободы. В середине 60-х годов целая группа молодых писателей – В. Шикунла, Я. Йоганидес, П. Виликовский и др. – демонстрирует в своих произведениях явный отход от общественно-исторической и социально-классовой проблематики, находившейся в центре литературных интересов 50-х годов. На передний план выдвигается личность; молодая проза, не вступая пока в открытую полемику с предшественниками, стремится передать самочувствие конкретного человека, представляющего уже не класс, не какую-то социальную или общественную группу, а лишь себя – не повтор, а исключение. "Почти все, что приносит сегодня в наши литературы новые ценности, – в обобщенной форме констатировал М. Гамада, признанный критический дух

этого поколения, – можно характеризовать как выражение, а в ряде случаев и как защиту единичной свободной самобытности"⁴.

Многое, что завязывалось тогда в литературе, было затем деформировано или попросту оборвано после августа 1968 г. Однако идея экзистенциальной самооценности личности своеобразным антропологическим пунктиром прослеживается в прозе 70–80-х годов, продолжая подспудно питать творчество многих писателей. У Рудольфа Слободы, в частности, она составляет внутреннее проблемное ядро таких романов, как "Второй человек" и особенно "Разум", в котором оказались как бы сконденсированными все основные отличительные черты поэтики писателя.

Как это всегда характерно для Слободы, содержание "Разума" не поддается сухому пересказу. Написанный в форме повествования "от первого лица", роман представляет собой пространственный внутренний монолог автора-сценариста, работающего на братиславской киностудии "Колиба" и на протяжении всего повествования – по времени около года – бьющегося над очередной своей заявкой-сюжетом иронической комедии "Дон Жуан из Жабокреков". Несколько глав книги непосредственно посвящены изложению этого сюжета, "мукам творчества", различным вариантам и поворотам фабулы комедии, обсуждению заявки на киностудию и т. п. Иными словами, "Разум" можно было бы, казалось, отнести к обширному литературному массиву, в котором на разные лады анализируется состояние творческой личности, "пишущего героя". Но ироничен не только сюжет комедии, скрытая ирония сопровождает и описания творческих мук ее автора, героя романа. Он одновременно и болеет за свое детище, и глубоко презирает продукт своего труда. Он гордится своим профессионализмом и в то же время ни в грош себя не ставит как писателя.

Подобная раздвоенность, расщепленность преследует героя во всем, что он делает и в повседневной жизни. Она, эта жизнь, вся состоит из обыденных мелочей, не имеющих ни малейшего отношения к его сочинительству. Он живет в деревушке, ставшей за последние годы почти уже предместьем Братиславы, в старом отцовском доме, который после смерти отца поделен наследниками – братом и сестрой – на две половины. Пока был жив отец, дом держался его добротой, трудолюбием, заботой, умением все понять и простить. Но вот отец умер, и вылезла наружу вся неустрашенность быта, жизни, отношений между самыми близкими людьми. Давняя и, как видно, уже неизлечимая душевная болезнь жены, подростковый эгоизм пятнадцатилетней дочери, мелочные, унижительные ссоры с родной сестрой, неряшливые, ленивые соседи и многое-многое другое, вплоть до блохастых кошек и перманентно

немытой посуды – все это составляет ту повседневность, в которой горестно и безнадежно барахтается наш герой, испытывая постоянное недовольство самим собой, своей неспособностью навести хоть какой-нибудь порядок в собственной семье, хоть как-то гармонизировать свое существование. "Лишний человек", "мертвая душа", "убитый человек" – так он клеймит себя в минуты полного упадка духа, подумывая даже о самоубийстве как способе "прекращения невыносимого состояния пустоты".

Есть в этой книге, однако, еще один мощный пласт мыслительного материала, который, собственно, и послужил писателю непосредственным поводом к тому, чтобы назвать свой роман "Разумом". Банальность повседневного существования героя контрастирует с его непреодолимой тягой к рефлексии, к философской медитации, с его доверием к разуму, рассудку, в котором он интуитивно ищет опору, в сфере которого "отыгрывается" за свою незадавшуюся жизнь. Кант, Гегель, Ницше, советский социолог И. С. Кон, другие философские авторитеты возникают на страницах книги с аутентичными мыслями, высказываниями, философемами, иллюстрируя незаурядную эрудицию автора, основы которой были заложены в молодости на философском факультете. Казалось бы, эти размышления не имеют прямого отношения к житейским мелочам, окружающим героя. Логично рассуждая о супружестве, верности, ревности, сложных источниках зла и добра, об ответственности в сфере душевных отношений и т. п., он сам не связывает (не умеет, а, может быть, и не отваживается связать) эту абстрактную сферу духа с реальной конкретикой своего бытия. Но ничто не мешает это сделать читателю. Результат оказывается небезынтересным.

Раздвоенность героя – человека и писателя – уже перестает выглядеть как некая индивидуальная ущербность. Она воспринимается как знамение времени, как ненормальное, болезненное состояние, подлежащее преодолению. "Закономерностям" раздвоения сознания, этой интуитивно самозащитной реакции "обыкновенного человека" на окружающую его жизнь, посвящено не одно рассуждение героя в романе. Никакой "разум", никакая рассудочность не может спасти человека от конформизма, который у одних приобретает форму пассивного приспособленчества, у других – откровенного меркантильного цинизма. Самое грустное состоит в том, что "большинство людей принимает это второе "я" за нормальнейшую часть своей психики... Жизнь иногда ставит их в такую ситуацию, когда они должны поступать честно, но если эта ситуация слишком сложна, то они либо поступают нечестно, либо ситуацию обходят".

В своем относительно недавнем – в феврале 1989 г. – интервью братиславской "Правде" писатель, возвращаясь к роману "Разум", говорил: "Речь идет не о малых, а о нездоровых условиях жизни... То, что в Словакии они действительно были такими, мы сегодня уже начинаем осознавать... Я думаю, что некоторое время спустя история литературы придет к тому, что Слобода в романе "Разум" вернулся собственно к традиционному типу романа, в котором к тому же действует типичный положительный герой. Конечно, этот герой не мог восприниматься как положительный в 1983 году, о чем свидетельствует и рецензия, опубликованная в то время в "Правде"⁵.

Тоска по заветному нравственному императиву принимает в романе форму саморазоблачения, самобичевания героя. Но Слобода прав: в самой абсолютной открытости одинокого и большого, "несчастливого" сознания, в откровенной исповедальности горького рассказа теплится надежда на понимание, на сочувствие, на контакт с людьми, в конечном счете вера в их неистребимую добрую сущность. Во всяком случае, это отнюдь не "мертвая", а живая душа, по-своему глубоко и искренне реагирующая на чужую боль и страдание, на ложь и притворство. Раздвоенность здесь сродни "двойничеству" у Достоевского, это не вина – беда человека.

Не случайно Рудольф Слобода счел необходимым вступить за этого своего героя. В самом деле, пожалуй, впервые после "Нарцисса" он вложил в него – в его душу, профессию, быт, привычки – столько от себя, от своего уклада жизни и образа мыслей. Он даже поселил его в Девинской Новой Веси, в доме, в котором он сам постоянно живет. Вместе с тем, как бывало уже не раз, Слобода решительно отвел суждения некоторых критиков, пытавшихся прямолинейно отождествить героя романа с его автором. Для Слободы это был вопрос принципиальный. И, думается, не только для него, поскольку при таком отождествлении (а Слобода действительно около десяти лет проработал сценаристом на киностудии) вольно или невольно подлинно художественное произведение чуть ли не уподоблялось автобиографии, чем принижался, естественно, обобщающий статус романа, его социальная и человеческая значимость.

В 1989 г. Слобода издал оригинальную книгу автобиографических эссе "Опыт автопортрета". Две главки в ней непосредственно посвящены воспоминаниям периода работы над "Разумом". "В мои намерения, – рассказывает писатель, – входило описание жестких сторон жизни, но главной целью было стремление показать, что сценарист, герой "Разума", не мог и не умел хоть что-

либо использовать в своем творчестве из реальной пестроты собственной жизни. Его личный опыт практически не играл никакой роли в творческой деятельности. И это красноречивейший пример стчуждения труда. Если кто-то всю жизнь обречен делать то, что никак не согласуется с его вкусами и чаяниями, если творческая работа оказывается лишь неким порханием в клетке, которую соорудило некомпетентное общество, то есть начальство, коллеги, окружение, тогда собственное доподлинные жизненные впечатления писателя становятся для него невыносимым бременем, ночным кошмаром... Отсюда эта печать двуличия, которую герой "Разума" хотя и ощущал на себе, но ничего не мог с ней поделать"⁶.

Выход в свет романа "Разум" в 1982 г. стал заметным событием в общественно-литературной и читательской интеллектуальной среде Словакии. Механизм вынужденного двоемыслия, с горькой красноречивостью раскрытый Слободой, объективно свидетельствовал о глубоко зашедшем процессе дегуманизации общественного сознания, о подмене ценностных критериев, обрекавших личность на раздвоение, дисгармоничное существование. Трагический, экзистенциально-философский подтекст романа был однозначно расшифрован в официальных инстанциях как несовместимый с социалистической "коллективистской" моралью. Назревала кампания по политической дискредитации книги и ее автора. Но она так и не состоялась, поскольку в защиту романа высказалось на этот раз подавляющее большинство критиков, в том числе на обсуждении в Союзе словацких писателей.

В самом характере дискуссии, безусловно благоприятной для Слободы, отразилась все та же парадоксальность ситуации, заставлявшая "подтягивать" роман к параметрам социалистического реализма и мягко упрекать писателя в отсутствии широкой социальной перспективы. Тем не менее на фоне вынужденных эвфемизмов уже тогда была сформулирована и главная проблема романа, мучающая его героя и автора: "Как быть, как стать человеком" (П. Заяц) или по крайней мере "как остаться человеком" (П. Палкович)⁷.

Примечания:

1. "Slovenské pohľady", 1990, č. 9, s. 49.
2. In: R. Sloboda. Dni radosti. Bratislava, 1982, s. 194.
3. R. Sloboda. Pokus o autopotret. Bratislava, 1988, s. 144.
4. M. Hamada. Basnická transcendencia. Bratislava, 1969, s. 196.
5. "Nedel'na pravda", 1989, c. 6.
6. R. Sloboda. Pokus o autoportret, s. 128.
7. Kritiči diskutujú o Slobodovom Rozume. – "Romboid", 1983, č. 1.

ЛИУТПРАНД КРЕМОНСКИЙ ОБ ОДНОМ ИЗ СЛАВЯНСКИХ ОБЫЧАЕВ

Г. Г. Литаврин

Лиутпранд, епископ Кремоны (в Ломбардии), в конце 968 г. посетил Константинополь в качестве посла Оттона I (с 936 г. короля, а с 962 г. императора Германии). В начале 50-х годов Оттон I захватил север Италии, а в 962 г. – и самый Рим, подчинив папство своему политическому влиянию ("покровительству"). В этом же году папа короновал Оттона I императорской короной, и новый император возвестил о восстановлении "Римской империи".

В Византии в это время правил Никифор II Фока (963–969), захвативший трон в результате военного мятежа (законные наследники престола – будущие императоры Василий II Болгаробойца и Константин VIII были тогда малолетними). Никифор II не признавал ни территориальных приобретений Оттона I в Италии (ее южные области принадлежали Византии, и она не оставляла помыслов о восстановлении своей власти на всем полуострове), ни императорского титула повелителя Германии (право на этот титул, согласно византийской политической доктрине, принадлежало лишь императору Константинополя, и его держава называлась официально "Романией", т. е. "Римской империей").

Отправляя Лиутпранда в Константинополь, Оттон I предлагал династический брак между своим и византийским двором, испрашивая руку одной из византийских принцесс для своего сына и наследника – будущего императора Германии Оттона II (973–983). Оттон I надеялся, в случае успеха миссии Лиутпранда, урегулировать свои отношения с Константинополем, легализовать свои акции в Италии, добиться признания своего нового титула, а может быть – заложить основы для гораздо более обширных планов.

Лиутпранда ожидал в столице империи дурной прием: раздражение против Оттона I было вымещено на его посла – епископа Кремонского всячески оскорбляли и унижали и сам император Никифор Фока, и его сановники. Вернувшись ни с чем, Лиутпранд написал своего рода отчет о своей миссии – Relatio de legatione Constantinopolitana, где подробно описал свое путешествие, приемы в

императорском дворце и впечатления от Константинополя. Лиутпранд сравнивает при этом положение дел в городе в конце 968 г. с тем, которое было послу известно по его первому посещению Константинополя в 949 г. – также в качестве дипломата. Тон повествования епископа в первом (он также написал об этом в свое время) и во втором случаях – прямо противоположен: посольство 949 г. завершилось полным успехом (а речь шла также о заключении династического брака) – и рассказ Лиутпранда полон восторгов, миссия 968 г. потерпела полный провал – и описание епископа пронизано сарказмом, это скорее злая сатира на византийское общество и его повелителя, чем объективный отчет о посольстве. Прославленный победами над арабами император-полководец Никифор II Фока – фигура в истории Византии скорее героическая и одновременно трагическая, чем экстравагантная или даже нелепая, как его пытается – в угоду Оттону I – изобразить Лиутпранд. Никифор II прославил свое имя как полководец победами над арабами еще до воцарения. Восхищение подданных он вызывал и суровым аскетизмом в личной жизни. Его популярность у константинопольцев, правда, стала падать как раз в это время из-за осуществляемого императором курса на увеличение налогового гнета.

Неоднократно делая злобные выпады против Никифора, епископ в одном из пассажей прямо обращается к Оттону I и просит его поверить, что Лиутпранда разобрал неодолимый смех, когда он увидел Фоку восседающим на коне, "малюсенького" (посол намекает на невысокий рост византийского императора) по сравнению с "великим" Оттоном. И непосредственно далее следует фраза, заслуживающая – в контексте тематики данного сборника – особого внимания. Продолжая уничижительные для Никифора сравнения, епископ Кремонский пишет: "Puppat ipsam mens sibi depinxit mea, quam Sclavi vestri equino colligantes pullo matrem praecedentem sequi effrenate dimittunt"¹. Т. е.: "Память моя представила себе ту самую куклу, которую ваши славяне привязывают к жеребенку и отпускают (его) без узды следовать за идущей впереди матерью"².

Лиутпранд хочет сказать, что такого рода куклу и напоминал сидящий на коне Никифор Фока. Но речь сейчас не об этом. Сказано у епископа Кремоны так, как будто он сам наблюдал описанный им славянский обычай, и что славяне эти – его современники. Впрочем неясно о каких славянах, подвластных Оттону в 968 г. Лиутпранд говорит.

Мы не беремся судить также и о том, о пережитке ли религиозного (языческого) обряда, сохранившегося у славян, пишет Лиутпранд или же он имеет в виду оправдавшую себя в быту и ставшую обычной практикой постепенной выучки жеребенка и лошади-малолетки, заключающуюся в том, чтобы приучить ее к седлу и к подчинению воле всадника. Решить этот вопрос могут, по всей вероятности, этнографы, обратить внимание которых на свидетельство Лиутпранда в данной заметке мы и ставили своей целью.

Примечания:

1. Die Werke Liutprands von Cremona, hrsg. von J. Becker. Hannover und Leipzig, 1915. S. 188; Bauer A., Rau R., in: Quellen zur Geschichte der Sächsischen Kaiser. Darmstadt, 1971. S. 235 ff.

2. В переводе мы слегка, не нарушая смысла фразы, исправляем стиль Лиутпранда в этом месте (буквально у него: "... куклу, которую ...славяне, привязывая к жеребенку, отпускают...").

**РАССКАЗЫ О КИРИЛЛЕ И МЕФОДИИ
В "ПРЕНИЯХ О ВЕРЕ С ГРЕКАМИ"
АРСЕНИЯ СУХАНОВА**

Б. Н. Флоря

В своей известной книге о Кирилле и Мефодии С. Б. Бернштейн справедливо отмечал, что пространные жития Кирилла и Мефодия "являются самыми достоверными источниками для восстановления событий личной жизни и деятельности Солунских братьев"¹, специально обращал внимание ученых на то, что создатели произведений, возникших в более позднее время изменяли содержание традиции в соответствии с задачами и потребностями той эпохи, в которой они жили². Правильность этих соображений ученого, как представляется, можно удачно показать на материале источника, пока не привлекавшего к себе внимания исследователей исторической традиции о Кирилле и Мефодии.

В круге текстов поздней традиции о Кирилле и Мефодии особое место принадлежит рассказу о них, дошедшему до нас в записи Арсения Суханова в составе его известного сочинения "Прения о вере с греками". Учитывая большую популярность этого произведения в старообрядческой среде, этот текст представляет интерес и для выяснения того, какие представления о славянских первоучителях он мог формировать у значительной части русского общества XVII–XVIII вв. Главный же интерес записанного Арсением Сухановым текста – в ином. Как известно, на южнославянской почве версии, существенно по-разному излагавшие жизненный путь создателей славянской письменности (прежде всего – Кирилла), формировались с большой интенсивностью на протяжении IX–XIII вв., а в дальнейшем такой путь развития обрывается и речь идет о распространении уже существующих версий (с элементами контаминации между ними). В этих условиях появление новой оригинальной версии жизненного пути Кирилла и Мефодия именно в эпоху позднего средневековья заслуживает особого внимания.

Рассказ был записан Арсением Сухановым 18 марта 1650 г. в молдавском городе Васлуе, но рассказчиком был серб – игумен находившегося в городе "метоха" Зографского монастыря на

Афоне, известного центра болгарской средневековой культуры³. Эта двойственность положения рассказчика отразилась и на содержании его рассказа.

Так как игумен очень существенно отошел от традиционных версий жизни солунских братьев, то это, конечно, затрудняет выяснение вопроса, какой круг источников о Кирилле и Мефодии был ему известен⁴. Однако и те немногие совпадения которые удастся обнаружить, не могут быть возведены к одному тексту. Так утверждение игумена, что Кирилл "укрывался в дальних славянах, что ныне живут под цесарем, там, де, и преставился" могло иметь своим источником лишь сообщение проложного жития Кирилла и его деятельности среди "Словен" на Дунае и погребении его там⁵. Однако из этого источника он никак не мог почерпнуть сведения о поездке Кирилла в Рим и "благословении" папой Адрианом славянской грамоты. Такие сведения он мог найти лишь в таких текстах, как Пространное житие Кирилла, Успение Кирилла, Похвальное слово Кириллу и Мефодию⁶. Одна деталь явно говорит о том, что игумен был знаком непосредственно с Пространным житием. Имею в виду его явно неверное сообщение о погребении мощей Кирилла в Риме "в церкви святых апостол". Очевидно он что-то помнил о связи "философа" с церковью святых апостолов, но такая связь налицо лишь в Пространном житии, где говорится о пребывании его перед поздой в Моравию "в църкви святых апостол"⁷. Из этого источника он, однако, никак не мог взять сведения о том, что папа Адриан поставил Мефодия епископом в Паннонию. Следовательно, помимо двух установленных источников его произведения игумен должен был располагать третьим – либо "Похвальным словом Кириллу и Мефодию", либо (что менее вероятно) Пространным житием Мефодия или древним проложным житием Кирилла и Мефодия.

Как бы то ни было очевидно, что игумен был знаком с целым рядом авторитетных памятников кирилло-мефодиевской традиции. Безусловно, между ними (в частности между проложными и пространными житиями) был налицо целый ряд расхождений, но игумен не предпринял каких-либо попыток согласовать между собой противоречия в показаниях известных ему памятников, а создал свою оригинальную версию, в которой материал традиции был использован весьма свободно.

Даже беглое знакомство с рассказом показывает, что перед нами произведение, активно направленное против греков, обвиняющее их в том, что они всеми мерами противились созданию, а затем распространению славянской письменности, чтобы держать у себя в подчинении славянские народы.

Когда болгары и сербы приняли крещение, – рассказывал игумен, – их государи просили греков, чтобы те "преложили книги на словенский язык", но не смогли этого добиться. Позднее и Кирилл просил в Царьграде разрешения "чтоб ему позволили сложить словенскую грамоту", но греки это ему "запретили". Кирилл все же сумел получить "благословение" на свое дело у папы Адриана. Однако, когда после этого он создал славянскую грамоту "греки, де, много искали, где б, сыскав его, убити", так что Кириллу пришлось искать спасения "в дальних словянах, что ныне живут под цесарем", где он и умер. Весь рассказ завершался сентенцией, где наиболее ярко раскрывалась направленность всего рассказа и смысл действий греков: "Да и до сех, де, мест нас ненавидят греки, что мы по словенским книгам чем и архиепископа и митрополитов и епископов и попов своих имеем, а им, де, хочетца, чтоб все оне у нас владычествовали." Славянская письменность, таким образом, здесь, как и в других текстах кирилло-мефодиевской традиции выступает, как атрибут самостоятельного развития, залог культурной независимости от внешних сил, в данном случае от греков.

Очевидно, что история жизни Кирилла в этом рассказе мало похожа на реальный исторический путь пройденный славянским первоучителем. Вместе с тем ясно, что никакими особыми древними источниками не известными ни нам, ни авторам, писавшим о Кирилле и Мефодии ранее середины XVII в., игумен не располагал – отдельные черты его повествования, о чем говорилось выше, ведут к хорошо известным текстам кирилло-мефодиевской традиции. Просто основное содержание этих текстов, где достаточно много и почтительно говорилось о Византийской империи и связях с ней славянских первоучителей, его не устраивало. Все это игумен просто отбросил, заимствовав лишь то немногое, что он мог согласовать со своим общим построением (связи Кирилла и Мефодия с Римом, предание о смерти Кирилла на Дунае).

Этот пример, ввиду его очевидности имеет важное методическое значение при оценке эволюции кирилло-мефодиевской традиции (в частности, на балканской почве). Если в эпоху, когда официальный культ солунских братьев давно утвердился, а определенный круг знаний о их жизни стал прочным достоянием балканской культурной традиции, было возможно такое свободное обращение с традиционными рассказами о их жизненном пути, тем менее можно исключать возможность таких изменений, связанных с

идейными течениями эпохи в более раннее время, когда сама кирилло-мефодиевская традиция только складывалась.

Поскольку рассказ сербского игумена далеко не первый памятник кирилло-мефодиевской традиции, на который наложил отпечаток конфликт между южными славянами и греками, то естественно поставить вопрос о месте рассказа среди других аналогичных текстов. Сопоставляя между собой такие памятники как "Сказание о письменах" черноризца Храбра, Солунская легенда и рассказ игумена, следует сказать, что при общей анти-греческой направленности этих текстов, первые два из них касаются совсем иного аспекта греко-славянских отношений, чем последний. И Храбр, и автор Солунской легенды выступают против тезиса о культурном превосходстве греков, который находит свое выражение, то в утверждении превосходства греческого письма над славянским, то в доказательствах, что славянская письменность – дар греческого мира славянам (против чего направлен весь рассказ "Солунской легенды"⁸ и так называемая "Вторая апология" Храбра); у игумена речь идет совсем о другом – не об идейной полемике, а о комплексе насильственных административных мер верхушки греческого мира, направленных против славянской письменности. В этом смысле рассказ игумена представляет собой отклик на начало нового принципиального конфликта в истории греко-славянских отношений, конфликта между греками-фанариотами и южными славянами, которому предстояло затем потрясать жизнь болгарского общества в XIX веке.

В заключение одно небольшое замечание. Известно, что одним из вопросов, периодически волновавших разные круги южнославянского общества был вопрос о этническом происхождении солунских братьев, и воззрения здесь менялись в зависимости от общественных настроений. Если автор "Похвального слова Кириллу и Мефодию" явно считал их греками, ставя им в особую заслугу, что они (в отличие от Авраама) принесли христианскую веру "не своему племени"⁹, то для автора "Успения Кирилла" он "родом сыи бльгаринь"¹⁰. Сербский игумен избрал в этом случае компромиссную версию. Кирилл по его словам "родился от отца болгарина и от матери грекини". Появление такой компромиссной версии в устах столь резко анти-гречески настроенного и столь свободно обращавшегося с материалом традиции автора можно, пожалуй, объяснить лишь тем, что в среде, где он действовал, греческое происхождение Кирилла считалось бесспорным, и он мог дать этому факту лишь приемлемое для его воззрений толкование.

Примечания:

1. Бернштейн С. Б. Константин-Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности. М., 1984, с. 29.
2. Там же, с. 31–32.
3. Белокуров С. А. Арсений Суханов, ч. 2 (Сочинения Арсения Суханова, вып. 1). – Чтения ОИДР, 1894, кн. 2, с. 25, 28.
4. Текст рассказа игумена см. Белокуров С. А. Указ. соч., с. 28–29.
5. Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930, с. 102.
6. Там же, с. 33–34, 64–65, 84–85, 156.
7. Лавров П. А. Указ. соч., с. 26, 59.
8. Анализ идейного содержания этого памятника см. Флоря Б. Н. Кирилло-мефодиевские традиции в развитии средневековой болгарской культуры. – История, культура, этнография и фольклор славянских народов. – История, X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988, с. 164.
9. Лавров П. А. Указ. соч., с. 82.
10. Там же, с. 154.

АНТИЧНОСТЬ
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И СОЧИНЕНИЯХ
ДРЕВНЕСЕРБСКИХ КНИЖНИКОВ

Е. П. Наумов

Вопросы усвоения и осмысления античного наследства в средневековой Сербии, рецепции античных литературных традиций и произведений уже неоднократно рассматривались в работах многих ученых¹. Но и в настоящее время весь круг этих важных и сложных проблем изучен еще весьма неодинаково, в частности, ввиду того, что основное внимание исследователей привлекает применительно к этой тематике период развитого средневековья, связанный с переводом многих античных сочинений в Сербии, с освоением определенных идей и образов в творчестве древнесербских феодальных историков и публицистов.

В связи с этим в данном докладе* мы хотели бы обратиться к гораздо менее освещенной и не столь ясной (вследствие малочисленности сохранившихся свидетельств) эпохе раннего средневековья, когда, как известно, возникает раннефеодальная сербская государственность и древнесербская народность². Вполне понятно, что в данном случае перед нами прежде всего встает вопрос, что в раннефеодальной Сербии знали с предшествующих столетиях поздней античности и как именно такие сведения проникали к сербам, как они отражались в представлениях и первых произведениях древнесербских авторов.

Чтобы ответить на этот вопрос, естественно, нам следует помнить о длительном и многоплановом культурном влиянии Византии на древнесербское общество, которое началось уже после поселения сербов на Балканах (т. е. в VII в.). Достаточно сказать здесь хотя бы о сообщении Константина Багрянородного, что император Ираклий, "приведя пресвитеров из Рима, крестил их"³, с чем, по всей видимости, было связано и распространение

* Имеется в виду доклад на симпозиуме "Литература поздней античности как полиэтническое и межъязыковое явление" (Берлин, ГДР, 1985 г.). Публикуется впервые. – Прим. ред.

некоторых представлений о прежних временах могущества Рима и Византийской империи, закономерно обосновавших и указания на прежнюю власть императора над землями сербов.

Однако, вероятно, было бы недостаточно ограничиться лишь таким предположением о роли Византии, ее представителей и посланцев, западного клира в формировании пусть еще чуждых понятий об античной эпохе, об истории Рима и Византии. На наш взгляд, необходимо прежде всего в этой связи учитывать наличие на побережье Адриатического моря, т. е. в южной Далмации (в городах Котор, Будва и др.) романского населения – этих “римлян” или “латинян”, которые не только сохраняли четкое сознание о своей связи с Римом, но, без сомнения, и старались подчеркивать свои “давние права” на прибрежные земли именно в силу их “давности”, в силу поселения их еще во времена Диоклетиана. О таком специальном подчеркивании “давности” прав далматинских романцев – “римлян” (по сравнению с поселившимися здесь позднее сербами) мы хорошо знаем из сочинения Константина Багрянородного “Об управлении империей” (гл. 29, 35)⁴.

Иными словами, по нашему мнению, уже в первые столетия древнесербской истории жители образовавшихся здесь раннефеодальных княжеств (Дукли, Захумья, Тервунии, Пагании и внутренней Сербии) в той или иной мере стали известны предания далматинских романцев о Диоклетиане, о его власти над Далмацией, о переселении им сюда “римлян” и т. п. О длительности и прочности таких (пусть даже легендарных) сведений о былых временах могущества Рима, олицетворением которого служила личность Диоклетиана, говорит нам сам факт создания сербских эпических песен, отражавших в весьма сложном преломлении такие давние сказания и предания (например, песни “Царь Дуклянин и Иоанн Креститель” и др.)⁵. При этом, как нам кажется, имело в те времена особое значение и то обстоятельство, что далматинские романцы могли в контактах со своими новыми, славянскими соседями наглядно “доказать” достоверность и надежность своих рассказов своими конкретными ссылками на сохранившиеся античные строения – крепости, города, дворцы, причем опять-таки здесь вновь речь шла об эпохе Диоклетиана, о его сооружениях – крепости Аспалаф (ныне Сплит), возникшей вокруг его роскошной виллы, и крепости Диоклея (Дукля). Как мы знаем, именно эти предания о постройке Аспалафа и Диоклея Диоклетианом четко зафиксированы Константином Багрянородным⁶.

В свою очередь, касаясь преданий об истории античной Диоклеи (Дукли), мы должны рассмотреть один конкретный вопрос, обсуждавшийся в современной югославской историографии и

имеющий определенное значение для нашей темы. Этот античный город, как указывается в литературе, был разрушен (видимо, готами – в конце V или начале VI в.), и уже гораздо позже, в начале IX в., можно говорить о некотором оживлении и возрождении Дукли⁷. Однако такой вывод об определенном восстановлении Диоклеи (Дукли) уже во времена первых славянских князей Дуклянской земли (современной Черногории), в частности, о строительстве (в IX в.) новой церкви (на основании старохристианской базилики) в Дукле встретил критику со стороны югославского филолога Н. Банашевича, который высказывается в пользу датировки этой церкви лишь VI веком, равно как – и, следовательно, датировки полного разрушения и запустения Диоклеи (Дукли) в начале VII в.⁸ Вполне понятно, что эти археологические проблемы применительно к раскопкам Дукли требуют специального исследования, но мы в данной связи хотели бы обратить внимание на то, как говорится об этом городе в названном сочинении Константина Багрянородного – “Об управлении империей”.

На наш взгляд, вряд ли можно считать случайным заметное расхождение в его сообщениях применительно к этому античному городу. Так, например, в главе 35-й своего труда августейший писатель говорит о Диоклее, что “ныне это пустующая крепость, по сю пору именуемая Диоклеей”⁹, причем это подчеркивание нынешнего (т. е. в начале первой половины X в.) запустения как будто свидетельствует о том, что город был покинут лишь недавно. В пользу такой гипотезы, по нашему мнению, можно привести сходное утверждение Константина Багрянородного о подчинении области каналитов (т. е. “теперь”, лишь недавно) соседнему княжеству Тервуния (Травуния)¹⁰.

Вместе с тем, думается, об этом же говорит и тот факт, что выше, в 29-й главе своего сочинения Константин Багрянородный, повествуя о Диоклетиане, упоминает, что этот император построил и “крепость Диоклею, теперь находящуюся во владении диоклетианов” (т. е. славян Дуклянского княжества)¹¹, но вовсе не называет ее “пустующей”. По нашему мнению, такая фрагментарность и скудость сохранившихся свидетельств письменных источников о судьбах Диоклеи (Дукли) и славянского Дуклянского княжества не дают возможности категорически отрицать определенных моментов оживления и возрождения данного античного города уже в эпоху раннего средневековья, а с этим закономерно было связано и существование достаточно прочной (притом не только романской, но и славянской) традиции о Диоклее и постройке ее легендарным императором Диоклетианом (“царем Дуклянином” сербского эпоса).

Говоря об этом распространении в славянской среде античных сказаний о Диоклетиане, мы в то же время, вероятно, должны допустить, что представители древнесербского общества могли ощущать нередко явную тенденциозность подчеркивания романскими далматинцами (т. е. прежде всего – правителями, "благородными", богатыми горожанами из прибрежных центров) своей "давней" связи с Римом и "прав" на эту землю. С принятием христианства сербами (во второй половине IX в.), видимо, постепенно все более и более стало проявляться стремление "заглянуть" в глубь веков, обратиться к далекому прошлому, чтобы "доказать" не меньшую древность славянских правителей, сопоставить их таким образом с властителями античных империй, Рима и Византии.

Наглядным выражением таких стремлений является возникшее во второй половине XII в. (но, без сомнения, на основании более ранних сочинений и преданий) весьма сложное по составу и любопытное произведение югославянской исторической и политической мысли – так называемая Летопись попа Дуклянина (или Барский родослов)¹². Следует заметить, что именно здесь уже намечается явное "удревнение" представлений жителей Древнесербского государства о появлении их предков на Балканах и несомненная взаимосвязь (с точки зрения автора или авторов Летописи Дуклянина) этих событий с комплексом позднеантичных западноевропейских и далматинских письменных памятников¹³. Так, в частности, если сравнить первую главу Летописи попа Дуклянина с теми сказаниями о приходе сербов на территорию современной Югославии, зафиксированными в сочинении Константина Багрянородного "Об управлении империей", нельзя не заметить значительной хронологической перемены: иными словами, предки жителей Дуклянского королевства пришли в эти земли не в начале VII в. (при императоре Ираклии), а в конце V – начале VI в. – а именно при императоре Анастасии, в результате победоносного вторжения готских властителей¹⁴.

Вполне понятно, что в данном случае для нас важна не только эта знаменательная передвижка главного хронологического рубежа в исторических построениях древнесербских книжников т. е. "откуда есть пошла" Сербская земля и "кто первее начал княжить" у сербов, – говоря словами древнерусской летописи). Нам, естественно, необходимо хотя бы в общих чертах наметить объем сведений об античной истории, которыми располагали уже в конце XII в. неизвестные авторы Летописи попа Дуклянина и их непосредственные предшественники, и здесь мы можем в какой-то мере опираться опять-таки на текст первых глав этого ценного источника, вполне представляя, что его автор (или авторы) вовсе не должны были там полностью приводить все доступные им свидетельства, напротив, предпочитая выбирать нужное и опускать

детальства, напротив, предпочитая выбирать нужное и опускать (с их точки зрения) менее существенное, – но, конечно, то, что повествовало о сложной эпохе крушения позднеантичного мира, упадка Римской империи, религиозных распрях и войнах с "варварами".

Об этом, известном древнесербским книжникам, но "опущенном" ими и не использованном почти в тексте Летописи попа Дуклянина материале по античной истории и литературе мы можем лишь в небольшой мере судить уже по первым строкам 1-й главы данного сочинения, где сказано о распространении при императоре Анастасии (491–518) ереси Евтихия, т. е. монофизитского учения¹⁵. Между тем, как известно, эта ересь получила широкое распространение в Византии уже в 40-х годах V в.¹⁶ Иными словами, поскольку автор Летописи лишь мельком упоминает об этом религиозном движении поздней античности, мы можем предположить, что все эти бурные конфессиональные и политические конфликты первой половины V в. были в целом знакомы (пусть даже в более поздних пересказах и изложениях) представителям светской и церковной верхушки в Дуклянском государстве, что круг представлений древнесербских авторов об античности включал уже не только предания о "веках Диоклетиана" (наподобие "векам Траяна" – в Древней Руси, согласно "Слову о Полку Игореве"), но и некоторые материалы о позднеримской и ранневизантийской истории, послужившие основой т. н. "готской теории" Летописи¹⁷.

Не менее любопытно и другое обстоятельство, которое в какой-то степени проливает свет на анализ социально-психологической роли античности в общественно-политической атмосфере тех лет, когда в г. Бар на побережье Адриатического моря, в обстановке ослабления Дуклянского королевства и надежд некоторых клириков и светских феодалов на помощь Византии (в частности, для создания обширного государства под эгидой дуклянских правителей) была написана эта Летопись¹⁸.

В те годы (т. е. примерно в 1160–1180 гг.), когда могущество Византийской империи на Балканах при Мануиле I Комнине казалось бесспорным, безвестным авторам Летописи вовсе не казалось бесцельным (или же "вредным") упоминание о прежней власти константинопольского императора над землями, которые затем были заселены сербами. Скорее даже напротив; быть может, это (по их мысли) могло обосновывать как-то идею "единения" Дукли и Византии в борьбе против иных держав, за "воссоздание" мифического, весьма обширного государства от Винодола на севере и вплоть до Диррахия на юге¹⁹.

Однако положение, как мы уже указывали, резко изменилось с образованием единого Сербского государства (под эгидой Стефа-

на Немани), окончательно оформившегося в войнах великих жупанов Рашки против Византии и Дукли²⁰. Уже тогда, в конце XII – начале XIII вв., в памятниках сербской общественно-политической мысли и литературы весьма заметен резкий "обрыв" прежних, существовавших в Дукле направлений государственно-правового и культурного развития, который может быть прослежен достаточно ярко и на примере использования и трактовки наличных материалов об античности. В этот период, как свидетельствуют биографии Стефана Немани, написанные в начале XIII в., прямые ссылки на давние времена Рима и Византии представлялись "нежелательными" ввиду того, что они могли служить опорой для презентаций правителей Дукли или Византии. И все же, по нашему мнению, между Летописью попа Дуклянина и произведениями рашских авторов (начала XIII в., а отчасти и конца предшествовавшего столетия) можно наметить гипотетическую точку соприкосновения, несмотря на столь резкий "обрыв" традиций.

Как нам думается, это соприкосновение выражается в том, что и в Летописи, и в сочинении Стефана I, сына Стефана Немани (т. е. в житии Немани, написанном в 1216 г. Стефаном I) далекое "начало" Сербской державы и сербского народа отодвигается фактически к рубежу античности и раннего средневековья, в незапамятные времена. В самом деле, если Стефан I Неманич и не упоминает об эпохе императора Анастасия, то он апеллирует (в туманных и неопределенных выражениях), пожалуй, даже к не менее далекому веку. Здесь достаточно напомнить лишь, что Стефан подчеркивает сам факт пребывания "Диоклитии (т. е. Дукли – Е. Н.) и Далмации", – этого исконного "родового" наследия Немани, – под "насильственной властью" "рода греческого"²¹.

Таким образом, если следовать мысли августейшего сербского писателя, "греки" завладели "дединой" Немани – Дуклей уже после того, как здесь обосновались и жили предки самого Немани и его народ. Иными словами, и сербский народ оказывался (в духе таких построений) несколько не менее древним, нежели греки. В свою очередь отсутствие в сочинении Стефана I и других произведениях древнесербских авторов той поры более подробных упоминаний об античности не может быть признано доказательством отсутствия у них таких сведений. Напротив, фонд таких сообщений сохранялся и пополнялся, но лишь в очень малой мере находил свое отражение в литературе той эпохи ввиду противостояния Рашки и Дукли, Рашки и Византии. Об этом говорит нам, например, – применительно к названному выше сочинению Стефана I, – хотя бы упоминание им императора Юлиана, "нечестивого мучителя" христиан и его "заслуженной" смерти²². Следовательно

но, как нам кажется, у некоторых древнесербских книжников той поры проявляется характерное соединение – с одной стороны, остающихся большей частью подспудными сведений античной литературы и историографии, а, с другой стороны, – точно так же формирующихся подспудно и постепенно концепций автохтонизма (или, по крайней мере, значительной древности) сербов. Эти концепции, в известной мере намечающиеся у Стефана Неманича (и, как мы видели, почти – в тексте Летописи попа Дуклянина), нашли свое законченное выражение в переводе сочинения Зонары (1344 г.), где римский император Лициний, один из наследников Диоклетиана, был объявлен "сербом"²³.

Итак, круг эволюции представлений об античности в древнесербском обществе замыкается именно таким примечательным образом: начиная с легенд романских далматинцев, соседей новых славянских поселенцев, о баснословном могущественном царе Диоклетиане (Дукляине), строителе собственной великолепной виллы и крепости Диоклеи (Дукли), и кончая соображениями о том, что в сущности-то в эти "века Диоклетиана", рядом с ним и его преемниками, появились (т. е. в незапамятные времена) здесь сербы, являющиеся в силу этого "законными" обитателями Сербской земли, не уступающие поэтому и "грекам", римлянам, следовательно и многовековой Византийской империи. Вместе с тем, как мы видели, весьма показательно и расширение круга сведений древнесербских книжников об античной эпохе, истории, культуре – если ранее (скажем, в IX – X вв.) это преимущественно – рассказы их соседей, романских далматинцев, опирающиеся на "вещественность" исторической памяти (руины Дукли и т. п.), то затем – это и использование переводных или оригинальных (греческих или латинских) сочинений о временах поздней Римской державы во всем их многообразии – со всеми красками политической и профессиональной палитры, конечно, с особым вниманием перипетиям государственной и церковной истории Рима и ранней Византии; точно так же примечательна и эволюция функций этих сведений об античности в древнесербском раннефеодальном обществе.

Примечания:

1. См., например: Марић Р. Трагови грчких историчара у делима Константина Филозофа. – Глас Српске Академје наука, СХС(95), 1946; Маринковић Р. Српска Александрида. Београд, 1969; Наумов Е. П. Античные мотивы в средневековой сербской литературе. – В кн.: Славянские литературы. М., 1978; и др.

2. См., например: Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982, с. 181 сл.; История Югославии. М., 1963, т. I; и др.

3. Развитие этнического..., с. 294 (русский перевод текста – Г. Г. Литаврина).

4. Там же, с. 286, 296.
5. См., например: Наумов Е. П. Античные..., с. 222.
6. Развитие этнического..., с. 286, 289, 297.
7. Историја Црне Горе. Титоград, 1967, књ. I, с. 254, 262–263, 309.
8. Банашевић Н. Летопис попа Дукљанина и народна предања. Београд, 1971, с. 73–74.
9. Развитие этнического..., с. 297.
10. Ср. там же, с. 187.
11. См. там же, с. 286.
12. См., например: Шишић Ф. Летопис попа Дукљанина. Београд – Загреб, 1928; Наумов Е. П. Этнические представления на Балканах в эпоху раннего средневековья (по материалам "Летописи попа Дукљанина"). – Советская этнография, 1985, № 1; и др.
13. Ср., например: Шишић Ф. Летопис..., с. 144–145, 151; Банашевић Н. Летопис..., с. 53, ср. там же, с. 56.
14. Шишић Ф. Летопис..., с. 293.
15. Там же.
16. См., например: Острогорски Г. Историја Византије. Београд, 1959, с. 78.
17. Ср., например: Шишић Ф. Летопис..., с. 110 сл.
18. Ср.: Банашевић Н. Летопис..., с. 263, 267.
19. Шишић Ф. Летопис..., с. 295–296.
20. См., например: Наумов Е. П. Античные..., с. 217–220; ср.: Он же. Господствующий класс и государственная власть в Сербии XIII–XV вв. М., 1975, с. 184, 212–213; Историја Црне Горе, књ. I, с. 443–444.
21. Светосавски зборник. Београд, 1938, кн. 2, с. 31.
22. Там же, с. 66.
23. См., например: Наумов Е. П. Античные..., с. 232, ср. с. 229–230. Ср.: Акимова О. А. Использование античных источников в "Истории архиепископов Салоны и Сплита". – Сов. славяноведение, 1981, № 3.

СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

В. К. Волков

Когда под влиянием перестройки в Советском Союзе пришли в движение различные политические силы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (далее – ЦЮВЕ), когда в них в течение 1989 г. прокатилась волна революционных преобразований¹, стало очевидно, что все страны этого обширного региона вступили в новую фазу своего исторического развития. Это означает, что 90-е годы для всех славянских народов – и у нас в стране, и за ее рубежами – будут годами переломными. И от того, как будет пройден этот этап, что он принесет с собою в их политическую, экономическую и духовную жизнь, будет зависеть дальнейшая судьба каждого из них.

XX век подходит к концу. И завершается от не так, как предполагали в самом его начале. Тогда была пора ожиданий. Бурный экономический рост России внушал тревогу кайзеровской Германии и правителям Австро-Венгерской монархии. Развернувшееся в начале века "неославистское движение" вновь показало как стремление к единству действий, так и наличие крупных проблем, стоявших перед каждым славянским народом.

Дальнейшие события носили судьбоносный характер. Первая мировая война и Октябрьская революция стали переломными в судьбах всех славянских народов. Под их влиянием и в результате собственных усилий возникли независимые Польское и Чехословацкое государства, в единое Югославское государство объединились сербы, хорваты и словенцы. В ходе революции сложилась государственность Белоруссии и Украины, объединившихся вместе с Российской Федерацией и другими республиками в единый Союз Советских Социалистических Республик. Однако начатый ими путь от капитализма к социализму завел их вскоре в сталинский тупик. В стране утвердилась авторитарно-бюрократическая система, обернувшаяся безмерными жертвами и страданиями для всех ее народов, для всех социальных слоев.

Вторая мировая война стала тягчайшим испытанием для всех славянских народов и государств. Победа над германским фашизмом была достигнута главным образом благодаря усилиям совет-

ских народов. Наряду с ними особенно тяжелые утраты понесли польский и югославские народы. Победа далась исключительно дорогой ценой. После войны на путь глубоких общественно-политических перемен встали государства ЦЮВЕ, в которых победили народно-демократические революции. Они скопировали (зачастую не без нажима) нашу модель так называемого "реального социализма". Возникло и четыре десятилетия существовало явление, которое мы называли "содружество социалистических стран" в Европе. Казалось, что этот период должен был стать временем тесного единства всех славянских стран и народов. Однако, авторитарно-бюрократические режимы воздвигли высокие межгосударственные барьеры, замыкались сами на себе. Минувшие десятилетия оставили горький осадок и тяжелое наследие.

Ныне авторитарно-бюрократические режимы рухнули во всех странах ЦЮВЕ. Демонтаж такой системы начался и в СССР. Количество проблем, вставших перед каждым народом, значительно превышает число имеющихся ответов. И один из вопросов, также поставленных нашим временем, это вопрос о судьбах славянских народов в современном мире, вопрос об их будущем в грядущем миропорядке.

Вероятно, для получения хотя бы части ответов на поставленные вопросы было бы полезным составить представление о том, какой этап в своем развитии переживают ныне славянские народы как у нас в стране, так и за ее пределами. Долгие годы идеократы-догматики вдавливали в головы людей постулаты об эпохе империалистических войн и пролетарских революций, об эпохе перехода от капитализма к социализму. Ныне эти постулаты опровергнуты самой жизнью. Встал вопрос, что же мы построили? В каком обществе мы живем – в деформированном ли социализме или в обществе, зашедшем в общественно-политический тупик? Революции 1989 г. в странах ЦЮВЕ позволяют дать более глубокий и обоснованный ответ на эти вопросы. "Большой скачок" не увенчался успехом. Деформированным оказалось само общество, которое попыталось осуществить этот скачок. В результате были разрушены многие общецивилизационные основы естественно-исторического прогресса. В России долгие годы террористического правления привели даже к нарушению генофонда нации. В результате советское общество, как и другие страны, шедшие тем же путем, оказались на обочине прогресса, зашли в социально-экономический тупик. Поэтому выход надо искать именно из тупика, а не из кризиса. Ибо выход из тупика означает поиски способов возврата на магистральный путь развития современной цивилизации. Выход же из кризиса подразумевает исправление допущенных

деформаций ради движения по прежней дороге и к прежним целям. Разница очевидна, а отличие – принципиальное. И в колебаниях между этими полюсами кроются причины многих неудач перестройки в СССР, топтание на месте, отсутствие коренных сдвигов. Но жизнь так или иначе, как показал опыт, возьмет свое. Перефразируя известные слова, можно сказать, что возврат к общецивилизационным основам прогресса будет нашим общим светлым будущим, определит характер наступающей эпохи, перспективы развития славянских народов. В этот этап уже вступили страны ЦЮВЕ. Очередь за Советским Союзом.

Ревнителю чистоты марксизма могут, конечно, возразить: не будет ли это означать возврата к капитализму? Ответ на такой вопрос уже дан самим ходом исторического развития. Того капитализма, который известен им по трудам Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина – давно уже не существует. После второй мировой войны человечество прошло через полосу еще одной революции, научно-технической революции, пережило ряд других перемен и ныне вступило в новый этап, который для своего осмысления требует уже "нового мышления". Это этап глобальных проблем, ставящих перед человечеством вопрос о его выживании (сюда относятся проблемы экологии, мировых ресурсов, космоса и многого другого). Препятствие противопоставление капитализма и социализма давно уже исчерпало себя. Контуров нового миропорядка задают иные, общечеловеческие параметры для решения таких проблем.

С этих позиций можно поставить следующую крупную проблему, а именно, с чем славянские народы вступят в третье тысячелетие? Этот период начнется всего через десять лет. А что он будет означать для народов СССР, стран ЦЮВЕ? Каков удельный вес славянских народов в мире? В 1987 г. их общая численность равнялась примерно 290 млн. человек (из них в Советском Союзе – около 200 млн. человек), что составляло 5,8 % общего населения земного шара². Методом экстраполяции можно примерно определить, что к началу XXI века их численность приблизится к 300 млн., тогда как удельный вес (вследствие крупных и быстрых демографических сдвигов в мире) снизится (можно прогнозировать и дальнейшее снижение их удельного веса). В меньшей мере поддается прогнозированию их удельный вес в мировой экономике. Помимо быстрого развития других континентов и стран здесь могут вступить в действие ряд непредсказуемых факторов научно-технического порядка. С известной долей осторожности можно лишь высказать предположение, что их экономическая роль в мире вряд ли возрастет. В большей мере, вероятно, удастся сохранить политическое

влияние, хотя для многих стран создается новая обстановка. Прошедшее объединение Германии несомненно наложит отпечаток на международное положение Польши и Чехословакии, а соседство с быстро растущей Турцией — для Болгарии (на сегодняшний день в Турции — около 60 млн. человек, и страна продолжает переживать демографический взрыв, тогда как экономическое развитие идет по пути азиатских "молодых тигров", образцом которых служит Южная Корея. Предполагается, что к 2000 году в Турции будет проживать около 70 млн. человек, а в Болгарии — менее 10 млн.).

В новом мире возникнут и новые проблемы. Вставшая в повестку дня перспектива создания "общевропейского дома" побуждает задуматься над тем, что произойдет тогда с культурной самобытностью славянских народов? Удастся ли им сохранить свою индивидуальность в будущем мире, где можно предвидеть резкое усиление интернационализации жизни? Опыт самих славянских народов и других народов Европы в XX в. очень ясно показал, чем оборачивается как утрата исторической памяти, так и гипертрофия национального фактора. Размышления на заданные темы приводят к новым выводам. То, что можно условно назвать новым "славянским возрождением", требует совместных усилий всех славянских народов. И речь идет не об унификации их культур, а об их всемерном развитии и взаимном обогащении, чтобы их развитие шло не по расходящимся линиям, ибо это грозит обернуться низведением их национального характера до фольклорного уровня. Напротив, сплочение и взаимодействие создаст благоприятные условия для диалога культур в глобальных масштабах.

История славянских народов знает несколько периодов обостренного внимания к проблемам славянской взаимности. И каждый раз это было связано с каким-либо переломным или трагическим моментом в их судьбах. Достаточно вспомнить обращение к идеям единства славянских народов в годы второй мировой войны в борьбе против нацизма, объявившего их "низшей расой" и открыто поставившего своей целью их порабощение и уничтожение. Обращение в современных условиях к идее славянской взаимности служит своеобразным ответом на вызов времени, ответом на конкретные запросы общественного развития.

Каждая эпоха не только по-своему ставит проблемы, но и подсказывает формы их реализации. В наши дни такой формой культурного взаимодействия стала интернационализация болгарского опыта, в котором Праздник национальной письменности и культуры совместился с днем славянских просветителей Кирилла и Мефодия (24 мая). В результате в СССР зародились предпосылки для возникновения, выражаясь бюрократическим языком, по

инициативе снизу, со стороны творческой интеллигенции, нового национального праздника — дня славянской письменности и славянских культур, отмечаемого не только в Российской Федерации, в Белоруссии и на Украине, но и в других республиках и автономиях Союза. Эти праздники получили отклик в других славянских странах, а также в славянских диаспорах на других континентах.

Однако такие разовые мероприятия не могут решить сложного комплекса общих национально-культурных проблем у славянских народов как нашей страны, так и зарубежных государств. Для этого необходимы постоянные действия и долгосрочные программы. Но они могут родиться только в результате коллективных усилий, на основе всеобщего консенсуса.

Когда мы говорим о приближении третьего тысячелетия, мы имеем в виду 2000 год. При этом не следует забывать, что мы ведем свое летоисчисление от Рождества Христова. Следовательно, через 10 лет мы будем отмечать 2-х тысячелетие зарождения христианства — одной из трех мировых религий, сформировавших нынешнее человечество и современную цивилизацию. В значительной мере через христианство (независимо, в православной или в католической форме) славянские народы неразрывно связаны с общеευропейскими и мировыми культурными ценностями. Конец XX века принес с собой такой феномен, как религиозный ренессанс. И он затронул (хотя и в разной мере и в разной форме) не только мусульманский мир, но и мир христианский. Для объяснения этого феномена необходимы специальные исследования. Хотелось бы отметить, что христианские морально-этические нормы и ценности выдержали испытание временем, доказали свою эффективность и продолжают действовать. В этой связи нельзя пройти мимо такого явления как русская классическая религиозная философия, представляющая из себя вершину достижений человеческой мысли в этой области. Не случайно в настоящее время наблюдается пробуждение у нас в стране интереса (за рубежом он никогда не иссякал) к творениям Владимира Соловьева, Николая Бердяева, Павла Флоренского и других. Их творчество принадлежит всему человечеству. Но особенно ценно оно для восточнославянских народов, помогая им перекинуть мост между прошлым и настоящим, — мост, об истинном значении которого мы стали догадываться только в самое последнее время.

И, наконец, несколько слов о культурном взаимодействии восточнославянских народов — русских, украинцев, белорусов. Составляя 2/3 всего славянства, они несут особую ответственность и за его судьбы. В недавнем прошлом их деятели — и культурные, и политические — немало погрели на ниве националь-

ного нигилизма. Возрождение суверенного многообразия культур – отрадная черта нашего времени. Хочется, однако, пожелать, чтобы при исправлении прошлых ошибок не были допущены противоположные крайности, не произошло сползания на позиции национальной замкнутости. Изоляция и самоизоляция всегда оказывали негативное влияние на развитие культуры. В нынешних же условиях они могут быть губительны. Не следует забывать и того, что от сотрудничества восточнославянских народов – русских, украинцев и белорусов, развившихся на основе общего этноса, будут зависеть и судьбы советской федерации.

В современном мире принято приглядываться к опыту других. В этом плане хотелось бы обратить внимание на поучительный пример Франции. Несколько лет назад там было образовано не имеющее прецедентов в других странах министерство – Министерство франкофонии. Его задачей стало присутствие французской культуры в современном мире, где французская культура была потеснена англо-американской, германской, испанской конкуренцией. Славянские народы также должны позаботиться, чтобы и в будущем их голос был четко слышен в мировой полифонии. Их сотрудничество, их единство в их многообразии, – лучший способ добиться этой цели. И дни славянской письменности и культуры – одно из действенных средств на этом пути.

Но одновременно не следует забывать, что в основе современной цивилизации стоит человек с его правами, правовое государство как гарант его прав, действенная экономика как средство удовлетворения его материальных запросов. И во всех рассуждениях о культурном развитии народов мы должны всегда во главу угла ставить именно человека и его права. И только тогда мы добьемся того положения, когда свободное развитие каждого станет условием и формой свободного развития всех. Эта цель составляет ядро современной цивилизации. На ее достижение должны быть направлены все усилия. И она – общая не только для всех славянских народов, но и для всего мира.

Примечания:

1. О революциях 1989 г. см.: Волков В. К. Революционные преобразования в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – Вопросы истории, 1990, № 6.

2. По данным ООН в 1987 г. на земном шаре проживало 5,024 млн. человек. См: Demographic Yearbook. 1987. Thirty-ninth issue. United Nations. New York, 1989, p. 169.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ПО ИСТОРИИ СЛАВИСТИКИ

В. А. Дьяков

Изучение собственной истории является необходимой и важной составной частью каждой отрасли знания. Историографический аспект в славяноведении наличествует с давних пор, но организационное оформление он получил в 1958 г., когда на IV Международном съезде славистов была образована специальная Комиссия по истории славистики. Первым ее председателем был советский ученый Н. К. Гудзий, затем эту должность занимали: Г. Ягодич (Австрия), К. Горалек (Чехословакия), Д. Ф. Марков (СССР). За три с лишним десятилетия Комиссия провела 13 пленарных заседаний, а также 4 рабочие встречи неформального состава¹; и те, и другие в ряде случаев сопровождались тематическими научными симпозиумами с участием не только членов Комиссии. Первые 10–12 лет Комиссия занималась главным образом определением круга своих исследовательских задач и обсуждением способов их решения. Этот этап закончился в начале 70-х годов, когда по рекомендации Международного комитета славистов пост председателя Комиссии занял Д. Ф. Марков. На Московском заседании Комиссии 1972 г. было решено, во-первых, заниматься историей всего комплекса славистических дисциплин, включая языкознание, литературоведение и историю, во-вторых, организовать совместную подготовку и издание сборников исследовательских статей в серии "Исследования по истории мировой славистики"².

По решению Комиссии для этой серии была создана международная редколлегия, решившая планировать 5 томов, из которых четыре охватывали бы основные этапы истории славистики, а пятый был бы посвящен методологическим проблемам. Подготовку и издание последнего из названных томов взяли на себя советские ученые, а остальные тома распределились следующим образом: за период с конца XVIII до середины XIX в. ответственность была возложена на чехословацких славистов; за вторую половину XIX в. – на югославских, за 1900–1917 гг. – на болгарских, а за двадцатилетие между двумя мировыми войнами – на польских

специалистов. Предполагалось завершить серию не позднее 1980 г., чтобы затем, опираясь на освоенный материал, приступить к работе над обобщающим трудом по истории мировой славистики. Однако югославской части Комиссии совсем не удалось выполнить своего обязательства, польская часть выполнила его лишь наполовину (выпущен первый полум, второй же еще не сдан в издательство). В ходе работы возникла инициатива подготовки отдельного тома, посвященного славистике в неславянских странах. К настоящему времени серия включает 5 книг общим объемом около 130 печатных листов³. К этому можно добавить сборник материалов упоминавшегося выше пленарного заседания Комиссии и научного симпозиума 1985 г. в Смоленицах⁴.

Задача подвести итоги уже сделанному и наметить перспективу на будущее легла на пленарное заседание Комиссии, состоявшееся в Марбурге 30 мая – 1 июня 1990 г. С докладом по данному вопросу выступил автор этих строк – в качестве одного из вице-председателей, исполнявшего обязанности руководителя Комиссии после Д. Ф. Маркова, который ушел с этого поста в августе 1988 г. Ниже воспроизводится основное содержание доклада.

Данная в нем оценка современного состояния отрасли опиралась на имеющуюся специальную библиографию, в частности, на указатели "Советское славяноведение" (вып. I, 3–7; М., 1988) и "История мировой славистики. Указатель литературы 1988 года" (М., 1990). Литература последних нескольких лет, говорилось в докладе, многочисленна и разнообразна, однако, подавляющее большинство появляющихся работ невелики по объему и касаются преимущественно частных вопросов. Среди вышедших монографий в докладе названы например: содержательная книга словацкой исследовательницы Т. Ивантышиновой о месте чехов и словаков в идеологии русских славянофилов 40–60-х годов XIX в. (Братислава, 1987) и подготовленный белорусским лингвистом М. Г. Булаховым краткий энциклопедический словарь "Слово о полку Игореве" в литературе, искусстве, науке" (Минск, 1989).

Более подробно рассмотрено в докладе обобщающее исследование об изучении южных и западных славян в дореволюционной России – коллективный труд, изданный в 1988 г. Институтом славяноведения и балканистики АН СССР⁵. Его авторы (С. Б. Бернштейн, И. К. Горский, В. П. Гудков, В. А. Дьяков, Л. П. Лаптева, А. С. Мыльников, С. В. Смирнов) сделали первую попытку проанализировать в указанных рамках ход развития славистического комплекса во внутреннем взаимодействии между его дисциплинами и внешних связях российского славяноведения в целом с мировой славистикой. Исходным рубежом для обобщения послужили

при этом вышедшие ранее советские издания: во-первых, библиографический словарь дореволюционных русских славистов, во-вторых, три тематических сборника, включающих ряд предварительных исследовательских разработок⁶. При подготовке труда широко использовалась иная специальная литература, многочисленные печатные источники, а отчасти и архивные материалы. Как показали печатные и устные отклики на книгу, авторам в основном удалось решить поставленные перед собой задачи, в том числе оценить вклад в развитие российского славяноведения основных сложившихся в нем научных школ и идейно-методологических направлений, а также отдельных выдающихся ученых. Опыт работы авторского коллектива, включая и его негативную часть, безусловно будет полезен для тех историков славистики, которые в будущем возьмутся за работу аналогичного характера (см. рецензии в "Сов. славяноведении", 1990, № 4).

Из других советских изданий, целиком или частично посвященных истории славистики, следует назвать выпущенное Московским университетом учебное пособие по историографии истории южных и западных славян, в подготовке которого приняли участие видные советские историки-слависты⁷. Книга эта включает четыре хронологических раздела, охватывающих период с XVIII в. до наших дней, причем каждый из них имеет главы, которые посвящены освещению соответствующей проблематики историками Болгарии, Польши, Чехословакии и Югославии. В отдельной главе рассмотрен процесс развития науки об истории южных и западных славян в дореволюционной России и в Советском Союзе, в ГДР и ФРГ, во Франции, Англии и США. Не обобщающе-дидактический, а исследовательский характер носят два вышедших в 1987 и 1989 гг. сборника статей, подготовленных кафедрой истории южных и западных славян Московского университета⁸. Эти издания состоят из исследований и документальных публикаций, посвященных главным образом новейшему периоду развития советской славистики и в этом смысле знаменуют собой несомненный шаг вперед. Определенную активность проявляют в изучении этого периода и ленинградские слависты; об этом свидетельствует, в частности, большая исследовательская статья К. И. Логачева, озаглавленная "Славистика в Петроградском-Ленинградском университете в годы советской власти"⁹.

На основе знакомства с новинками литературы по истории славистики в Советском Союзе можно констатировать что интерес исследователей к послеоктябрьскому семидесятилетию не только усиливается, но и серьезно углубляется, распространяясь на тематику, которая ранее либо наталкивалась на непреодолимые

идеологические барьеры, либо не была обеспечена источниками. Подтверждением этому, кроме только что упомянутой работы К. И. Логачева, являются недавно вышедшие статьи других советских специалистов, в том числе крупного советского лингвиста С. Б. Бернштейна и ученого секретаря Комиссии историка А. Н. Горяинова¹⁰. В них идет речь о тех гонениях на славистику, которые существовали в Советской России 20–30-х годов, о тех репрессиях, которым подвергалась в то время значительная часть наших известных славистов. Сняв табу с этой тематики, получив доступ к архивным источникам, мы можем сейчас вполне объективно и достаточно подробно изучать историю советского славяноведения за этот трудный для него период.

Существенны итоги работы Комиссии по серии "Исследования по истории мировой славистики". Новинкой серии, как уже отмечалось, стала вышедшая в Польше первая часть тома "Славяноведение в межвоенный период 1918–1939". Замысел наших польских коллег с самого начала отличался ориентацией не на междисциплинарные обзоры всей славистики каждой страны, а на проблемно-тематические статьи, возможно более широко характеризующие процесс развития и сегодняшнее состояние отдельных научных дисциплин. В соответствии с этим опубликованная книга содержит десять такого рода статей, написанных преимущественно польскими учеными (М. Якубец, Ю. Магнушевский, З. Тополинска, А. Заремба, Х. Поповска-Таборска и З. Соколевич), а также: двумя авторами из Чехословакии (Я. Петр и Й. Филипец), одним из СССР (В. А. Дьяков) и одним из ГДР (Э. Эйхлер). Книга начинается со статьи, характеризующей исторические условия, в которых развивалась славистика рассматриваемого периода. Затем в ней помещены содержательные обзоры состояния исследований по славянским литературам, славянскому языкознанию (описательная грамматика, история языков, диалектология, ономастика и лексикография), а также по этногенезу славян и славянской этнографии. Как заявляют редакторы книги М. Басай и С. Урабаньчик, во вторую часть тома предполагается включить страноведческие статьи, подобные тем, которые помещались в ранее вышедшие тома серии.

Особое место в "Исследованиях по истории мировой славистики" заняли "Очерки истории славистики в неславянских странах", появившиеся в свет в 1985 г. под ред. Й. Хамма и Г. Вытженса¹¹. Кроме этого развитие славяноведения в неславянских странах освещалось в редактируемой А. С. Мыльниковым советской серии "Interslavica", два тома которой вышли в 1983 г. и 1986 г., а последний появился в 1989-м¹². Во всех томах серии участвовали

не только советские специалисты, но и ученые других стран – Австрии, ГДР, Венгрии, Норвегии, Финляндии, Чехословакии. Что касается содержания, то опубликованные статьи касались также и других стран, в том числе Болгарии, Польши, Румынии, Югославии, ФРГ, Франции, Англии, США, Японии, Швеции, Западного Берлина. Об основной проблематике освещаемой последним из вышедших сборников можно судить по заглавиям его разделов: "История и современное состояние славистики"; "Творческие подходы"; "Историография отдельных проблем".

Все сказанное о работе Комиссии показывает, что назрел вопрос о пересмотре хронологических рамок ее интересов. Принимая за верхнюю границу своих исследований 1945 год, члены Комиссии исходили в прошлом не столько из научных стремлений, сколько из существовавшей идейно-политической ситуации. За последние годы обстановка изменилась весьма значительно и стал возможным отказ от этого самоограничения. Советские историки славистики за последние годы довольно энергично занимаются изучением послевоенного десятилетия. Кроме названных выше работ это подтверждается также планами, которые более или менее успешно реализуются. В частности, Институт славяноведения и балканистики Академии наук СССР сдал в издательство "Наука" библиографический словарь объемом в 55 печатных листов, содержащий сведения примерно о тысяче пятисот советских ученых, которые занимались или занимаются историей и культурой, языками и литературами южных и западных славян.

От имени советских ученых я предложил включить в план работы Комиссии на ближайшие годы подготовку для серии "Исследования по истории мировой славистики", двух дополнительных томов по послевоенному периоду. Разграничить материал представляется целесообразным по подтвержденному нашей практикой принципу: один том посвящать славистике в славянских, другой – славистике в неславянских странах. Каждый том мог бы, мне кажется, включать обобщающие аналитические статьи страноведческого и проблемно-тематического характера, обзоры отдельных дисциплин или научных направлений. Необходимо также завершить работу над пока неосуществленными замыслами прежних лет – над томом серии, посвященном второй половине XIX в., и над второй частью тома по межвоенному двадцатилетию. Первый из названных объектов согласился оставить за собой польские участники Комиссии, судьба второго требует дополнительного обсуждения и консультаций как с точки зрения подготовки текста, так и с точки зрения издательской базы.

В изменившихся условиях открылась реальная перспектива глубокого и объективного исследования вопросов, связанных с деятельностью тех славистов, которые были вынуждены теми или иными обстоятельствами выехать из своей страны и работать в эмиграции. "Эмигрантская славистика" существовала и в XIX в., но особенно весомым для науки явлением она стала после 1917-го и 1945-го годов. Это были периоды, когда, оказавшись в "зарубежье" многие видные славяноведы не только изменили свой образ жизни, но и сферу научных интересов, а то и род занятий. Конечно, все это можно было бы рассматривать и в рубриках "славистика в славянских странах" или "славистика в неславянских странах". Но у "эмигрантской славистики" есть своя собственная специфика, делающая ее составной частью как первой, так и второй рубрики, создающая особые сложности как с поисками источников, так и с истолкованием собранного материала. Тут более чем в какой-либо другой области необходимо и плодотворно международное сотрудничество, расширять которое призвана Комиссия. В связи с этим представляется целесообразным, как минимум, посвятить славистическому "зарубежью" одно из заседаний Комиссии и опубликовать его материалы, либо в специальном историческом сборнике, либо в дополнительных томах нашей серии. Думается, что в процессе работы налажился бы обмен информацией, текстами источников и литературой по данной теме, еще более окрепло бы деловое сотрудничество в исследовательской работе.

Возможен и еще один объект, при подготовке которого весьма плодотворным могло бы стать кооперирование усилий – это создание справочника об основных славистических научных учреждениях, их печатных органах, а также о крупнейших славистах различных стран. Каждая страна могла бы при этом делать свою часть по коллективно разработанной методике, а вопрос о способах размножения соответствующих текстов или об издании справочника в целом можно было бы решить дополнительно. В крайнем случае, имея экземпляр рукописи, каждая сторона могла бы размножить его средствами малой полиграфии.

Жизнеспособность Комиссии в нынешнем составе подтверждена ее деятельностью и никем не подвергается сомнению. И все же, думается, что необходимо принять меры для расширения круга входящих в Комиссию стран, а отчасти и для обновления персонального представительства тех стран, которые давно сотрудничают в Комиссии. С этой целью можно было бы обратиться к одним национальным комитетам славистов с приглашением делегировать в Комиссию специалистов, желающих принять участие в

нашей работе, к другим – с просьбой подтвердить полномочия уже имеющихся членов Комиссии или предложить им замену. Аналогичные приглашения стоило бы разослать и непосредственно тем славистам, которые плодотворно занимаются историей славистики в отдельных ее дисциплинах или на международном уровне. В обновленном и расширенном составе Комиссия могла бы собраться в 1993 г. на XI Международном съезде славистов в Братиславе, а может быть и раньше на одном из очередных заседаний.

В обсуждении изложенных соображений участвовали все присутствующие на Марбургском заседании члены Комиссии – представители: Австрии (С. Хафнер); Англии (Дж. Стоун); Болгарии (Г. Димов, В. Заимова и Л. Минкова); ГДР (В. Цайль и Х. Порт); Италии (С. Бонацца); Польши (М. Басай и С. Урбаньчик); СССР (А. Н. Горяинов, В. А. Дьяков, И. А. Калоева, А. С. Мыльников); ФРГ (Х. Шаллер); Чешско-Словацкой Республики (В. Матула и Т. Ивантышинова); Швеции (Г. Якобсон)¹³. Комиссия одобрила внесенные мной предложения о плане работы на ближайшие годы и избрала меня своим председателем. Очередные заседания Комиссии намечены на 1991 г. – в Словакии и на 1992 г. в Италии. Предполагается, что в Италии Комиссия соберется уже в расширенном и обновленном составе.

Примечания:

1. Пленарные заседания состоялись в 1958 г. (Москва), 1963 г. (София), 1972 г. (Москва), 1973 г. (Варшава), 1975 г. (Прага), 1977 г. (Варна), 1978 г. (Загреб – Любляна), 1980 г. (Берлин), 1983 г. (Киев), 1985 г. (Смоленцы под Братиславой), 1987 г. (Варшава), 1988 г. (София), 1990 г. (Марбург); рабочие встречи проходили в Вене (1960 г.), в Геттингге (1964 г.), в Штиржине – у Бенешова (1968 г.), в Праге (1971 г.).

2. Краткий обзор деятельности Комиссии до конца 70-х годов см.: Прокофьева Н. А. Деятельность Международной комиссии по истории славистики. – Сов. славяноведение, 1977, № 1, с. 139–142; Она же. Международная комиссия по истории славистики. – Славяноведение и балканистика за рубежом. М., 1980, с. 32–43.

3. Методологические проблемы истории славистики. М., 1978; *Štúdie z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia*. Bratislava, 1978; История на славистиката от края на XIX и началото на XX век. София, 1981; *Beiträge zur Geschichte der Slavistik in nichtslawischen Länder*. Wien, 1985; *Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918–1939)*. Cześć pierwsza. Wrocław, 1989.

4. *Aktuálne problémy dejín slavistiky*. Bratislava, 1986.

5. Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988.

6. Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979; Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., Наука, 1981, 302 с.; *Историографические исследования по славяноведению и балканистике*. М.: Наука, 1984, 372 с.; *Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы*. М.: Наука, 1986, 303 с.

7. Историография истории южных и западных славян. (Учебное пособие для студентов по специальности "история"). М.: Изд-во МГУ, 1987, 261 с.

8. Вопросы историографии и истории зарубежных славянских народов. К 150-летию славяноведения в Московском университете. М.: Изд-во МГУ, 1989, 180 с.

9. См.: Славянская филология. К X Международному съезду славистов. Межвузовский сборник, вып. VI. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988, с. 51–93.

10. Бернштейн С. Б. Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы XX века). – Сов. славяноведение, 1989, № 1, с. 77–82; Брачев В.С. "Дело" академика С.Ф. Платонова. – Вопросы истории, 1989, № 5, с. 117–129; Горяинов А. Н. Славяноведы – жертвы репрессий 1920–1940-х годов: неизвестные страницы из исторической науки. – Сов. славяноведение, 1990, № 2, с. 78–89; Он же. Еще раз об "академической истории". – Вопросы истории, 1990, № 1, с. 180–181.

11. Beiträge zur Geschichte der Slawistik in nichtslawischen Länder. Wien, 1985.

12. Славяноведение и балканистика в зарубежных странах. М.: Наука, 1983, 335 с.; Зарубежная историография славяноведения и балканистики. М.: Наука, 1986, 320 с.; Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США. М.: Наука, 1989, 198 с.

13. К сожалению, в Марбург не смогли приехать члены Комиссии из Дании, Норвегии, Румынии, Франции, Швейцарии и Югославии.

А. С. ГРИБОЕДОВ И ДОКТОР ИЗ ПЕРАСТА С. И. МАЗАРОВИЧ

И. С. Достян

В архивном деле об аресте А. С. Грибоедова сохранился список книг, найденных в его чемодане и среди вещей, ранее отправленных во Владикавказ. Среди них упомянуты: Правила славянского языкознания И. Домбровского, Народные сербские песни, Сербский словарь¹. Нет сомнения, что две последние книги – произведения Вука Степановича Караджича. В руки Грибоедова каким-то образом попали "Српски рјечник истолкован њемачким и латинским ријечима", изданный в 1818 г. в Вене, и одна книга "Српске народне пјесме" (Лейпциг, 1823–1824).

Как известно, Александр Сергеевич хорошо знал западные и ряд восточных языков, проявлял немалый интерес к лингвистике. Книжки, найденные у него при аресте, обнаруживают, что в сферу научных занятий писателя в 1824–1825 гг. входили славянские языки, в частности сербский язык и сербская народная поэзия, которую он читал в оригинале. Имеются свидетельства современников о том, что Грибоедов доказывал друзьям необходимость не только знать историю и географию своего отечества, собирать народную поэзию, но также изучить несколько "славянских наречий" по их грамматикам и словарям².

Этот интерес к славянским языкам и литературе был следствием не только громадной любознательности Грибоедова. В литературно-теоретической борьбе 1810–1820-х годов он входил в небольшую, но достаточно сплоченную группу, в которой кроме него были В. К. Кюхельбекер, П. А. Катенин, А. А. Жандр и др. Эти архаристы, как их именовал Ю. Н. Тынянов, противостояли новаторам-карамзинистам, стремились к высоким лирическим и эпическим жанрам, "славянщине", к патриотически-героическому стилю, видя в этом путь к развитию оригинальной национальной художественной культуры и народной поэзии³.

Таким образом, причины интереса, проявлявшегося Грибоедовым к славянским языкам и литературе, конкретно к сербскому языку и народной поэзии, следует искать в специфике его общественно-политических и литературных взглядов. Но в этом отношении, как полагаем, оказали влияние и чисто внешние обстоя-

тельства, личные контакты. Так немалое значение могло иметь близкое общение Александра Сергеевича на протяжении ряда лет с эмигрантом из Боки Которской С. И. Мазаровичем.

Имя Семена (Симона) Ивановича Мазаровича встретится каждому, кто будет знакомиться с жизнью и деятельностью Грибоедова. Это был его непосредственный начальник по дипломатической службе в 1818–1821 гг., российский поверенный в делах в Персии в 1818–1826 гг. Место Мазаровича занял Грибоедов, когда после окончания русско-персидской войны 1826–1828 гг. был назначен посланником в Персию. Но на основании того, что говорится о Мазаровиче в трудах, посвященных Грибоедову, нельзя получить правильного представления об этом человеке, его участии в литературной жизни России. Вопрос о возможности влияния Мазаровича на появление интереса великого русского комедиографа к сербскому языку и культуре не затрагивался.

В работах о дипломатической деятельности Грибоедова Мазарович изображается человеком, не отличавшимся умом и инициативой, абсолютно неподготовленным к дипломатической службе⁴. Подобная характеристика не основывается на фактах, а просто исходит из расчета авторов подчеркнуть достоинства Грибоедова как дипломата путем противопоставления его бездарному и некомпетентному предшественнику. Это был легкий путь, ибо о Мазаровиче, его деятельности было известно мало, неясной оставалась национальная принадлежность этого человека, которого называли, обычно, венецианцем или венецианским подданным. Лишь Б. Л. Модзалевский упомянул, что Мазарович принадлежал к венецианскому дворянскому роду из Пераста Смиловичей-Мазаровичей⁵.

Можно установить, что это славянское семейство с давних времен проживало в Перасте. Его члены владели кораблями, были капитанами, занимали различные высокие должности, участвовали в войнах Венеции с Турцией⁶. О жизни и деятельности самого Семена Ивановича можно узнать из его "послужных списков", сохранившихся в архиве российского министерства иностранных дел⁷, из его рукописи "Заметки о Черногории", о которой будет рассказано ниже, и некоторых других материалов.

С. И. Мазарович был сыном "адмирала венецианской службы". Он изучал медицину (по-видимому, в одном из итальянских университетов), после чего был приглашен для помощи больным в Черногорию, где несколько лет служил лекарем у губернатора Йована Радонича. Когда в начале 1806 г. к Боке Которской подошла эскадра под водительством вице-адмирала Д. Н. Сенявина, Мазарович поступил на службу к русским и в следующем году вместе с э-

кадрой Сенявина покинул родину. Оказавшись в России, общительный и веселый доктор из Пераста приобрел много знакомых и влиятельных покровителей. Среди таковых были, например, статс-секретарь по иностранным делам Иоанн Каподистрия и генерал А. П. Ермолов – будущий глава военного и гражданского управления Кавказа, "господин проконсул Иберии", как в шутку называл его Грибоедов. Когда в 1816 г. Ермолов был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Персию, он взял с собой Мазаровича в должности врача и в 1817 г. направил его в Персию за несколько месяцев до прибытия туда всей миссии. Ему поручалось известить о прибытии российского посольства, договориться о торжественной его встрече, а главное собрать сведения о ситуации в Персии, о шахе, его наследнике Абасе-Мирзе и их окружении. Это были нелегкие поручения, учитывая неурегулированность русско-персидских отношений после окончания войны между двумя государствами. Доктор выполнил их очень успешно, установил полезные связи, сообщил важные сведения об обстановке в Тегеране и Тегризе⁸. После возвращения чрезвычайной миссии из Персии Семен Иванович стал, как тогда говорили, "человеком Ермолова"; на долгое время вошел в его ближайшее окружение. Посылая Мазаровича в Петербург, после возвращения из Персии, Ермолов так рекомендовал его своему другу А. А. Закревскому: "Если только разумеешь будешь его русский язык, он тебе много любопытного расскажет о Персии и весьма подробно о том, что со мною там происходило; он был свидетелем всего. Приласкай его по дружбе ко мне, он человек весьма умный"⁹.

Когда после окончания чрезвычайной миссии в Персии стал вопрос о назначении туда постоянного дипломатического представителя, Ермолов и Каподистрия поддержали кандидатуру Мазаровича. Доктор из Пераста в 1818 г. был назначен поверенным в делах в Персии. В 1818–1821 гг. секретарем посольства служил Грибоедов. После вступления на престол Николая I, когда Ермолов был заподозрен в причастности к декабристскому движению, Мазарович также вошел в немилость и оказался вынужденным покинуть свой пост. Он побывал на родине, но затем вернулся в Россию, служил чиновником у нового наместника Кавказа И. Ф. Паскевича, в азиатском департаменте МИД.

Человек по многим отзывам умный, ловкий и проницательный, хорошо знавший Персию и Кавказ, Мазарович, конечно, рассказывал своим друзьям и знакомым не только о них, но и о своей далекой родине. Он не чужд был и литературной деятельности, хотя предпочитал публиковаться анонимно. Его перу принадлежал обширный манускрипт на французском языке "Заметки о Черногории"

рии" (Notices sur Monténégro), представленный в российский МИД в 1808 г., вскоре после прибытия в Россию¹⁰. Сохранилось немало записок с описанием различных земель и народов, составлявшихся по специальным заданиям министерства или по собственной инициативе, в том числе балканскими эмигрантами. Они изучались и использовались дипломатическими чиновниками, а затем на долгие годы оседали в архиве. "Заметки о Черногории" Мазаровича имели иную судьбу: значительная их часть была использована "военным писателем" В. Б. Броневским в его книге "Записки морского офицера", в которой имелась специальная глава под названием "Описание Черногории"¹¹. Как можно установить, она написана на основе рукописи Мазаровича и представляет собой как бы сокращенный перевод основной части его записки, исключая специальную тематику – перечисление распространенных в Черногории болезней и лекарственных растений. "Морской офицер" после опубликования книги признался, что Мазарович передал ему свой "манускрипт" и разрешил его использовать, не называя фамилии автора¹².

Прежде всего отметим значение записки как исторического источника: она была составлена не торопливым путешественником по еще очень мало известной в Европе горной стране, а человеком, прожившим в Черногории несколько лет, для которого сербский язык был родным, который каждодневно общался с митрополитом Петром I Негошем, со старейшинами и простым народом. Он подробно рассказал об образе жизни, нравах и обычаях черногорцев, о народном фольклоре, песнях, которые поются на праздниках и при различных жизненных обстоятельствах. Он нарисовал красочный портрет митрополита, описал методы его правления и проч. При этом доктор из Пераста пытался привлечь внимание к нелегкому положению и насущным нуждам маленького отважного народа. Не идеализируя отсталые обычаи, "дикую жизнь", которую ведут черногорцы, автор им симпатизирует, подчеркивает их неиспорченность цивилизацией. Этот народ, пишет он, "говорит чистейшим языком, с мягким и приятным выговором. Нет сомнения, что вследствие слабого общения с иностранцами черногорцы имели меньше возможностей испортить свой язык"¹³.

Утверждая, что Черногория является республикой, в которой "равенство поддерживается бедностью и простотой, а вольность – храбростью"¹⁴, Мазарович писал в заключение: "Современные философы могли бы увидеть в независимости черногорцев образ счастливой свободы, но друг человечества не усмотрит там ничего, кроме беспорядка и своеволия; он искренно пожелает, чтобы они освободились от ложных предрассудков и отреклись от жизни

столь противной человеческому достоинству". Далее доказывалось, что благодаря "мудрым законам" Черногория сможет развить промышленность, превратиться в экономически процветающее, просвещенное государство, подобное, например, Швейцарской или Голландской республикам. Все эти важные преобразования могут быть осуществлены черногорским митрополитом только с помощью русского государя¹⁵.

"Заметки о Черногории" убеждают, что их автор – человек достаточно образованный, с широкими интересами. Он сторонник демократических принципов общественного и государственного устройства, большой патриот, не забывавший на чужбине об интересах своей родины.

Не было случайностью, что Грибоедов, познакомившись с Мазаровичем в 1818 г., сразу почувствовал к нему большую симпатию и самые дружеские чувства. "Мазарович, любезное создание, умен и весел", – писал он своему другу С. Н. Бегичеву вскоре после назначения секретарем посольства¹⁶. Из Моздока, по пути в Персию Грибоедов писал Мазаровичу: "Факт тот, что с тех пор, как я принадлежу Вам в качестве секретаря, я не нахожу, чтобы зависимость бедного канцелярского чиновника была так ужасна, как я себе представлял". Он выражает желание поговорить подробно и пространно со своим шефом, рассказать ему о дорожных злоключениях¹⁷. Сердечны и неофициальны письма Грибоедова Мазаровичу, отправленные год спустя, когда он с группой солдат-дезертиров отправился из Персии в Россию¹⁸. Переписка секретаря посольства со своим шефом этого времени свидетельствует, что он очень уважительно относился к методам дипломатической деятельности Мазаровича, который в тяжелых условиях защищал престиж и государственные интересы России. "Передо мной неизменно стоял пример Вашей сдержанности и стойкости при дворе шаха...", – писал Грибоедов¹⁹.

Мазарович со своей стороны очень тепло и заботливо относился к своему молодому сотруднику и, зная, что для Александра Сергеевича пребывание в Персии тяжело, осенью 1819 г. направил его в Тифлис. "Старайтесь для своего благополучия устроиться при его превосходительстве (т. е. Ермолове. – И. Д.), – писал он Грибоедову, – который со своей стороны также должен ценить Вас, нуждаясь в талантливых людях; но ради бога не играйте и не слишком сближайтесь с молодежью, потому что иначе, я предсказываю Вам, что Вы переживете много дней грустных и бедственных"²⁰.

Однако Грибоедову пришлось вернуться в Персию, хотя служба там в отрыве от друзей и литературной среды его все более тяготила. Но именно в это время, в 1820 г. он пережил творческий

подъем, усиленно работал над своей великой комедией, много читал, изучал языки, объехал разные области Персии. Иногда Александр Сергеевич оказывался в тяжелом душевном состоянии или вел беззаботную жизнь, играл в карты, увлекался женщинами. Тогда Мазарович его упрекал, читал назидания, раздражавшие Грибоедова. Его отношение к начальнику стало более критическим, иногда ироничным. Он не склонен был принимать советы жить умеренно, не предаваться страстям, но по-прежнему считал Мазаровича добрейшим человеком, хорошо к нему относившимся.

Грибоедов и Мазарович были очень разными и непростыми людьми. Один был молод, непостоянен, очень самолюбив. Другой – сорокалетний бокезец-католик, много уже повидавший на свете, ударившийся “в набожность и мораль глубокую”, по словам Александра Сергеевича²¹. Они не могли стать друзьями, но в силу обстоятельств, оказавшись в чужой стране, остались близкими друг другу. Может быть для Александра Сергеевича было удачей, что вдали от друзей и литературной среды он жил и работал рядом с человеком широкообразованным, не чуждым литературному творчеству. Он имел благосклонного и заботливого начальника, который ценил его талант и не очень обременял служебными делами.

Зная, что Грибоедов стремится вернуться в Россию, Мазарович содействовал этому. В ноябре 1821 г. он послал Александра Сергеевича с поручением к Ермолову в Тифлис, где тот оставался до весны 1823 г. в качестве секретаря дипломатической канцелярии наместника Кавказа, а затем, получив длительный отпуск, провел два года в Москве и Петербурге. Но осенью 1825 г. судьба вновь связала Грибоедова с Мазаровичем. В станице Екатеринославской, где тогда находился штаб Ермолова, им некоторое время пришлось жить вместе, в одной комнате. Это оказалось нелегким для обоих. “В моей комнате находится Мазарович, с латинским молитвенником и дипломатическими замыслами; одно спасение это из постели на лошадь и в поле”... “Мы живем в одной комнате, я у него под носом то курю, то стреляю...” – писал он друзьям, находясь в это время в состоянии депрессии²².

Мазаровичу довелось быть одним из первых слушателей “Горя от ума”. В одной из биографических статей об Ермолове приводится такой случай. Осенним вечером 1825 г. Грибоедов читал А. П. Ермолову, А. А. Вельяминову и С. И. Мазаровичу свою только что завершённую комедию. Именно в эту ночь пришло известие о кончине Александра I в Таганроге²³.

Вскоре после этого пути Грибоедова и Мазаровича разошлись, но судя по всему они виделись и позже, в 1827 г., когда Грибоедов был назначен посланником в Персию. Знание этой страны и опыт

дипломатической деятельности в ней, приобретенный под руководством Мазаровича, несомненно определили возможность получения этого высокого поста. Перед отъездом в Персию Александр Сергеевич консультировался со своим бывшим начальником, что свидетельствует о сохранении между ними дружеских отношений. “Дорогой Мазарович, – писал ему Грибоедов, – Ваши заметки о Персии (по-видимому, это еще одна записка Мазаровича. – И. Д.) изобилуют оригинальными наблюдениями. Это только эскиз. Во всяком случае то, о чем Вы там упоминаете, вызывает во мне большое желание услышать от Вас более пространное изложение на эту тему в первый же раз, как только мы с Вами увидимся”²⁴.

После гибели Грибоедова Мазарович, по-видимому, часто делился со своими друзьями и знакомыми рассказами об этом трагическом событии, о своем бывшем сотруднике. Много лет спустя ему довелось общаться с Л. Н. Толстым, интересовавшимся Грибоедовым и его судьбой. 19 октября 1906 г. домашний врач Толстого Д. П. Маковицкий записал: “Л. Н. рассказал, что он знал Мазаровича – из славян, женился на Рибопьер, был предшественником Грибоедова (на посту посла в Тегеране), рассказывал подробно об убийстве Грибоедова”²⁵.

Среди людей из окружения Грибоедова Мазарович был единственным югославянином, который говорил по-сербски, мог рассказать своему сотруднику много интересного о прошлом и настоящем Боки Которской, Черногории, сербских земель. Есть основания считать, что именно от него, поддерживавшего связи со своими родственниками из Пераста, Александр Сергеевич мог получить произведения Вука Караджича.

О Мазаровиче, его дипломатической деятельности, литературном творчестве, его отношениях с Грибоедовым можно было бы узнать больше, если бы сохранился некогда существовавший его архив. Известно, что этот архив во второй половине 1920-х годов был передан в Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Кроме прочих документов в нем находились письма к Мазаровичу Грибоедова и одно письмо Мазаровича, которые были опубликованы О. И. Поповой²⁶. Однако подлинники их не сохранились и самого архива в фондах Отдела теперь не существует*.

* Сокращенный перевод с сербского статьи под тем же названием, опубликованный в кн.: Прилози проучavanju srpsko-ruskikh književnih veza. Prva polovina XIX veka. Матица српска, Нови Сад, 1980, с. 137–154.

Примечания:

1. Вейденбаум Е. Г. Арест Грибоедова. – Вейденбаум Е. Г. Кавказские этюды. Тифлис, 1901, с. 264–265.
2. А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929, с. 55.
3. Орлов В. Н. Грибоедов. Очерк жизни и творчества. М., 1951, с. 58–67; Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1966, с. 23–121.
4. См. напр.: Пашуто В. Т. Дипломатическая деятельность Грибоедова. – Исторические записки, т. 24. М., 1947, с. 118; Шестакович С. В. Дипломатическая деятельность Грибоедова. М., 1960, с. 78–80; Еникоплов И. К. Грибоедов и Восток. Ереван, 1874, с. 7, 24, 30; Попова О. И. Грибоедов-дипломат. М., 1967, с. 30–33.
5. Архив Раевских. Под ред. Модзалевского Б. Л., т. 1. СПб., 1908, с. 290–291.
6. Viscovič F. Storia di Perasto. Frieste, 1898, s. 81, 112, 129; Станојевић . Грађа за историју Пераста. – Споменик Српске академије наука, књ. 105. Београд, 1956, с. 53–66.
7. Архив внешней политики России (АВПР), ф. ДПС и ХД, оп. 464, д. 2102.
8. А. П. Ермолов – К. В. Нессельроде 4 января, в октябре 1817 г. – Акты, собранные Кавказскою Археографическою комиссией, т. 7, ч. 2. Тифлис, 1875, с. 139–140, 180.
9. А. П. Ермолов – А. А. Закревскому 30 ноября 1817 г. – Сборник российского исторического общества, т. 73. СПб., 1890, с. 260, 481.
10. АВПР, ф. ГА, 1–9, 1808 г., д. 3.
11. Броневский В. Б. Записки морского офицера..., ч. I. СПб., 1818, с. 195–300. Глава о Черногории была также напечатана в журнале "Сын отечества" (1818, № 27–29).
12. См. об этом: Сын отечества, 1818, № 49, с. 184–190; № 50, с. 234–250; № 52, с. 331–333.
13. АВПР, ф. ГА, 1–9, 1808 г., л. 36.
14. Там же, л. 10.
15. Там же, л. 63–68.
16. А. С. Грибоедов – С. Н. Бегичеву 15 апреля 1818 г. – А. С. Грибоедов. Полн. собр. соч., т. III. Пгд, с. 129.
17. А. С. Грибоедов – С. И. Мазаровичу 12 октября 1818 г. – Попова О. И. А. С. Грибоедов в Персии. 1818–1823. М., 1929, с. 42.
18. Там же, с. 44–45.
19. А. С. Грибоедов – С. И. Мазаровичу, сентябрь 1819 г. – Там же, с. 54.
20. Там же, с. 92–93.
21. А. С. Грибоедов – Н. А. Каховскому 3 мая 1820 г. – Грибоедов А. С. Полн. собр. соч., т. III, с. 139–140.
22. А. С. Грибоедов – А. А. Бестужеву 22 октября 1825 г., А. С. Грибоедов – В. К. Кюхельбекеру 27 октября 1825 г. – Там же, с. 181, 183.
23. Ермолов А. А. Алексей Петрович Ермолов. 1777–1861: Биографический очерк. СПб., 1912, с. 101.
24. Краснов П. С. Две записки А. С. Грибоедова. – Русская литература, 1979, № 3, с. 147–148.
25. Маковицкий Д. П. У Толстого. Яснополяние записки, кн. 2, 1904–1907. М., 1979, с. 276.
26. О. И. Попова, публикуя эти письма в книге "Грибоедов в Персии", не называет их архивного адреса, но косвенным образом упоминает о "досье Мазаровича", существующем в музее.

АРХИВ П. И. КЕППЕНА

М. В. Никулина

Архив академика Петра Ивановича Кеппена (1793–1864)¹, одного из русских ученых, много сделавшего для развития славяноведения в России в первой трети XIX в., создавался в течение всей его жизни. После смерти ученого он был передан в архив Академии наук (Петербург). В настоящее время фонд находится в Ленинградском отделении Архива АН СССР². Последняя часть фонда П. И. Кеппена поступила в Архив в 1965 г. из Ленинградского отделения Института археологии АН СССР³.

Архивное собрание П. И. Кеппена содержит огромное количество материалов различного характера: от юношеских работ периода обучения в Харьковском университете (1808–1812) и отзывов о нем профессоров этого университета⁴, до материалов по статистике народонаселения России⁵. Получив образование на ифико (нравственно)-политическом отделении университета, где он серьезно занимался политической экономией, статистикой, историей, словесностью, Кеппен впоследствии занял видное место среди статистиков-государствоведов прогрессивного направления. Кроме гуманитарных наук, Кеппен интересовался естественными и точными науками, слушал лекции по химии, энтомологии, геологии, был прекрасным картографом. Широта интересов отличала все его дальнейшие научные занятия. Годы учения Кеппена пришлось на период расцвета Харьковского университета, когда там преподавали незаурядные, европейски образованные профессора (Л.-Г. Якоб, И.-Е. Шад, Г. П. Успенский, И. С. Рижский), пробудившие неутолимую жажду знаний в своем ученике. В одной из своих дневниковых записей, сделанных после переезда из южного Харькова в холодный Петербург, он пишет: "Вот уже почти три года как я перестал сладостно мечтать о будущем; блаженные лета проведенные мною в университете, исчезли. Какие возвышенные мысли рождались тогда в уме моем; каждая наука была для меня особенным миром, в котором я блаженствовал. Науки исторические являли мне в отвлеченном виде точно то же, в чем науки чувственные убеждали меня на самом деле. Философия, как взаимная и всеобщая связь сих,

очевидными своими доказательствами вселяла в меня благоговение к творцу и уважение к самим его творениям”⁶.

В течение всей своей жизни много сил отдал Кеппен разысканию и собиранию памятников письменности, рукописей, материалов по этнографии, мифологии, диалектологии, палеографии, главным образом русской и славянской. Важную часть архива, относящуюся к истории славяноведения как в России, так и за рубежом, составляют рукописные материалы, касающиеся путешествий Кеппена. Из листов с перечислением всех путешествий Кеппена, начиная с 1810 г. по 1860 г.⁷ видно, что почти ежегодно, а иногда и дважды в год, он отправлялся в путь. Он изучал северо-запад России, Крым и Кавказ, Украину и Белоруссию. Из своих путешествий Кеппен привозил различные записи по истории края, этнографии, статистике, письменности, карты, зарисовки. Интерес к изучению России, к науке приобретает у Кеппена более определенный, целенаправленный характер особенно после сближения его с членами будущего “Общества любителей российской словесности” (основано в 1816 г., с 1818 г. – “Вольное общество любителей российской словесности” – “Ученая республика”). Кеппен участвовал в разработке и написании устава Общества, выступал на его заседаниях⁸, печатался в журнале. Здесь получило развитие его стремление изучать прошлое и настоящую России, трудиться для ее блага. В то же время происходит его знакомство с некоторыми членами Румянцевского кружка и с самим гр. Н. П. Румянцевым. Канцлер Н. П. Румянцев (1774–1826), после отставки в 1814 г. целиком посвятивший свою жизнь собиранию русских и славянских древностей, книг, рукописей, произведений искусства, объединил вокруг себя лучших русских ученых (среди них А. Х. Востоков, К. Ф. Калайдович, П. М. Строев, Е. А. Болховитинов), сделавших значительный вклад в развитие русского и зарубежного славяноведения. На свои средства Н. П. Румянцев организовал ряд археографических экспедиций по России, богатых открытиями древних памятников (например, Изборник 1073 г., сочинения Кирилла Туровского, рукописи сочинений Иоанна экзарха болгарского и др.). Кеппен быстро сумел войти в новую для него проблематику, интересовавшую членов кружка, здесь его энергия и эрудиция нашли свое применение. Путешествуя в 1819 г. по северу, он ищет следы преданий о Рюрике, Труворе – “о первых князьях наших, о древнейших жилищах сопутников их и самих славян”⁹, собирает сведения об Изборске и его окрестностях, делает зарисовки крепости. В 1821 г., уже по поручению Н. П. Румянцева, Кеппен продолжил исследование северо-западных губерний, вместе с З. Д.-Ходаковским (А. Чарноцким) посетил Ладогу, Псков, Новгород, Тихвин, Из-

борск, Печерск, Дерпт, Ревель, Ригу, встречался с Е. А. Болховитиновым, В. Г. Анастасевичем. Его путевые записи приобретают более упорядоченный характер, тетради получают постоянную нумерацию. Первые 2 тетради касаются лишь путешествий по российским губерниям: “Дорожные записки 1821 года, продолжающие поездку по северо-западным губерниям Российской империи. Книга I. От С. Петербурга через Тихвин, Псков и Ревель в Митаву. С 31 мая по 21 июля”¹⁰ и “Путевые заметки 1821 года. Кн. II Петра Кеппена. 1. От Митавы через Ригу, Полоцк, Псков и Нарву в С. Петербург. 2. От Петербурга через Москву в Харьков”¹¹. Следующей группой дневников являются дневники или записки, отражающие путешествие Кеппена в Западную Европу¹². Главная цель путешествия Кеппена в Европу была определена Н. П. Румянцевым – объехать все области со славянским населением, отыскивать древнейшие документы, летописи, словари. Об этом свидетельствует “Краткая записка о поручениях, сделанных Е[го] С[и]ятельством] господином гос. канцлером гр. Н. П. Румянцевым надворному советнику Кеппену” (12 января 1826 г.)¹³. Кроме того, в записках содержится много сведений о географическом положении, климате, почвах, полезных ископаемых, нравах и обычаях жителей, языке, истории, просвещении. Много страниц в дневнике посвящено славистическим изысканиям самого автора, библиографии, палеографии, знакомству с видными деятелями науки и культуры, в том числе славянскими.

В свое длительное путешествие по славянским землям Западной Европы Кеппен отправился 29 октября 1821 г. из Петербурга через Москву, Харьков и Киев. В ноябре он был в Москве. “Стану ли говорить о Москве – по которой я 10 дней без памяти бродил, бросаясь из конца в конец. Тьма древностей по всем церквам, – по углам рассыпанных, на каждом шагу меня останавливала. По приезде сейчас побывал у Мих[аила] Троф[имовича] Каченовского, который с явным удовольствием рассматривал мое собрание Русских памятников. Целый вечер – битых пять часов с рядом толковали мы о старине – и время летело неприметным образом”¹⁴. Кроме М. Т. Каченовского, Кеппен познакомился с К. Ф. Калайдовичем (“К. Ф. Калайдович посвятил мне с рядом несколько дней, объезжая вместе со мною те места, где хранятся древние русские памятники”¹⁵), А. Ф. Малиновским, Ф. А. Толстым, побывал в Московском архиве, Успенском соборе, Синодальной библиотеке и др.

Третья тетрадь (книга) “Путевых записок” охватывает путешествие Кеппена от Харькова (3 декабря 1821 г.) до Кракова (1/13 февраля 1822 г.). Это почти ежедневные путевые дневниковые записи, в которых перечисляются и описываются населенные

пункты, деревни, города и городки, мимо которых лежал путь путешественника, встречи и достопримечательности. Не чужд автор и лирических описаний. Пересекая границу в Бродях (11/23 января 1822 г.) Кеппен пишет о своей глубокой любви к Украине, где прошло его детство и юность, и к своей второй родине – России: "Один шаг, и я за пределами русского мира! Расстался с милою отчизною на долго. В дали от родины, кто не станет считать часов своей разлуки? Кто не предаётся грусти, вспоминая о своих родственниках, о друзьях, милых для сердца? Но я не изгнанник, говорит внутреннее мое чувство. Добрая воля побудила меня на время расстаться с отечеством, которому служить с пользою я почитаю главною целью моего бытия"¹⁶. Однако на главном месте у Кеппена интерес к русской и славянской истории. Дневниковые записи, касающиеся истории городов и целых областей, через которые он проезжал, сопровождаются списком литературы, постоянными ссылками на античных авторов, на труды В. Н. Татищева, П.-С. Палласа, Г.-Ф. Миллера, Н. М. Карамзина. Доискиваясь истины, Кеппен постоянно сопоставляет сведения по истории, получаемые им на местах с известными и описанными уже фактами в исторических сочинениях. Например, Кеппен приводит в своем дневнике обширные сведения по истории Львова, начиная со времени его основания, использует древнейшую рукопись на латинском языке по истории Львова, написанную его бургомистром В. Зиморовичем (около 1640–1660 гг.). Хорошо владея польским языком, Кеппен во множестве ссылается на польские источники по истории Львова и Галиции, мало известные в то время в русской науке.

Изучая историю России, Кеппен обращается и к такой сложной проблеме, как проблема прародины славян и пути древнейших переселений народов (например, с Кавказа к Карпатским горам). Эти проблемы он пытается решить на естественно-научной основе, обращая внимание на геологическое строение местности, морские берега, расположение рек, озер, болот, использует данные топонимики. Изучая различные топонимы, Кеппен прибегает к их этимологическому анализу. Его "словопроизводство" часто ошибочно, хотя он и пытается найти правильный метод. Более удачны его диалектологические записи украинских, белорусских, русинских, польских и др. говоров.

По дороге в Киев Кеппен заезжал в имение графа Н. П. Румянцева под Гомелем. Большое впечатление на него произвели больница, аптека, школа, устроенная графом по ланкастерскому методу. Он пишет в дневнике: "Образование простого народа должно быть главною целию каждого истинного патриота, коего грудь не стесняется какими-либо предрассудками"¹⁷, что вполне соответ-

ствует духу и уставу "Ученой республики". Но чаще встречаются ему на пути курные избы, в которых темно от копоти и где дышать можно было лишь лежа на низких лавках или на полу¹⁸. Из России через Краков Кеппен и его спутник А. С. Березин прибыли в Вену. В мае – июне 1822 г., вооружившись, как обычно книгами и картами, они отправились из Вены в Венгрию и Трансильванию и далее в Славонию. Кеппена интересует происхождение венгров и их история; на страницах своего дневника он подробно записывает теорию венгерского этногенеза, изложенную ему Ст. Хорватом, и дополняет ее собственными соображениями¹⁹. Много внимания он уделяет наблюдениям над живыми языками – венгерским, словацким, и обзорению рукописных собраний архивов и библиотек. Первую информацию о словацких диалектах Кеппен получил от Ф. Палацкого и Я. Коллара, с которыми он познакомился в Пеште²⁰, а о венгерских – от Ст. Хорвата²¹. Много внимания уделено в дневнике экономике края, различным отраслям сельского хозяйства.

Холмистые равнины Венгрии напоминают Кеппену родину, и дневниковые записи часто прерываются словами искренней любви к отечеству²². Многие происшествия описаны в шутовском тоне, так, например, говорится о том, что однажды ночью, в поле, дорожная коляска перевернулась, и все пассажиры оказались на земле. Кеппен пишет: "Итак в час ночи (3/4 первого) мы последовали примеру коляски, легли набок – и уснули при лунном свете"²³.

Четвертая тетрадь Путевых записок охватывает период с 8–12 июня по 12–30 декабря 1822 г. В ней изложены впечатления от путешествия в Славонию, Фрушку гору, Оршову, Германштат (Трансильвания), Дебрецен, Пешт, Пресбург (Братислава); более подробно в этой части описывается жизнь Кеппена в Вене.

В своей поездке по Славонии и Фрушке горе Кеппен продолжал интересоваться народными обычаями и обрядами, собирать диалектологический материал (по сербскому, русинскому, словацкому, венгерскому языкам и диалектам), изучать памятники письменности. В этой поездке он познакомился с видными сербскими и словацкими деятелями: П. Шафариком, Ст. Стратимировичем, Л. Мушицким²⁴.

Любопытно описание путешествия по Дунаю от Белграда до Турецкой Оршовой и посещение Кеппеном и его спутниками, среди которых были и молодые дамы (графиня Бетлен и др.) турецкого паши в Оршове, куда они отправились под чужими (французскими) именами²⁵. Эти страницы написаны с большим юмором, Кеппеном была даже сочинена шутовская поэма (на немецком языке), посвященная прекрасной графине, плененной турками.

По Трансильвании Кеппен путешествовал с В. С. Караджичем, с которым познакомился еще в Петербурге в 1819 г. С ним он побывал в Паньеве у Ф. Демелича, где в то время Караджич нашел пристанище. В доме Демелича в первый раз, как пишет в дневнике Кеппен, он слышал, "как благовоспитанные дамы говорят по сербски"²⁶.

Длительную остановку сделал Кеппен в г. Германштат (ныне г. Сибиу, Румыния), где познакомился с некоторыми болгарскими, изучал болгарский язык²⁷.

Много материалов в этом путешествии было собрано по словацким диалектам. В Пресбурге (Братислава) Кеппен встретился с Ю. Палковичем, профессором евангелического училища, который был ему известен по изданию богемско-словацкого словаря, и от него получил ряд интересных материалов о наречии сотаков²⁸.

Путешествие по австрийским и венгерским землям продолжалось около трех месяцев. В начале сентября 1822 г. Кеппен был опять в Вене²⁹. В Вене Кеппен очень много и серьезно работал, написал несколько научных статей, изучал итальянский язык, продолжал свои изыскания в архивах и библиотеках, собирал библиографические редкости. Часто встречался Кеппен и обсуждал различные научные темы с Е. Копитаром (о санскрите, о валашском и болгарском языках и др.)³⁰. К числу интересных знакомств можно отнести и встречу Кеппена с Фр. Шлегелем: "За обедом г. Копитар уведомил меня, что он дал знать Фр. Шлегелю о том, что я буду у него сегодня вечером. Надлежало повиноваться. В 8-м часу я пошел туда, и был очень доволен новым сим знакомством. Он представил меня и своей жене, дочери знаменитого Мендельсона"³¹. (Беседа в этот вечер шла о буддизме). Кроме того, Кеппен почти ежедневно бывал в театрах и на концертах (дневник содержит любопытную характеристику театральной жизни Вены 20-х гг. XIX в.)³², совершал длительные прогулки в окрестностях Вены.

В пятой книге "Путевых записок" (март 1823 – 17–29 декабря 1823), кроме пребывания в Вене, подробно описывается поездка в Прагу, Варшаву и Вроцлав, а также переезд в Мюнхен и работа в его архивах и музеях.

Поездка в Прагу и встреча с Й. Добровским имела очень большое значение для всей дальнейшей научной работы Кеппена³³. В течение всего своего недолгого пребывания в Праге (1–13 май – 14–26 май 1823) Кеппен постоянно виделся с Добровским, который изучал его материалы по славистике, как привезенные из России, так и собранные во время путешествия. В дальнейшем Добровский продолжал переписываться с Кеппеном, интересоваться его изданием Фрейзингенских фрагментов, с похвалой отзывался о журнале Кеппена "Библиографические листы". Помимо Добровского, Кеппен сблизился с Ф. Палацким, В. Ганкой, Й. Юнгманом.

Другим значительным событием, описанным в дневнике, была поездка Кеппена в июне – июле 1823 г. из Вены в Варшаву³⁴. И в этой поездке большое внимание уделялось Кеппеном проблемам родства славянских языков, лексикологии и лексикографии. Кеппен стремился в Варшаву еще и для того, чтобы ближе познакомиться с известным польским филологом-лексикографом, ректором Варшавского лицея С. Б. Линде. Позднее им была опубликована биография ученого. Кеппен писал по этому поводу: "Жизнеописание г. Линде любопытно по тому, что читающий оное, получает в то же время понятие о ходе просвещения, об истории школ и Публичной библиотеке [!] в Польше, и в особенности в самой Варшаве"³⁵.

Во время поездки Кеппеном был сделан обзор важнейших польских архивов, библиотек и частных коллекций рукописей и древних книг, сделана попытка определения границ распространения польского, белорусского, украинского языков и их диалектов на территории Королевства Польского и земель, входивших в состав Польши до ее раздела.

С 13–25 июля по 25 ноября – 7 декабря 1823 г. (описание последнего дня пребывания в Вене) записи в дневнике отсутствуют. После прощания с А. С. Березиным, отправившимся в Италию, Кеппен решил ехать в Мюнхен. Последние страницы этой части дневника посвящены описанию жизни в Мюнхене, работе в Королевской библиотеке и нумизматическом кабинете, посещению лекций известных профессоров, обработке дневниковых записей. В Мюнхене Кеппен снял копии (снимки) с древнейшего памятника славянского языка на латинице – Фрейзингенской рукописи, и впоследствии издал их на средства гр. Н. П. Румянцева³⁶.

Шестая, заключительная книга "Путевых записок" (декабрь 1823 – апрель 1824) касается путешествия по Германии. Кроме Мюнхена, Кеппен побывал в Штутгарте, Гейдельберге, Франкфурте, Геттингене, Эрфурте, Веймаре, Иене, Лейпциге, Галле, Дрездене, Берлине, встречался с И.-В. Гете, А. Гереном, Я. Гриммом, дочерью Августа Шлецера³⁷. Затем через Польшу в конце апреля 1824 г. вернулся в Петербург.

На основе дневников Кеппен намеревался написать и написал ряд статей, дневники служили ему справочным материалом при издании журнала "Библиографические листы"³⁸. Дневники дают богатый материал для историка, так как представляют широкую картину обычаев, нравов, языка, научной и культурной жизни славянства первой трети XIX в. Они показывают также, в каких непростых условиях происходило создание научной базы развития славяноведения в эти годы.

Важную и еще недостаточно изученную часть архива Кеппена составляют рукописные и др. материалы по истории, этнографии, письменности, палеографии (9 т.). Среди них: Материалы о могилах, курганах, жальниках, городищах и т. д. (1820–1844 гг., 394 лл.)³⁹, Материалы по дипломатике и славянской палеографии (содержат копии старинных рукописных и древнейших печатных святцев XIII–XV вв., письма А. Х. Востокова, Е. А. Болховитинова)⁴⁰, "Порекла святых" (материалы по ономастике)⁴¹ и др. Очень интересными представляются собрание гидронимов Кеппена (262 лл.)⁴² и его материалы по русским наречиям⁴³. Хотелось бы отметить также большой биографический материал, собранный в архиве, и особенно обширную переписку⁴⁴. Среди корреспондентов Кеппена – Я. Гримм, Й. Добровский, В. Ганка, Е. Копитар, Й. Левель, С. Б. Линде, В. А. Жуковский, Н. И. Надеждин, М. П. Погодин, М. Т. Каченовский, К. Ф. Калайдович, Я. Коллар, В. Караджич, А. И. Оленин, П. Шафарик, П. М. Строев и др. Многие из этих писем не опубликованы.

Архив академика П. И. Кеппена еще ждет детального исследования и может дать интересные и значительные сведения по истории славяноведения как в России, так и за рубежом.

Примечания:

1. Кеппен Ф. П. Биография П. И. Кеппена. – Сб. ОРЯС, т. 89, № 5. Спб., 1911.
2. Архив П. И. Кеппена. – Архив АН СССР (ЛЮ), ф. 30, оп. 1–3. (Далее – ААН).
3. ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 534–536.
4. ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 501.
5. ААН, ф. 30, оп. 2, 1827–1864 гг.
6. ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 129, л. 10.
7. Кеппен П. И. Meine Reisen. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 164, лл. 1–5.
8. Кеппен П. И. О познании отечества. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 5, 1816 г.
9. Кеппен П. И. Дорожные записи 1819 г. Тетрадь 1. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 131, л. 5.
10. ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 135.
11. ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 136.
12. ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 137–140.
13. ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 72, лл. 1–3.
14. Кеппен П. И. Путевые заметки 1821 года. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 136, л. 26.
15. Там же, л. 26 об.
16. Кеппен П. И. Путевые записки 1821 и 1822 г., кн. 3. (Далее ПЗ). – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 137, л. 70.
17. ПЗ, кн. 3. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 137, л. 26.
18. Там же, лл. 104–105.
19. Там же, лл. 261–265; ПЗ, кн. 4. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 138, лл. 100–101 об.; 110–110 об.
20. ПЗ, кн. 3. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 137, лл. 280, 290.
21. Там же, лл. 252–253; 266–267; 285–289.
22. Там же, л. 237.

23. Там же, л. 293.

24. См.: Цейтлин Р. М., Никулина М. В. П. И. Кеппен и его путешествие по Сербии и Хорватии и соседним с ними землям. – Сборник за славистику, № 17. Нови Сад, 1979, с. 61–87.

25. ПЗ, кн. 4. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 138, л. 86.

26. Там же, л. 98.

27. См.: Венедиктов Г. К. Първа страница в историята на изучаването на българския език от руски учени. – Българското Възраждане и Русия. София, 1981, с. 212–237.

28. ПЗ, кн. 4. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 138, лл. 235–238. См. также: Зайцев А. А. П. И. Кеппен и Словакия (Из истории русско-словацких культурных связей первой половины XIX в.). – Slovenská a ruská literatúra. Bratislava, 1973, s. 89–104.

29. ПЗ, кн. 4. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 138, лл. 240–283.

30. Там же, лл. 254–256. См. также: Чуркина И. В. Е. Копитар и первые русские слависты. – Štúdie z dejín svetovej slavistiky do polovice 19. storočia. Bratislava, 1978, s. 371–390.

31. ПЗ, кн. 4. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 138, лл. 259–260.

32. ПЗ, кн. 5. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 139, лл. 14–18.

33. Никулина М. В. Й. Добровский и русские ученые (из истории русского славяноведения первой трети XIX в.). – Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984, с. 43–48.

34. Никулина М. В. Поездка П. И. Кеппена в Варшаву в 1823 году и ее роль в истории русско-польских научных связей. – Slavia orientalis, гоѡ. 33, № 3–4. Warszawa, 1984, s. 481–491.

35. ПЗ, кн. 5. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 139, л. 148.

36. Собрание словенских памятников, находящихся вне России, т. 1. Спб., 1827.

37. ПЗ, кн. 6. – ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 140, лл. 98, 104–105, 114–115, 116, 120.

38. Бернштейн С. Б. "Библиографические листы" П. И. Кеппена. – Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 41, № 1. М., 1982, с. 47–58.

39. ААН, ф. 30, оп. 1, ед. хр. 473.

40. Там же, ед. хр. 477.

41. Там же, ед. хр. 478.

42. Там же, ед. хр. 479.

43. Там же, ед. хр. 77–79.

44. ААН, ф. 30, оп. 3.

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ XIX ВЕКА

Е. И. Дёмина

XIX столетие в истории отечественного славяноведения, делавшего в начале века свои первые шаги, выделяется блестящими традициями выявления, археографического, палеографического и текстологического изучения, языковой характеристики и издания памятников древнеболгарской, среднеболгарской и новоболгарской письменности. Эта деятельность была неразрывно связана с исследованием истории, языка и культуры славянских народов, с задачами сравнительной грамматики славянских языков. Именно процесс накопления источниковедческих данных служил той базой, на которой основывались выводы общего характера. Для начального этапа славистических разработок в исторических условиях того времени в славянских странах – и, специально, в Болгарии – этот естественный для любого исторического, историко-культурного или историко-языкового исследования процесс имел особенно важное значение.

Выдающаяся деятельность российских филологов-славистов XIX столетия, достигнутые ими результаты, вклад отдельных исследователей, несмотря на ряд серьезных разработок¹, по-прежнему нуждаются во всестороннем освещении. Думаю, что наряду с исследованиями обобщающего характера определенный интерес при этом могли бы представить наблюдения над самим процессом накопления и осмысления источниковедческих знаний по тому или иному частному вопросу. Это позволило бы более наглядно показать путь вхождения в научный оборот тех или иных конкретных данных, определяющих, в конечном счете, и сам ход исследовательской мысли. Бесспорно, этой работе должны предшествовать глубокое ознакомление с широким кругом исследований в той или иной области, поиск разбросанных по многим редким изданиям и сочинениям заметок на заданную тему, как и наличие собственно взгляда на проблему.

В настоящей работе предпринимается попытка проследить путь постепенного вхождения в российскую филологию XIX в.

сведений о новоболгарской версии одного из сочинений выдающегося болгарского деятеля и писателя XIV в. тырновского патриарха Евфимия, к которой исследователи обращались как при решении задач историко-культурного характера, так и привлеченные языковыми особенностями новоболгарского текста.

Речь идет о пространном житии св. Параскевы (Петки) Тырновской, написанном патриархом Евфимием примерно в 1376–1382 гг. по заказу болгарского царя Ивана Шишмана. Выделяющееся своей яркой выразительностью, эмоциональностью, экспрессивно приподнятым, панегирическим стилем повествования, характерным для византийско-болгарского исихазма интересом к человеческой индивидуальности² это Житие получило широкое распространение не только в болгарской, но и в сербской, румынской и русской письменности XV–XVII вв.³ Мы встречаем его в славянских сборниках самого различного состава – служебниках, прологах, панегириках, минеях, собраниях поучительных слов, в частности, в русских Четьих-Минеях XVI–XVII вв., в так наз. Сборнике Божидара Вуковича, изданном в 1536 г. в Венеции⁴. Одна из редакций евфимиевского Жития Петки Тырновской в 1643 г. была переведена на румынский митрополитом Молдовы Варлаамом⁵. Текст Жития послужил одним из основных источников компилятивной румынской редакции, составленной в конце XVII в. Дмитрием Кантемиром⁶.

Не обошли своим вниманием это произведение и безымянные болгарские книжники XVII в. – создатели нового типа литературного болгарского языка – книжного языка на народной основе, – включив его новоболгарскую версию в состав сборников поучительных слов, апокрифов, проповедей, по имени наиболее часто встречающегося в них автора (греческого писателя XVI в. Дамаскина Студита) получивших название дамаскинов. Сравнительно-текстологическое исследование списков Жития Петки Тырновской в составе дамаскинов позволило мне в свое время выявить наличие двух его новоболгарских версий на народном в своей основе языке и установить их связь с краткой редакцией произведения Евфимия на традиционном литературном языке, которая имела широкое распространение как в Болгарии, так и за ее пределами⁷. Именно эта редакция, в которой по сравнению с первоначальной евфимиевской редакцией, установленной Е. Калужняцким, опущено пространное вступление, прощальное и похвальное слова и молитва к св. Параскеве, а по сравнению с одним из видов пространной редакции нет рассказа Григория Цамбака о перенесении мощей св. Петки после захвата Тырновской Болгарии

турками в Видин, а затем в Сербию, как показало наше исследование, известна и дамаскинам архаичной редакции на традиционном болгарском литературном языке (Ханджарскому дамаскину 1686 г.), к которым, видимо, восходит новоболгарский текст. Кстати, краткая редакция была издана в упоминавшемся выше сборнике Божидача Вуковича, а также переведена на румынский митрополитом Молдовы Варлаамом⁸.

Вопрос о соотношении языка и стиля новоболгарских версий этого произведения с другими редакциями и с первооригиналом, о мастерстве книжников-создателей новоболгарского текста, сумевших талантливо переоплотить нарочито архаизованный и усложненный язык первооригинала (стиль "плетения словес") средствами живой народной речи и достичь при этом по своему выдающегося в стилистическом отношении эффекта, был рассмотрен в одной из моих работ⁹, и здесь мы не можем на нем остановиться. Замечу только, что старшая из новоболгарских версий (первая половина XVII в.) является свободным пересказом краткой редакции Жития. Она, в свою очередь, представлена двумя разновидностями текста, отраженными соответственно в двух типах новоболгарских дамаскинов XVII–XVIII вв. – Тихонравовском, Протопопинском, Коприштенском, Троянском, Пловдивском № 117 и др., с одной стороны, Люблянском, Дряновских А и Б, Трененском, Котленском, с другой. Между ними легко прослеживается генетическая взаимосвязь, причем о постепенном движении текста от редакции типа Тихонравовского дамаскина к редакции типа Люблянского дамаскина позволяют судить списки Жития Петки Тырновской в дамаскинах смешанного типа (Сливенском, Жеравненском). Младшая новоболгарская версия, представляющая собой почти буквальную, пословный перевод краткой редакции, отражена в дамаскинах IV новоболгарского типа.

Сложность текстологической судьбы Жития Петки Тырновской, возникшей под пером тырновского патриарха и обретшей новую жизнь в ряде своих редакций и версий, многовековые традиции ее бытования в болгарской – и не только болгарской – письменности оправдывают интерес историографа к поставленному в данных заметках вопросу. Так обращение российских филологов к новоболгарскому тексту Жития было неразрывно связано с введением в научный оборот первых сведений о письменности дамаскинов с ее народным в своей основе языком. Попытка взглянуть на деятельность этих исследователей сквозь призму их интереса к одному из сочинений Евфимия Тырновского позволяет коснуться некоторых научных исканий того времени, свидетельствующих, в частности, о пиетете к делу "великого

болгарского литературного и духовного деятеля XIV в." ¹⁰, "Патриарха Тырновского и всея Болгарии" ¹¹ Евфимия.

Примечательно, что интерес к новоболгарскому тексту Жития Петки, восходящему к сочинению патриарха Евфимия, связан уже с самыми истоками изучения в России болгарского языка, словесности и культуры, и, прежде всего, с деятельностью Ю. И. Венелина. Как известно, в 1830–1831 гг. по заданию Российской академии он совершил ученое путешествие на Балканы, в порабощенную Османской империей Болгарию для ознакомления с этим мало тогда известным краем, его языком и письменностью с целью, в частности, создать грамматику болгарского языка ¹². Именно в связи с работой над "Грамматикой нынешнего болгарского наречия", которая была завершена в 1834 г., Венелин и обращается к Житию св. Параскевы в его новоболгарской версии по одному из рукописных сборников, привезенных им из путешествия. Пытаясь в своей Грамматике решить один из важнейших вопросов создания единого болгарского литературного языка, а именно, осуществить "критический опыт болгарского правописания для предложения его будущим болгарским литераторам" ¹³, Венелин стремится не только описать грамматический строй болгарского языка, что, по его убеждению, является основной формой упорядочения орфографических норм, но и создать определенный "образец" орфографического оформления текста, т. е. прибегнуть к традиционному для славянского средневековья способу решения проблем правописания. С этой целью он прилагает к своей Грамматике "Болгарскую хрестоматию", которую "исправил по правилам этого опыта" ¹⁴. В качестве Хрестоматии и был использован текст Жития Петки, который Венелин переписал в три столбца: 1) в орфографии подлинника, 2) в соответствии с нормами предлагаемой Венелиным орфографии и 3) в переводе, весьма вольном, на русский язык. Второй столбец и должен был послужить "образцом этимологического правописания", т. е. показать читателю, как решает автор те или иные вопросы правописания, предоставляя ему в то же время возможность сравнения с исходным текстом ¹⁵.

Но помимо этой прикладной задачи публикация текста Жития Петки Тырновской преследовала, по замыслу Венелина, и другие цели, а именно должна была сыграть роль хрестоматии, знакомящей с особенностями народного болгарского языка. Сам Венелин так пишет об этом, сообщая в одном из своих писем о содержании Грамматики: "К концу приложил я четь о Святой Пятнице или Параскевии Тырновской. сочинение Евфимия Патриарха Тырновского и всея Болгарии [с. 355]. Четь сию извлек из рукописного собрания разных поучительных слов на праздничные дни, писанных на

простом наречии. Это я прилагаю в виде Хрестоматии Болгарской не от того, чтобы четь сия отличалась хорошим отработанным слогом (который еще остается обработать самим Болгарам), но от того, чтобы заставить говорить самого какого-либо Болгарина”¹⁶.

Это высказывание Венелина важно во многих отношениях. Тот факт, что главным для Венелина было избрать оригинальное болгарское произведение (“заставить говорить самого какого-либо Болгарина”), причем сочинение, написанное “на простом наречии”, свидетельствует о том, что за основу литературно-языковой нормализации путем применения ориентированных на традицию правил “этимологического правописания” Венелин избирал живой народный язык. Новоболгарская версия “Жития Петки Тырновской” вполне удовлетворяла этим требованиям. Ее отличает живой сказовый стиль повествования, простой и доступный по форме, выдержанный от начала до конца в одном ключе. А благодаря дополнительно включенному в новоболгарский текст по сравнению с оригиналом Евфимия пассажу: “а́ми тѣкмо колꙗ́кото на́шь ѿмь постигнь, ѿ написа́хъ азъ ѿвѣстїе патріархъ трѣновꙗ́скїѣ, щѣ знагахъ. а́ми ѿ вїе бл҃свѣни хр҃стіане послѣшайте (Тихонравовский дамаскин, л. 55), задающему тон всему повествованию, он выступает как своего рода прямая речь автора. Как историка, ставящего своей целью напомнить миру о забытом славянском племени, Венелина, очевидно, не могли не привлечь содержащиеся в Житии Петки данные о героическом времени тырновского царя Иоанна Асеня, сына старого болгарского царя Асеня, который “крѣпко дръжаше тогази царство” (Тихонр., л. 58б), о его походах и завоеваниях, как и сама возможность напомнить русскому и европейскому читателю, которому предназначалась Грамматика, имя славного патриарха “Тырновского и всея Болгарии” Евфимия.

Находим в этом высказывании и некоторые данные об источнике, из которого было взято Житие Петки и который в самой Грамматике Венелин называет “кодексом рукописным поучительных слов”¹⁷. Специальный лингвотекстологический анализ, на котором здесь нет возможности остановиться¹⁸, позволил мне в свое время показать, что этим источником был один из дамаскинов XVII в., известный в науке как Тихонравовский дамаскин по имени Н. С. Тихонравова, к которому памятник перешел “из рукописных остатков после профессора Погодина, а последнему она досталась от Венелина”¹⁹.

Как известно, Грамматика нынешнего болгарского наречия”, с которой в рукописи ознакомился ряд русских славистов, осталась неопубликованной. Не сообщил в печати о своем знакомстве с

одним из новоболгарских дамаскинов – Люблянским дамаскином — и В. И. Григорович, который, судя по оставленной в рукописи карточке, работал над ним в собрании Копитара публичной библиотеки г. Любляны, отметил, что рукопись написана на новоболгарском диалекте (*liber nova bulgarica dialecto scriptus*), описал ее содержание, выделив Житие св. Петки Тырновской (*vitam sv. Petkae Ternoviensis*) и охарактеризовал рукопись как “примечательнейшую” (*inter memorabilia referendum*)²⁰. Поэтому первым появившимся в печати сведениям о новоболгарском тексте Жития Петки наука обязана В. И. Ламанскому, который в 1868 г. проездом из Загреба в Венецию остановился в Любляне, ознакомился с рукописью № 21 собрания Копитара (Люблянским дамаскином), успел переписать из нее несколько произведений, в том числе Житие св. Петки (л. 96–103) и вскоре выступил в печати “с кратким объяснением историко-литературного значения одного из редчайших памятников Болгарской словесности XVI–XVII веков”²¹, описанием его содержания, обзором фонетических, грамматических и словарных особенностей. Высоко оценив мастерство болгарского писателя, “так искусно владевшего народною речью и столь явно стремившегося к изложению простому и удобопонятному”²², отметив, что “Люблянская рукопись принадлежит несмотря на свою недревность к замечательнейшим и любопытнейшим памятникам славянским и как памятник словесности XVI–XVII в., и как памятник чисто народного Болгарского наречия этого времени”²³, Ламанский публикует обширные выдержки из трех входивших в нее произведений, в том числе из Жития Петки, которое привлекло его особое внимание. “Это житие известно, — пишет он, — но наш список любопытен по чистоте и народности языка и по следующему месту, которое есть, кажется, вставка позднейшего Болгарина, переписчика и подновителя слога. Это место, заключающее в себе предание о Болгарском царе Иоанне Асене, следует за описанием взятия Цареграда франками”²⁴. Приведя текст заинтересовавшего его эпизода, Ламанский замечает: “Это полулегендарное сказание о царе Иоанне Асене, взявшем Цареград у франков и сделавшем их своими *раями* (курсив мой. — Е. Д.), весьма любопытно, ибо выражает воззрения православных на Латинян”²⁵.

Мы знаем, что “полулегендарное сказание о царе Иоанне Асене” входило уже в состав пространной редакции, принадлежавшей Евфимию, следовательно, предположение Ламанского неверно. Нельзя, однако, не оценить его наблюдательности. В эпизоде: *ами поидѣ на цариград, и нѣго прѣ ѣ и щѣ бѣха тамо фрѣнціи, поклонїха мѣ се да сѣ нѣгова рага, и хазна да мѣ давати* (Любл., л. 102 а)²⁶, чтение “да сѣ нѣгова рага”, содержащее характерный

для эпохи османского ига турцизм, действительно внесено создателем новоболгарского текста²⁷. Ср. параллельное место в евфимиевской редакции: и самы ть царьствующи градъ повоева же и покори, и иже тамо дръжеше фругы подданію устрои²⁸.

Отметив "чистоту и народность" языка Жития Петки, как и Люблянской рукописи в целом, Ламанский заключает: "На этот памятник болгарский... могут указать новейшие болгарские писатели, настаивающие на законности и необходимости литературной обработки чисто-народного болгарского наречия"²⁹. В этом, как мы видим, Ламанский солидарен с Венелиным.

Сделанные Ламанским выписки из Люблянского дамаскина, в частности Житие Петки, как и опубликованное им сочинение о болгарском наречии и письменности в XVI-XVII вв., привлекли внимание И. И. Срезневского в его работе 1872 г., посвященной истории текста Слова о втором пришествии и об антихристе³⁰. Знакомство с Ханджарским дамаскином 1686 г., подаренным Срезневскому одним из болгарских возрожденцев – С. Н. Палаузовым – и содержащим, в том числе, и Житие Петки Евфимия Тырновского "на языке церковнославянском"³¹, позволило ему установить, что "на л. 314 читается то место, на которое по другому изложению обратил внимание В. И. Ламанский"³² (имеется в виду предание о царе Иоанне Асене). Срезневский приводит название Жития Петки по Ханджарской рукописи, в котором упоминается имя Евфимия патриарха Тырновского: Мѣца ѡктомврїе Дї. Житїе и жїзнь прподобнїе мїтре наше Пѣтки. В нѣмъ же и како прѣнесена бїсть в градъ Тръновъ. съписано Евфимїемъ патїрьархѡм Тръновскїм, а также "для образца языка" публикует параллельный приведенному Ламанским отрывок Жития (лл. 311–315)³³. Это первые текстологические наблюдения над сочинением Евфимия, свидетельствующие, в частности, о том, что "предание о болгарском царе Иоанне Асене", о котором говорил В. И. Ламанский, не является отличительной чертой новоболгарской версии Жития.

О языковых особенностях Ханджарского дамаскина Срезневский пишет: "Язык означенных поучений один и тот же Славянский книжный, впрочем отступающий от правильности не только в правописании, но и частью и в изменениях и сочетаниях слов, а равно и в подборе их, и приближаясь в этом к народному Болгарскому, а в выговоре к Сербскому"³⁴. И далее: "Всего более Болгарского видится... в заглавиях поучений. Впрочем и тут Болгарские особенности выступают не так ярко, как ... в рукописи, описанной подробно в отношении к языку В. И. Ламанским"³⁵. Оценивая Люблянский дамаскин, Срезневский замечает: "Эта рукопись очень важна как образец употребления Болгарского наречия вместо церковного,

что и доказано превосходно... В. И. Ламанским"³⁶. Эти наблюдения Срезневского являются весьма ценными как первая попытка сопоставления особенностей языка архаичной и новоболгарской редакций включавшихся в дамаскины произведений, в том числе евфимиевского Жития Петки.

В 1882–1883 годах одна за другой появляются посвященные интересующему нас вопросу статьи В. Качановского³⁷, полемизирующего с ним П. Сырку³⁸ и ответная статья В. Качановского³⁹. Характерно, что оба автора, подобно Венелину и Ламанскому, собрали материал для своих статей во время своих путешествий по славянским странам. Их работы являются серьезным вкладом в изучение творчества патриарха Евфимия, в частности, судьбы его сочинения о св. Параскеве – Петке Тырновской.

"Личность тырновского патриарха Евфимия, – пишет В. Качановский, – является в истории последнего периода существования Болгарского царства особенно выдающеюся как по своей политической деятельности, так и по литературной"⁴⁰. Занимая важное, представительное место в болгарской иерархии, Евфимий мог располагать всеми возможными для того времени средствами при составлении своих произведений. Во всех них "проглядывает громадная начитанность в творениях св. отцов церкви и непосредственное знакомство с отечественною историей. С этой последней точки зрения, – подчеркивает Качановский, – произведения патриарха Евфимия представляют очень важный источник, служат вместо болгарской летописи, о которой современная наука ничего не знает, хотя есть свидетельства ее существования в болгарской литературе и громадного значения ее в жизни старой Болгарии"⁴¹.

Для доказательства своей мысли о том, что произведения патриарха Евфимия по своим историческим данным имеют значение летописи, Качановский и обращается к тексту пространного евфимиевского Жития св. Петки, которое, по его словам, "драгоценно своими подробностями о перенесении мощей св. Петки из Епиеат в Тырново"⁴². Приведя отрывок текста пространного Жития св. Параскевы, "вышедшего из-под пера патриарха Евфимия" по рукописи № 62 Рыльского монастыря, которая писана в Рыльском монастыре "понуждением и настоянием игумена сей обители Феофана"⁴³, Качановский курсивом выделил в нем места, содержащие эти "интересные сведения", в частности, сведения о завоеваниях "благочестивого царя болгарского Иоанна Асеня сына старого царя Асеня", о митрополите великого Преслава всеосвященном Марке, о матери Иоанна Асеня царице Елене и его супруге Анне и др.

Оценивая достоверность исторических данных, содержащихся в сочинениях Евфимия, Качановский замечает, что "как сын своего времени патриарх Евфимий с полной доверчивостью вносил в свои произведения и некоторые легендарные сказания, очевидно, принимаемые им за несомненные исторические факты"⁴⁴. В частности, по его словам, патриарх Евфимий "несколько увлекся патриотизмом и не вполне верно передал факты", допустил "неверности и путаницу, именно: болгарский царь Иоанн Асень занял Солун, чего никогда не бывало; латиняне, повелевавшие в Константинополе, платили ему дань, чего тоже не было"⁴⁵. Заметим попутно, что опубликовав по списку XV в. евфимиевской редакции Жития Петки предание о болгарском царе Иоанне Асене, по поводу которого Ламанский высказал предположение, что в новоболгарском тексте по Люблянской рукописи это "кажется вставка позднейшего Болгарина переписчика и подновителя слога" (см. выше), Качановский не воспользовался возможностью указать на ошибочность этого предположения, хотя, судя по имеющейся в одной из его статей ссылке, он знал о существовании работы Ламанского.

Интерес к чисто содержательной стороне произведений Евфимия с позиции историка, очевидно, послужил причиной того, что Качановский, в отличие от Венелина, Григоровича, Ламанского, Срезневского, не смог оценить историко-лингвистического значения новоболгарской версии Жития Петки, ее народного в своей основе языка, употребленного "вместо церковного"⁴⁶. По поводу изданного П. Сырку по одному из новоболгарских дамаскинов тексту Жития Петки Тырновской (см. об этом ниже) Качановский пишет: "Решительно непонятно, что побудило его издавать такой поздний список этого "жития" (на болгарском языке), когда это житие по древнейшему списку было раньше издано (в "Вел. Мин. Чет.", окт. стр. 1021–1042), а в нашей статье "К вопросу о литературной деятельности патриарха Евфимия" точно также сделаны большие выписки из этого жития для обрисовки личности патриарха Евфимия. Если цель его статьи – дать точное понятие о двух произведениях патриарха Евфимия – "житии Иоанна Рыльского" и "житии св. Параскевы", то, казалось, следовало бы обратить внимание на список, ближе стоящий к оригиналу, составленному патриархом Евфимием, а не на самый отдаленный"⁴⁷.

Обращаясь к Сырку с упреком, что он даже не счел нужным исследовать, как сделан ново-болгарский перевод: буквально или со вставками, Качановский предпринимает сопоставление изданного им обширного отрывка пространной евфимиевской редакции Жития с опубликованным Сырку параллельным болгарским текстом (переписав их в два столбца) и приходит к выводу, что "ново-

болгарский перевод сделан не вполне точно"⁴⁸. Это первые конкретные наблюдения над соотношением текста архаичной и новоболгарской редакций Жития. Попутно Качановский обращает внимание на некоторые характерные написания в изданном Сырку новоболгарском тексте Жития, безосновательно считая их ошибочными: "Вот важнейшие неверности: "душъта" вм. "душата" (несколько раз), "таквъзи сила" вм. "таквази сила", отъ маика и бащъ вм. отъ майка и баща, глугы вм. глухы и др."⁴⁹ К этому сводятся наблюдения Качановского, относящиеся к новоболгарской версии Жития Петки Тырновской.

Крупным вкладом в изучение интересующего нас вопроса является уже упоминавшаяся статья П. А. Сырку "Несколько заметок о двух произведениях тырновского патриарха Евфимия", которая содержит ряд ценных сведений по истории создания и дальнейшего бытования евфимиевского Жития Петки, его соотношению с другими сочинениями, посвященными этой святой, о дошедших до нас южнославянских и восточнославянских списках этого произведения, его публикациях, об основанных на нем румынских версиях митрополита Варлаама (1643) и митрополита Досифея (1682).

В центре внимания Сырку-наличие простонародных, в том числе новоболгарских, переводов Жития. Сырку подчеркивает, что выдающиеся произведения патриарха Евфимия, написанные, может быть, в последние дни существования болгарского царства, пользовались большим уважением не только у современников, но и после падения Болгарии под власть турок. Они не только переписывались множество раз в самой Болгарии и у сербов, так и у румын и у русских, но некоторые из них переведены в новейшее сравнительно время были на простонародный болгарский язык, также сербский и даже на румынский и русский⁵⁰. При этом наиболее распространенным на всем славянском юге было составленное Евфимием Житие св. Петки Тырновской, вошедшее, в частности в сборник Божидара, напечатанный в Венеции в 1536 г.

Как полагается Сырку, это житие "уже довольно рано сделалось любимым народным чтением, судя по тому, что оно является на простонародном болгарском языке со вставкой болгарского предания о И. Асене, составляющей небольшой вариант такого же предания в переводе синаксария, и другими особенностями, что уже давно известно из Люблянской рукописи"⁵¹. В отличие от Ламанского, который Люблянскую рукопись относил к памятникам болгарской словесности XVI–XVII вв., Сырку считает, что "новоболгарский перевод по всем признакам языка новейшего времени", соглашаясь в этом отношении с М. С. Дриновым, датировавшим

Люблянский сборник XVIII в.⁵² "Но, по моему разумению, — пишет он, — житие преподобной Петки должно было быть довольно распространено в народе гораздо раньше, иначе трудно объяснить, какими мотивами руководствовался переводчик, избрав для перевода именно житие этой святой, а не иной или иного"⁵³. Не останавливаясь специально на основательности последнего довода (известно, что на новоболгарский язык были переведены многие произведения, в том числе жития целого ряда святых, некоторые из них были знакомы Сырку), отметим, что сам факт широкой популярности евфимиевского жития Петки, непрерывающиеся традиции его бытования не вызывают сомнений.

Оценивая содержательную сторону Жития, Сырку, как и Качановский, подчеркивает: составленное патриархом Евфимием на основании каких-то местных источников, отражающих факты болгарской истории — летописей, записей и других официальных, а может быть и неофициальных документов, Житие Петки Тырновской имеет тем самым "кроме историко-литературного значения еще и документальное. Что же касается стиля, — добавляет он, — то это житие, по моему разумению, одно из самых риторических произведений Евфимия; по нему одному можно заключить, что составитель его один из лучших риторов своего времени"⁵⁴.

Большую ценность работе Сырку придает публикация полного новоболгарского текста Жития Петки Тырновской Евфимия патриарха Тырновского по рукописи, которую ему "посчастливилось найти и списать" во время его путешествия по Болгарии в г. Русчюке, куда эта рукопись "привезена из города Жеравны (в северо-восточном углу нынешней Восточной Румелии)"⁵⁵. Отметим, что публикуемый им список "вполне сходен" со списком в Люблянской рукописи⁵⁶, Сырку "по письму" относит содержащую его рукопись, ныне известную как Жеравненский дамаскин (№ 339 Софийской народной библиотеки им. Кирилла и Мефодия) к самому концу XVII или началу XVIII в. В своем издании Сырку стремился придерживаться правописания подлинника (что и вызвало отмеченные выше замечания Качановского), хотя и снял надстрочные знаки и некоторые ударения, а часть последних изменил.

Следует подчеркнуть, что благодаря работе Сырку впервые был введен в широкий научный обиход полный текст новоболгарской версии Жития Петки Тырновской (как мы уже отмечали, подготовленный Ю. Венелиным для публикации полный текст Жития по Тихонравовскому дамаскину, хотя и стал известен ряду ученых, ознакомившихся с его Грамматикой, все же остался в рукописи; Ламанский в своем сочинении привел только обширную выдержку из этого произведения по Люблянскому дамаскину).

Любопытно, кстати, отметить, счастливую игру случая, благодаря которой в руки первых российских исследователей попали все три разновидности старшей новоболгарской

версии Жития Петки, — отраженные соответственно в дамаскине I новоболгарского типа (Тихонравовском), II новоболгарского типа (Люблянском) и дамаскине смешанного типа, отражающем переходный этап между ними (Жеравненском), — а также и дамаскин архаичной редакции на традиционном литературном языке (Ханджарский), к которой восходит новоболгарский текст⁵⁷.

Обзор исследований российских филологов-славистов XIX в. — Ю. И. Венелина, В. И. Григоровича, В. И. Ламанского, И. И. Срезневского, В. В. Качановского, П. А. Сырку, в той или иной связи коснувшихся евфимиевского Жития Петки Тырновской, и, специально, его новоболгарской версии, прежде всего свидетельствует о том живом интересе к истории, словесности и языку болгарского народа, который был характерен для русского славяноведения с самых его истоков.

Вместе с теми или иными наблюдениями над этим талантливым произведением прославленного тырновского патриарха и публикациями его текста в науку вошли первые сведения о новоболгарской письменности XVII столетия, ее народном в своей основе языке, о рукописях новоболгарских дамаскинов XVII в. — Тихонравовском, Люблянском, Жеравненском — и об отношении отраженного в них текста Жития Петки Тырновской к тексту архаичной редакции на традиционном литературном языке, в свою очередь представленному в одном из дамаскинов — Ханджарском. Все это свидетельствовало о стойкости болгарской культурной традиции в условиях османского завоевания, ее континуитете.

Появившиеся на рубеже века работы Ст. Аргирова, Б. Цонева, П. А. Лаврова, посвященные изучению письменности дамаскинов⁵⁸, Е. Калужняцкого о творчестве патриарха Евфимия и Житии св. Параскевы-Петки Тырновской⁵⁹ во многом обязаны этим первым шагам русских славистов.

Примечания:

1. Ср., напр., Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910. Большое место в своей исследовательской деятельности уделяет проблематика изучения южных славянских языков С. Б. Бернштейн. См., в частности: Бернштейн С. Б. Из истории изучения южных славянских языков в России и в СССР. — Вопросы славянского языкознания, вып. 2. М., 1957, с. 123–152. Он же. Памяти В. И. Григоровича (к 150-летию со дня рождения). — Известия АН СССР, Отделение литературы и языка, т. 24, вып. 4, с. 359–362; Он же. Академик П. С. Биларский и его вклад в изучение языка среднеболгарской письменности. — Язык и письменность среднеболгарского периода. М., 1982, с. 131–144 и др.

2. Интерес к отдельной личности, ее индивидуальным особенностям, характерный для женских образов агиографических сочинений Евфимия, среди которых выделяется образ св. Петки Тырновской, отмечал еще К. Ф. Радченко (Радченко К. Ф. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898, с. 280).

3. Kalužniacki E. Zur älteren Paraskevaliteratur der Griechen, Slaven und Rumänen. — "Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien", Philos. —

hist. Classe, Bd. CXLI. Wien, 1899, S. 17–93.

4. Перечень рукописей из собраний Зографского, Рильского, Нямецкого, Соловецкого монастырей, собраний Софийской, Белградской, Вильнюсской библиотек, собрания Петербургской духовной академии и частных собраний, содержащих текст различных редакций Жития Петки Тырновской см.: Динеков П., Кувев К., Петканова Д. Христоматия по старобългарска литература. София, 1961, с. 335–336. Текст Жития Петки по сборнику Божидара переиздан в работе: Novaković St. Život sv. Petke. Od patriarha bugarskoga Jeftimija. – Starine, IX, Zagreb, 1877, s. 48–59.

5. Сырку П. А. Новый взгляд на жизнь и деятельность Григория Цамблака. – Журнал Министерства народного просвещения, т. 236, 1884, с. 126; Kalužniacki E. Op. cit., p. 17–31; Olteanu P. "Damaskinsky" prúd v slovansko-rumunskej literatúre. – Referáte a prenášky prednesene na VII kongrese slavistov. București, 1973, p. 31–33.

6. Kalužniacki E. Op. cit., p. 42–47, 92.

7. Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Ч. I. Филологическое введение в изучение болгарских дамаскинов. София, 1968, с. 162–169. В этой работе см. данные об упоминаемых здесь дамаскинах, их типах и редакциях.

8. Демина Е. И. Указ. соч., с. 163–169.

9. Демина Е. И. "Житие Петки" Евфимия Тырновского в новоболгарской письменности. – Тырновска книжовна школа, т. II. Ученици и последователи на Евтимий Тырновски. София, 1980, с. 183–192.

10. Сырку П. А. Несколько заметок о двух произведениях тырновского патриарха Евфимия. – Сборник статей по славяноведению, составленный и изданный учениками В. И. Ламанского по случаю 25-летия его ученой и профессорской деятельности. СПб., 1883, с. 401.

11. Венелин Ю. И. Грамматика нынешнего болгарского наречия. – Архив Венелина в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, ф. 49, картон I, ед. 1, с. 355.

12. Ср. замечание самого Венелина: "Весною 1830 г. я имел честь принять поручение Императорской Российской академии съездить за Дунай с целью Археологической и Филологической. Между прочим, мне было поручено изучить болгарское наречие и составить его Грамматику, так как на этом только наречии ее еще не было". (Венелин Ю. О зародыше новой болгарской литературы. I. М., 1838, с. 6).

13. Венелин Ю. О зародыше..., с. 31.

14. Там же, с. 32.

15. Анализ предложенных Венелиным решений см. в статье: Демина Е. И. Нормализация правописания болгарского литературного языка эпохи Возрождения в представлении Ю. И. Венелина. – Венелин и болгарское Возрождение. [В печати].

16. Письмо Президенту Российской академии А. С. Шишкову от 1 февраля 1834 г. ГБЛ, ф. 49, папка I, ед. 2, л. 4.

17. Венелин Ю. Грамматика нынешнего болгарского наречия, с. 352.

18. См.: Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Ч. II. Палеографическое описание и текст. София, 1971, с. 8–15.

19. Лавров П. А. Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка. М., 1893, с. 3. Ныне рукопись хранится в ГБЛ в собрании Н. С. Тихонравова, ф. 299, № 702.

20. Ламанский В. И. Непорешенный вопрос. Статья II. Болгарское наречие и письменность в XVI–XVII вв. Венеция, 1868. – ЖМНП, ч. 143. СПб, июнь 1869, с. 350.

21. Ламанский В. И. Указ. соч., с. 352.

22. Ламанский В. И. Непорешенный вопрос. – ЖМНП, ч. 144, июль 1869 г. с. 90.

23. Там же, с. 120.

24. Там же, с. 107.

25. Там же, с. 108.

26. Аргиров С. Люблянският български ръкопис от XVII век. – СбНУ, кн. XII, 1895, с. 555.

27. Ср. в Тихонравовском дамаскине, л. 59: да съ н-ѣгова раѣ. ѣ дань да мѣ давати; так и в Жеравненском дамаскине, о котором см. ниже.

28. Цитируется по рукописи № 62 Рильского монастыря 1483 г. в публикации В. Качановского (Качановский В. К вопросу о литературной деятельности болгарского патриарха Евфимия. – Христианские чтения, 1882, № 7–8, с. 7).

29. Ламанский В. И. Непорешенный вопрос. Ч. 144, с. 120.

30. Срезневский И. И. Разбор сочинения К. Невоструева: Слово св. Ипполита об антихристе в славянском переводе по списку XII в. с исследованием о слове и о другой мнимой беседе Ипполита о том же с примечаниями и приложениями. – Отчет о пятнадцатом присуждении награды графа Уварова 25 сентября 1872 г. СПб., 1874, с. 227–231.

31. Срезневский И. И. Указ. соч., с. 164.

32. Там же, с. 230.

33. Там же, с. 229–231.

34. Там же, с. 229. Заметим, что говоря о приближении языка Ханджарского дамаскина "в выговоре к Сербскому", Срезневский, очевидно, исходил из особенностей ресавской правописной редакции, присущей дамаскинам архаичной редакции (и, через них – нсвоболгарскому тексту).

35. Там же, с. 231.

36. Там же.

37. Качановский В. К вопросу о литературной деятельности болгарского патриарха Евфимия, с. 1–50.

38. Сырку П. А. Несколько заметок о двух произведениях тырновского патриарха Евфимия, с. 348–401.

39. Качановский В. Новые данные для изучения литературной деятельности болгарского тырновского патриарха Евфимия (1375–1393). – Христианские чтения, 1883, с. 1–28.

40. Качановский В. К вопросу о литературной деятельности..., с. 1.

41. Там же, с. 2.

42. Там же, с. 4.

43. Там же, с. 6–8.

44. Там же, с. 13.

45. Качановский В. Новые данные для изучения литературной деятельности болгарского тырновского патриарха Евфимия, с. 27.

46. Срезневский И. И. Разбор сочинения К. Невоструева..., с. 164.

47. Качановский В. Новые данные для изучения..., с. 23–24.

48. Там же, с. 24–26.

49. Там же, с. 27.

50. Сырку П. А. Несколько заметок..., с. 349.

51. Там же, с. 386.

52. Там же. В отношении датировки Дринова Сырку ссылается на: Периодическое списание на Българско книжовно дружество в Средец, кн. III, Средец. 1882, с. 13.

53. Сырку П. А. Указ. соч., с. 386–387.

54. Там же, с. 395.

55. Там же, с. 387.

56. Там же, с. 393.

57. Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин..., ч. I, с. 162–169.

58. Аргиров Ст. Люблянският български ръкопис от XVII в. – СбНУ, кн. XII, 1895, с. 463–560, кн. XVI и XVII, 1900, с. 246–313; Цонев Б. Новобългарска писменост преди Паисия. – Български преглед, год I, кн. VIII, София, 1894, с. 80–94; Лавров П. А. Дамаскин Студит и сборники его имени "дамаскины" в югославянской письменности. Одесса, 1899.

59. Kalužniacki E. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375–1393). Wien, 1901; Он же. Zur älteren Paraskevaliteratur der Griechen, Slaven und Rumänen. Wien, 1899.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Библиография трудов С. Б. Бернштейна (1970–1990). Составитель И. Е. Можаява | 5 |
| 60 лет служения славистике. Академик Н. И. Толстой | 19 |

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

| | | |
|--|---|------------|
| Вяч. Вс. Иванов Р. Эккерт | Об одном сербо-лужицком архаизме | 27 |
| Н. И. Толстой В. Н. Топорся Г. К. Венедиктов | Южнославянско-восточнобалтийские схождения в области обрядности: с-хорв. <i>bãdnj vëšëg</i> , болг. <i>бъдни вечер</i> и латыш. <i>blãkũ vakars</i> | 30 |
| Н. И. Толстой | "Соленый болгарин" | 38 |
| В. Н. Топорся | Еще раз о названии Волга | 47 |
| Г. К. Венедиктов | О некоторых "авторских" новообразованиях в болгарской лексике | 63 |
| Э. И. Зеленина | О диалектных истоках болгарской текстильной терминологии | 70 |
| Г. П. Клепикова | Южнославянский компонент в "Общекарпатском диалектологическом атласе" (=ОКДА) | 78 |
| Т. Ф. Семенова | К вопросу о путях проникновения тюркизмов в некоторые западноукраинские говоры. II. | 86 |
| В. В. Усачева Т. В. Цивьян | Этноботанический этюд: базилик <i>Ocimum basilicum</i> L. О греческом обряде <i>клюдон</i> и его семантических мотивировках. | 92 100 |
| В. А. Дыбо | К вопросу о происхождении морфонологизированных акцентных систем. | 106 |
| Т. М. Николаева | Попытка фонетической интерпретации неоштокавского акцентного сдвига | 112 |
| Р. В. Булатова | Акцентная система косовско-метохийского ареала конца XIV в. (Венская рукопись № 34) | 124 |
| Л. Э. Калнынь | К вопросу об участии мягких согласных в классификации славянских диалектов | 135 |
| Т. В. Попова | К вопросу о редукции гласных в современных болгарских диалектах | 143 |
| А. А. Зализняк | Морфонологические модели <i>Луць</i> – <i>Лучинь</i> и <i>Лукъ</i> – <i>Лукинъ</i> в славянских языках. | 153 |
| С. М. Толстая И. К. Бунина | О понятии "морфонологическая позиция" Еще раз о категории времени, временах болгарского индикатива и "хронологической теории" | 161 172 |

| | | |
|-----------------|---|-----|
| М. И. Ермакова | О некоторых способах выражения пассивного значения в серболужицких литературных языках. | 187 |
| Т. М. Судник | Об одной литовско-белорусской параллели из области синтаксиса числительных | 196 |
| Г. П. Нецименко | Значимость использования сопоставительного метода при изучении проблем словообразования и социолингвистики. | 201 |
| Е. В. Чешко | Теоретические проблемы исследования болгарского литературного языка периода средневековья. | 212 |
| Л. Н. Смирнов | О шутовской концепции литературного словацкого языка | 221 |

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НАУКИ

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Л. И. Будагова | О пользе традиций, облегчающих прогресс. (Роль преемственности в литературном творчестве.) | 229 |
| С. А. Шерлаимова | Славянские литературы в европейском контексте. (Попытка современного взгляда на проблему.) | 239 |
| М. И. Лекомцева | К поэтике "Похвального слова Кириллу-Философу" Климента Охридского. (Оксюморон.) | 247 |
| Л. А. Софронова | Мифопоэтическая структура "Дзядов" А. Мицкевича. | 257 |
| А. П. Соловьева | Некоторые черты поэтики Яна Неруды | 264 |
| С. В. Никольский | Ярослав Гашек в воспоминаниях Я. С. Николаева. | 271 |
| В. И. Злыднев | Два характера – две грани болгарской литературы. | 278 |
| Г. Я. Ильина | Как разрушались стереотипы. (Страничка истории.) | 285 |
| В. А. Хорев | О польской эссеистике 50–60-х годов XX века | 295 |
| Ю. В. Богданов | Феномен двоемыслия в современной словацкой литературе. (На материале творчества Рудольфа Слободы.) | 303 |
| Г. Г. Литаврин | Лиутпранд Кремонский об одном из славянских обычаев. | 311 |
| Б. Н. Флоря | Рассказы о Кирилле и Мефодии в "Прениях о вере с греками" Арсения Суханова | 314 |
| <u>Е. П. Наумов</u> | Античность в представлениях и сочинениях древнесербских книжников | 319 |
| В. К. Волков | Славянские народы и современный мир. | 327 |
| В. А. Дьяков | Итоги и перспективы работы Международной комиссии по истории славистики | 333 |
| И. С. Достян | А. С. Грибоедов и доктор из Пераста С. И. Мазарович. | 341 |
| М. В. Никулина | Архив П. И. Кеппена | 349 |
| Е. И. Демина | Из истории отечественного славяноведения XIX века | 358 |

STUDIA SLAVICA
ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НАУКИ

К 80-летию
Самуила Борисовича Бернштейна

Утверждено к печати
Институтом славяноведения и балканистики АН СССР

Технические редакторы:
З. М. Гирфанова, Р. В. Булатова
Сборник набран на композере Института

Подписано к печати 20.02.91
Усл. п.л. 21,86. Усл. кр.-отт. 21,99
Уч.-изд.л. 22,54. Печать офсетная
Тираж 600 экз. Зак. 62. Цена 3 р. 40 к.

Издательство "Наука"
Главная редакция восточной литературы
103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21

3-я типография издательства "Наука"
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28

3 р. 40 к.